Изд. К-ва „Материалист".

Адрес редакции и конторы: Никольская ул., д. 11. Тел. 2-34-53.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 11—12

Ноябрь—Декабрь 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Книгоиздательство „МАТЕРИАЛИСТ".

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. А. Деборин — Людвиг Фейербах с двумя гравюрами на дереве И. Павлова, 360 стр., цена 1 руб. 50 коп. черв.

Л. Фейербах — Принципы материалистической теории познания, с прилож. статьи А. М. Деборина—„Л. Фейербах" и гравюрой на дереве И. Павлова, 209 стр., цена 1 руб. черв.

Библиотека „Атеистические памфлеты XVIII столетия" под редакцией А. М. ДЕБОРИНА.

Лишь спустя два года издательство оказалось в состоянии приступить к изданию этой крайне важной и чрезвычайно актуальной серии.

Атеистические памфлеты XVIII века давно оценены по заслугам. Припомним только, что было сказано о них двумя нашими авторитетнейшими теоретиками—В. И. Лениным и Г. В. Плехановым.

„Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов 18-го века сплошь и рядом окажется в 1000 раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают" („Под знаменем марксизма" № 3 за 1922 год, стр. 7). Отзыв Плеханова мы не приводим в надежде, что его блестящие очерки по истории материализма известны нашим читателям.

Из этой серии вышел и поступил в продажу:

вып. 1—**ГОЛЬБАХ — Здравый смысл** с пред. А. М. Деборина.

Печатается и скоро выйдет:

вып. 2—**Ж. МЕЛЬЕ - Извлечения из завещания.**

вып. 3—**ГОЛЬБАХ—Разоблаченное христианство.**

Готовится к печати ряд других книг, о которых будет об'явлено особо.

Адрес кн-ва: Москва, Никольская ул., д. 11. Телефон 2-34-53.

МАРТАКОЧ

Большая ежедневная газета на АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ.

Орган Заккрайкома РКП. Издается в Тифлисе.

С 10 октября подписная плата:

на месяц в Тифлисе—**1** р. черв.

„ „ вне Тифлиса—**1** р. **25** к. черв.

ПРИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДПИСКЕ **25%** СКИДКИ.

Адрес редакции: ТИФЛИС, ул. Троцкого (бывш. Центр. Вел.), д. № 6.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 11–12

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 1923

HOOVER MAR LIBRARY

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

Главлит № 16859. Тираж 6.000 экз

Типография „Красный Пролетарий" Изд-ва „Красная Новь", Пименовская ул., д. 1-16.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Д. Рязанов.—Вступительные замечания	
Г. В. Плеханов.—Письма к Фр. Энгельсу	5
„ —Письма к Р. Фишеру	13
	28
В. Ванеян.—Г. В. Плеханов—III. Социализм и политическая борьба:	
б. Гегемония пролетариата в буржуазной революции	31
в. Пролетариат и либеральная буржуазия	46
г. Пролетариат и крестьянство	66
А. Деборин.—Гольбах	80
Гольбах.—Четыре главы из „Система природы"	93
Г. Баммель.—Демокрит, III. К вопросу о жизни и личности Демокрита	133
Б. Быховский.—О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда	158
А. Тимирязев.—По поводу речи Рутерфорда	178
Э. Рутерфорд.—Электрическое строение материи	180
В. Невский.—Марксизм и естествознание	204
И. Орлов.—„Чистая геометрия" и реальная действительность	213
В. Сергеев.—Штурм неба в эпоху гражданской войны в древнем Риме	220
П. Месяцев.—Русские экономисты за границей	245
И. Ковалевский.—К проблеме общественно-необходимого рабочего времени	252

Трибуна.

И. Разумовский.—Наши „Замвридплехановы"	277
В. Румий.—Ответ на ответ	282

Библиография.

И. Л.—Новые книги по историческому материализму	287
И. Л—з.—Е. А. Энгель. Очерки материалистической социологии	292
И Карев.—А. Шрейдер. Очерки философии народничества	294
А. Троицкий.—В. Струминский. Психология	299
Читатель.—Г. В. Плеханов. От идеализма к материализму	304

В. Полянский.—В. В. Воровский. Литературные очерки 305
В. П.—М. С. Григорьев. Введение в поэтику 307
В. Семенченко.—Дарвин. Приливы 309
И. Орлов—В. Оствальд. Великий элексир 312
В. В.—Г. В. Плеханов.—Русские рабочие в революционном движении 314
Читатель.—Бюллетень института В. И. Ленина 315
Ц. Фридлянд.—В. П. Волгин. Очерки по истории социал. Б. И Горев. История социал. 315
И. Ленцнер.—Ц. Фридлянд и А. Слуцкий.—Хрестоматия по истории революционного движения в Западной Европе 315
Келлер.—Проф. Л. Любимов.—Курс политической экономии 326
. 323

Сообщения и заметки.

Второй том собрания сочинений К. Маркса и Фр. Энгельса 329
Оглавление за 1923 год. 331

Предисловие к письмам Г. Плеханова к Ф. Энгельсу и Р. Фишеру.

Письма Г. Плеханова к Ф. Энгельсу, которые мы печатаем ниже, имеют большое значение, как новый материал для биографии основоположника русского марксизма и истории его личных отношений к одному из творцов научного социализма.

Они представляют огромный интерес и для истории первых организационных и тактических разногласий в среде русской революционной социал-демократии. Как видит читатель, они бросают свет на некоторые, оставшиеся до сих пор совершенно неизвестными или темными страницы в истории русского и польского революционного социал-демократического движения.

Плеханов познакомился с Энгельсом сейчас же после Парижского Международного Конгресса в июле 1889 года, когда он совершил, вместе с Аксельродом, поездку в Лондон [1]).

Первое письмо Плеханова к Энгельсу, имеющееся в нашем распоряжении, относится к марту 1893 года. Из него видно, что в течение $3^1/_2$ лет, прошедших после их личного свидания, они не переписывались. Сношения с Энгельсом поддерживались Верой Засулич, которая и раньше служила главным представителем группы „Освобождение Труда"—как до ее окончательного оформления, так и после нее—в переговорах с Марксом и Энгельсом. Последний еще в 1890 г. написал специально для русских товарищей статью „О внешней политике русского царизма", которая напечатана была в „Социал-Демократе".

Из первого письма мы узнаем, что известные „Очерки по истории материализма" предназначались сначала для „Neue Zeit" и, вероятно, только потому, что разрослись далеко за пределы нормальной статьи, вышли отдельными изданиями.

[1]) „В 1889 г. я, побывав на Международной выставке в Париже, отправился в Лондон, чтобы лично познакомиться с Энгельсом. Я имел удовольствие, в продолжение почти целой недели, вести с ним продолжительные разговоры на разные практические и теоретические темы". Ст. „Бернштейн и материализм"—Сочинения, т. XI, стр. 21—22.

Алексей Михайлович Воден, о котором пишет во втором письме Плеханов, приехал за границу летом 1892 г. Конец лета и осень он провел в Морнэ в департаменте Верхней Савойи, куда Плеханов переехал после высылки из Женевы. „Нас сблизили, — пишет нам А. М. Воден, — философские интересы, и наши разговоры касались преимущественно философских тем. Георгий Валентинович очень интересовался тогда восстановлением деталей философских взглядов Маркса и Энгельса в этот период, когда они были im Werden, и подчеркивал важность философских произведений Маркса и Энгельса, относящихся к этой, столь плодотворной, эпохе. Когда весной 1893 года я поехал в Лондон, Г. В. дал мне рекомендательное письмо к Энгельсу".

Третье письмо, от которого сохранилась только заключительная часть, писано, по всей вероятности, в апреле 1894 года, как видно из писем Плеханова к Рихарду Фишеру, которые мы печатаем в этой же книжке. Свою рукопись „Анархизм и социализм" он отослал в Берлин в начале апреля и только после этого узнал, что ее будет переводить на немецкий язык (с французского) Эдуард Бернштейн.

Статья Н. Михайловского, о которой упоминает Плеханов, напечатана была в „Русском Богатстве", в январской книжке 1894 года[1]). Против цитируемого места Плеханов полемизирует в своем ответе Михайловскому [2]). Он, однако, ошибался, думая, что известное письмо Маркса было адресовано редактору „Вестника Европы". В действительности оно было адресовано редакции „Отечественных Записок".

Мы долго колебались, следует ли опубликовать уже теперь 4-е письмо Плеханова. Правда, почти все упоминаемые в нем лица умерли; не только сам Плеханов, но и те, против которого он направляет свои нападки. Но в письме проскальзывает такое острое чувство озлобления против Розы Люксембург и Льва Иогихеса, всей своей жизнью и трагической смертью доказавшим свою безграничную преданность делу пролетариата, что только с большим трудом побеждаешь неприятное чувство. Письмо представляет яркое свидетельство, до каких размеров может доходить фракционное озлобление и какой слепотой оно поражает даже очень проницательных людей.

К сожалению, история группы „Социал-Демократической Библиотеки", а также первых шагов „Социал-Демократической партии Польши и Литвы", очень мало известна. Мы вынуждены со своей стороны ограничиться только несколькими замечаниями, надеясь, что очень немногочисленные участники этих событий, еще оставшиеся

[1]) Перепечатана в сборнике его статей под названием „Литературные воспоминания и современная смута", том II, стр. 232—274.

[2]) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю",—Сочинения, том VII, стр. 241—242.

в живых (со стороны поляков—Варский и Мархлевский, со стороны русских—П. Аксельрод, Л. Аксельрод-Ортодокс, Блюменфельд), сделают все необходимые дополнения. Мы пока ограничиваемся немногими замечаниями.

Группа „Социал-Демократической Библиотеки" является первой „оппозицией" группе „Освобождение Труда", которая успела отлиться в форму особой агитационно-издательской группы со своим особенным центром. Ей предшествовали другие оппозиционные группировки или течения, но они не выходили за пределы „устной традиции" и ограничивались конфликтами между группой „Освобождение Труда" и ее „периферией" в самой Швейцарии.

Первый конфликт относится уже к зиме 1887—1888 гг. Во главе „оппозиции" стояли Соловейчик и Слепцова. „Молодые" товарищи требовали для себя известных прав как в области организационной, так и в области литературно-издательской. Насколько мне известно из рассказов, „молодые" требовали, чтобы литературе для рабочих отводилось и больше средств, и больше места. Среди изданий группы „Освобождение Труда" организация первого русского „Социал-Демократического Союза", несомненно, явилась уступкой требованиям „молодых". Сам Соловейчик уехал в Россию, где очень скоро был арестован. После трехлетнего заключения в „Крестах", тяжело отразившегося на его психике, он был освобожден и кончил жизнь самоубийством.

К первой оппозиции принадлежал и Парвус, приехавший в Швейцарию еще осенью 1887 года и принявший после очень деятельное участие в дискуссии 1888 года.

Вторая оппозиция сложилась после „голодного года". Ее лидером и организатором был Лев Иогихес, он же Грозовский, он же Тышко, расстрелянный немецкими палачами в тюрьме в марте 1919 года.

Я познакомился с Грозовским в декабре 1890 года в Цюрихе. Он только что бежал из России. Не потому, что хотел „уклониться от неприятностей военной скужбы", как пишет Плеханов, забывший, что его ближайший друг, Лев Дейч, тоже был военным дезертиром. Сильно скомпрометированный, он, только благодаря своим конспиративным навыкам, не был привлечен вместе со многими виленскими товарищами к процессу первомартовцев 1887 года (Ульянова и др.). Народоволец, тесно связанный с польскими „пролетариатцами", он уже был в значительной степени заражен марксизмом. При поступлении на военную службу он, как это тогда практиковалось, был бы несомненно послан в Среднюю Азию с особым „волчьим паспортом". Он потому предпочел уехать за границу, чтобы поработать над своим теоретическим развитием и затем вернуться назад для нелегальной

работы. Я помню хорошо, как он корпел над Рикардо и Марксом, принимая в то же время самое деятельное участие в делах тогдашней Цюрихской колонии, членами которой являлись многие способные студенты и студентки, в том числе Роза Люксембург, Х. Раковский, Юлий Мархлевский и др. Когда между мною и Плехановым возникло крупное недоразумение, посредником между нами выступил Грозовский. Второй раз мы встретились летом 1891 года на Фирвальштедтском озере в Веггисе, где жили тогда Парвус и Люксембург. Помню хорошо, как Грозовский доказывал мне необходимость „помириться" с Плехановым. Я скоро после того уехал в Россию и встретился с Грозовским много лет спустя, когда он уже ушел из русского движения.

Некоторые данные о том, что происходило после 1891 года, мы находим в статье Ю. Мархлевского [1]):

„Очутившись в Швейцарии, он вошел в сношение с Плехановым, но скоро с ним разошелся. Это было время, когда в кругах русской социал-демократии господствовали очень неприглядные отношения. В России движение только нарождалось; в эмиграции Плеханов хозяйничал по собственному усмотрению. Кто не ладил с ним лично, тот попадал в опалу и за ним оспаривали право называть себя социал-демократом. Тов. Иогихес был не из покладистых и не пожелал подчиняться такому режиму. С ним скоро сошлись другие члены эмиграции и решили действовать самостоятельно. Самым насущным был вопрос о революционном издательстве; и эмиграционная молодежь, и рабочие кружки в России страшно нуждались в литературе. Иогихес располагал довольно большими средствами и, собрав кружок сотрудников (Кричевский, Рязанов, Парвус), приступил к издательству „Социал-Демократической Библиотеки". Тут сразу сказались его организационные способности. Сам он не писал, но редактором был образцовым, до педантизма аккуратным; книжки библиотеки издавались великолепно, хорошо был поставлен и транспорт".

Тов. Мархлевский ошибается. Я в то время сидел уже в „Крестах" и не имел никакого отношения к „Социал-Демократической Библиотеке". Это lapsus memoriae, объясняющийся тем, что тов. Мархлевский знал от Грозовского о его знакомстве со мной и предполагавшейся совместной работе. О всем этом эпизоде я узнал только в 1900-м году, когда опять, после многих лет тюрьмы и ссылки, попал за границу.

Верно только, что Грозовский рассчитывал на литературное сотрудничество Парвуса и Кричевского. Но первый, уже обративший на себя внимание статьями в „Neue Zeit" о Бем-Баверке и в „Vorwarts'е" о голоде в России, в действительности не принял никакого участия в работе новой группы. Он поместил только, под фамилией Игнатьева, в „Neue Zeit" подробный реферат о первомайских речах виленских рабочих, вышедших в издании „Социал-Демократической Библиотеки". С 1894 года он окончательно перешел в ряды немецкой социал-демократии. Только после приезда „молодых"—Ленина, Мартова, Потресова—он принял впервые участие в литературных органах российской социал-демократии.

[1]) „Памяти Розы Люксембург и Льва Иогихеса",—„Коммунистический Интернационал" 1919 год, № 3.

Главным литературным работником группы был Борис Наумович Кричевский (умер в Париже в 1919 году). Ему принадлежат изданные группой переводы Маркса („Наемный труд и капитал", „18-е Брюмера") и Каутского („Эрфуртская программа"), а также две популярные брошюры („Борьба английских рабочих за свободу" и „Как бельгийские рабочие боролись за свободу").

Среди литературных заявлений этой группы нет ни одного, на основании которого можно было бы судить, какие принципиальные или тактическое разногласия отделяли ее от группы „Освобождение Труда". Подбор изданий свидетельствует лишь о том, что группа действительно неуклонно проводила свой план издания пропагандистской библиотеки для рабочих.

Но у самого Плеханова мы находим указание и на тактические разногласия в связи с голодом 1891—1892 года. Оно устанавливает связь между заграничной „оппозицией" и теми оппозиционными голосами, которые раздавались в самой России против взглядов, развивавшихся Плехановым как в его статье „Всероссийское разорение", так и в „Письмах о задачах социалистов в борьбе с голодом в России".

Во „Всероссийском разорении" Плеханов выставил следующие три ближайших требования:

1) Немедленно найти средство для продовольствия сорокамиллионного населения пострадавших от неурожая губерний и для помощи рабочему классу, бедствующему от причиненной неурожаем безработицы.

2) Помочь русскому крестьянству восстановить свое земледельческое хозяйство, в конец разоренное многовековым грабежом, практиковавшемся помещиками и царскими чиновниками.

3) Сверху донизу переделать нашу финансовую систему, всею своей тяжестью лежавшую до сих пор на спине крестьянина.

Именно для осуществления этих требований, должны были, по мнению Плеханова, „все честные русские люди, которые, не принадлежа к миру дельцов, кулаков и русских чиновников, не ищут своей личной пользы в бедствиях народа, немедленно начать агитацию в

пользу созвания Земского Собора, долженствующего сыграть роль Учредительного Собрания, т.-е. положить основы нового общественного порядка в России".

Эта постановка вопроса вызвала целый ряд недоразумений в социал-демократической среде. Кое-какие указания на это мы находим в названных нами выше „Письмах", в которых Плеханов сделал попытку обосновать свой взгляд более подробно:

„В моей статье „Всероссийское разорение" некоторые увидели отказ от прежней социал-демократической программы и не то поворот, не то отступление в сторону „чистой политики", политики свободной от примеси невозможного теперь „социализма".

„Когда в статье „Всероссийское разорение" я писал, что все честные русские люди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и которые не хотят, по выражению поэта, в роковое время позорить гражданина сан, должны агитировать в пользу созвания Земского Собора, мысль об отказе от классовой борьбы была от меня дальше, чем когда бы то ни было. И если, как мне пишут из России, некоторые молодые товарищи с неприятным для них удивлением увидели в названной статье именно эту мысль, то остается только пожалеть, что предлагаемые письма не вышли раньше".

В post scriptum'е к „Письмам" Плеханов цитирует еще одно заявление русских товарищей, показывающее, что статья „Всероссийское разорение" была „плохо истолкована русскими читателями".

„Как вы думаете достичь поставленных себе задач, вроде сбора трехсот миллионов рублей, которых не даст Вышнеградский?—спрашивает меня живущий в России читатель,—или что вы понимаете под восстановлением разоренного крестьянского хозяйства?—на каких началах: мелкого землевладения или общины? Тогда—как согласить это „с нашими разногласиями"?

К чему сводились разногласия Плеханова с Иогихесом и его товарищами, теперь сказать трудно. Но несомненно, что группа молодых имела все основания протестовать против той формулировки, которую взгляды Плеханова нашли в статье „Всероссийское разорение" и которую он поспешил исправить в своих „Письмах".

Но к разногласиям по вопросу о голоде прибавились и разногласия по польскому вопросу. Из письма Плеханова мы узнаем теперь, что ему была прекрасно известна роль, которую играл Иогихес в деле организации Польской Социал-Демократической Партии. Борьба между польскими марксистами и Польской Социалистической Партией началась незадолго перед Цюрихским Международным конгрессом.

Опираясь на старое требование Маркса и Энгельса,—необходимость восстановления старой Польши,—Польская Социалистическая Партия, в которую вошли в очень небольшом количестве представители старого „Пролетариата" и в очень большом количестве польские буржуазные националисты, прикрывавшиеся социалистической фразеологией, заняла сейчас же позицию, крайне вредную для интересов русского рабочего движения. В то время, как польские социал-демократы отстаивали с самого начала необходимость тесной солидарной борьбы польского и русского пролетариата против царизма, польские социалисты употребляли все усилия, чтобы дискредитировать или свести совсем на-нет успехи молодого русского рабочего движения. Эта тактика через несколько лет вынудила и Плеханова порвать с лидерами P. P. S.

А пока на Цюрихском конгрессе в 1893 году Плеханов поддерживал P. P. S. Его показанию в письме к Энгельсу необходимо теперь противопоставить показания тов. Мархлевского:

„Варшавские рабочие прислали мандат мне, заграничные группы дали мандаты Розе Люксембург и тов. Варскому. Против нас повели бешеную кампанию вожаки P. P. S.,—кампанию, в которой они прибегли к гнуснейшему средству, выдвинув против тов. Варского заведомо ложное обвинение, что он „русский агент". Так как среди них были люди, давно поддерживавшие хорошие отношения с вождями Интернационала—с Энгельсом, Вильгельмом Либкнехтом и др.,—то им легко было представить дело в таком виде, что мы, мол, являемся кучкой интриганов, нарушающих единство польского социализма. Несмотря на блестящую речь Розы Люксембург, опровергавшую эту ложь, конгресс решил не признать мандатов ее и тов. Варского. Очень неблаговидную роль сыграл в этом деле Плеханов: он был хорошо знаком с польскими делами, и достаточно было одного слова этого популярного в Интернационале человека, чтобы изобличить интригу, но он предпочел молчать и потом признался, что ему неловко было „итти против мнения старика Энгельса".

Тов. Мархлевский вполне прав, указывая, что Плеханов в этом деле играл решающую роль. За признание мандата Люксембург высказалось такое значительное число делегатов, что Бюро уже готово было допустить ее. При голосовании по национальностям семь высказалось за, девять—в том числе Плеханов, единственный делегат от России, и Польша—против.

Современному читателю нечего доказывать, что отчет Люксембург о движении в Польше не был ни иезуитским, ни лживым. Наоборот, он является одним из интереснейших документов в истории польского марксизма, показывающих, как рано Люксембург вскрыла буржуазный характер всей программы P. P. S.

Нам, к сожалению, не известна речь Плеханова, произнесенная им по приглашению комитета, в котором, по его собственному признанию, верховодили чистые патриоты более или менее католической окраски.

Нужно прибавить, что если характеристика Иогихеса мало соответствует действительности, то характеристика Кричевского, наоборот, довольно верна. Будущий теоретик „Рабочего Дела“ был плохим революционным практиком и очень легко поддавался различным настроениям.

В пятом письме Плеханов продолжает убеждать Энгельса, чтобы он не давал предисловия к переведенной Кричевским брошюре „Internazionales am dem Volksstaat“. Перевод статьи о Ткачеве и послесловие к нему, сделанный В. Засулич, вышел в августе 1894 года [1]). Предисловие написано Плехановым в Морнэ, в июле 1894 года. Энгельс, как видно, предпочел отказаться совсем от предисловия, которое у него просили обе стороны.

В этом же письме Плеханов, которому из писем Энгельса известно было, какую роль играет Николай Даниельсон, как главный информатор Маркса и Энгельса о России, начинает свою кампанию против „человека, который, при своих знаниях, мог бы дать русской читающей публике нечто лучшее“, но к которому он еще в только что упомянутом предисловии к статьям Энгельса о Ткачеве относится очень мягко.

А Николай—он как раз в это время употреблял все усилия, чтобы убедить Энгельса выступить публично в споре, который завязался в русской легальной литературе в связи с его „Очерками нашего дореформенного общественного хозяйства“. Осторожный Энгельс, продолжая непосредственно убеждать Николая—она в ошибочности некоторых его взглядов, в то же время справляется у Плеханова и других русских марксистов, какую позицию занимает Николай—он в спорах между народниками и социал-демократами.

Обо многих этих вопросах Энгельс мог беседовать с Плехановым, когда последний был выслан в июле 1894 года из Франции и, не имея возможности вернуться в Женеву, уехал в Лондон, где и написал „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“. Этими беседами объясняется, вероятно, в немалой степени категорическая просьба Энгельса—в письме к Николаю—ону от 24 ноября 1894 года—ни в коем случае не цитировать его мнения в полемике с П. Струве. „В самом деле, если бы мои мнения, высказанные в частных письмах, появились в русской прессе, с моего предварительного согласия, то я не имел бы после этого никакого оправдания в глазах моих русских друзей—здесь и на континенте,—которые настойчиво побуждают меня к деятельному вмешательству в русские споры с целью исправить мнение того или другого писателя по тому или другому пункту“.

---

[1]) „Фридрих Энгельс о России“, Женева 1894.

Плеханов продолжал настаивать на этом и после отъезда из Лондона. Энгельс не соглашался. А в начале июня 1895 года уже показались признаки болезни, которая в два месяца положила конец его жизни. Последнее письмо Плеханова—оно писано в начале июня—застало Энгельса уже на смертном одре.

Главные факты из истории рабочего движения начала царствования Николая II теперь слишком хорошо известны, чтобы останавливаться на них. Известны также почти все фамилии, упоминаемые Плехановым. Фрейбергер—врач в Лондоне, женатый на первой жене Каутского, принимавшей деятельное участие в рабочем движении в начале 90-х годов.

Письма Г. Плеханова к Рихарду Фишеру не нуждаются ни в каких комментариях. Фишер заведывал типографией и издательством „Vorwärts'a“. Когда-то большой радикал, он с тех пор стал очень умеренным и занимает теперь место на правом фланге немецких социал-демократов.

Д. Рязанов.

Письма Плеханова к Энгельсу.

I.

Дорогой и уважаемый учитель!

Сообщаю Вам адрес, о котором Вы меня просили: Madame Bograde-Plekhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève.

Я счастлив сообщить его Вам и, следовательно, быть вправе ожидать от Вас письма. Если я сам первый не написал Вам, то это объясняется тем, что я не хотел мешать Вам и заставлять Вас тратить время. Я теперь мечтаю о путешествии в Лондон, где я мог бы увидеть Вас и побеседовать с Вами о положении в России и о моих теоретических работах. Но я еще не знаю, когда мне удастся осуществить эту мечту. Дни, которые я провел в Лондоне в Вашем обществе, принадлежат к самым счастливым моментам моей жизни. Я подготовляю теперь ряд статей (для „Neue Zeit“) о Гольбахе, Гельвеции и Марксе, и чем больше выясняются мои мысли по поводу французского материализма XVIII столетия, тем более восторгаюсь я теми страницами, которые Вы написали по этому поводу в Вашем труде „Людвиг Фейербах“ и т. д. Эта брошюра дает внимательному читателю больше, чем могут дать сотни томов, написанных официальными философами, философами ex professo. Мне говорили, что Вы написали несколько доброжелательных слов обо мне Каутскому по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, то мне не надо лучшей похвалы. Все, чего я бы желал, это быть не совсем недо-

стойным учеником таких учителей, как Маркс и Вы. Привет гражданке Элеоноре Маркс-Эвелинг и ее мужу. В. З. [1]) сердечно кланяется Вам. Примите, дорогой учитель, уверение в моей искренней преданности.

Г. Плеханов.

P. S. Вот уже больше 3 месяцев, как я вернулся в Женеву, благодаря влиянию молодой женевской рабочей партии. Но дело еще не решено окончательно. Возможно, что мне придется опять уехать во Францию, где я жил (в департаменте Верхней Савойи) последние 3 года.

Г. П.

Женева, 25 марта 1893.

II.

Мой дорогой учитель!

Податель этого письма, Алексей Воден, молодой русский студент из наших друзей, очень прилежный и очень способный. Единственное несчастье его состоит в том, что он слишком много работал, работал до тех пор, пока не заболел: он стал ужасно нервным. Уезжая в Лондон, он просил меня рекомендовать его Вам. Делаю это тем более охотно, что убежден, что Вам интересно будет видеть одного из лучших представителей нашей русской молодежи. Он славный малый, и я уверен, что он извлечет большую пользу из знакомства с Вами. Он не то, что немцы называют ein Mann der That, но он действительно чрезвычайно способен к теоретическому труду, а Вы хорошо знаете, что люди этого закала часто очень полезны для движения.

В. З. кланяется Вам и в свою очередь просит Вас хорошо принять нашего молодого друга. Путешествие в Лондон и Ваши беседы составят эпоху в его жизни.

Примите, дорогой учитель, уверение в полной моей преданности. Привет m-me Луизе Каутской. Я имел удовольствие познакомиться с ней в Цюрихе.

Г. Плеханов.

Génève, 5, Rue des Allemands.
2 апреля 1893.

III.

Отрывок.

У меня нехватает почтовой бумаги. Извините меня. Единственная лавка в деревне, где я живу (Морнэ), очень далеко, а дождь льет, как из ведра. Я продолжаю:

Вы видите, что если во времена Маркса наши революционеры

[1]) В. Засулич.

могли черпать некоторую энергию в той идее, что Россия не пройдет через фазу капитализма, то та же самая идея в наше время становится чрезвычайно опасной утопией. В настоящее время безусловно необходимо бороться с ней.

Кстати. От времени до времени английские консулы печатают отчеты о состоянии промышленности в разных странах. Составляют ли эти отчеты отдельные книги, или они печатаются в каких-нибудь официальных журналах? Каково их точное заглавие? Вы сильно обяжете меня, если сообщите мне кое-что по этому поводу.

Несколько лет тому назад очень много писали о книге одного англичанина о русской промышленности. По-русски фамилию этого англичанина писали Эджеворт, я не знаю, как ее пишут по-английски. Знакома ли Вам такая книга? Известны ли Вам вообще английские книги, трактующие этот вопрос? Что говорят английские газеты о русских товарах на Чикагской выставке? Напишите мне об этом несколько слов.

Я говорил Вам о полемике Михайловского против Вас и против Маркса. Вот образчик его аргументации. Я цитирую то, что Вы пишете в „Людвиге Фейербахе" по поводу одной из Ваших рукописей, написанной 50 лет тому назад: „она показала мне, как неполны были в то время наши экономические познания". „Вы видите, — восклицает г-н Михайловский, — их познания были недостаточны в то время, а между тем их исторический материализм возник уже тогда, следовательно, он построен на недостаточном основании". Ну, разве это не очень остроумно? И этот господин наиболее интеллигентный из этих господ искателей настоящего экономического пути для Святой Руси! Это тот самый господин Михайловский, против которого было направлено письмо Маркса. Мне кажется, что в проекте Маркса письмо должно было быть адресовано не Михайловскому, а редактору „Вестника Европы". Этот господин до комизма гордится этим письмом. Он следующим образом излагает весь этот инцидент. До прочтения его статьи: „Карл Маркс перед судом Ю. Жуковского" Маркс думал, что Россия должна пройти через капитализм; но, прочитав эту замечательную статью, он изменил свое мнение. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, как говорит наш Лермонтов.

Пишите мне,—если у Вас будет охота,—по адресу моей жены: Bogtade-Plekhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève. Меня опять выслали из Женевы, и возможно, что меня вышлют также из Франции.

Если Вы увидите Бернштейна, спросите его, что сталось с моей статьей об анархистах; кончил ли он перевод? Привет от всех нас.

Преданный Вам Г. Плеханов.

IV.

Мой дорогой учитель.

Группа Кричевского, Игнатьева и компании составляет совершенно особую группу, заслуживающую подробной характеристики.

Кричевский находится за границей с 1887 г. Он не принимал активного участия в русском движении. Он жил в каком-то провинциальном городе, где принадлежал к одному из тех кружков молодежи, которые занимаются чтением и распространением революционных брошюр, если к этому представляется случай. Как ни было невинно подобное занятие, его было достаточно, чтобы скомпрометировать Кричевского. Он покинул Россию. В то время багаж его социалистических идей был очень легковесен и в особенности очень мало ценен: русский народник, т.-е. наполовину демократ, наполовину анархист. Но этот человек не лишен некоторой дозы интеллигентности. Он читал и учился за границей. Он понял, что его социализм не имеет ничего общего с современным социализмом. Он становится социал-демократом. Некоторое время он был с нами. Но, мало активный по своему темпераменту, он не мог много сделать, в особенности, благодаря своему положению эмигранта, совершенно неизвестного в России. Он учился, делал переводы для немецких социалистических газет (он перевел почти все мои статьи для „N. Z.“; он перевел мои статьи о Чернышевском); он написал для „N. Z.“ статью под заглавием „Русское революционное движение прежде и теперь“ (1890). Если Вы читали эту статью, она должна была произвести на Вас неприятное впечатление: слишком много доктринерства, слишком мало понимания революционной стороны нашего движения. Кричевский принадлежит к тому типу талмудистов новейшего социализма, которые умеют схватить его букву, но не дух. Он представляет нечто вроде „истинного“ социалиста, возмущающегося против всего, что хотя бы сколько-нибудь противоречит формулам, запечатлевшимся в его памяти. Но так как он никогда не пользовался влиянием, то с ним худо ли, хорошо ли можно было бы столковаться, если бы он не встретился с некиим Иогихесом, его злым гением, его теперешним вдохновителем.

Что касается г-на Иогихеса (его псевдонимы: 1) Грозовский, 2) Левка; под этим последним именем он известен Мендельсону и его друзьям), то он оставил Россию, чтобы уклониться от неприятностей военной службы. Но до совершения этого акта практического антимилитаризма он принадлежал к революционной группе в Вильне. Он содействовал доставке в Россию нескольких кило революционных книг; он вел сношения с пограничными евреями-контрабандистами. Его молодые друзья (по большей части, гимназисты)

объявили его большим конспиратором. Но его несчастье состоит в безграничном тщеславии и в том, что он совершенно не стесняется в средствах. Его идеалом практического человека является Нечаев, приемы которого Вам известны. Но как ни был ограничен Нечаев, у него не было недостатка в энергии, и он не щадил своей собственной жизни. Нечаев в миниатюре, Иогихес обладает энергией только для интриг за границей. На этом поприще он неутомим, неисчерпаем и в особенности беспристрастен. Будучи родом из Вильны, он знает польский язык, и пользуется этим, чтобы интриговать как среди поляков, так и среди русских. Мендельсон расскажет Вам, что он сделал, чтобы повредить польскому движению. Я расскажу Вам его поступки, касающиеся русского движения.

Пока он был в России, Иогихес выдавал себя за народовольца. Но уже тогда он понимал, что общее течение уже не в пользу Народной Воли. Приехав за границу, он объявил себя социал-демократом. Он старался сблизиться с нами. У нас не было никакого желания отталкивать его. Он обратился к нам за советами относительно его будущей деятельности. Мы ему ответили, что, ввиду того, что, по его словам, он обладает организаторским талантом, он должен поехать в Россию.—Но у меня нет паспорта.—Вы его получите.—У меня нет денег.—Они найдутся. Когда все трудности были устранены, и надо было ехать, Иогихес заявил, что он получил от одного из своих друзей 15 тысяч рублей „для дела“ и что он считает себя обязанным остаться за границей, чтобы сделать хорошее употребление из этих денег (!). Я и до сих пор не знаю, откуда взялись эти деньги; я думаю, что он имел их уже во время переговоров с нами (говорят, что мать его очень богата). Как бы то ни было, г-н Иогихес предложил нам новые условия: 1) он остается за границей; 2) он употребляет проценты с капитала для нужд движения; 3) во всяком предприятии он один имеет столько голосов, сколько мы все: все наши сношения с нашими товарищами в России он отныне будет вести один, мы должны ему передать все наши адреса, все наши знакомства (это последнее условие делало его иногда почти подозрительным). Мы поняли, что этот человек только революционный карьерист, Streber, как говорят немцы. Наши взаимные отношения стали очень холодными. Он дал, однако, немного денег для наших изданий, но в то же самое время он вел глухую кампанию против нас везде, где он только мог. Он искал случаев составлять нам оппозицию.

Первым таким случаем явился голод в России. Мы говорили во всех наших брошюрах и во всех письмах, посылаемых в Россию, что наши товарищи должны воспользоваться положением для конституционной агитации. Г-н Иогихес третировал нас, как изменников социализма: „для истинного социалиста конституционная агита-

ция не имеет смысла". Отсюда Вы видите глубину его идей. Но он еще не боролся с нами открыто; он только угрожал нам, что перейдет на сторону Лаврова. Это нас очень мало трогало, тем более, что у Иогихеса, по нашему мнению, было достаточно ума, чтобы понять, что Лавров остается все более и более одиноким, изолированным. И в самом деле Иогихес не совершил этой ошибки. Но он сумел привлечь на свою сторону Кричевского и вместе с ним начал издавать „Социал-Демократическую Библиотеку". Вдруг Кричевский стал нашим ожесточенным врагом.

Между тем, открылся Цюрихский конгресс. Иогихес, который, как я уже говорил, беспристрастно интриговал и среди поляков, и среди нас, основал за две недели до конгресса социалистический польский журнал „Sprawa Robotnicza" (Рабочее Дело); ко времени конгресса появился только один номер его. Но не важно. Он послал некую Люксембург в качестве делегатки журнала. Делегатка Иогихеса, в компании с другим „товарищем", представила лживый и иезуитский отчет о движении в Польше. Вся польская делегация с негодованием отвергла ее. Она обратилась ко мне, указывая, что, ввиду того, что она родилась в русской Польше и что ее друзья работают там, она не хочет быть с поляками, а хочет быть с русскими. Несмотря на протесты польской делегации, Бюро допустило m-lle Люксембург. Поляки апеллировали к конгрессу. Голосование происходило по национальностям; конгресс аннулировал решение Бюро. Я голосовал с польской делегацией, против допущения m-lle Люксембург. Я не мог поступить иначе, потому что, поддерживая предложение об аннулировании польской делегации (т.-е. предлагая делегатам русской Польши войти в русскую делегацию, делегатам Австрии в австрийскую делегацию и т. д.), я требовал бы нового раздела Польши, другими словами—я сделал бы колоссальнейшую глупость. Г-н Иогихес воспользовался этим вторым случаем, чтобы назвать меня—на этот раз открыто—предателем социализма и союзником буржуазных патриотов (эти буржуа: это - Мендельсон и его друзья). Г-н Кричевский поднял еще больший шум, и раскол совершился. Впрочем, гражданка Элеонора Маркс-Эвелинг знает перипетии этой борьбы членов конгресса против и за прекрасную m-lle Люксембург. (На конгрессе она фигурировала под другим именем.)

По случаю столетней годовщины польской революции 1794 г. Иогихес и компания метали против меня громы и молнии, как только он узнал, что комитет празднества пригласил меня выступить с речью.

Кстати, именно интриги этих господ и польских друзей m-lle Люксембург заставили меня спросить через посредство Бернштейна Ваше мнение об этом деле. Я думал, что Мендельсон уже информировал Вас о том, что происходило в Цюрихе.

Празднество происходило 14 мая. Приехав в Цюрих, я узнал, что внутри комитета произошло несколько революций (Polska nie zadem stoi) и что в данном случае верховодят чистые патриоты (более или менее католической окраски). Я обратился за советом к нескольким польским социалистам, жившим в Цюрихе. Они сказали мне, что они все равно придут на празднество и что они просят меня притти говорить. Я не отказался. В первой половине своей речи я привел Ваше и Маркса мнение о польском вопросе, во второй половине я сказал, что, как русский, я от всего сердца за независимость Польши, потому что я убежден, что, чем больше в Варшаве господствует порядок, тем больше вешают в Петербурге. „Чистые" и „истинные" во вкусе г-на Иогихеса не преминут напасть на меня после моей речи, как они это делали до нее. Но я считаю свою позицию неприступной.

Но вернемся к делу.

Все предприятие Кричевского и Игнатьева (я не знаю этого господина; я думаю, что это новый псевдоним Иогихеса, который хотел бы испытать его на литературном поприще) направлено непосредственно против нас и против поляков при посредстве m-lle Люксембург. Оно имеет целью создать пьедестал г-ну Иогихесу. „Нам не хватает популярности", наивно говорил Кричевский одному из моих друзей. Для приобретения популярности, переводят Маркса, просят у Вас предисловий. Популярность этих господ сильно повредит русскому, а также польскому движению. Я уверен, что Вы не захотите поддерживать такого жалкого дела.

Вас удивляет, что эта компания сделала новый перевод „Наемного труда и капитала". Более того. Как только появилась Ваша брошюра „Internationales" и т. д., Вера Засулич перевела Ваш ответ Ткачеву и Nachtrag. Я предупредил Кричевского, что мы собираемся издать этот перевод. Он сделал другой перевод, который он издает теперь и для которого он просит у Вас предисловие. Они хотят создать такую же анархию, какая царствует среди народовольцев, где всякий делает то, что он хочет.

Десять лет тому назад Засулич, сделав перевод Вашего „Развития социализма", просила у Вас разрешения издать на русском языке Ваши произведения и произведения Маркса. Вы не отказали нам в этом разрешении. Засулич считала, что поступает соответственно этому, когда переводила „Soziales aus Russland". Но два издания в одно и то же время не имеют никакого смысла. Бесполезно говорить, что мы с радостью напечатаем предисловие, если Вы нам его дадите.

Я нахожу теперь, что уже давно должен был написать Вам обо всем этом. Но Вы понимаете, как это тяжело. Это пахло бы интригой, а я ненавижу интриги.

Я прочел свое письмо Аксельроду. Он совершенно согласен со мной. Засулич могла бы еще кое-что прибавить к характеристике Иогихеса, который внушает ей глубокое отвращение.

Аресты в России, к сожалению, очень многочисленны. Арестовано много интеллигентов („intelligentia"). Но удар далеко не непоправим.

Привет Вам, дорогой учитель. Прошу Вас передать привет Бернштейну. Я очень благодарен ему за его истинно-дружеское письмо. Из „N. Z." я узнал, что только что появился немецкий перевод моего Чернышевского. Я позволю себе послать Вам экземпляр.

Я ничего не сказал в моем письме о польских делах. Скажу только одно: Мендельсон, может быть, сделал ошибки, но не Иогихес и компания спасут положение.

P. S. Аксельрод считает нужным, во избежание недоразумений, прибавить, что мы предлагали Иогихесу поехать в Россию лишь после того, как он много раз выражал желание совершить эту поездку. Иогихес всегда выражал сильное презрение по отношению к тем революционерам, которые оставались за границей без абсолютной необходимости. Привет от нас всех. Преданный вам

Г. Плеханов.

Так как я останусь еще некоторое время в Цюрихе, прошу Вас адресовать Ваш ответ—если ответ будет, а мы будем ждать его с нетерпением—Аксельроду, 33, Mühlegasse, Zürich.

Цюрих, 16 мая 1894.

V.

Дорогой гражданин Энгельс,

Спешу Вам ответить, но разрешите мне начать с самого интересного вопроса: *Н.—он* и его книга.

Вы говорите, что он боялся последствий нашествия капитализма в Россию. Это вполне понятно, но, с другой стороны, в чем и каким образом русская сельская община помогла бы нам избежать тех зол, которых он опасался? Каково современное положение этой общины?

Уже в 1879 г. известный Орлов (основатель статистики русских земств) писал в своей книге: „Формы землевладения в Московской губернии", что для самых бедных членов общины (а их очень много) она стала вредным институтом (для беднейшей части крестьян община стала тормозом, бичем. Бич—fleau). Не имея средств для обработки своих земель, эти члены общины платят однако налоги, как если бы они пользовались своими наделами. Эти налоги (а они очень высоки) правительство берет с их заработной платы в качестве фабричных рабочих. При этих условиях

разрушение общины было бы очень чувствительным облегчением для этих людей. А у правительства было бы одним поводом меньше заставлять платить тех, которые что-нибудь имеют, за тех, которые ничего не имеют; вместе с общиной отпадает и круговая порука. Ослепление наших народников и даже наших либералов по поводу общины идет так далеко, что они сами говорят правительству: но кто же будет платить налоги, если община будет разрушена? Вы согласитесь, что это значит слишком далеко заходить в своей наивности, если не в глупости. Они повторяют здесь то, что сказал уже наш Торквемада-Победоносцев, который в очень интересной статье в реакционном „Русском Вестнике" говорит: сельская община спасет нас от рабочего движения и от социализма. И в самом деле, старый общинник (член общины) был так мало революционен, что русский царизм мог бы существовать еще тысячи лет, если бы экономическое движение не преобразовало его способа существования, а затем и его образа мыслей. Теперь можно без всякого преувеличения сказать, что чем больше разрушается наша старая экономическая структура, столь любезная Н.—ону, тем больше мы приближаемся к революции.

Н.—он ставит вопрос о капитализме так, как будто его еще нет в России. На самом же деле мы уже страдаем от капитализма и страдаем еще потому, что капитализм у нас слабо развит. Одно страдание над другим, это в сильной степени увеличивает наши экономические бедствия, не говоря уже о нашем политическом положении, которое превосходит все, что можно сказать дурного о нем.

Но предположим, что община—наш якорь спасения. Кто осуществит предлагаемые Н.—оном реформы? Царское правительство? Лучше чума, чем реформы, исходящие от подобных реформаторов! Социализм, насаждаемый русскими исправниками, что может быть более химерического?

Впрочем, правительство делает все возможное, чтобы разрушить злополучную общину.

Последние аресты в России коснулись приблизительно *2.000* человек. Большая часть арестованных уже освобождена.

Перейдем теперь к Кричевскому.

Если судить по отрывку из его письма, на которое Вы ссылаетесь, то он сам признает, что он знал о нашем намерении издать Вашу брошюру lange vor dem 10.—mai (задолго до 10 мая). Он говорит только, что он знал о этом aus dritten Hand (из третьих рук). Но „Hand" (источник), из которого он об этом знал, это наборщик их собственной типографии. При демократических нравах русских революционеров наборщик типографии—это почти что член редакции. А что касается наборщика, то я сообщил ему о нашем намерении

именно для того, чтобы он сообщил об этом Кр. Он мне ответил через одного из наших болгарских друзей, который вместе с тем и его друг, что он сообщил об этом намерении редакции „Социал-Демократической Библиотеки", но что редакция настаивает и хочет безусловно, чтобы он начал набирать брошюру.

Кричевский утверждает, что мы обязаны были сообщить в печати о нашем намерении издать эту брошюру. Это, может быть, было бы полезно, но не с точки зрения психологии г-на Кричевского, который принял твердое решение издать брошюру во что бы то ни стало. По правде сказать, я не напечатал объявления, чтобы избавить читателей от удивления по поводу этого двойного издания социал-демократами одновременно одной и той же брошюры. Я знал, что по этому поводу будут очень много говорить, и чтобы избежать этого, я готов был писать Вам и спросить у Вас совета, но воздержался от этого по соображениям, о которых я писал в своем письме из Цюриха.

Но я хорошо помню, что наборщик Кр. и комп. несколько раз говорил нашему посреднику: Плеханов хорошо бы сделал, если бы лично написал Иогихесу. Я считал такой поступок бесполезным, так как знаю г-на Иогихеса. Теперь я предполагаю, что редакция „Социал-Демократической Библиотеки" написала своему наборщику, что она не считает его письмо официальным. Она уже тогда склонна была говорить о его письме, как об известии, полученном из третьих рук („aus dritten Hand"). Так как наборщик, работая у них, хорошо относился к нам (лучше, чем к ним), он хотел бы своим советом заставить меня помешать проекту Иогихеса. Но довольно, эти господа были хорошо и надлежащим образом предупреждены.

Само собою разумеется, что, приводя им этот факт, Вы не назовете имени Иогихеса; меня обвинят в разоблачении псевдонима. Фамилия наборщика Блюменфельд.

Нахальство Крич., как общее правило, не удивляет меня. Нахальство в его натуре. Но чтобы он был нахален даже по отношению к Вам, это удивляет меня даже с его стороны.

Со дня на день я и Вера (которая живет здесь под псевдонимом) ждем высылки. Казимир Перье не будет нас долго щадить. Жандармы и шпионы постоянно шныряют около нашей квартиры.

Итак, мы вероятно очень скоро увидимся. Привет Вам, Бернштейну, Эвелингам и m-me Луизе Каутской. В. З. всем Вам кланяется.

Преданный Вам Г. Плеханов.

Morнex, 10 июля 1894 г.

VI.

Дорогой генерал,

Я несколько раз приходил к Вам, когда Вы менее всего этого ожидали. Вероятно, Вас очень удивляли эти несвоевременные визиты. Скажу вам в чем дело.

У Вас есть несколько редких книг („Neue Rheinische Zeitung", напр., газета и журнал), которые я с нетерпением жажду, по крайней мере, просмотреть, если уж нельзя их прочесть. Я приходил просить у Вас разрешения приходить рыться в них у Вас. Но каждый раз у меня не хватало мужества, потому что я говорил себе, что это будет Вам мешать. Но надо однако покончить с этим вопросом, и я прошу Вас написать мне, возможно ли это дело, и когда мое посещение будет наименее неприятно для Вас.

Я считаю задачей моей жизни пропаганду Ваших идей и идей Маркса. Я должен поэтому быть хорошо с ними знаком. Вот смягчающее обстоятельство, которое Вы, надеюсь, примете во внимание.

Преданный Вам Г. Плеханов.

30 октября 1894.
95, St Stephens Avenue, 95
Shepherd's Bush, W.

VII.

Женева, 2 февраля 1885 (1895).

Неделю тому назад я послал Вам через Веру русскую книгу, по поводу которой мне было бы очень любопытно знать Ваше мнение. Но очень возможно, что Вы еще не получили книги, так как Вера, как видно, очень больна. Именно о ее болезни я и хочу с Вами поговорить.

Со времени ее пребывания в Швейцарии Вера так мало заботилась о себе, что только по нашим настояниям она соглашалась принимать некоторые лекарства. Теперь она далеко от нас, и я уверен, что она совершенно отказалась от лечения. Ее надо заставить лечиться. Доктор Фрейбергер окажет нам огромную услугу, если будет посещать Веру и выслушивать ее. Я не пишу ему непосредственно, так как предполагаю, что он может быть очень занят и что поэтому моя просьба будет ему неприятна. Если нет,—а Вы знаете это лучше кого бы то ни было,—поговорите с ним о Вере и попросите его написать мне пару слов о состоянии нашей упрямой больной. Кланяйтесь ему от меня, ему и madame Фрейбергер.

Вы вероятно читали в газетах, что Николай II заявил, что он пойдет по стопам своего „незабвенного" родителя. Это поддаст либерального духа нашему „обществу", которое в этом очень нуждается.

Мы, конечно, не будем на это жаловаться.

Я надеюсь, что Вы здоровы, несмотря на русские холода, которые стоят теперь в Лондоне.

Я, моя жена и Аксельрод, который теперь в Женеве, мы всё шлем Вам сердечный привет.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

VIII.

Женева, 20 февраля 1895 г.

Генерал,

Я не ответил Вам немедленно, потому что понимал, как трудно устроить это дело. Очевидно, что Фрейбергеру неудобно явиться в качестве врача без приглашения Веры. С другой стороны, если бы Вера решилась говорить о своей болезни Бернштейну или Элеоноре Маркс-Эвелинг, это было бы уже началом благоразумия, что при ее характере кажется мне совершенно невозможным. Из этого положения есть только один выход: это напасть на Веру, когда она придет к Вам. Видя, что Вы на моей стороне, она сдастся без боя.

Я послал Вере январский № „Русского Богатства“. В этом № есть критика Вашей книги „Происхождение семьи, собственности и т. д.“ некоего Зака. Это господин, совершенно неизвестный в нашей литературе, и, если судить по началу, он ничего хорошего не обещает. Критика эта нелепа, как и все нападки этого журнала, направленные против Вас и против Маркса. Что меня удивляет, это что г-н Даниельсон продолжает сотрудничать в журнале, характер которого теперь уже вполне определился. Впрочем, сам Даниельсон в статье, направленной против П. Струве, говорит о правительстве Николая II, как о правительстве, которое может взять на себя дело „организации производства“ в нашей стране. Уже по одному этому он является реакционером и утопистом в одно и то же время. Меня совершенно не удивляет подобный вздор со стороны Михайловского. Уже во времена Лорис-Меликова он ясно изложил свою „программу“, в которой царское правительство фигурирует в роли мироторца и организатора. Но переводчик „Капитала“ должен был обладать большим политическим тактом. Даниельсон причинит много зла нашему революционному движению. Может быть, Вы могли бы высказаться по поводу этого вопроса, напр., в „Neue Zeit“. Это такой важный вопрос, что ему стоит посвятить несколько страниц. И Ваш голос быстро положил бы конец всяким „превратным толкованиям“ этого господина.

Если наши „wahre Sozialisten“ („истинные социалисты“) порядочно реакционны, за то наши земства зашевелились. Вы, без сомнения, знаете о петиции Тверского земства? Петиция Черниговского земства еще более определенна. Молодой идиот Зимнего дворца своей речью оказал огромную услугу революционной партии. Прошу Вас передать мой привет Фрейбергерам и Эвелингам.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

P. S. Читали ли Вы лекцию Жореса об идеализме и материализме? Странный „философ“ этот господин Жорес!

Мой теперешний адрес: 6, Rue de Candolle, Génève.

IX.

3 марта 1895 г.

Генерал,

Прежде всего о Вере. Благодарю Вас за Ваше великодушное предложение, которое я рассматриваю, как трогательное доказательство Вашей дружбы к нам, но даю Вам честное слово, что Вера не нуждается в деньгах. Я надеюсь, что она еще долго не будет в них нуждаться. К сожалению, по отношению к ней дело не в посылке денег, но в том, чтобы заставить ее тратить их. У нее есть свои принципы, она не позволяет себе „роскоши“, а она называет роскошью то, что другие называют необходимым. В этом она неисправима. Когда мы вместе жили в Морне, я заставлял ее иметь здоровую и разнообразную пищу, заказывая ее хозяйке для нее обеды каждый день. В Лондоне, будучи одна, она пользуется своей свободой совершенно не обедать. Кусок жареного мяса, иногда две чашки чая или кофе с несколькими хлебцами—вот ее обыкновенная пища. Я браню ее за это во всех моих письмах, но она не обращает на это внимания. Что могу я сделать при этих условиях. Это поистине непростительная растрата сил, драгоценных для нашего движения. Побраните ее с своей стороны,—Вы нам окажете услугу.

Я прекрасно понимаю, что чтение „Русского Богатства“ не привлекательное дело для Вас. Но мы принуждены это делать во всяком случае. Мне кажется, что Вы не имеете точного представления о политическом кретинизме этих господ. Приведу пример. В конце царствования Александра II, во время диктатуры Лорис-Меликова, когда существовала некоторая свобода печати, тот же самый г. Михайловский, с которым мы теперь полемизируем, писал в одной из своих статей, что в России миссия решения социального вопроса принадлежит правительству. На Западе дело обстоит не так, говорил он, но мы вовсе не западники. Это было на

писано тогда, когда революционеры вели с русским правительством борьбу на жизнь и смерть и когда это правительство ставило себе вопрос, не уступить ли. Вы видите отсюда, как этот вид утопического социализма, поборником которого является Михайловский, реакционен и вреден у нас. В данный момент, когда так называемое общество будирует против Николая II, Даниельсон, „друг Маркса", переводчик „Капитала" (между прочим, переводчик, принадлежащий к категории traditori [1]), „истинный марксист" и т. д., и т. д., и т. д., опять удивительно кстати начинает разводить ту же самую чепуху. Будь я на месте Николая, я наградил бы орденом г-на Даниельсона!

Положение у нас так ясно, что не надо долго его изучать, чтобы осудить Staats-Sozialismus (государственный социализм) Даниельсона. Несколько слов осуждения с Вашей стороны имели бы большое значение, и именно об этой поддержке русской революции говорил я в своем предыдущем письме. Так как Вы очень заняты, то я больше не говорю об этом. Но если речь идет о выборе между Даниельсоном и Лориа, то я скажу Вам: генерал, выбирайте Даниельсона: это важнее.

При этом я прилагаю ответ русских либералов на знаменитую речь Николая. Письмо было перепечатано в Лондоне, но оно подлинное. Оно обошло всю Россию прежде, чем попало в Лондон. Из письма Вы увидите, что мы можем надеяться на лучшие времена.

Что касается меня, то я думаю, что через 4—5 лет в России возродится терроризм. Желательно это, или нет, но это неизбежно.

Прошу Вас передать от меня привет и благодарность Фрейбергеру.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

6, Rue de Candolle.

X.

6, Rue de Candolle.

Мой дорогой генерал,

Прошла уже целая вечность с тех пор, как я не писал Вам. Этому мешала работа, усталость и постоянное недомогание, следствие усталости и сидячей жизни, которую я веду. Но мне многое нужно Вам сказать.

Вы уже знаете, что Николай младший оказался отъявленным реакционером. После нескольких незначительных попыток либерализма он решил придерживаться того же направления, которого держался его дорогой родитель. Дурново и другие действующие лица предшествовавшего царствования могут только радоваться. Проявляются большие строгости по отношению к печати, аресты не прекращаются.

[1]) traditore по-итальянски значит предатель. (Прим. перев.).

В начале мая (старого стиля) в Москве был сделан набег и было арестовано около 80 человек обоего пола. Этот удар постиг либералов и социал-демократов. Среди арестованных много рабочих. Аресты среди рабочего класса явились результатом первого мая, которое праздновалось в Москве на собрании, в котором участвовало *126* делегатов рабочих групп. Это празднование было в то же самое время чем-то вроде местного съезда Москвы и ее окрестностей. Полиция пронюхала о том, что произошло, и наносила свои удары наудачу, так как она ничего определенного не знала. Однако она захватила несколько человек действительно „виновных" с ее точки зрения. Особенное усердие полицейских вызывала Ярославская стачка, о которой Вы, без сомнения, слышали. В самом начале мая (старого стиля) забастовало *8.000* рабочих. Были вызваны солдаты. Между войсками и стачечниками произошло настоящее сражение. Восемь рабочих было убито, *16* ранено. Последние известия, которые я имел об этом деле, были от 8 мая, т.-е. 20 мая нового стиля; стачка еще продолжалась. Я еще не знаю, в каком положении дело теперь.

Известия из Петербурга также не блестящи. Вернее сказать, они хороши, поскольку речь идет о всеобщем недовольстве; революционное движение теперь сильнее, чем было за последние десять лет, но правительство заняло оборонительную позицию. В России начинается горячее время. Co to będzie, co to będzie! (Что же будет, что же будет!).

Спасибо за „Klassenkampf". Кстати. Разрешите ли Вы нам перевести Вашу книгу о „Положении рабочего класса в Англии" и Вашего „Dühring's Umwälzung"? Это для издания в России. Но... там есть цензура, и в данный момент она не особенно любезна. Наоборот.

Посылаю Вам русскую брошюру. Прочтите конец этой брошюры, и Вы увидите, что борьба наших народников „против капитализма" все более и более вырождается в союз с царизмом. Самая лучшая критика этой великолепной „программы" содержится в Коммунистическом манифесте („истинный немецкий социализм"). Sic transit gloria народников! И Даниельсон в этой компании! Как Вы поживаете, дорогой генерал? Часто ли Вы видите Веру? Привет Бернштейнам, Эвелингам, Фрейбергерам, Мендельсону и всем Вашим лондонским друзьям. Сердечно преданный Вам

Г. Плеханов.

P. S. Вы очень обяжете меня, если пришлете новую книгу Лориа.

Письма Г. Плеханова к Р. Фишеру [1]).

I.

Господину Р. Фишеру, Берлин.

Дорогой товарищ!

Извините, что не ответил Вам раньше. Ваше письмо было адресовано в Морнэ, между тем, я нахожусь в настоящее время в Женеве (я получил разрешение). Я очень польщен предложением, которое Вы делаете мне, написать брошюру против анархистов, тем более, что в настоящее время они причиняют слишком много вреда международной рабочей партии. Я согласен с предлагаемым Вами планом. К сожалению, я не могу точно указать Вам, сколько мне понадобится времени, чтобы написать эту брошюру. У меня случилось несчастие, у меня более двух недель тому назад умерла дочь, и я нравственно разбит и не в состоянии работать. Я понимаю, что для нас, пролетариев, нравственные страдания являются роскошью,— роскошью, на которую мы не имеем никакого права, — но я болен и не могу wegraisonniren (победить ее рассудком) болезни, как говорите вы, немцы. Я надеюсь, однако, что через несколько дней победит моя воля, и я опять стану работоспособным. Когда я закончу те несколько статей, которые я должен послать Каутскому, я примусь за упомянутую брошюру. Я работаю довольно быстро, вопрос не является для меня новым, и я думаю, что работа скоро будет закончена. Но тем не менее я не могу сказать ничего более точного. Напишите мне, какой Вы можете назначить крайний срок, и тогда мы увидим.

Повторяю, мне бы очень хотелось исполнить эту работу, но я не хотел бы давать Вам обещания, исполнению которого может помешать состояние моего здоровья. Скажите мне, удовлетворит ли Вас обещание сделать это возможно скорее?

Что касается гонорара, то я ничего не могу сказать. Вы заплатите мне столько, сколько партия найдет нужным заплатить.

Передайте поклон Либкнехту, если Вы его увидите?

Примите, дорогой товарищ, уверение в совершеннейшем моем почтении. Пишите мне по адресу моей жены: Madame Bograde-Plékhanoff, 5, Rue des Allemands, Génève.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

С нетерпением жду Вашего ответа.

---

[1]) Перевод А. Е. Гурвич.

II.

Дорогой товарищ! Женева, 1 февраля 1894.

Благодарю Вас за выражение сочувствия по поводу постигшего меня несчастья. Мне уже лучше в настоящее время. Я работаю уже, и это имеет большое значение; труд быстро излечит меня. Итак, я принимаю Ваше предложение: 1-го марта статья об анархистах будет готова и послана Вам. Прошу Вас известить меня открытым письмом о получении этого письма, чтобы я был уверен, что оно не затерялось. Прошу Вас также передать поклон Либкнехту. Примите, дорогой товарищ, уверение в моей преданности. Жду Вашего ответа.

Г. Плеханов.

III.

Génève, 5, Rue des Allemands.
16 марта 1894.

Дорогой гражданин!

Я не могу прислать рукопись скорее, чем через десять дней. Мне пришлось больше поработать над этой статьей, чем я рассчитывал. А я не хотел торопиться со статьей, разбирающей такой важный вопрос. Несмотря на все мои старания, мне не удалось получить всю литературу немецких независимых. Прошу Вас, выпишите мне возможно скорее те их произведения, которые Вы считаете самыми значительными и самыми характерными для их тенденций. Прошу извинить мое опоздание, но оправданием мне служит желание хорошо выполнить труд, за который я взялся.

Тысяча рукопожатий.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

P. S. Прошу Вас ответить мне открытым письмом о получении моего письма. **Г. П.**

IV.

Дорогой гражданин!

Посылаю Вам свою рукопись: Анархизм и социализм. Вы можете сделать с ней, что Вам будет угодно. Вы сами увидите, что я не мог сделать эту работу скорее. Я надеюсь, что вопрос об анархизме исчерпан, я не представляю себе, с какой еще стороны можно рассматривать анархизм. Жду Вашего ответа и льщу себя надеждою, что Вы будете довольны моей работой. Очень прошу Вас сохранить французский оригинал. Привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам **Г. Плеханов.**

Génève, 5, Rue des Allemands.
5 апреля 1894.

P. S. Само собою разумеется, что я считаю нужным читать корректуры ,чтобы убедиться, что перевод был хорошо сделан. **Г. П.**

V.

Дорогой гражданин!

Вы пишете мне, что рукопись немного слишком длинна. Но Вы согласитесь, что, раз вопрос об анархизме был затронут, его следовало основательно разобрать, и в таком случае несколько лишних страниц не играют роли. Я счастлив, что перевод будет сделан Бернштейном, потому что перевод будет прекрасно сделан.

Вы делаете мне любезное предложение прислать мне часть гонорара раньше напечатания статьи; я Вам очень благодарен и сознаюсь, что Вы очень меня обяжете этим авансом. Адрес для посылки денег тот же, что и для простой корреспонденции: 5, Rue des Allemands, Madame Боград-Плеханов (или просто Боград), доктору медицины, Женева.

Привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам Г. Плеханов.

P.S. Моя фамилия лучше передается латинскими буквами, как я написал. Я подписываюсь Plekhanoff, когда имею дело с французами, потому что французы произносят Plechanoff как Pleschanoff. Вот почему я хотел бы, чтобы на брошюре было написано Plekhanoff.

Женева, 9 апреля 1894.

VI.

Женева, 17 апреля 1894.

Дорогой гражданин!

Извините, что я не тотчас же ответил Вам: я был болен.

Благодарю Вас за присылку денег. Что же касается размера гонорара, то я могу лишь повторить то, что я уже писал Вам в одном из моих писем. Вы заплатите мне столько, сколько Вы платите другим. Итак, вопрос исчерпан.

Я ужасно счастлив узнать, что Вы довольны моей работой. Если я в состоянии буду своим пером быть полезным германской партии, авангарду социалистического пролетариата, мне гораздо легче будет переносить изгнание, чем в настоящее время.

Сердечный привет Вам и Либкнехту.

Преданный Вам Г. Плеханов.

Г. В. Плеханов.

III. Социализм и политическая борьба.

Статья 6. Гегемония пролетариата в буржуазной революции.

1.

Я уже говорил, что в решении вопроса об отношении социализма к политической борьбе заслуга Плеханова далеко не ограничивается тем, что он перенес на русскую почву опыт западно-европейского рабочего движения.

Его решение этого сложного вопроса имеет очень много своеобразного, обусловленного особенностями развития России.

В чем эти особенности?

В том чрезвычайно важном обстоятельстве, что „социалистическое движение началось у нас уже в то время, когда капитализм был еще в зародыше. Эта особенность русского исторического развития не придумана славянофилами и славянофильствующими революционерами. Она составляет бесспорный, всем известный факт, который принесет огромную пользу делу нашего рабочего класса, если только русские социалисты не растратят своей умственной и нравственной энергии на постройку воздушных замков в стиле удельно-вечевой эпохи“ [1]). Вся мудрость революционной тактики заключалась в том, чтобы учесть это безусловно важное обстоятельство и максимально использовать его для целей социализма. Но еще более важна была задача определить, как это своеобразие русской истории должно было влиять на видоизменение событий ближайшего будущего, как оно должно было влиять на отношения классовых сил в этих событиях.

Самый заманчивый метод—перенесение на русскую почву шаблона западных народов. На самом деле, все крупные западные народы пережили свои буржуазные революции, при чем не одну, а по нескольку, и неизменно каждый раз взаимоотношения классов в этих революциях складывалось таким образом, что третье сословие руками народа вытаскивало себе каштаны из огня, народ делал революцию под руководством мелко-буржуазной и буржуазной интеллигенции и непременно оказывался при этом в проигрыше. Если приложить этот шаблон к России, то события должны были бы развернуться таким образом, что рабочий класс вступил бы в революцию под руководством буржуазии и мелко-буржуазной интеллигенции.

Что России придется пережить буржуазную революцию—в этом сомневаться было невозможно после того, как вопрос о судьбах капи-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 271.

тализма был разрешен в смысле грядущего в самом недалеком будущем торжества его. Более того—было уже совершенно несомненно, что вся надежда народников и народовольцев на то, будто момент политической революции будет одновременно и началом социалистического переустройства, — была фантастичной, ни на чем не основанной надеждой.

„Связывать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития совпадут в истории нашего отечества—*значит отдалять наступление и того и другого*“ [1]).

Это ни в коей мере не означает, что моменты эти друг от друга отдалены столь на много, что ни думать, ни заботиться о конечной цели—о социальной эмансипации рабочего класса—не следует,—наоборот, от революционеров зависит очень многое в деле сближения этих двух моментов.

„Современное положение буржуазных обществ и влияние международных отношений на социальное развитие каждой цивилизованной страны дают право надеяться, что социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма. Если немецкая буржуазия „*пришла слишком поздно*“, то русская запоздала еще более, и господство ее не может быть продолжительным. Нужно только, чтобы русские революционеры, в свою очередь, не „слишком поздно“ начали дело подготовки рабочего класса, дело, теперь уже ставшее вполне современным и насущным“ [1]).

Буржуазная революция в России неизбежна, и она не может протекать по западному шаблону, во-первых, вследствие вышеизложенного своеобразия русской истории, а во-вторых, потому, что опыт Запада многому научил и еще научит русский рабочий класс, так рано оформившийся в класс для себя.

Таково то своеобразное положение, которое делает также чрезвычайно своеобразными задачи социализма в России. Определить эти своеобразные задачи было тем важней, что их выдвинуло само рабочее движение.

Прежде всего и естественно возникает вопрос о характере грядущей революции и участии в ней рабочего класса. Какую роль отводит рабочему классу такая оригинальная ситуация?

Роль революционного авангарда, прежде всего. Говоря о задачах рабочей социалистической партии, Плеханов пишет в „Социализме и политической борьбе“, что она должна „выставить требование демократической конституции, которая, вместе с „правами человека“, обеспечила бы рабочим „права гражданина“ и дала бы им, путем всеобщего избирательного права, возможность активного участия в политической жизни страны“ [2]). Такая политическая программа вызовет сочувствие всех непротивников демократии, все русское общество взялось бы агитировать за такую программу, оно перестало бы смотреть на революционеров, как на людей с незрелой мыслью. „Этот невыгодный для революционеров взгляд уступил бы место уважению общества не только к их героизму, но и к их политической зрелости. Постепенно это сочувствие перешло бы в активную поддержку или, что вероятнее, в самостоятельное общественное движение, и тогда пробил бы, наконец, час падения абсолютизма. Социалистическая партия играла бы в этом

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., т. II., стр. 86.
[2]) Там же, стр. 83.

освободительном движении весьма почетную и выгодную роль. Ее славное прошлое, ее самоотвержение и энергия придали бы вес ее требованиям, и она имела бы, по крайней мере, шансы завоевать таким образом *народу* возможность политического развития и воспитания, а *себе*—право открытого обращения к нему со своей проповедью и открытой организации в особую партию“ [1]).

Концепция получается совершенно ясная: социалистическая рабочая организация, это—тот авангард, на котором лежит тяжелая, но почетная обязанность организации общества, инициативы в борьбе и при умелом и тактическом ведении дела также и руководство им. Но никто не может гарантировать рабочему классу, что он, беря на себя инициативу борьбы, руководя ею, не окажется в подсчете с одними потерями без прав и без завоеваний. „Без силы нет и права. Всякая конституция—по прекрасному выражению Лассаля — соответствует или стремится притти в соответствие с „*реальными, фактическими отношениями сил, существующими в стране*“. Поэтому наша социалистическая интеллигенция должна позаботиться о том, чтобы еще и в доконституционный период изменить эти фактические отношения русских общественных сил в пользу рабочего класса. В противном случае, падение абсолютизма далеко не оправдает надежд, возлагаемых на него русскими социалистами или даже демократами. Требования народа и в конституционной России могут быть оставлены совсем без внимания или удовлетворены лишь настолько, насколько это необходимо для усиления его податной способности, ныне почти совершенно истощенной хищническим характером государственного хозяйства. Сама социалистическая партия, завоевавши у либеральной буржуазии свободу слова и действия, может очутиться в „исключительном“ положении, подобно положению современной немецкой социал-демократии. В политике на благодарность вчерашних союзников и нынешних врагов может рассчитывать лишь тот, кому невозможно рассчитывать на что-либо более серьезное“ [2]). Это говорит опыт западных революций. Из практики рабочего движения западных народов можно привести не мало примеров подобного трагического финала. Участие в борьбе еще плохая гарантия; нужно добиться такого положения, при котором рабочий класс не только был бы простым участником революционной борьбы третьего сословия, одной из его составных частей, но чтобы сама борьба протекала под фактическим руководством пролетариата. Это и будет лучшей гарантией того, что ни общество не будет обмануто в своих ожиданиях, ни рабочий класс в осуществлении своих задач, т.-е. создание таких условий, которые благоприятствовали бы его борьбе за окончательную экономическую эмансипацию.

Но как это сделать? Какими средствами рабочий класс сумеет еще до конституционного периода изменить фактические отношения общественных сил в свою пользу? Т.-е., говоря проще, как рабочий класс может в доконституционную эпоху готовиться стать руководителем революции.

Средствами, верность которых уже достаточно была испытана в Западной Европе рабочим классом: организацией в самостоятельную политическую партию, сплоченностью и ясностью своего политического сознания. Я сказал: средства эти испытаны в Западной Европе. Но есть существеннейшее различие: Западно-европейский пролетариат стал прибегать к этим средствам лишь после *своих* буржуазных ре-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 83—84.
[2]) Там же, стр. 84.

волюций и верность этих средств он испытал не в революции, а в повседневной борьбе и в подготовке рабочего класса к грядущим революциям, в то время как в России пролетариат имеет полную реальную возможность все эти средства употреблять на дело подготовки рабочего класса уже к своей буржуазной революции. Впрочем, и это различие обусловлено тем своеобразием экономики и классовых отношений России, о котором я говорил уже выше.

Спора быть не может, все приведенное нами трактует вопрос чрезвычайно обще и глубоко теоретически. В „Социализме и политической борьбе" еще не все (далеко не все!) ясно автору, однако не видеть, что сам вопрос перед Плехановым встал уже в 1883 году и что он пытается не случайно, а логически совершенно последовательно и связанно с общим ходом мысли, дать на него ответ,—не заметить этого можно лишь при явном нежелании видеть факты.

И когда Лавров, возражая Плеханову, говорит о сомнительном будущем группы „Осв. Труда", Плеханов совершенно резонно указывает ему, что народовольческая программа стала тормозом революционному развитию и что альтернатива, которая стоит перед революцией в России, выражается в суровой и неумолимой формуле: либо она поставит свое дело на карту заговора, либо выдвинет новую силу, которая возьмет в свои руки дело организации и руководства революционным движением.

Такой новой силой должно быть рабочее движение: „Для социалистов было бы очень невыгодно, если бы руководство борьбой перешло в руки наших либералов. Это сразу лишило бы их всего прежнего влияния и на долгие годы отсрочило бы создание социалистической партии в передовых слоях народа. Вот почему мы и указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции, как я назвал его в своей брошюре, эту „программу", научающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интересах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки усвоят эту единственно революционную программу" [1]), усвоят для того, чтобы руководство революционной борьбой не передать либералам.

Проблема так именно и стояла: кому будет принадлежать руководство борьбой и грядущей революцией? Из предыдущего очерка мы узнали, как следует организовывать и сплачивать силы рабочего класса и тем изменить в свою пользу фактическое соотношение сил в русском обществе. Мы ниже увидим, как себе представлял Плеханов руководство революционной борьбой. Его основной элемент оставался—все та же забота о работе над политическим сознанием рабочего класса. Народовольцы думали, что рабочие важны для революции, но они были очень далеки от того, чтобы смотреть на них, как на исключительных представителей революции. „Не так будет рассуждать социал-демократ, убежденный в том, что не рабочие нужны для *революции* а революция нужна *для рабочих* (разрядка моя. *В. В.*). Для него пропаганда в рабочей среде будет главной целью его усилий, и он не откажется от нее, не испытавши всех средств, которые находятся в его распоряжении, не сделавши всех усилий, на которые он способен. И чем более будет проникаться истинно-социалистическими взглядами наша революционная интеллигенция, тем возможнее и легче будет казаться ей деятельность между

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., т. II, стр. 104.

рабочими по той простой причине, что тем сильнее будет стремиться она к такого рода деятельности" [1]).

Само собой разумеется, работа в рабочей среде трудная, но далеко не безнадежная: опыт „Сев.-Рус. Раб. Союза" и „Земли и Воли"—блестящие тому доказательства. Работа эта медленная, но без нее не сделать ни шагу к свободе, ибо совершенно бесспорно, что „всякий, желающий поскорее добиться свободы, должен стараться заинтересовать рабочий класс в борьбе с абсолютизмом" [2])... Только посредством этого мы можем избавиться от невыносимого ига абсолютизма. Но западно-европейская история дает не мало примеров того, как рабочий класс „очень часто боролся против абсолютизма под знаменем и под верховным руководством буржуазии. Отсюда явилась умственная и нравственная зависимость его от вожаков либерализма, вера в исключительную святость либеральных девизов, убеждение в неприкосновенности буржуазного порядка. В Германии понадобилась вся энергия и все красноречие Лассаля, чтобы только подорвать духовную связь рабочих с прогрессистами. Наше „общество" лишено такого влияния на рабочий класс, и социалистам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. Они должны указать рабочим их собственное, рабочее знамя, дать им вожаков из их собственной, рабочей среды, короче, должны позаботиться о том, чтобы не буржуазное „общество", а тайные рабочие организации приобрели господствующее влияние на умы рабочих. Этим в значительной степени ускорится образование и рост русской рабочей социалистической партии, которая сумеет завоевать себе почетное место среди других партий, после того, как она еще в пеленках способствовала падению абсолютизма и торжеству политической свободы" [3]).

Так, рабочие, проникнув идеей и принципами современного социализма, сами уже „сумеют пройти между Сциллой и Харибдой, между политической реакцией государственного социализма и экономическим шарлатанством либеральной буржуазии" [4]).

По самой природе обсуждаемых вопросов „Наши разногласия" не могли долго заниматься вопросом, нас интересующим, и, как убедится читатель, позиция, занятая им в „Н. Р", значительно менее отчетлива, чем то было в „Социализме и политической борьбе".

О том, что самый характер и предмет книги не давали ему возможности заняться этим вопросом, свидетельствует и то, что в программе 1884 г., т.-е. того же года, что и „Н. Р.", по этому вопросу Плеханов пишет значительно более отчетливо и ясно: „Одним из важнейших следствий этого отсталого состояния производства было и есть до сих пор неразвитое состояние среднего класса, который неспособен у нас взять на себя инициативу борьбы с абсолютизмом. Социалистической интеллигенции пришлось, поэтому, стать во главе современного освободительного движения, прямой задачей которого должно быть создание свободных политических учреждений в нашем отечестве, при чем социалисты, с своей стороны, должны стараться доставить рабочему классу возможность активного и плодотворного участия в будущей политической жизни России" [1]).

Но самым интересным в этом отношении являются его „Современные задачи русских рабочих", где он делает сразу огромный шаг вперед в этом вопросе и пишет, объясняя, почему он обращается

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 342.
[2]) Там же, стр. 344.
[3]) Там же, стр. 346.
[4]) Там же, стр. 356.

именно к рабочим: называя социал-демократию „партией рабочей по преимуществу, я хочу только сказать, что наша революционная интеллигенция должна итти с рабочими, а наше крестьянство должно итти за ними. При такой постановке вопроса, наша социал-демократическая партия может сохранить свой рабочий характер, вовсе не впадая во вредную исключительность" [1]). Повторяю, это чрезвычайно знаменательно именно потому, что здесь сделана попытка дать в краткой и ясной формуле отношение между рабочим авангардом и руководителем и руководимыми классами и группами. Плеханов предупреждает рабочих, что придет время, когда сами „высшие классы будут просить вашей помощи в борьбе с царем, когда они сами будут толкать вас на борьбу за свободу. Но, пользуясь этим выгодным для вас обстоятельством, вы все-таки должны начать эту борьбу на свой собственный страх и для достижения своих собственных целей. Не забывайте, что в политике нет благодарности, и если вы не будете думать сами о себе, то другие будут думать о вас лишь до тех пор, пока им нужно будет пользоваться вашей силой. Но как только дело дойдет до выгод, принесенных борьбою, то высшие классы будут помнить только о себе, да разве еще о том, чтобы держать вас в узде и в повиновении. Но если вы будете сильны и сплочены, если вы сознательно пойдете к своей цели, то вы сумеете отстоять свои права и недаром затратите свои силы" [2]).

Особую классовую политику за особые классовые цели—вот что должен преследовать рабочий класс в будущей революции; несомненно, эти основные классовые интересы совпадут с интересами крестьянства, которое именно поэтому и пойдет за рабочим классом. Но руководство пролетариатом революционной борьбой в том именно и должно выражаться, что он ведет в революции ясную классовую линию, направляя события в направлении своих интересов.

От этих его заявлений до его речи на Парижском международном конгрессе, последовавшем через четыре года, был лишь один шаг.

2.

Но прежде всего два слова о программе 1888 г. В ней Плеханов делает значительный шаг вперед по сравнению с программой 1884 г.

Если в первом проекте еще видны очень заметные следы уступок народовольству и народническим предрассудкам, то во втором проекте уже нужды абсолютно никакой в этой уступке не было, хотя от такого изменения ситуации второй проект не избавился окончательно от ошибок: кое-какие ошибки сохранились, но не о них речь у нас—в проекте 1888 г. вопрос о роли рабочего класса в грядущей рабочей революции освещен значительно яснее, чем в первом проекте.

„Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем как идеал общинника лежит назади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице этого класса народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 363.
[2]) Там же, стр. 371.

посредство этого класса он может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии. Рост и развитие такой партии встретит, однако, в современном абсолютизме очень сильное препятствие" [1]).

Если сравнивать приведенный отрывок с тем, что он говорил в своей статье „Современные задачи русских рабочих", то мы вынуждены будем признать больше ясности в утверждениях 1885 года, однако не следует забывать, что программа, поневоле чрезмерно сжатая, и должна была быть в своих утверждениях более осторожной, чем статья. Точно так же, как в другой своей статье, относящейся к тому же году, что и второй проект программы, Плеханов лишь вскользь, хотя и настойчиво, говорит о гегемонии рабочего класса в ближайшей революции.

Ведя беседу с либералом о том, „как добиваться конституции", социалист (Плеханов) весь центр тяжести переносит на вопрос о том, как должны вести себя по отношению к движению рабочего класса либералы и что должны сделать они для приближения революции; говоря об этом, нельзя было не указать либералу, какова будет роль рабочего класса в этой революции: „вообразим себе, что петербургское „общество", проникшись революционным духом, строит баррикады, между тем как рабочий класс остается в стороне от этого движения. Одной полиции, одних дворников было бы достаточно для того, чтобы перевязать представителей „общества" и рассадить их по участкам. Отсюда неизбежно следует такой вывод: для того, чтобы добиться конституции, мы должны вовлечь рабочий класс в борьбу против абсолютизма, возбудить в нем симпатии к свободным политическим учреждениям. Другого пути у нас нет и быть не может" [2]). Без рабочего класса и разговор о конституции приобретает комический характер, ибо не будет силы, которая сумеет защитить Земский Собор, скажем, от расправы будочника Мымрецова. Такой силой, единственно реальной силой является рабочий класс. „Политическая свобода будет завоевана рабочим классом, или ее вовсе не будет" [3]).

Через год после этого „разговора" в Париже собрался первый Международный конгресс социалистов.

Вот как формулировал перед представителями международного пролетариата Плеханов перспективы революционного движения в России: „Пролетариат, образующийся вследствие разложения сельской общины, нанесет смертельный удар самодержавию. Если оно, несмотря на героические усилия русских революционеров, до сих пор не побеждено в России, то это объясняется изолированностью революционеров от народной массы. Силы и самоотвержение наших революционных идеологов могут быть достаточны для борьбы против царей, как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом, как политической системой. Задача нашей революционной интеллигенции сводится, поэтому, по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 402.
[2]) Там же, т. III, стр. 16.
[3]) Там же.

движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может" [1]).

Это было смело, но читатель видит, что только западно-европейским товарищам могло показаться все это новинкой, для русских же, которые вели к тому времени яростные дискуссии по этим вопросам, у которых уже совершенно ясно наметился взгляд, высказанный так ярко и удачно Плехановым на конгрессе, все это было совершенно привычной мыслью. Русские революционеры имели до того не одну возможность по трудам того же Плеханова притти к этому выводу.

Революция восторжествует в России как рабочая революция, но что она даст принципиально нового, что вносит появление рабочего класса на сцене нового в русскую историю? Многое, и прежде всего то, что с его появлением всякие разговоры о, якобы, самобытных путях должны быть совершенно отброшены: „В нашем отечестве образование этого класса имеет еще большее значение. С его появлением изменяется самый характер русской культуры, исчезает наш старый, азиатский экономический быт, уступая место иному, европейскому. Рабочему классу суждено завершить у нас великое дело Петра: довести до конца процесс европеизации России. Но рабочий класс придаст совершенно новый характер этому делу, от которого зависит самое существование России, как цивилизованной страны. Начатое когда-то сверху, железной волей самого деспотичного из русских деспотов, оно будет закончено снизу, путем освободительного движения самого революционного изо всех классов, какие только знала история. Герцен замечает в своем „Дневнике", что в России, собственно говоря, нет народа, а есть только коленопреклоненная толпа и палач. В лице рабочего класса в России создается теперь народ в европейском смысле этого слова. В его лице трудящееся население нашего отечества впервые встанет во весь рост и позовет к ответу своих палачей. Тогда пробьет час русского самодержавия" [2]).

Задача тем более трудная, что рабочий класс, выбиваясь снизу собственными силами, должен был преодолеть не только сопротивление всех вековых общественных самобытных устоев, но и косность интеллигенции. Интеллигенция должна была понять, что именно „сила рабочего класса" и есть та сила, которая призвана спасти революцию от бессилия. „Поймет или нет, но события ждать ее не станут. Отсутствие союзников из „интеллигенции" не помешает нашему рабочему классу сознать свои интересы, понять свои задачи, выдвинуть вожаков из своей собственной среды, создать свою собственную, рабочую интеллигенцию.

Такая интеллигенция не изменит его делу, не оставит его на произвол судьбы. Нужно, однако, еще раз заметить, что в своей борьбе с самодержавием рабочий класс будет, по всей вероятности, не один, хотя, разумеется, только он один способен придать ей решительный оборот" [3]). За рабочим классом пойдут и буржуазия, и „общество", и торгово промышленный мир, но силу руководящую и последовательную составит рабочий класс, только он способен доводить демократизацию страны до конца, завоевать политические права и свободы навсегда.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 54.
[2]) Там же, том III, стр. 78.
[3]) Там же, стр. 79.

Очень скоро это теоретическое положение получило подтверждение на практике. Празднование в России 1 мая в самый глухой 1891 год и речи четырех рабочих особенно ярко иллюстрировали правильность того положения, что ранее чем в России какой-либо класс пришел в сознание—рабочий класс организовался и выступил на политическую авансцену со своей собственной классовой точкой зрения.

В предисловии к этим четырем речам Плеханов пишет: „У нас привыкли толковать о русской самобытности, распространяться на ту тему, что Россия не Запад. Привычка эта вкоренилась так сильно, что даже мы, западники до конца ногтей, поклонники всего человеческого и ненавистники всего „самобытного", не можем не заплатить ей дань. Да, Россия не Запад. Да, русская жизнь имеет свои неоспоримые особенности. Но в чем заключаются они, эти особенности? Не удаляясь в глубь времен, мы можем сказать, что теперь они сводятся к следующему. Политическое сознание в русском рабочем классе пробудилось раньше, чем в русской буржуазии. Наша буржуазия требует пока только субсидий, гарантий, покровительственного тарифа и вывозных пошлин: русские рабочие требуют политических прав. Это значит, что рабочие опередили буржуазию, и что все действительно передовые люди должны стать под знамя рабочих" [1]).

Это неоспоримый факт. Действительно все передовое, что не хочет коснеть в болоте самобытности, неминуемо должно было стать под знамя пролетариата, поскольку рабочий класс носитель самых передовых тенденций, а его партия не могла не быть самой западнической из всех до нее существовавших, как Плеханов говорит во „Внутренем обозрении": „Рабочий класс прямо не в состоянии будет найти иной роли, чем та, которую этот класс имел на Западе, совершенно так же, как не могли бы наши современные художники не быть реалистами, если бы даже и захотели этого. Русский рабочий класс, это—тот класс, которому суждена наиболее европейская роль в русской политической жизни, поэтому и партия, представляющая его интересы, необходимо будет более западническою изо всех русских партий" [2]).

Под руководством своей западнической партии, методами западного политического движения, т.-е. классовой борьбой, пролетариату России удастся осуществить свою задачу—завоевание политических свобод и политических прав, низвержение самодержавия. Именно подмеченное западническое существо пролетариата и его движения и делает его гегемоном грядущей революции. На самом деле, Россия совершенно несомненно стала на путь экономического развития Запада, вся жизнь, весь хозяйственный уклад в своем развитии следовал по пути Запада, а интеллигенция, либеральная буржуазия и мелкая буржуазия продолжала старую болтовню о самобытных путях развития: один только рабочий класс силою вещей, самим своим положением, в начале стихийно, а затем и организованно и сознательно, выдвигал и отражал, понимал совершенно отчетливо потребность и требования развивающегося вперед к крупной промышленности нового хозяйственного уклада.

Все своеобразие проистекало не от своеобразия хозяйственных форм, не от своеобразия „путей России", а от того чрезвычайно интересного обстоятельства, что задачу, которую по самому существу

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 208.
[2]) Там же, стр. 238.

своему должна была бы выдвинуть, поставить на очередь передовая буржуазия,—ставил и готовился разрешить рабочий класс.

По существу говоря, ни в одной революции буржуазия сама одна не в силе бывала разрешить основательно, последовательно и до конца задачи своей собственной революции. Всегда во всех до того совершавшихся революциях основной решающей с и л о й бывал народ, при чем чем ближе к концу XIX в., тем все более и более расплывчатый народ вытеснял собою рабочий класс.

Но в перспективе назревающей русской революции плюс к этой общей всем европейским революциям имелась еще и та особенность, что не только ее подготовка, не только ее основной силой, но и ее дирижером вынужденно должен был быть рабочий класс. Это нужно было рабочему классу России понять, это мог понять лишь политически сознательный рабочий класс.

Отсюда совершенно ясно, что вопрос о подготовке, практической организации сил, к грядущей революции сводился к вопросу о росте классового сознания пролетариата. Все, кто способствуют этому росту—тем самым работают на революцию, те, кто препятствуют ему своею деятельностью, являются злейшими врагами революции. Программа действий, которая своей ясностью не оставляет никаких сомнений. Но когда Плеханов развивал ее в своих двух брошюрах по поводу голода—„Всероссийское разорение" и „О задачах социалистов",—то не только в лагере врагов, но и в лагере единомышленников возникло много недоразумений и послышалось много возражений. Однако все возражения являлись результатом всего более непонимания основных задач момента, были продиктованы скорее неумением приложить революционную теорию к разрешению революционных задач, чем ошибками Плеханова.

На самом деле, основываясь на заключительных словах „Всероссийского разорения", некоторые соц.-демократы обвиняли Плеханова в том, будто он забывал за политическими задачами страны классовые задачи пролетариата. Это было, разумеется, ошибкой, и Плеханов в своей второй брошюре дал надлежащую отповедь обвинителям.

Не в том дело, на что особенно напирали противники: тот, кто выдвигает основной задачей социалистов непрестанную работу над ростом классового сознания пролетариата, тот тем самым ни минуты не упускает из виду великие цели пролетариата и его движения. „Мы знаем, товарищи, путь, ведущий социалистов к их великой цели. Он определяется немногими словами: с о д е й с т в и е р о с т у к л а с с о в о г о с о з н а н и я п р о л е т а р и а т а. Кто содействует росту этого сознания, тот социалист. Кто мешает ему, тот враг социализма. А кто занимается делом, не имеющим к нему непосредственного отношения, тот не имеет непосредственного отношения и к социализму. Помня это, мы без всякого труда решим наши снециально-русские задачи" [1]).

Дело политического воспитания рабочего класса не может быть оставлено на буржуазии: „Если в период борьбы с самодержавием буржуазия будет единственной политической воспитательницей пролетариата, то он не достигнет той степени сознательности и того революционного настроения, какие свойственны были ему в том случае, если бы за его политическое воспитание взялись социалисты. Другими словами: с о д е й с т в о в а т ь р о с т у к л а с с о в о г о с о з н а н и я п р о л е т а р и а т а—з н а ч и т к о в а т ь о р у ж и е, н а и б о л е е о п а с н о е для с у щ е с т в у ю щ е г о с т р о я. Очень плохой совет дают нам

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 400.

люди, убеждающие нас „на время оставить социализм". Не доктринерство, а самый зрелый расчет и самый верный революционный инстинкт заставляют нас твердо и неизменно держаться социализма" [1]).

Совершенно ясно таким образом, как жестоко ошибались те, кто обвиняли Плеханова в том, будто он за политическими задачами дня не видел великих целей пролетариата. „Рабочий класс, в среду которого проникла мысль о политической свободе, это уже сознательный рабочий класс. Но пока он говорит т о л ь к о о политической свободе, его политическое сознание находится еще в неразвитом состоянии, оно еще не стало к л а с с о в ы м е г о с о з н а н и е м. На эту высшую ступень политического развития рабочий класс поднимается только тогда, когда научается понимать свои особые классовые интересы, свое отношение к буржуазии, причины своего подчинения эксплоататорам. Тогда политическая свобода перестает играть в его глазах роль панацеи, способной излечить общественный организм от всех возможных болезней. Тогда он ставит перед собой задачу своего экономического освобождения, великую цель, „к о т о р о й в с я к о е п о л и т и ч е с к о е д в и ж е н и е д о л ж н о б ы т ь п о д ч и н е н о, к а к с р е д с т в о" [2]).

Он совершенно справедливо чувствует себя более чем оскорбленным упреками „некоторых молодых товарищей из России". „Когда в статье „Всероссийское разорение" я писал, что все честные русские люди, т.-е. все те, которые не продали царю своей совести и которые не хотят, по выражению поэта, в роковое время позорить гражданина сан, должны агитировать в пользу созвания земского собора, мысль об отказе от классовой борьбы была от меня дальше, чем когда бы то ни было. И если, как мне пишут из России, некоторые молодые товарищи с неприятным для них удивлением увидели в названной статье именно эту мысль, то мне остается только пожалеть, что предлагаемые письма не пришли раньше" [3]). Тот факт, что Плеханов—последовательный марксист, уже делает невозможным то обвинение, которое выдвигают „некоторые молодые". „Подобно немецким коммунистам сороковых годов, мы будем поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Но ни одно из них, какие бы размеры оно ни приняло, не заставит нас спрятать свое собственное знамя. И лишь в той мере будем мы желательными и сильными союзниками других, более или менее революционных партий, в какой сумеем распространить среди русского пролетариата наши с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и е идеи" [4]), и не только демократические элементы общества, но и „бедные крестьяне (а таких большинство) непременно пойдут за социал-демократами, если только те не пожелают оттолкнуть их, что, конечно, невозможно" [5]).

Социал-демократия, авангард рабочего класса во главе гигантской революции, объединяющая все демократические элементы и крестьянскую бедноту,—такова перспектива великих грядущих революционных событий.

Так постепенно кристаллизовалась в работах Плеханова идея гегемонии пролетариата в буржуазной революции, хотя самый этот, ставший впоследствии чрезвычайно ходким, термин еще не был в ходу, не был распространен в революционном обиходе.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 403.
[2]) Там же, стр. 405.
[3]) Там же, стр. 409.
[4]) Там же, стр. 409.
[5]) Там же, стр. 410.

3.

Мы так долго останавливались на трудах Плеханова 80-х годов именно потому, что многие историки марксизма и социал-демократии в России,—преимущественно меньшевики,—склонны были, а тов. А. Мартынов даже написал целую большую статью в доказательство этого, доказывать, что идея гегемонии пролетариата возникла в социал-демократии России не ранее 90-х годов, автором этой мысли—утверждал тов. А. Мартынов—был не Плеханов, а П. Аксельрод.

Читатель, надеюсь, убедился в совершенной вздорности подобного утверждения: идея гегемонии пролетариата проходит красной нитью через всю литературу группы „Осв. Тр.“, начиная с первой ею изданной брошюры Г. В. Плеханова „Социализм и политическая борьба“.

Идея гегемонии пролетариата означала не что иное, как то утверждение, что пролетариат в России, силою объективного хода экономического развития, должен и выступит в качестве руководителя революционной борьбой против абсолютизма и что всякий, кто за общественный прогресс в России, не может не способствовать тому, чтобы рабочий класс подготовился к этой роли руководителя. Когда он станет готовым к этой роли? Когда он придет к ясному классовому сознанию. Следовательно, полезность деятельности лиц и групп с точки зрения общественного развития России измеряется тем, настолько их деятельность способствует развитию классового сознания пролетариата.

Только фракционная ослепленность меньшевистских историков не позволяла видеть, что все эти мысли неустанно повторялись Плехановым на всем протяжении 80-х годов.

Не Аксельрод, а именно Плеханов являлся творцом идеи гегемонии пролетариата,—идеи, которая вытекала с неизбежностью из приложения Марксова метода к решению российских задач, вытекала из оценки революционных перспектив в России.

Но если в 80-х и в начале 90-х годов проблема ставилась и разрешалась исключительно теоретически, то уже непосредственно после голода рабочее движение так усилилось и выросло, что к концу 90-х годов проблема революции стала вопросом ближайшей практической деятельности. Отсюда и понятно, почему все вопросы, связанные с революционной практикой, именно в эту эпоху особенно четко вырисовались и особенно отчетливо формулировались. В числе других проблем революционной практики и вопрос о гегемонии пролетариата особенно остро выпятился в эпоху борьбы с экономизмом, ранним и наиболее примитивным видом оппортунизма в России.

Потому с особенной силой выдвигались революционные моменты и заострялись боевые лозунги, что появилось течение, п р и т у п л я ю щ е е революционное острие движения.

В своей первой статье в „Искре“—„На пороге XX века“, где Плеханов с такой пророческой проницательностью предвидит в будущем образование социал-демократической „горы“ и „жиронды“, обсуждая задачи российского рабочего движения и перспективы его развития, заканчивает статью словами: „Россия может и должна многому научиться у западно-европейских социалистов. Самый главный и ничем не заменимый урок, даваемый нам всей историей западно-европейского социализма, заключается в том, что в каждой данной стране ближайшие задачи и тактика рабочей партии определяются действительными общественными отношениями этой страны. Забывать об этих отношениях, руководствуясь общими положениями социализма, значит покидать почву действительности. Нам, русским социал-демократам, необходимо помнить, что XX век ставит перед нами такую политическую задачу, которая с большей или меньшей полнотой уже решена на Западе; у нас во всей красе цветет то самодержавие, о котором западно-европейские люди знают только по-наслышке. Разрушение самодержавия безусловно необходимо для успешного и правильного развития нашей партии. Если между западно-европейскими социалистами и их великой целью стоит эгоизм имущих классов, то между зарождающейся партией и западно-европейской социалистической семьей стоит, подобно китайской стене, с а м о д е р ж а в н ы й ц а р ь с е г о п о л и ц е й с к и м г о с у д а р с т в о м. Но нет такой стены, которую не могла бы разрушить человеческая энергия. Р у с с к а я с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я в о з ь м е т н а с е б я и н и ц и а т и в у б о р ь б ы с а б с о л ю т и з м о м (курсив мой. *В. В*), и она нанесет ему смертельный удар, опираясь на более или менее энергичную, прямую или косвенную, поддержку всех тех элементов, на которые давит теперь тяжелое, неуклюжее здание неограниченной монархии.

П о л и т и ч е с к а я с в о б о д а б у д е т п е р в ы м к р у п н ы м к у л ь т у р н ы м з а в о е в а н и е м Р о с с и и XX в е к а [1]).

Даже Мартынов не собрался духом отказать в яркой и смелой постановке вопроса о гегемонии пролетариата Плехановым на страницах „Искры“. Мы приведем еще более блестящее тому доказательство; прежде всего остановимся на его основной статье, направленной против экономизма—„Еще раз социализм и политическая борьба“.

На том основании, что Плеханов непрерывно подчеркивал необходимость использовать и поддерживать всякие революционные и оппозиционные движения, направленные против царизма, его обвиняли (не кто иной, как экономисты!) в том, будто он проповедует сближение пролетариата с буржуазией в ущерб интересам классовой борьбы. Ничего не стоило Плеханову доказать, что именно экономисты, а не кто-либо иной, являются теми, кто проповедует забвение классовой борьбы. Точка зрения социал-демократов совершенно иная. „Наша партия, не имеющая решительно никакой склонности к самоубийству, возьмет на себя почин борьбы с абсолютизмом, а следовательно, и г е г е м о н и ю в этой борьбе; чем более многочисленны и разносторонни станут ее приемы, тем яснее сделается для всех искренних врагов существующего политического порядка,—для всех тех, в душе которых любовь к политической свободе не перевешивается стремлением к эксплоатации рабочих,—что они должны поддержать нашу партию в интересах своего собственного дела. Мало-по-малу они привыкнут смотреть на ее победы и на ее поражения, как на свои собственные победы и поражения. И наша партия сделается таким образом о с в о б о д и т е л ь н и ц е й par excellence, центром, к которому будут тяготеть все демократические симпатии и из которого будут исходить все наиболее крупные революционные протесты. Тогда в ее распоряжении окажутся такие силы и такие материальные средства, о каких безумно было бы и мечтать при нынешних условиях. Но ни одна единица этих сил и ни одна копейка из этих средств не будет затрачена на подчинение пролетариата какому-нибудь чуждому влиянию и на достижение каких-нибудь вредных для него целей. Напротив, все эти силы и все эти средства будут служить достижению его собственных целей и упрочивать его собственное влияние

[1]) Г. В. П л е х а н о в. „На пороге XX века“. Искра, № 2.

на другие общественные элементы, потому что направлять и распределять их будет его собственный передовой отряд: социал-демократическая партия" [1]).

В сущности говоря, решительнее и яснее нельзя было и формулировать идею гегемонии, которая приобрела в этой борьбе и свое название. В приведенном отрывке не только дана точная формула идеи—в ней заключается широко намеченная картина самого процесса руководства, в чем и как оно должно проявляться.

В дальнейшем „Искре" было уже не до теорий, она уже практически пыталась разрешить проблему, поскольку рабочий класс, как могучая революционная сила, вышел на мостовую. Демонстрации рабочих и план использования их, организации сопротивления полицейским, план поддержки студенческих волнений, план использования аграрных волнений—все это было лишь попыткой, блестящей и чрезвычайно плодотворной приложить теорию к потребностям практической политики, чем занималась вся „Искра" и, прежде всего, Плеханов.

Возражая против проповеди мести правительству путем террора, Плеханов писал: „Умерщвление—не убийство. Но оно не есть также и путь к победе. Карая отдельных слуг царя, оно не разрушает царизма. Мы очень ценим самоотвержение лиц, подобных Балмашову и Карповичу. Но мы стремимся к низвержению целой системы. Мы стоим на классовой точке зрения. А с этой точки зрения, самым верным и совершенно незаменимым средством борьбы с царизмом была и остается агитация в рабочем классе для развития его политического самосознания и организации его для дальнейшей, все более и более упорной и победоносной агитации. Только на фундаменте политического самосознания русского пролетариата может быть воздвигнуто здание русской политической свободы. Русское революционное движение восторжествует, как движение рабочей массы, или совсем не восторжествует" [2]).

Говоря о всеобщей стачке на юге, он опять вспоминает террористов и противопоставляет им соц.-дем. тактику: „В прежнее время, когда наше революционное движение было движением небольшого слоя разночинцев и когда все его силы исчерпывались небольшими партизанскими отрядами, гибель каждого отдельного борца обыкновенно зажигала в сердцах его немногочисленных товарищей жажду мести. Теперь, когда в движение вошли широкие слои пролетариата, гибнут уже не отдельные лица; теперь кровь льется ручьями, и теперь жажда мести горит в тысячах и тысячах рабочих сердец. Но, сообразно с ростом нашего движения, растет и цель, которую ставят себе мыслители. Гибель отдельных представителей власти не имеет для них значения. Их жажда мести может быть удовлетворена только крушением всей, так позорно давящей нашу страну, политической системы. А к этой цели ведет только один путь: политическое воспитание рабочей массы. Над этим воспитанием и трудится российская социал-демократия. Это—свойственный ей род терроризма, и этот терроризм несравненно страшнее и опаснее для правительства, чем терроризм „первой манеры" [3]). Такая месть и такой террор действительно оказались страшнее самодержавию, чем террор эс-эров—индивидуальный террор.

[1]) Г. В. Плеханов. „Еще раз социализм и политическая борьба". Заря, № 1.
[2]) Г. В. Плеханов, т. XII, „Смерть Сипягина и наши агитационные задачи".
[3]) Г. В. Плеханов, т. XII, „Всеобщие стачки на юге".

В другом месте, по поводу белого террора самодержавия, Плеханов говорит: „Ответом на белый террор правительства должно быть усиление революционной агитации в массе. На этом пути нам придется испытать жесточайшее преследование. Много крови прольется на нем, много товарищей вырвет из наших рядов Молох в полицейском мундире. Но мы не покинем его, так как он один ведет к победе. Держась его, мы можем быть уверены, что силы нашей революционной армии будут постоянно увеличиваться, что на место павших борцов будут становиться новые, все более и более многочисленные рекруты свободы, и что мы отомстим царизму, победив его и не оставив в его безобразном здании камня на камне" [1]).

По поводу крестьянских волнений Плеханов писал: „Царская власть, вообще, может в настоящее время только мешать развитию русской народной жизни. Поэтому развитие русской народной жизни делает положение царской власти все более и более шатким. Гражданская свобода может быть принесена русскому крестьянину только политическим освобождением России. Поэтому русский крестьянин вынужден будет принять участие в политическом освобождении России, если только захочет добиться гражданской свободы. А в нем пробуждается уже сильное стремление к ней. Новые условия его быта вызывают в нем новые потребности и разбивают его старые предрассудки. Крестьянские волнения прошлого года—только „пролог пролога" великой драмы, которая готовится к постановке на русской исторической сцене и которая озаглавлена двумя словами: „падение царизма" [2]). При этом, если припомнить его слова о том, что инициатива и руководство борьбой за падение самодержавия принадлежат рабочему классу, то станет совершенно понятно подлинно революционная суть приведенного отрывка: многомиллионное крестьянство, возглавляемое сознательным пролетариатом—это такая сила, одно появление коей на исторической сцене приведет к развязке „великой драмы".

Я не буду умножать выписки, их можно было бы подобрать ровно столько, сколько им написано в „Искре" до II съезда статей. Я только хочу повторить то, что я говорил выше: уже с 1902 года социал-демократия очутилась перед таким высоким подъемом рабочего движения, что вопрос о гегемонии пролетариата из теории стал вопросом практики, и понадобилось непосредственное приложение теории к практике. „Искра" сделала в этом смысле все, что мыслимо.

И нельзя не отметить, что приложение показало, как верна была сама идея гегемонии пролетариата, насколько она плодотворна при ее последовательном использовании, а самое главное как она неизбежно вытекала из объективного хода вещей—практика осуществляла гегемонию ранее того, как идея дошла до массы—лучшее доказательство ее безусловной правильности.

Вопрос о гегемонии пролетариата был одним из жгучих вопросов первой революции, но о том, как Плеханов понимал и применял эту идею в эпоху 1905—1907 г.г. мы поговорим особо. Им же очень много занимались в полемике с ликвидаторством. При чем в эпоху борьбы с этим новым типом оппортунизма Плеханов вместе с нашей партией защищал идею гегемонии от ликвидаторов, которые не прочь были в числе прочих идей ликвидировать и эту.

Сам Плеханов, говоря о гегемонии пролетариата в своих возражениях А. Мартынову, замечает, что и большевики неправильно

[1]) Г. В. Плеханов, „Белый террор". Искра, № 48.
[2]) Г. В. Плеханов, „Отмена круговой поруки". Искра, № 38.

поняли его идею, и что, якобы, попытка большевиков „конкретизировать" идею была попыткой бланкистской. Разумеется, это утверждение носит совершенно явственные следы тогдашних фракционных отношений. Два направления социал-демократии пытались конкретизировать одну и ту же идею, высказанную в эпоху, когда не было разногласий между ними,—только внимательный разбор попыток, т.-е. тактик, этих двух направлений в революции дает возможность судить о том, кому лучше удалось или, еще яснее, кто действительно реализовал идею гегемонии пролетариата, а чья деятельность коренным образом мешала конкретизации ее.

Мы этим займемся ниже, скажем лишь, забегая вперед, что самый беглый обзор тактики большевиков и самого Плеханова в революции 1905 года покажет, что Плеханов жестоко ошибался в своем утверждении. В 1905 году единственно подлинными и последовательными защитниками идеи гегемонии пролетариата в революции были большевики.

Статья в. Пролетариат и либеральная буржуазия.

1.

Но если гегемония пролетариата в буржуазной революции таким образом с самого же начала возникновения марксизма в России была провозглашена как нечто неизбежное и объективно обусловленное, то тем самым принципиально намечалось и направление в правильном решении вопроса об отношении к тем классам общества, которые были непосредственно заинтересованы в будущей революции, вели более или менее последовательную борьбу за нее, и которым должен был руководить пролетариат в борьбе против самодержавия. Такими группами и классами были либеральная буржуазия, мелко-буржуазная интеллигенция и крестьянство.

Вопрос об отношении пролетариата к более или менее оппозиционно настроенным классам и группам принадлежит к числу тех проблем „Социализма и политической борьбы", которые всего более занимали Плеханова, над разрешением которых он всего более трудился. До самой первой революции—с начала своей социал-демократической деятельности—Плеханов не выпускал из сферы обсуждения эти вопросы, которые становились все актуальней по мере роста рабочего движения: заслуга его в решении этих вопросов исключительно великая.

В вопросе об отношении к либеральной буржуазии позиция, защищаемая Плехановым до II съезда, была очень законченна, позиция им почти с самого же начала определенная совершенно ясно и без колебаний и неизмененная до самого II съезда и после. Может быть, мне будет разрешено заранее отметить, что именно это обстоятельство привело Плеханова к тому, что в этом вопросе в эпоху первой революции он был всего далее от подлинно революционной позиции большевиков.

Но это лишь мимоходом, а теперь попытаемся по возможности сжато проследить его взгляд на отношение пролетариата к либеральной буржуазии,—вопрос, которым он задается уже в первом же своем памфлете.

В „Социализме и политической борьбе" Плеханов, подвергая суровой критике программу Исп. Ком. Нар. Воли, касается и вопроса

об отношении к либералам. Критикуя требования „радикального политического переворота", он спрашивает: „Разве экономический переворот входит в интересы русского либерализма? Разве наше либеральное общество сочувствует аграрной революции, которой, по словам „Народной Воли", будут добиваться крестьянские депутаты? Западноевропейская история говорит нам весьма убедительно, что там, где „красный призрак" принимал хоть сколько-нибудь грозные формы, „либералы" готовы были искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры. Думал ли террористический орган, что наши русские либералы составят исключение из этого общего правила? Если так, то на чем основывал он свое убеждение?" [1]).

Эти вопросы были тем более законными, что народовольцы расчеты свои строили не только на одних рабочих и крестьянах, но и на „обществе". Рассчитывать, что представители „общества", т.-е. средняя буржуазия и интеллигенция, будут поддерживать захват власти с целью коренного экономического переворота—было, по меньшей мере, фантастическим расчетом. „Как ни забито, как ни задавлено русское общество, но оно вовсе не лишено инстинкта самосохранения и ни в коем случае не пойдет добровольно навстречу „красному призраку"; указывать ему на такую „постановку" задач партии—значит лишать себя его поддержки и рассчитывать лишь на свои собственные силы" [2]). Совершенно правильно. А собственных сил народовольчества без „общества" было ни в коем случае не достаточно для подобных радикальных переворотов: несколько отрядов революционной интеллигенции, отдельные кружки городских рабочих и единичные крестьяне—были бы слишком узким основанием для захвата власти и экономического переустройства страны. „Мы думаем, что единственно нефантастической целью русских социалистов может быть теперь только завоевание свободных политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для образования будущей рабочей социалистической партии России—с другой. Они должны выставить требование демократической конституции, которая, вместе с „правами человека", обеспечила бы рабочим „права гражданина" и дала бы им, путем всеобщего избирательного права, возможность активного участия в политической жизни страны. Не пугая никого далеким пока „красным призраком", такая политическая программа вызвала бы к нашей революционной партии сочувствие всех, не принадлежащих к систематическим противникам демократии; вместе с социалистами под ней могли бы подписаться очень многие представители нашего либерализма. И между тем как захват власти той или другой тайной революционной организацией всегда останется лишь делом этой организации и лиц, посвященных в ее планы, агитация в пользу названной программы была бы делом всего русского общества, в котором она усиливала бы сознательное стремление к политическому освобождению. Тогда интересы либералов действительно „заставили" бы их „вместе с социалистами действовать против правительства", потому что либералы перестали бы встречать в революционных изданиях уверения в том, что ниспровержение абсолютизма будет сигналом социальной революции в России. Вместе с тем, другая, менее пугливая и более трезвая часть либерального общества перестала бы видеть в революционерах непрактичных юношей, задающихся несбыточными и фантастическими планами" [3]).

---

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 75.
[2]) Там же, стр. 76.
[3]) Там же, стр. 83.

Эта программа была на целую голову выше всех до того существовавших программ. Однакоже ее слабые стороны сейчас не трудно заметить, спустя сорок лет. Но не следует забывать, что на лбу этой программы красуется печать этой эпохи, и всякий, кто захочет ее критиковать, должен вспомнить 1883 год, обстановку и условия, общественные отношения и состояние революционной работы эпохи. Ниже мы увидим, что забвение этого приводит к печальным результатам, печальным для тех, кто не видит печать времени на тактике группы „Осв. Труда".

Если либеральная буржуазия, так-называемое общество, действительно настроена оппозиционно против самодержавия, то почему же незаметно это? Ни в одной стране „общество" не вступало в борьбу с „главным врагом" до тех пор, пока не чувствовало за собой поддержку рабочего класса, „народа", без такой поддержки оно было трусливо, ибо оно было бессильно.

„Наше общество" не может еще рассчитывать на такую поддержку рабочих; оно не знает даже, на кого направит свое оружие рабочий-инсургент: на защитников абсолютной монархии или на сторонников политической свободы. Отсюда его робость и нерешительность, отсюда овладевшее им теперь тяжелое и безнадежное уныние. Но измените положение дел, обеспечьте нашему „обществу" поддержку одних только городских предместий,—и вы увидите, что оно знает, чего хочет, и умеет говорить с властью языком, достойным гражданина. Припомним петербургские стачки 1878—1879 годов. Слух об этих стачках интересовал далеко не одних социалистов. Они стали событием дня, ими интересовался чуть ли не весь интеллигентный и мыслящий Петербург. Вообразите теперь, что в стачках выразился не только антагонизм интересов нанимателей и рабочих данной фабрики, но также начинающийся политический разлад петербургского рабочего класса с абсолютной монархией. Обращение полиции со стачечниками дало не мало поводов к проявлению такого разлада. Представьте же себе, что рабочие Новой Бумагопрядильни требовали не только повышения заработной платы для себя, но также известных политических прав для всех русских граждан. Буржуазия увидела бы тогда, что ей нужно серьезнее, чем прежде, считаться с требованиями рабочих. Кроме того, все те ее либеральные слои, экономическим интересам которых успех стачечников не грозил бы прямым и непосредственным образом, почувствовали бы, что их политические требования приобрели, наконец, твердую почву, и что поддержка рабочего класса делает гораздо более вероятным счастливый исход борьбы с абсолютизмом. Политическое движение рабочих вдохнуло бы новую уверенность в сердца всех сторонников политической свободы" [1]).

Политические требования „общества" реализуются только тогда, когда рабочий класс поддержит их, отсюда совершенно ясно—России нужна не террористическая борьба, а серьезная деятельность в рабочей среде, организация сил рабочего класса, агитация и пропаганда в его среде принципа „современной социальной демократии".

Если представители „общества" не в состоянии в силу своего положения вести эту агитацию и пропаганду, то революционная интеллигенция может взять на себя эту задачу, может и должна взять ее, ибо это вернейший путь к осуществлению политической свободы.

В своей очень популярной статье, писанной для рабочих, „Современные задачи русских социалистов", Плеханов, объясняя им тактику использования и поддержки либерального движения, объясняет, исходя из того положения, что „между вашими врагами, которые так

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 344.

часто соединяются против вас, между правительством и высшими классами нет единодушия" [1]), царь хочет оставить себе полную деспотическую власть самодержца, представители буржуазии требуют конституционного правления. „Вот этот-то раздор в лагере ваших врагов, вот эта-то необходимость ограничения царской власти и облегчат вам завоевание политических прав и политической свободы. Придет время, когда сами высшие классы будут просить вашей помощи в борьбе с царем, когда они сами будут толкать вас на борьбу за свободу. Но, пользуясь этим выгодным для вас обстоятельством, вы все-таки должны начать эту борьбу на свой собственный страх и для достижения своих собственных целей" [2]).

В политике—говорил он не один раз,—нет благодарности, в политической борьбе расчеты свои строит на благородных чувствах другого класса только тот, кто сам слаб и немощен, рабочий же класс, который составляет самую внушительную силу революции, должен сам заботиться о своих правах, своих завоеваниях.

Все это нашло себе отражение в программе 1888 года; крестьянство не сочувствует революционному движению. „Необходимым следствием этого является бессилие и робость тех образованных слоев высших классов, материальным и умственным интересам которых противоречит современная политическая система. Возвышая голос во имя народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда—неустойчивость политических воззрений, а временами и полное разочарование нашей интеллигенции" [3]). Но положение не безнадежно, ибо в результате разложения общины и развития капитализма появляется в России рабочий класс, которому и суждено быть проводником передовых стремлений цивилизованного человечества в России,—общество, таким образом, находит себе твердую опору в проведении своих передовых стремлений.

До сих пор Плеханов лишь мимоходом, между прочими задачами, останавливался и на вопросе об отношении к либералам; самая задача, которую ставила себе к решению группа „Осв. Труда"—заставить революционную интеллигенцию обратиться к марксизму за разрешением противоречий, в которых запуталось революционное движение России, требовала того, чтобы неустанно, рискуя неоднократно повторять свои доводы и мысли, развивались общие положения марксизма. Но уже конец 80-х годов значительно изменил положение. Марксизм имел уже известную аудиторию, заставил себя слушать; противники распространения учения Маркса в лагере революционеров уже не представляли силы ни в теоретическом, ни в практическом отношении; при этом, разумеется, у аудитории марксистской возникала естественная потребность решения и конкретных вопросов тактики. Одним из существенных вопросов тактики в эту переходную эпоху был обсуждаемый вопрос, которому Плеханов стал уделять гораздо больше внимания, чем до того. Основной работой, выясняющей подробно и всесторонне его взгляд на вопрос об отношении пролетариата к либералам, является его разговор с Конституционалистом по вопросу о том, „как добиваться конституции".

2.

Разговор начинает Конституционалист постановкой действительно интересного вопроса. Если социалисты также стремятся к политической свободе, что и представители общества, то не целесообразнее ли

[1]) и [2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 370.
[3]) Там же, стр. 402.

было бы им отбросить совершенно на время борьбы за политическую свободу вопрос о социализме? „Теперь у нас на очереди не социальный, а политический вопрос. Повалите абсолютизм, добейтесь политической свободы, а потом, уже и говорите о социализме. Тогда это будет вполне своевременно, а потому и не напрасно; теперь же только даром тратите силы“ [1]). При этом К. разъясняет Социалисту, т.-е. Плеханову, что следует делать для того, чтобы добиться конституции; советует перестать быть сектантом, отщепенцем, отложить в сторону социализм и приступить к „политической агитации“. Социалист совершенно законно удивляется такому противопоставлению социализма политической агитации. „Социализм не мыслим без такой агитации“,—говорит он и далее, разъясняя К., что мешает социалистам сталковаться с либералами, он говорит: „Многое и, главным образом, ваше отношение к социализму. Вы не враг социализма, но вы думаете, что те, которые толкуют о нем в настоящее время, начинают дело с конца. Вы советуете нам на время забыть о нем и, так сказать, прикомандироваться к либералам. Мы смотрим на дело совсем иначе, мы думаем, что, если бы наши либералы действительно хотели бороться за политическую свободу, то они, в конце концов, не могли бы придумать ничего лучшего, как пристать к социалистам“ [2]). Разумеется, либералы никогда не пристанут к социалистам, но, быть может, социалисты могут временно бросить социализм? Если бы такой поступок хоть немного приблизил момент завоевания политической свободы, разумеется, не было бы места колебаниям; но в том-то и дело, что, „превратившись в либералов, социалисты только замедлили бы дело политического освобождения России“ [3]), и это по той чрезвычайно простой причине, что этим актом только ослабили бы силу революции; в истории много тому примеров: „общество бессильно без поддержки народа или, по крайней мере, наиболее развитой, наиболее революционной части народа, т.-е. рабочих“ [4]), а советуя отбросить на-время социалистическую пропаганду среди рабочих, естественно, либералы лишь ослабляют тот отряд, без поддержки которого они бессильны.

„В борьбе с правительством высшие классы, из которых состоит „общество“, никогда и нигде не играли роли „регулярной армии“. Это чистая фантазия. Сами по себе они всегда были штабом без армии, как выражается Энгельс, говоря о немецкой буржуазии. Чтобы создать армию, нужна народная масса, нужны силы рабочих. Порукой в этом может служить вся западно-европейская история новейшего времени. А вот этой-то настоящей, а не фантастической армии и не видит за собой „пока что“ наше общество. Поэтому оно и „нерешительно“, зная, что правительство может раздавить его в каждую данную минуту. Поэтому оно „сонно“ и „недеятельно“. Вот этому горю и должны помочь наши революционеры. А раз они возьмутся помогать ему, им уж нельзя будет даже „на время“ забыть, что они социалисты [5]). Сознание, что они социалисты, не только не ослабляет таким образом, а усиливает борьбу, которая не может не быть сопряженной с насилиями.

Надежды на добровольную уступку царского правительства, на внешние силы,—надежды пустые в лучшем случае, а, быть может, и чисто реакционные. „Борьба за политическую свободу должна быть первым фазисом рабочего движения в России“ [1]). Но параллельно с этим имеет большой смысл и значение борьба либерального общества. „Я вовсе не считаю бесполезной борьбу высших и средних классов против правительства, я первый приветствовал бы начало такой борьбы, потому что я понимаю все ее возможное значение. Но я говорю, что это возможное значение не станет действительным до тех пор, пока рядом с движением в обществе не начнется движение в рабочей среде, и я приглашаю нашу революционную молодежь содействовать этому последнему движению. Я говорю ей, что только в рабочей среде она найдет плодотворную почву для своей деятельности, что, пробуждая сознание рабочего класса, она будет способствовать не только освобождению этого класса, но и всех других прогрессивных классов в России“.

Революционеры чураются социал-демократического решения вопроса потому, что они далеки от рабочих. „Пусть только идут наши революционеры к рабочим, сама жизнь сделает их социал-демократами“ [2]), сама жизнь заставит их притти к соц.-демократическому решению проблемы.

Итак, не отказ от классовых позиций и классовой точки зрения, а использование и поддержка всякого революционного движения, направленного против самодержавия,—таков был вывод из спора Плеханова с Конституционалистом.

Падение самодержавия готовят „не одни только революционеры. Сами по себе революционеры были бы не страшны для правительства. Непоправимая беда монархии заключается в том, что даже ее самые верные подданные своей экономической деятельностью приближают ее гибель. А ввиду этого и революционеры могут стать грозной общественной силой. Успех их дела обеспечивается всем складом и всем ходом нашей современной общественной жизни“ [3]). Сила революционеров в том, что ослабляет самодержавие,—это совершенно ясно. „Вопрос лишь в том, сумеют ли революционеры согласовать свои усилия с направлением общественного развития. Говоря вообще, всякий протест против самодержавия согласуется с этим направлением. Но не всякий в одинаковой степени подрывает современный политический порядок. Производительный и полезный труд может быть более или менее производителен, более или менее полезен, смотря по приемам и орудиям трудящегося. Между русскими революционерами теперь единства меньше, чем когда бы то ни было: одни предпочитают один способ борьбы, другой—другие, третьи—третий—и т. д., до бесконечности, сказали бы мы, если бы число русских революционеров не было пока еще очень ограничено. Такое разделение очень печально, так как оно ослабляет силы революционеров. Но оно в то же время и неизбежно“ [4]), неизбежно было в эпоху перехода на новые теоретические рельсы. „Все такого рода пересмотры вызывают множество споров и разногласий. Этим-то и объясняется современное отсутствие единства между русскими революционерами“ [5]). Но программные споры между революционерами не могут продолжаться вечно. „Уже теперь, при всем разнообразии революционных взглядов, ясно, что только два направления могут у нас рассчитывать на будущее: либеральное и социал-демократическое. Все остальные „программы“ представляют собою лишь эклектическую смесь этих

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 12.
[2]) Там же, стр. 13.
[3]) Там же, стр. 15.
[4]) Там же, стр. 16.
[5]) Там же, том IV, стр. 277

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 28.
[2]) Там же, стр. 30.
[3]) Там же, стр. 235.
[4]) Там же, стр. 235—236.
[5]) Там же, стр. 236.

двух направлений и потому осуждены на исчезновение. Постепенно взгляды наших революционеров настолько выяснятся, что их перестанут удовлетворять программы-ублюдки, и тогда одни из них совершенно махнут рукой на социализм и впрягутся в либеральную колесницу, другие же совершенно усвоят себе социалистические взгляды, т.-е. сделаются социал-демократами" [1]). Мысль, высказанная здесь, чрезвычайно интересная, но страдает она отсутствием перспективы,—понадобилось не менее 20 лет, в течение которых Россия два раза пережила буржуазную революцию и совершила октябрьский переворот, для того, чтобы эклектические программы исчезли окончательно. Мелкая буржуазия оказалась гораздо более устойчивой, чем себе представляли в ту эпоху,—и этот факт не мог не ввести основательное изменение в перспективы и расчеты Плеханова. Гораздо скорее либералы пережили свою оппозиционность, чем исчезла со сцены самая эклектическая из всех программ и самая межеумочная из всех партий—партия социалистов-революционеров.

Но кого же тащит за собой либеральная колесница? „Из каких элементов состоит наше „общество"? Частью из чиновничества, частью из дворянства, частью из буржуазии. Чего можно ожидать от каждого из этих слоев? От чиновников в лучшем случае лишь „попустительства", от буржуазии—„легальной" оппозиции против полицейского и бюрократического произвола, от дворянства... но читатель и сам знает, что от дворянства можно ожидать теперь, главным образом, лишь выпрашивания денежных подачек у правительства.

На такой тройке далеко не уедешь. Правда, к трем перечисленным и сильно перемешанным между собой слоям нужно прибавить еще слой идеологов-разночинцев, людей „либеральных профессий", по самым условиям своей жизни враждебных самодержавию. Слой этот очень невелик, но на Западе он сыграл важную историческую роль, увлекая за собой народ в борьбу за политическую свободу. У нас ему не суждено сыграть, повидимому, такой роли, потому что он не имеет никакого влияния на народ. Опираясь на народ и преимущественно на рабочее население крупных центров, либеральные члены общества приобрели бы огромную силу, без поддержки же рабочего населения они—все равно, что несколько нулей без единицы впереди: ничтожество, полнейшее ничто. И ваши либералы даже и не задумываются о необходимости выйти из своего ничтожества, у них даже нет помышления о распространении своих политических взглядов в народе. Можно ли рассчитывать на таких людей? Помилуйте, да, ведь, они и сами никогда на себя не рассчитывали!" [2]).

Может вызвать недоумение кажущееся противоречие: либералы без рабочих полнейшее ничто, а революция при оппозиции либералов становится грозной силой. Но тут никакого противоречия нет, мысль эта равносильна тому утверждению, что только под руководством рабочего класса русское общество способно свергнуть самодержавие, утверждение, которое не только не отрицает гигантского значения для успешной борьбы рабочего класса, вообще оппозиционное настроение „общества", но его предполагает, и, в свою очередь, это же нисколько не противоречит тому, что оппозиция без боевой активной силы рабочего класса не представляет абсолютно никакой опасности для существования царской власти, для самодержавия, есть „ничто", как говорит Плеханов.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 226.

Этот чрезвычайно энергичный отрывок является теперь, когда мы имеем за собой уже длинный путь проделанной борьбы, почти пророчеством. Буржуазия на Западе действительно была в силе сыграть важную историческую роль, в России же, даже при наличии поддержки могучего революционным энтузиазмом рабочего класса, она не смогла выйти из состояния трусливого шатания в начале борьбы и постоянного предательства в процессе самой борьбы. В России буржуазия тоже сыграла „важную историческую роль", но только отрицательную, в гораздо большей мере и степени, чем положительную. Если ее сравнить с буржуазией западных стран, то не трудно будет установить, что свою историческую миссию западная буржуазия худо ли, хорошо ли выполняла, постоянно прячась за спиной народа,—русская же буржуазия и на это не оказалась способной. Русская буржуазия воистину показала себя нулем для революционной борьбы. Даже имея перед собой такую внушительную единицу, как рабочий класс, она на практике, на деле мало увеличила силу единицы. Меньше, чем то можно было ожидать на основании теоретических выкладок.

Однако ретроспективно нельзя судить о тактических положениях. Всякая тактика обусловливается обстоятельством места и времени, и совершенно понятно, почему в наших суждениях мы обязаны оставаться на исторической почве. А судя с исторической точки зрения мы должны подчеркнуть, что значение оппозиционной атмосферы было исключительно важно тогда.

Но даже и с точки зрения наших современных понятий тактика поддержки и использования либеральной оппозиции была безупречной тактикой. До того, пока эти нули способны увеличивать мощь единицы, до того и нули для единицы имеют огромное значение. Но, ведь, не всегда нули с единицей увеличивают силу и значение ее. Если продолжить ту же аналогию, то нули за единицей нечто диаметрически противоположное нулям перед ней. Одно и то же явление способно усилить, но при известных лишь условиях, при других условиях оно же может стать тормозом развития. Такова диалектика развития.

О либералах вопрос так именно и стоял: использовать их, пока они представляют силу, направленную против самодержавия. Задача политического деятеля таким образом сводилась к тому, чтобы учесть момент, когда наступит переломный предел оппозиции против самодержавия. Мы увидим ниже, что определить этот момент оказалось не столь легким делом, как может показаться с первого взгляда.

Но вернемся к Плеханову.

В библиографической заметке, в том же номере „Соц.-Дем.", где было помещено вышецитированное „Внутреннее обозрение", мы читаем: „Экономически русская промышленная и торговая буржуазия давно уже заняла видную роль в обществе. Ей недоставало политического сознания и развития. С божьей помощью сторонники „патриархальной монархии" дадут ей его своими реакционными попытками решения социального вопроса. Энергично ведя поход против „западного обскуратизма", они толкнут наших буржуа на путь западничества, сделают привлекательными для них западно-европейские либеральные идеи и этим сослужат огромную службу делу русского прогресса. Пусть же работают прилежнее единомышленники „русского дворянина", пусть же реакционные дурачества все сильнее и сильнее возбуждают против современного правительства общественное мнение России. Это очень на-руку нашему брату, революционеру" [1]).

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 293.

В следующем, третьем номере „Соц.-Дем." опять-таки в заметке о книге Доверина-Чернова пишет: „Если наша торгово-промышленная буржуазия до сих пор еще не стала в оппозиционное отношение к правительству, то причина этого явления кроется именно в его заботливом отношении к ее нуждам. Между тем, как наши либералы предаются отвлеченным рассуждениям о преимуществах „правового порядка" (вернее было бы сказать—предавались, так как теперь наши либералы, превратившись в консерваторов, уже не дерзают распространяться о правовом государстве), царизм привлекает к себе буржуазию всем направлением своей экономической политики. Конечно, не будучи у власти, наши либералы (читай: консерваторы) не могли бы, если бы даже и захотели, подкупить буржуазию какими бы то ни было материальными подачками. Но не в подачках и дело. Самодержавие, одной рукой поддерживающее и охраняющее интересы нашей промышленности, другой рукой в то же самое время не перестает вредить ее интересам. Русский капитализм уже дошел до той стадии развития, на которой отношения его с нашей современной политической системой по необходимости будут становиться все более и более серьезными. Опираясь на это обстоятельство, наша оппозиционная печать,—если бы только у нас была печать, достойная этого названия,—могла бы теперь же начать целый поход против самодержавия"... „Ставши на эту реальную почву, критикуя полицейское государство с точки зрения тех самых экономических нужд, которые оно старается удовлетворить, наша оппозиция впервые стала бы серьезной общественной силой. До тех же пор, пока она будет довольствоваться тем абстрактным либерализмом, который никак не умеет поставить свою программу в связь с важнейшими экономическими интересами страны (по крайней мере в такую связь, которая была бы очевидной не только для теоретиков, но и для людей практического дела), она по-прежнему не увидит в своих рядах никого, кроме „интеллигенции". И по-прежнему реакционеры будут цинично смеяться над ее полнейшим бессилием" [1]).

Отрывки эти интересны во многих отношениях. Во-первых, проводимое старательное выделение либералов и буржуазии в две различные группы по политическим идеалам и по сознательности, затем—и это особенно важно—отметка о фактическом консерватизме громкой либеральной фразеологии, которая „никак не может поставить свою программу в теснейшую связь с важнейшими экономическими интересами страны".

3.

Как он мыслил себе задачу непосредственно практического приложения принципов к революционной повседневной деятельности?

Обсуждая „всероссийское разорение" от голода и говоря о том, что должно делать русское общество для ликвидации последствий его, Плеханов находит, что необходим ряд таких финансово-экономических мероприятий, которые самодержавие, разумеется, не проведет: „Эти реформы могут быть предприняты лишь по почину всей русской земли и осуществлены лишь при ее деятельном участии. Осуществите их—и вы похороните русский царизм. Но никакое правительство никогда еще не поднимало на себя руки. Поэтому, ничего не ожидая от царизма, надо действовать вопреки ему. Все честные русские люди, которые, не принадлежа

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., том IV, стр. 303.

к миру дельцов, кулаков и русских чиновников, не ищут своей личной пользы в бедствиях народа, должны немедленно начать агитацию в пользу созвания Земского Собора, долженствующего сыграть роль Учредительного Собрания, т.-е. положить основы нового общественного порядка в России. Разумеется, в деле подобной агитации непременно должны обнаружиться и фракционные различия, существующие в среде людей революционного или оппозиционного образа мыслей. Но эти различия ничему не помешают. Пусть каждая партия и каждая фракция делает дело, подсказываемое ей ее программой. Результатом разнородных усилий явится новый общественно-политический строй, который, во всяком случае, будет большим приобретением для всех партий, кроме достаточно уже опозорившейся партии кнута и палки. То, что мы предлагаем здесь, есть не утопия, умышленная изгнанником, оторванным от родной почвы, а насущное, неизбежное дело. Вы можете, если хотите, осмеять наше предложение сегодня. Но ваша апатия не разрешит страшного вопроса. Если не теперь, то через год, если не через год, то через несколько лет, вам придется считаться с этим вопросом. И тогда, как и теперь, перед вами будет лежать только один путь действий: борьба с царизмом. И чем раньше вступите вы на него, тем больше выиграет вся Россия. Полное экономическое разорение нашей страны может быть предупреждено лишь полным политическим ее освобождением" [1]).

Эта программа была принята не достаточно дружелюбно, как я уже сказал выше. Отвечая недовольным „молодым" из России, Плеханов делает ряд чрезвычайно интересных замечаний и высказывает несколько очень важных для нашей задачи мыслей, на которых мы не можем не останавливать внимание читателей.

Буржуазия может быть верна „престолу" лишь до тех пор, пока „престол" остерегается протягивать руку к его сердцу, т.-е. к ее кошельку, и избегает введения подоходного налога. Как только царизм, проявивший до сих пор истинно-отеческую заботливость об интересах „всероссийского купечества", окажется не в состоянии играть роль насоса, который, выкачивая содержимое народного кармана, переливал его в карман буржуазии, эта последняя сейчас увидит, что ей не остается ничего другого, как с честью похоронить своего „обожаемого" родителя. И она не замедлит исполнить эту священную обязанность" [2]). Но буржуазия не единственная сила в России. Там, где буржуазия, там и пролетариат". „Пролетариат в сравнительно короткое время растратал все „основы" западно-европейского общества. В России же его развитие и политическое воспитание идет несравненно скорее, чем шло на Западе. В России пролетариат растет, мужает и крепнет буквально не по дням, а по часам, как сказочный богатырь. В какие-нибудь десять-двенадцать лет он изменился до неузнаваемости" [3]). Общественное развитие России привело к образованию тех общественных классов, которым суждено быть могильщиком самодержавия. „Один из этих новых на Руси общественных классов,—и наиболее революционный из них: пролетариат—уже теперь, в лице своих лучших представителей, хорошо сознает свои политические задачи. Другой—отсталый (курсив мой. *В. В.*), буржуазия—должен будет сознать свои под страхом разорения. Это уже огромный шаг вперед, это надежное ручательство за лучшее бу-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 353—354.
[2]) Там же, стр. 382.
[3]) Там же, стр. 383.

дущее, это полное отрицание азиатского застоя, составлявшего когда-то отличительную черту России"... „Старый экономический строй России рассыпается, как карточный домик, как гнилушка, истлевшая и обратившаяся в пыль. И теперь все мы, враги существующего порядка, чувствуем, наконец, твердую почву под ногами: теперь пришло наше время" [1]).

Совершенно правильно, теперь пришло „наше время", но оно накладывает тяжелые обязанности на „нас", ибо задачи, которые выпали на „нашу" долю—грандиозны: предстоящая России революция—борьба за свержение самодержавия—требует от „нас" гигантских подготовительных, организационных и агитационных работ, выполнить которые по плечу только рабочему классу; за короткий срок он проделал уже огромный шаг в деле подготовки революции, выдвинул из своей среды сознательно авангард, задачи которого в более точной форме надлежало определить; более точной потому, что в наличии уже совершенно достаточно объективных условий для конкретного и точного определения задач наиболее сознательного передового отряда.

Какую роль должен взять на себя социалистический авангард пролетариата в предстоящей подготовке революции и в ней самой? Вопрос поставлен не для того, чтобы ответить на него какой-либо общей, ничего не говорящей фразой о пользе политической свободы для социализма,—теперь уже нужны точные, деловые, конкретные указания.

О том, каков был ответ в вопросах партийно-организационных—я уже говорил выше, но и по занимающему нас сейчас вопросу он дал более точные ответы.

„Молодые" упрекали его в том, что он приносит в жертву политической борьбе социализм. Мы уже выше убедились, как неоснователен был подобный упрек. Однако вопрос, сам по себе не безынтересный, имеет огромное тактическое значение и от него нельзя было отделаться простым опровержением.

Каково будет „наше" отношение к политической борьбе? „Подобно немецким коммунистам сороковых годов, мы будем поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Но ни одно из них, какие бы размеры оно ни приняло, не заставит нас спрятать свое собственное знамя. И лишь в той мере будем мы желательными и сильными союзниками других, более или менее революционных партий, в какой сумеем распространить среди русского пролетариата наши социал-демократические идеи" [2]).

Агитация за политическую свободу должна итти неразрывно с развитием классового сознания пролетариата, забота о нем должна быть одной из самых важных забот социалиста. „Наша политическая агитация принесет для нас плоды только в том случае, если она будет содействовать росту классового сознания русского пролетариата. Классовое сознание пролетариата—это тот щит, от которого отлетят, как горох от стены, все стрелы враждебных нам партий" [3]). Такая последовательная классовая позиция могла казаться несвоевременной и крайней, однако, как совершенно справедливо говорит Плеханов, „мы социалисты, а в глазах социалистов умеренность вовсе не заслуга" [4]) (курсив мой. *В. В.*). Могли возразить также, что слишком откровенные речи могут напугать либералов. „На это я отвечу вот что: с нашей стороны нелепо было бы умышленно запугивать их; но если они испугаются нас как-нибудь невзначай, помимо нашей воли, то нам остается только пожалеть об их совершенно уж „несвоевременной" пугливости. Во всяком случае, мы считаем самым вредным родом запугивания—запугивание социалистов призраком запуганного либерала. Вред, приносимый таким запугиванием, несравненно больше той пользы, которую могло бы принести убеждение г.г. либералов в нашей умеренности и аккуратности" [1]).

Мы не можем пройти мимо только что приведенного отрывка. Читатель, вероятно, помнит вышеприведенную цитату, где он упрекает народовольцев, которые своим „красным призраком" пугают либералов и отпугивают от революции; мы там же указали, что на том отрывке—печать 1883 года.

Тот отрывок без только что приведенного мог вызвать недоумение и, пожалуй, упрек, в умеренности, нереволюционности, боязни пугать либералов и т. д., хотя и там по общему смыслу совершенно несомненно, что речь идет об умышленном запугивании, однако дополненная только что приведенным мысль эта приобретает глубокий смысл и значение. Действительно, самый вредный вид запугивания „запугивание социалистов призраком запуганного либерала". Эта истина не раз впоследствии была доказана экспериментально. Пугать фантастическими рассказами о непосредственной экономической революции не умно. Но на этом основании пугаться иметь свои последовательно продуманные воззрения—преступно с точки зрения интересов революции.

Гвоздь не в запуганном либерале, дело в трусости общества, в его вялости и нерешительности. Откуда оно взялось? „Общество трусливо, потому что силы его слишком ничтожны перед силами правительства. На силы же учащейся молодежи и революционной „интеллигенции" оно тем менее может возлагать какие-нибудь политические надежды, что и молодежь и „интеллигенция", не будучи в состоянии справиться с правительством, беспрестанно просят у него помощи. Несомненно, бывают обстоятельства, когда даже безнадежная борьба нравственно обязательна для всякого честного человека. Несомненно также, что в современной России обстоятельства сложились именно таким образом. Но все, что ни сказали бы мы „обществу" по этому поводу, остается гласом вопиющего в пустыне. Общество будет трусливо, оно не выйдет из своего политического бездействия до тех пор, пока противники существующего порядка вещей не выставят силы, способной померяться с силой правительства" [2]).

Это—его излюбленная мысль. Где же оно может найти эту силу, не раз уже было указано Плехановым: единственная сила, которая в состоянии вывести общество от бессилия—это рабочий класс. „Только рабочий класс способен нанести смертельный удар царизму. Буржуазия, как русская, так и западно-европейская, в лучшем случае, не пойдет в борьбе против него дальше бессильной оппозиции" [3]). Только рабочий класс. И если находятся в изобилии филистеры, которые с самодовольством указывают на то, будто рабочий класс России „глуп и неразвит", то лучшим ответом на их клевету были непосредственно вслед за голодом 1891 г. последовавшие выступления: „Голод 1891 года застал трудящуюся Россию в самом беспомощном экономическом положении. Но, к счастью, для нее, в политическом отношении она уже не беспомощна. Русский рабочий бедняк, но он не дурак. И в этом обстоятельстве заключается надежнейший залог успеха для революционеров" [4]).

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 384—385
[2]) Там же, стр. 409.
[3]) [4]) Там же, стр. 417.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 417.
[2]) Там же, стр. 316.
[3]) Там же, стр. 97.
[4]) Там же, стр. 124.

Недаром в 90-м году Плеханов, советуя русским соц.-демократам вести агитацию за празднование 1-го мая, писал: „оно будет больше, чем всякое другое действие, способствовать развитию классового сознания в русском пролетариате. А когда разовьется это сознание, когда русские рабочие возвысят голос в защиту своих интересов, когда они хоть отчасти проникнутся теми стремлениями, которые одушевляют теперь их западных братьев, тогда недолго просуществует и русское самодержавие. Метла рабочего движения навсегда сметет его с лица русской земли“ [1]). Непосредственно вслед за голодом) и даже в год самого голода) началось у нас празднование 1-го мая, много способствовавшее росту революционного авангарда пролетариата.

Приблизительно к этой же эпохе относится другой, для нас чрезвычайно важный документ: я говорю о докладе Брюссельскому Конгрессу 1891 года.

Этот доклад является итоговым отчетом. В нем Плеханов подводит баланс своей политической и тактической деятельности 80 годов, и с этой точки зрения доклад представляет исключительный интерес.

Что говорит он по интересующему нас вопросу? „Наши либералы далеко не находятся у власти: человек с либеральными взглядами является человеком подозрительным в глазах нашего правительства. В качестве партии, оппозиционной нашему современному режиму, либералы, очевидно, являются прогрессивной силой в нашей стране“ [2]).

Но они не борются с правительством активно, ограничиваясь лишь мирной оппозицией. „Либеральные идеи до сих пор очень слабо захватили нашу промышленную буржуазию. В большинстве случаев наши либералы, так же, как и революционеры старого бакунистского закала, принадлежали к так называемой „интеллигенции“. Для многих людей из этого социального слоя либерализм часто является только одной из фаз эволюции. Тот же самый человек, который был „социалистом“ на университетской скамье, становится „либералом“ по получении диплома, когда удалось устроиться и составить себе положение“ [1]).

Выше я уже отметил, что Плеханов отделяет понятие либералы от понятия буржуазия, мы здесь имеем ясную и точную формулировку его мысли. Либерал—это, прежде всего, остепенившийся интеллигент-радикал, отсюда и его различие от западного своего прообраза. „Западные либералы говорят, что рабочий может много выиграть, живя в мире с капиталом. Русские либералы ничего не говорят по этому поводу по той причине, что они отрицают самое существование пролетариата в России“ [2]). Они не прочь пококетничать с народом, но под словом „народ“ они разумеют, подобно своим народническим теориям, крестьянство. Этим русское либеральное движение обрекает себя на бездействие и бессилие, ибо известно, „что везде, где либеральные партии имели влияние на политическую жизнь своей страны, они обязаны были этим влиянием поддержке народа и, в особенности, пролетариата. Без этой ценной поддержки они теряют всю свою силу, потому что вдали от народа либеральная партия только штаб без армии, а штабы сами по себе не могут никому внушать страха“ [3]). Царизм не без основания спокоен по части либералов: он подкупает буржуазию и тем задерживает ее переход в либеральный лагерь, „сторонники которого рекрутируются, главным образом, среди буржуазных идеологов „либеральных профессий“ [1]). Не они, а рабочий класс в состоянии ниспровергнуть самодержание. „С промышленным пролетариатом впервые в нашей истории появляется революционная сила, способная ниспровергнуть царизм и ввести нашу страну в великую семью цивилизованных народов. И мы можем без всякого преувеличения сказать, что вся дальнейшая эволюция России зависит от умственного развития русского пролетариата“ [1]).

[1]) Г. В. Плеханов. Сочин., т. III, стр. 140.
[2]) „Под знаменем марксизма“ № 6—7 за 1923 г., стр. 83.
[3]) Там же, стр. 84.

Не трудно заметить, что Плеханов в кратких словах резюмирует для делегатов Конгресса те свои мысли, которые он развивал в течение всех 80-х годов.

Тем не менее мы сочли важным остановиться на докладе, ибо он дает ясную формулировку того, что понимает Плеханов под либералами и какую зависимость он устанавливает между ними и буржуазией. Это важно именно потому, что, когда в дальнейшем на сцене появятся подлинные идеологи буржуазии, тогдашние либералы потеряют свое самостоятельное значение и своим именем будут украшать совершенно новое содержание.

С ростом рабочего движения неизбежно должен был уже практически возникнуть ряд вопросов вокруг отношения к буржуазным партиям.

Допустим ли компромисс с ними? Анархисты, которые в начале 90-ых годов особенно шумели, выдвигали безоговорочно отрицательный ответ на этот вопрос.

Разумеется, вопрос этот не был столь остр для русских организаций, как для германской партии, но все же ответ Плеханова на этот вопрос, написанный для немцев, и для нас представляет интерес, он позволяет нам выяснить развитие взгляда Плеханова на этот вопрос. „Много говорят о том, что социалисты не должны вступать ни в какие компромиссы с буржуазией. Те, что говорят это, совершенно правы. Но что называть компромиссом с буржуазией? Когда пролетариат борется вместе и одновременно с либеральной буржуазией против феодализма, не может ли тогда показаться, что пролетариат вступил в сделку с буржуазией. Совсем нет, так как всякий компромисс с буржуазией есть политический договор, который в той или иной форме должен задержать развитие классового самосознания рабочих. Поскольку тактика социалистической партии в какой-нибудь стране способствует прояснению этого самосознания, смешно говорить о компромиссах, каковы бы ни были временные отношения социалистов к другим политическим партиям“ [2]).

Это почти то же, что было сказано им в письмах его о голоде, но более ясно и более точно. Вопрос о компромиссе есть вопрос революционной целесообразности. Это несомненно. Но анархисты недаром метафизики, этого им не понять.

4.

Конец 90-х годов почти целиком ушел на теоретическую борьбу с народниками, с бернштейнианцами, неокантианцами, с легальным марксизмом.

Плеханов занимался разработкой целого ряда теоретических проблем, пытался использовать „легальные возможности“ для пропаганды марксизма в России.

[1]) „Под знаменем марксизма“, № 6—7 за 1923 г., стр. 87.
[2]) Г. В. Плеханов, Сочин., том IV, стр. 257.

На практике шла та же подготовка, то же накопление сил для будущего революционного взрыва. Вторая половина 90-х годов была временем созревания тех возможностей, которые давно уже наметились в рабочем классе и о которых неустанно говорил Плеханов. Его пропаганда в этом деле играла исключительно важную роль. Вся подрастающая революционная молодежь на его трудах училась научному социализму, он своей пропагандой готовил основной кадр нарождающейся партии.

Но уже в 1898 году появились симптомы того, что вновь на очередь дня станут вопросы, казалось бы, давно решенные. На этот раз, как результат практики, как потребность самого рабочего движения, встали почти все те вопросы, над разрешением которых так долго трудился Плеханов. В том числе и вопрос об отношении к либеральной буржуазии.

Выдвинутые при новой обстановке старые вопросы тем не менее не становились новыми; то обстоятельство, что в начале XX столетия старые вопросы были вновь выдвинуты, несмотря на их решение, могло натолкнуть на мысль, будто старое решение было неудовлетворительное. Но это не так. Не вследствие ошибок и недооценок в решении, а самой жизнью и самим потоком стихийного движения рабочего класса снизу выдвинуты были они вновь на очередь. То, что было теоретически выведено из разрозненных данных практики рабочего движения нашей страны и опыта западно-европейских партий, то к началу столетия нуждалось в проверке и испытании, то, что было теоретически предположено, то практика реализовала, и в процессе реализации стремилась осмыслить и теоретически оформить.

И читатель не забыл, надеюсь, что до сих пор рассмотренные положения Плеханова блестяще оправдывались при проверке, как столь же блестяще оправдало движение начала столетия учение Плеханова об отношении к либералам.

Одним из ярких доказательств роста пролетариата было возникновение у нас экономизма.

Это было совершенно неизбежным последствием непрерывного роста революционного движения. Были совершенно неизбежны попытки препятствовать возникновению самостоятельности политической партии пролетариата, известные слои рабочего класса, его наиболее привилегированная часть должна была вместе с радикальствующими интеллигентами, примкнувшими к рабочему движению, выдвинуть идею этапов в борьбе пролетариата за свое освобождение, и для данного этапа идею необходимости совместной с либералами и радикалами борьбы с самодержавием; но при „отсутствии самостоятельной политической рабочей партии такое „участие“ по необходимости превратилось бы в простое слияние с радикальной или либеральной буржуазией“ [1]). Эта точка зрения не чужда была и западно-европейской буржуазии, всюду такие попытки были. „Но стремление навязать рабочим этот символ веры означает лишь желание буржуазии эксплоатировать рабочих в политике“ [1]).

Таким образом экономисты играли у нас роль подголосков либерализма, проводниками буржуазного влияния на рабочий класс. Подлинный же представитель рабочего класса рассуждает иначе. „Русский рабочий класс страдает не только от капитализма, но и от недостаточного развития капитализма. Самым тяжелым для пролетариев последствием неразвитости нашей экономики является их политическое бесправие, делающее из них рабов первой встречной кокарды и чрезвычайно затрудняющее их борьбу с капиталистами. Завоевание политических прав, разрушение абсолютизма составляет поэтому необходимое условие правильного развития этой борьбы. Русский социал-демократ выясняет рабочему не только ту враждебную противоположность, которая разделяет его интересы от интересов предпринимателей, но также и ту, которая существует между его интересами, с одной стороны, и интересами самодержавия—с другой. Но интересы самодержавия враждебны интересам не одних только рабочих. Поэтому в борьбе с самодержавием заинтересованы не одни только рабочие. Русская социал-демократия сделала бы непростительную ошибку, если бы она упустила из виду это важное обстоятельство и не сумела воспользоваться им в интересах освободительного движения пролетариата. Она не может игнорировать те слои русского населения, в которых живет дух оппозиции. Маркс и Энгельс высказали в „Манифесте Коммунистической Партии“ ту мысль, что коммунисты обязаны поддерживать всякое революционное движение, направленное против существующего порядка. Эта мысль сохранила все свое великое значение и для нашего времени. Она должна руководить нас в наших отношениях к „обществу“. Мы не только не имеем права игнорировать существующее в его среде оппозиционное течение, но обязаны старательно и постоянно выставлять на вид сторонникам этих течений те наши политические стремления, которые делают из нас самых решительных и самых непримиримых врагов абсолютизма. Нам нечего бояться сближения с оппозиционными слоями нашего общества; нам надо позаботиться только о том, чтобы они не подчиняли нас своему влиянию и руководству. А такое подчинение сделалось бы возможным,—и даже неминуемым,—только в том случае, если бы у нас восторжествовало экономическое направление“ [1]). Но экономизм не восторжествовал и очень скоро был разбит в борьбе, тем самым первая попытка проведения буржуазного влияния на рабочее движение была не из удачных.

Разговор о ненужности особой политической партии при этом, разумеется, сводился к походу против социализма в интересах политической борьбы, к забвению классовой борьбы и сближению пролетариата с буржуазией.

Нужно при этом отметить, что такую тактику Плеханов принимал лишь до тех пор, пока борьба шла против самодержавия и в его лице против остатков феодализма, для запада же, где имеется уже пройденным этот этап, он в этом вопросе примыкал к точке зрения крайних левых. „По вопросу о союзе с буржуазными партиями конгрессу предложено было Гэдом решение, принятое за несколько дней до того на конгрессе французской рабочей партии в Иври и гласящее, что союзы этого рода (не забывайте, товарищи, что речь идет о западе, где уже существует конституционный порядок) всегда опасны для социалистической партии и потому их надо довести до минимума, заключая их только в исключительных случаях и только на время. Это решение было принято конгрессом единогласно. Разумеется, очень можно усумниться в том, что оно вполне точно выражало взгляд сторонников „нового метода“. Но они не возражали против него, вероятно, успокаивая себя тою мыслью, что дело не в самом решении, а в его истолковании“... „Но хотя решение,

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., т. XII, стр. 36 (цитирую по корректуре *В. В.*).

[1]) Там же, стр. 99—100.

принятое в Париже относительно союза с буржуазными партиями и может быть ложно истолковано теми, которые найдут свою выгоду в ложном его истолковании, все-таки не подлежит сомнению, что, принимая это решение, Парижский конгресс сделал все, от него зависящее, для того, чтобы ясно и точно ответить на стоявший перед ним вопрос" [1]). Использовать либеральную буржуазию можно лишь постольку, поскольку она оппозиционна, а ее оппозиция в силу ее положения неизбежно ограничивается борьбой с остатками феодализма. Ликвидация самодержавия ставит на сцену двух антиподов,— буржуазию и пролетариат,—между которыми, разумеется, не может быть никакого разговора о длительном союзе. Это логически неизбежно вытекает из общей позиции Плеханова.

Но вернемся к русским делам. Что не понимают упорно экономисты вслед за либералами, это то, что в политической борьбе нужна сила, которой не может являться либеральная и радикальная интеллигенция. В этом — основной вопрос! „Мы должны быть смирны, потому что мы бессильны. Это по-своему совершенно логично. Кто требует, тот должен быть готов, в случае отказа, вступить в борьбу. Для борьбы нужна сила. Исход борьбы зависит от соотношения сил. Кто заранее сознает себя бессильным, тот не требует ничего; он только просит и надеется. Все это вполне верно и все это значит, что свободо-мыслящая часть русских обывателей добьется своих благих пожеланий только в том случае, если будет обладать силой. Вопрос нашей политической эмансипации есть вопрос силы. Из этого само собой вытекает такой вывод. Кто не содействует, тем или другим способом, росту силы, способной положить конец существующему у нас порядку вещей, тот ровно ничего не делает для освобождения своей родины, а кто по той или другой причине, хотя бы, например, по причине неумения или нетерпения, препятствует росту этой силы, тот совершает тяжкий, хотя, может быть, и невольный грех против свободы" [2]).

Отсутствием этой силы и следует объяснить то, что русское общество до сего времени выдвигает на борьбу с царизмом лишь отдельных благородных лиц из своей среды, а не поднимается как один человек. „Постыдная апатичность нашего общества легко объясняется тем, что оно не могло рассчитывать на деятельную поддержку со стороны народа"... „В обществе явится бодрость и надежда на лучшее будущее, когда оно увидит, что в народной массе или хоть в некоторой, наиболее развитой ее части начинается движение, способное поколебать непоколебимую прежде основу „власти роковой" [3]). Такое движение уже не ожидание, не возможность, а реальный факт—это революционное движение рабочего класса. Массовые забастовки, стихийно прокатившиеся по России, поддержка рабочими студенческих волнений — лучшее указание либералам, где та сила, которая выведет общество из состояния бессилия. „Теперь ясно, что студенчество и общество могут быть сильны не „заботливой благожелательностью царя, составляющей надежную „опору" только для разбойников пешей и конной полиции, а поддержкой со стороны рабочего класса. Теперь борьба с царизмом утрачивает свой, некогда безнадежный характер. Теперь сама жизнь

[1]) Там же, стр. 107, 108.
[2]) Там же, стр. 153.
[3]) Там же, стр. 154, 155.

внятно отвечает на вопрос, где можно найти силу, необходимую для борьбы за политическую свободу" [1]). Таковая сила уже выступила на сцену, и обществу остается лишь поддержать эту силу. „Поддержка со стороны общества ускорит рост и приблизит торжество революционной силы народа" [2]).

Ближайшая задача революции — низвержение самодержавия — есть задача, осуществление которой в интересах не только рабочего класса, но и общества; совершенно ясно, почему интересы авангарда рабочего класса в этом пункте совпадают с интересами свободомыслящей части общества. „Полное и всестороннее совпадение наших интересов с интересами передовых элементов общества, а следовательно, и полное и всестороннее сочувствие этих элементов социал-демократии возможно было бы только в том случае, если бы мы, подобно нашим легальным будто бы марксистам, отказались от мысли о будущей диктатуре революционного пролетариата и ограничились проповедью „социальной реформы", не идущей дальше смягчения некоторых грубых и устранения некоторых отсталых форм эксплоатации человека человеком. Уподобившись таким будто бы марксистам, мы действительно могли бы рассчитывать на симпатии решительно всего общества, за исключением только Разуваевых разных сословий, да небольшой горсти народников старой и новой формации. Сочувствие к нам всех остальных общественных слоев и течений несомненно было бы сильнее, а главное — цельнее. Но тогда мы превратились бы в смягченных и облагороженных буржуа и перестали бы быть партией революционного пролетариата. А это обстоятельство значительно подорвало бы нашу силу, силу всего освободительного движения, идущего из среды народа" [3]).

Подорвало бы, ибо пролетариат, который составляет подлинную реальную силу революции, черпает свою революционную энергию, достигает наибольшей силы тогда, „когда он ясно увидит нашу конечную цель: социальную революцию, полное уничтожение эксплоатации трудящихся. Вот почему ваше превращение в ручных будто бы марксистов было бы очень невыгодно для нас даже с точки зрения нашей ближайшей политической цели, не говоря уже об огромнейшей невыгоде его с точки зрения будущности русского рабочего движения. И вот почему о таком превращении не может быть и речи. Мы будем поддерживать всякое движение, направленное против существующего порядка вещей. Но мы ни на минуту не перестанем вырабатывать в умах рабочих ясное представление о нашей конечной цели. Мы хотим, чтобы борьба с царизмом служила для пролетариата школой, всесторонне развивающей его классовое самосознание" [4]).

Такова та программа действий, которая была выставлена против либеральной кашицы экономистов революционным марксизмом.

Если мы попытаемся в самых общих чертах сравнить ее с той программой, которую развивал Плеханов в 80-ых годах, то читатель, надеюсь, убедится я, что все более и более конкретизируя, уточняя формулировку, по существу Плеханов оставался верен тем же самым своим утверждениям, которые были им высказаны в начале его социал-демократической деятельности.

[1]) Там же, стр. 158—159.
[2]) Там же, стр. 161.
[3]) Там же, стр. 163—164.
[4]) Там же, стр. 164.

При желании можно было бы из „Искры" привести много отрывков, показывающих, как он последовательно и умело применял свои революционные положения к решению повседневных политических задач, но полагаю в этом нет нужды, весь приведенный до сего материал совершенно достаточен для суждения о том, как Плеханов разрешал вопрос, занимающий нас, и как с течением времени это решение все более и более уточнялось и конкретизировалось.

Наша программа формулировала ответ на этот вопрос следующими словами: „Стремясь к достижению своих ближайших политических и экономических целей, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия поддерживает всякое оппозиционное и революционное движение, направленное против существующего в России общественного и политического порядка, решительно отвергая в то же время все реформаторские проекты, которые связаны с каким бы то ни было расширением или упрочением полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами" [1]).

Внося таким образом в программу один из главных пунктов „Комм. Маниф." почти целиком, Плеханов имел все основания не ждать никаких возражений, однако вышло не так: на съезде Плеханов столкнулся по этому вопросу с экономистами.

Разъясняя, почему он включил в свой проект программы этот пункт, Плеханов говорит: „Выражение, о котором шла речь, почти буквально взято из „Манифеста Коммунистической Партии". И мы считали полезным повторить его в нашей программе. Мы считали это полезным потому, что хотели оттенить различие своих взглядов от взглядов народников и социалистов-утопистов. Народники и социалисты-утописты высказывались против политической борьбы буржуазии, будучи убеждены, что торжество политической свободы упрочит экономическое господство буржуазии. Мы готовы поддерживать это движение потому, что оно облегчает нашу собственную борьбу с существующим политическим порядком. Но, поддерживая его, мы, согласно тому, что говорится в том же Коммунистическом Манифесте, ни на минуту не перестаем развивать в умах рабочих сознание враждебной противоположности их интересов с интересами буржуазии. И вот почему наша поддержка его не заключает в себе ничего опасного для нас" [2]), отвечая Мартынову, он разъясняет ему, как он понимает этот пункт программы: „Я не понимаю, о чем, собственно, мы спорим. Тов. Мартынов говорит, что мы должны поддерживать только демократические движения. Ну, а как быть с либеральными движениями? Выступать против них? Этого мы не можем, не уподобляясь тем немецким „истинным социалистам", над которыми так едко смеется Маркс в Манифесте Коммунистической Партии. Тов. Мартынов говорит, что мы не должны поддерживать либералов, и поясняет это: мы должны критиковать их, разоблачать их половинчатость. Это верно. Но это мы должны делать также и по отношению к так называемым соц.-революционерам. Мы должны разоблачать их узость, их ограниченность; мы должны показать пролетариату, что истинно революционно теперь только социал-демократическое движение. Но, разоблачая узость и ограниченность всех других движений, кроме социал-демократического, мы обязаны разъяснить пролетариату, что, по сравнению с абсолютизмом, даже конституция, не дающая всеобщего избирательного права, есть

[1]) „Искра" № 21, от 1/VI 1902 г. „Проект программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии".

[2]) Полный текст протоколов. Второй очередной съезд Российск. Социал-Демократической Рабочей Партии. Издание Центрального Комитета, типография Партии.

шаг вперед, и что, поэтому, он не должен предпочитать существующий порядок такой конституции. Повторяю, поддерживать движение, направленное против существующего порядка, не значит говорить пролетариату, что оно достаточно широко, и этого отнюдь не говорит наша программа [1]).

Текст речи передан очень сжато и, нужно полагать, не совсем гладко, но при всем том по этой речи нетрудно составить себе представление о том, какие выдвигались возражения экономистами против этого пункта проекта. Но экономизм был прижат к стене и едва подавал признаки жизни, а после съезда и совсем погиб. Гораздо большую опасность представляло другое течение.

Мы уже выше отметили, что либералы конца 80-х годов рекрутировались из числа остепенившихся радикальствующих интеллигентов с течением времени, по мере левения буржуазии, по мере назревания ее классового самосознания, должны будут уступить свое место иному элементу с ярко выраженным классовым лицом и идеологией; на смену ничего не говорящего народолюбия либералов 80-х годов пришло ярко антипролетарское буржуазное движение, возглавляемое „Освобождением" Петра Струве.

И это было в порядке вещей. Вышедший из народничества трусливый и сантиментальный либерал той эпохи, когда рабочий класс еще только был в процессе собирания своих революционных сил, а под словом народ неизменно понималось крестьянство—был чрезвычайно обескуражен, когда после голода на историческую авансцену выдвинулась такая буйная стихийная сила, как рабочий класс, переворачивавший вверх дном не одно до того установившееся понятие и систему. Старый доморощенный либеральный интеллигент продолжал не понимать суть дела, не видеть противоречие между тем, что есть, и тем, что он себе представляет, в то время, как мелкая буржуазия и молодой капитализм выдвигали на его смену нового человека.

До определенного момента буржуазии был выгоден такой опустошительный поход рабочего класса на пережитки старины; поэтому и его „новые люди" присоединились к этому походу. Но шел он с ним лишь до определенного момента,—до того момента, как не выяснилось, что рабочий класс, его авангард, не только разрушает старые понятия и представления, но и создает свою новую классовую, прямо направленную против капитализма, систему, в которой васильственная революция занимает подобающее себе место повивальной бабки нового общества.

Либеральная интеллигенция новой формации, которая вооружалась марксизмом для борьбы с пережитком старых идеологий, мешающей во многих отношениях развитию идеологии буржуазии—совершенно естественно отошла в лагерь врагов рабочего класса, когда убедилась в невозможности помешать образованию классовой партии пролетариата, когда увидела в этом походе прямую угрозу капитализму, господству буржуазии.

Наиболее опасным врагом рабочего класса представлялись именно они,—кто еще вчера был в числе друзей, а ныне развивал антипролетарскую, антиреволюционную идеологию, противопоставляя революции—эволюцию, насильственным переворотам—мирные реформы. То, что блестяще подметил Плеханов в своей статье против П. Струве в последнем—свойственно всем легальным марксистам.

„Г. П. Струве стоит за „социальную реформу". Мы уже знаем, что эта пресловутая реформа не идет дальше штопания буржуазной

[1]) Протоколы II съезда.

общественной „ткани". В том виде, какой придается ей в теории г. П. Струве, она не только не угрожает господству буржуазии, но, напротив, обещает поддерживать его, содействуя упрочению „социального мира". И если наша крупная буржуазия до сих пор и слушать не хочет об этой „реформе", то это не мешает нашему „нео-марксизму" быть лучшим и самым передовым выражением общих специально политических интересов буржуазного класса, как целого. Теоретики нашей мелкой буржуазии видят дальше и судят лучше, чем дельцы—вожаки крупной. Поэтому ясно, что именно теоретикам нашей мелкой буржуазии будет принадлежать руководящая роль в освободительном движении нашего „среднего класса". Мы нисколько не удивимся, если тот или другой из наших критиков дойдет в этом смысле до степеней весьма „известных" и станет, например, во главе наших либералов".

Именно так. Делец—плохой теоретик и тут всегда дельцу на подмогу идет мелко-буржуазный интеллигент, либерал новой формации, который гораздо лучше, чем делец, выражает общие специально-политические интересы буржуазного класса, как целого; а дошли они действительно до степеней весьма „известных".

Это обязывало партию быть сугубо на чеку и разъяснять рабочему классу характер нового явления; нужно было, пользуясь всяким подходящим обстоятельством, показать передовому рабочему, что скрыто за этой проповедью мирных средств, какая классовая подоплека у этого нового реформизма.

Резолюция второго съезда, предложенная Плехановым, и отмечает как раз это:

„Принимая в соображение, что социал-демократия должна поддерживать буржуазию, поскольку она является революционной или только оппозиционной в борьбе с царизмом, что поэтому социал-демократия должна приветствовать пробуждение политического сознания русской буржуазии; но что, с другой стороны, она обязана разоблачать перед пролетариатом ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявилась эта ограниченность и недостаточность,—Второй Очередной Съезд Р.С.-Д.Р.П. настоятельно рекомендует всем товарищам обращать в своей пропаганде внимание рабочих на антиреволюционность и противопролетарский характер того направления, которое выразилось в органе г. П. Струве „Освобождение".

То, что мы хотели доказать в нашей статье, читатель, вероятно, вывел сам из всего того материала, который мы привели выше. Начиная с самого начала своей социал-демократической, революционно-марксистской деятельности, Плеханов в числе других вопросов дал подлинно революционное решение и по занимаемому нас вопросу; постановления II съезда и формула нашей программы прямо и непосредственный вывод из всего того, что Плеханов писал по этому вопросу.

Статья г. Пролетариат и мелко-буржуазная демократия (крестьянство и интеллигенция).

Но если либеральная буржуазия занимала такое исключительно большое место в политических расчетах Плеханова, то крестьянство, наоборот, было им не дооценено, во всяком случае из всех общественных классов, которыми рабочему классу надлежало руководить, и над

которыми рабочий класс должен был быть гегемоном, крестьянство занимало в его расчетах незаслуженно малое место.

Объясняется это рядом причин. Во-первых, это следует объяснить реакцией против неномерного увлечения крестьянством народников и либералов, во-вторых—и это очень важно отметить—крайне медленный процесс разложения сельской общины давал очень мало оснований надеяться, что крестьянство к моменту революции будет достаточно политически зрело, и затем западно-европейский пример, где крестьянство нередко выступало как реакционная сила,—все эти причины в совокупности мешали Плеханову с надлежащей объективностью оценивать роль крестьянства в предстоящей революции.

Однако было бы большой ошибкой на этом основании утверждать, что Коммунистическая Партия в своем огромном наследстве от Плеханова не имела ничего по вопросу о крестьянстве.

Ошибка. И по вопросу о крестьянстве мы от Плеханова получили много чрезвычайно ценных указаний и суждений, которые в последующем ходе революции вошли целиком в наше большевистское построение, послужили основой нашего большевистского учения.

Попытаемся дать читателю представление о той сумме идей, которую Плеханов до II съезда внес в сокровищницу пролетарской мысли по обсуждаемому вопросу.

Уже с первых шагов марксизма в России враги его бросали ему упрек в том, будто он не придавал никакого значения крестьянству: метафизику, каковыми были и народники и либералы, очень не трудно было из утверждений Маркса сделать ряд выводов, нелепость которых для марксиста не подлежит сомнению. Так, например, из утверждения марксистов, что община разлагается, выбрасывая при этом из деревень пролетаризованную бедноту, служащую резервом для промышленности, постоянный резерв—из которого рекрутируется рабочий класс—враги марксизма делали вывод, будто марксисты учат, что социалисты в среде крестьянства не встретят поддержки до момента, когда крестьянин не превратится в безземельного крестьянина.

Нелепость подобного „вывода" очевидна, ошибка заключается в том, что смешивается в одну кучу неизбежный процесс пролетаризации части крестьянства с сословно-классовыми интересами крестьянства, которые, ведь, действуют параллельно с процессом экономической дифференциации крестьянства под влиянием возникновения и развития в стране капитализма, осознания сословно-классовых интересов хозяйственно устойчивых крестьян-собственников, не народились в непосредственной и прямой связи с процессом развала общины, пролетаризацией бедноты и т. д. Отвечая на подобные умозаключения, Плеханов справедливо отмечает: „Мы думаем, что, в общем, русское крестьянство отнеслось бы с большой симпатией ко всякой мере, имеющей в виду так называемую „национализацию земли". При возможности сколько-нибудь свободной агитации в его среде оно отнеслось бы с сочувствием и к социалистам, которые не замедлили бы, разумеется, внести требование такого рода мер в свою программу. Но мы не преувеличиваем сил наших социалистов и не игнорируем тех препятствий, того сопротивления среды, с которыми им неизбежно придется считаться в своей деятельности. Поэтому, и только поэтому, мы думаем, что им следует, на первое время, сосредоточить главное свое внимание на промышленных центрах. Современное сельское население, живущее при отсталых социальных условиях, не только менее промышленных рабочих способно к сознательной поли-

тической инициативе, но и менее их восприимчиво к движению, начатому нашей революционной интеллигенцией. Ему труднее усвоить социалистические учения, потому что условия его жизни слишком непохожи на условия, породившие эти учения. К тому же, крестьянство переживает теперь тяжелый, критический период. Прежние „старо-дедовские устои“ его хозяйства рушатся, „сама несчастная община дискредитируется в его глазах“, новые же формы труда и жизни еще только складываются, и этот сознательный процесс обнаруживает наибольшую интенсивность именно в промышленных центрах. Как вода, размывая и разрушая одну часть почвы, образует в других местах новые осадки и отложения, так процесс русского социального развития образует новые общественные формации, разрушая вековые формы отношения крестьян к земле и друг к другу. Эти новые общественные формации носят в себе зародыши нового общественного движения, которое одно только и может положить конец эксплоатации трудящегося населения России“ [1]).

Таким новым общественным движением является рабочее движение, которое не может остаться безучастным к судьбам движения крестьянства; социалистическая партия пролетариата, добившись политической свободы, „должна будет начать систематическую пропаганду социализма в среде крестьянства“ [2]).

И если обнаружится, что среди крестьянства имеются возможности сильного самостоятельного движения, то рабочая партия была бы безнадежно доктринерской, если не изменила бы в соответствии с этим распределением своих сил: „едва ли нужно прибавлять, что наши социалисты должны были бы изменить распределение своих сил в народе, если бы в среде крестьянства обнаружилось сильное самостоятельное движение“ [2]).

Нам кажется совершенно бессомненным, что вышеприведенная первая попытка дать систематизированный ответ на отношение к крестьянству способна удовлетворить самого требовательного марксиста.

На самом деле, стоит только не упускать из виду экономическое состояние страны и классовые отношения 80 годов, этот действительно критический период для русского крестьянства, чтобы совершенно оправдать, во-первых, чрезвычайно сдержанный характер ответа, а во-вторых, особенно настойчивое перенесение центра тяжести всей деятельности в рабочую среду. Действительно, единственный класс, который мог особенно быстро прийти к политической зрелости, был рабочий класс, в то время как крестьянство в эту эпоху представляло собой еще совершенно не определившуюся, не дифференцированную, очень косную массу, которая не изжила даже своего сословного лица. Строить свои революционные расчеты на нем было бы чрезмерной близорукостью, ближайшую задачу революции может выполнить лишь рабочий класс, гегемон грядущей революции—ему максимум внимания и труда должны посвятить истинные революционеры.

Повторяю, самый требовательный марксист наших дней не может обвинить Плеханова ни в чем, что бы противоречило марксизму.

„Наши разногласия“ лишь подвели подробный экономический фундамент под вышеприведенное утверждение.

Когда хотят подчеркнуть непоследовательность Плеханова в 80-х годах, обычно указывают на его отношение к общине и роль его в грядущей социалистической революции. „Всем известно,

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 87.
[2]) Там же, стр. 88.

что современная сельская община должна уступить место коммунизму, или окончательно разложиться. В то же время экономическая организация общины не имеет тех пружин, которые толкали бы ее на путь коммунистического развития. Облегчая переход нашего крестьянства к коммунизму, община не может, однако, сообщить ему необходимой для такого перехода инициативы. Напротив, развитие товарного производства все более и более подрывает старый общинный принцип. И нет у нашей народнической интеллигенции возможности одним решительным движением устранить это коренное противоречие. На ее глазах некоторая часть сельских общин падает, разрушается, становится „бичом и тормозом“ беднейшей части общинников. Как ни печально для нее это явление, но она решительно не в силах помочь ему в настоящее время. Между „народом“ и народолюбцами нет решительно никакой связи. Разлагающаяся община остается сама по себе, ее интеллигентные печальники—сами по себе, и ни та, ни другие не в состоянии положить конец этому печальному положению дел. Как же выйти из этого противоречия? Неужели нашей интеллигенции приходится махнуть рукой на всякую попытку практической деятельности и утешаться „утопиями“ во вкусе Г. Успенского? Ничуть не бывало. Наши народники могут спасти, по крайней мере, некоторую часть сельских общин, если только они пожелают апеллировать к диалектике нашего общественного развития. Но и такая апелляция возможна только при посредстве рабочей социалистической партии“ [1]).

Спора быть не может о том, что община разлагается, и при своем распадении она выделяет силу (особенно в промышленных губерниях), которой революционеры не могут пренебречь. Сила эта пролетариат. „Через них и с их помощью социалистическая пропаганда проникнет, наконец, во все закоулки деревенской России. Кроме того, своевременно сплоченные и организованные в одну рабочую партию, они могут послужить главным оплотом социалистической агитации в пользу экономических реформ, предохраняющих общину от повсеместного разложения. А когда придет час окончательной победы рабочей партии над высшими сословиями, то опять-таки она, и только она, возьмет на себя инициативу социалистической организации национального производства. Под ее влиянием—а при случае и давлением—сохранившиеся сельские общины, действительно, начнут переходить в высшую, коммунистическую форму. Тогда выгоды, представляемые общинным землевладением, станут действительными, а не только возможными, и народнические мечты о самобытном развитии нашего крестьянства осуществятся по отношению, по крайней мере, к некоторой ее части. Таким образом силы, освобождающиеся при разложении общины в некоторых местностях России, могут предохранить ее от полного разложения в других местностях. Нужно только уметь правильно и своевременно утилизировать и направить эти силы, т.-е. как можно скорее организовать их в социал-демократическую партию“ [2]).

Несомненно, все это—компромисс, который никак не мирился с тем блестящим анализом хозяйственных тенденций, которые господствовали в России.

Противоречие не скрыть и тем, что Плеханов значительно ослабляет силу своего утверждения оговорками и ограничениями.

Откуда эта невязка? Некоторые историки утверждают, что, на

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 347.
[2]) Там же, стр. 348.

самом деле, Плеханов в эту пору еще не изжил остатков своего былого народничества.

Это не верно. Если бы это было так, тогда противоречивые и непоследовательные суждения заметны были бы на всем протяжении обоих его блестящих трудов. Однако ни один историк этого не утверждал и утверждать не в силе будет. Всему его строгому марксистскому построению резко противоречит лишь его два утверждения: приведенное—об общине и о терроре.

Не ясно ли из этого, что правы не историки, а сам Плеханов, который дает, на наш взгляд, чрезвычайно правдоподобное объяснение обсуждаемому факту?

Нельзя было не считаться с установившимися предрассудками революционной интеллигенции, нельзя было не уступать в пунктах, где такая попытка не могла искривить общую линию ортодоксального марксизма. И Плеханов уступил в двух пунктах наиболее одиозных, но и наиболее безвредных.

Разумеется, ожидаемого эффекта уступка не дала, но это произошло не по вине Плеханова. Уже к концу 80 годов была изжита всякая иллюзия на счет того, что можно привлечь в лагерь революционного марксизма народническую интеллигенцию путем уступок. Правда, оптимистическая компромиссная формула „Наших разногласий" еще сохранена в программе 1888 года. Перечисляя требования, выдвигаемые социал-демократией, Плеханов резюмирует: „Эти требования настолько же благоприятны интересам крестьянства, как и интересам промышленных рабочих; поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением. Выброшенный из деревни в качестве обедневшего члена общины, пролетарий вернется в нее социал-демократическим агитатором. Его появление в этой роли изменит безнадежную теперь судьбу общины. Ее разложение неотвратимо лишь до тех пор, пока само это разложение не создаст новой народной силы, могущей положить конец царству капитализма. Такой силой явится рабочая партия и увлеченная ею беднейшая часть крестьянства" [1].

Но уже в разговоре с Конституционалистом он говорит либералу: „Возражая против нас, все вы ссылаетесь на русского мужика; мужик является в вашем представлении несокрушимой плотиной, о которую должны разбиться все волны западно-европейского рабочего движения. Допустим на минуту, что вы правы, что эта плотина действительно так прочна, как вы воображаете. Тогда наше дело становится безнадежным, но вместе с этим, и притом гораздо в большей степени, обнаруживается безнадежность и вашего дела. Если русский крестьянин не способен увлечься социал-демократической программой, то еще меньше способен он проникнуться сознанием прелестей политической свободы. Всегда и везде, как только начиналось образование больших государств, земледельческие общины с их патриархальным бытом служили самой прочной основой деспотизма. Только с разложением этого патриархального быта и с развитием городского населения являлись силы, способные положить предел неограниченной власти монарха. Россия не составляет исключения из этого общего правила" [2].

Однако только с голода можно считать более или менее выяснившимся его взгляд на крестьянство. Голод имел много последствий

[1] Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 404.
[2] Там же, том III, стр. 21.

и обнаружил очень много такого, что творилось в глубине народной жизни.

В числе многих подобных скрытых процессов в годы голода совершенно ясно стало видно классовое расслоение, которое прошло по деревне и продолжало с возрастающей интенсивностью протекать. Было совершенно естественно, разумеется, что при политических расчетах и планах в дальнейшем нельзя было упускать из виду этот факт.

Как повлияло это обстоятельство на построение Плеханова?

В письмах о голоде он пишет: „Крестьяне... Но тут я должен заметить, что крестьянство не класс, а сословие. В этом сословии есть теперь и богачи („тысячники"), и бедняки (деревенская „голь", „кочевые народы"), и эксплоататоры, и их жертвы, словом, люди, принадлежащие к различным общественным классам. Разумеется, сельская буржуазия не станет сочувствовать социал-демократам, но сельский пролетариат всегда был и будет естественным союзником городского. Точно так же и бедные крестьяне (а таких большинство) непременно пойдут за социал-демократами, если только те не пожелают оттолкнуть их, что, конечно, невозможно" [1]. Как он практически представляет работу социал-демократии в крестьянской среде, показывают следующие, очень интересные строки. Предполагая, что Земский Собор уже собран, и что буржуазия вынуждена решать аграрную проблему, он пишет: „Положим, что поднимается речь об уменьшении выкупных платежей. Что делают социал-демократы? Непримиримые и неутомимые революционеры, они ведут беспрерывную агитацию; они громят одних, будят других; они обличают скаредность буржуазии; они „идут в народ" и убеждают крестьян, что их обманывают, их грабят буржуазные депутаты, не решающиеся совсем отменить выкупные платежи. А к чему приведет такая агитация? Крестьянин скажет, что социал-демократы совершенно правы, и если он уже раньше не голосовал за их кандидата, он подаст за него голос в следующий раз. Впрочем, может случиться, что он и не станет дожидаться следующих выборов; может случиться, что народ, как говорили во время Великой Революции, очистит Земский Собор новым революционным взмахом своей руки. Но и в таком случае он будет действовать под руководством социал-демократов.—Или представим себе, что Собор рассуждает о подоходном налоге. Представители буржуазии вилят, что необходимо облегчить давящее крестьянина податное бремя; социал-демократы опять бьют тревогу. Они требуют прогрессивного налога, от которого совершенно была бы избавлена неимущая часть населения. Что возразит бедный крестьянин против их требований? Помилуйте, какие тут возражения? Он скажет, что они совершенно разумны, и он перейдет на сторону социал-демократов, если не сделал этого раньше. Положим, наконец, что на Соборе заговорили об увеличении крестьянских наделов. Буржуазные представители надеются все уладить незначительными прирезками. Но социал-демократы и тут не оставляют их в покое. Они добиваются полной экспроприации крупных землевладельцев и обращения земли в национальную собственность. Неужели крестьяне хоть одним словом осудят их поведение"? [2].

Полную отмену выкупных операций, снятие налогов с малоимущих крестьян, полная экспроприация крупных землевладельцев и превращение земли в собственность народа—действительно, это программа, которой крестьянская беднота не может не увлечься.

[1] Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 410.
[2] Там же, стр. 410—411.

Классовая точка зрения в крестьянском вопросе—одна из самых верных гарантий от ошибок при решении очень запутанной аграрной проблемы.

В тех же письмах Плеханов разъясняет лозунг, который он дал во „Всеросс. разорении" о восстановлении крестьянского хозяйства. „Что понимаем мы под восстановлением в конец расстроенного крестьянского хозяйства? Восстановить крестьянское хозяйство значит, как я говорил уже выше, дать русскому землевладельцу возможность сеять хлеб, а не голод" [1]). Но на какой основе произойдет это восстановление? Трудно предсказать,—быть может, появление новой аграрной буржуазии облегчит это, а, может быть, и другое. „В разгаре революционного движения у крестьян может явиться желание придать делу другой оборот: обеспечить себе настоящую, а не на бумаге только фигурирующую поземельную собственность. И мы непременно будем поддерживать крестьян в таком их намерении. Мы постараемся повести их дальше, вплоть до экспроприации крупных землевладельцев. А что из этого выйдет? Выйдет могучее революционное движение, отстраниться от которого значило бы изменить принципам социализма. Ну, а если крестьяне, отняв земли у крупных землевладельцев, переделят их между общинами? „И в том не вижу я беды" [1]).

Действительно, в том мало беды. Однако это утверждение противоречит формуле „Наших разногласий"—заметит читатель. Противоречит лишь формально, но не по существу, и это формальное противоречие проистекает из тех уступок, о которых я говорил выше. Если отбросить то, что явилось уступкой революционной интеллигенции, то сужденце получится, нисколько не противоречащее тому, что было изложено. „По вопросу об общине русские социалисты-утописты рассуждали так: община хорошее дело; ее надо поддержать; следовательно, мы ее поддержим. Могли быть и другие утописты, которые сказали бы: община тормозит наше общественное развитие; ее надо устранить; следовательно, мы устраним общину. Социал-демократы раз-на-всегда распростились с утопиями; они сказали себе и другим: ход общественного развития определяется не симпатиями той или другой группы людей к тому или другому общественному учреждению, с соотношением общественных сил, от которого, в последнем счете, зависит самая прочность вышеуказанных симпатий. Не от нас зависит изменить ход экономической истории России. Но мы можем понять его и, сильные своим пониманием, явиться сознательными революционными деятелями. Народники плачут о том, что община разлагается. Они не видят того, что разложение общины создает новую общественную революционную силу, которая приведет нас к политической свободе и к социализму. Сила эта—пролетариат, с которым мы должны, прежде всего, сблизиться. Вот и все" [2]).

Этим разъяснением, по-моему, разбивается последнее сомнение насчет подлинных причин, вызвавших то место в „Наших разногласиях", которые я выше привел.

Историки не могут не признать своей ошибки.

То, что так ясно отобразил голод, внесло очень много ясности в построение Плеханова. Пока там интеллигенция спорила о русском социализме, о самобытной России, об исконных началах народной жизни, в глубине России совершался медленно процесс, который основательно изменил экономическое лицо страны, отстранил тот хозяйственный строй, который и породил идеологию самобытности, выдвинув вместо него совершенно иной. Этот процесс естественно оказал очень большое влияние на тактику социал-демократии по вопросу об отношении к крестьянству.

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 418—419.
[2]) Там же, стр. 419.

Всего года два спустя после голода Плеханов писал польским товарищам: „пока мы углублялись в историческое сознание русского народа", окончательно исчезла та экономическая почва, на которой оно выросло. Дело тут не в том, что народ беднел все более и более, как ни важно само по себе это явление. Дело в том, что количественные изменения в положении земледельца, беспрерывно накопляясь, привели к глубокому качественному его изменению. Теперь русский земледелец совсем не тот идеализованный крестьянин, с которым собирались иметь дело революционеры-народники 70-х годов. Совершенно выбитый из своего старого, веками завещанного крестьянского обихода, он поневоле приходит в движение и поневоле начинает расшатывать здание абсолютизма, прочно покоившееся на его широкой спине в течение целых столетий. Вот почему было бы величайшей нелепостью, невероятнейшим, позорнейшим доктринерством думать, что русские социал-демократы не должны воздействовать на крестьянство. Совершенно наоборот. Мы обязаны воздействовать на крестьянство, мы обязаны употребить все усилия, чтобы внести в его среду революционное сознание, заботясь только о том, чтобы крестьянство перестало воздействовать на нас, т.-е. чтобы воспоминание об его „историческом сознании" не поддерживало „интеллигентской" склонности к утопиям. В этом смысле мы и говорим, что, воздействуя на крестьянство, интеллигенция должна твердо держаться точки зрения пролетариата. А кому ясен этот смысл наших слов, тот понимает, что „много" или „мало" у нас „рабочих", но правильная оценка современных наших общественных отношений может быть дана только современным научным социализмом, и что дело не в числе рабочих, существующих в данное время, а в общем направлении нашего экономического развития" [1]).

Так медленно, шаг за шагом, накапливались элементы будущей тактики большевизма. Я нарочно привел большие отрывки, чтобы убедить читателя, что установившийся взгляд не верен и нуждается в очень большом коррективе.

В эпоху „Искры" нужно было бы лишь с возможно большей энергией проводить в жизнь эту программу, экспериментально наметившуюся к концу XIX века. Несколько примеров будет достаточно, надеюсь, чтобы доказать, что „Искра" это и делала, пользуясь всеми удобными случаями и фактами.

Вразумляя экономистов, сколь необходима политика, и рассказывая им, как следует вести политическую агитацию, Плеханов указывает в числе других мер также и усиленное распространение летучек и воззваний. „Замечу кстати, что в листках и воззваниях нам следует обращаться при этом не только к рабочим, но также и к крестьянам, которых этот процесс касается всего ближе. Я уже сказал, что многие промышленные рабочие имеют в деревне отцов и братьев. Но ведь кроме промышленных рабочих есть еще и сельско-хозяйственные. Такими являются те из крестьян, которые по незначительности своего земельного надела живут продажей своей рабочей силы. Эти крестьяне—те же пролетарии, и горе нам, если мы позабудем об этом. Правда, промышленные ра-

[1]) А. Тун, История революционных движений в России, стр. 278.

бочие восприимчивее сельско-хозяйственных, и потому первые наши усилия естественно направляются на промышленные центры. Но чем большим успехом увенчаются эти наши усилия, т.-е. чем более возрастет наше влияние на промышленных рабочих, тем возможнее и необходимее станет для нас революционное воздействие на деревню. Зная это, мы уже теперь должны прокладывать себе дорогу в нее всякий раз, когда к этому представляется удобный повод. А между такими поводами едва ли не первое место принадлежит хроническим голодовкам и сопровождающим их стеснительным распоряжениям нашего попечительного начальства" [1]).

Проект программы в целях „устранения остатков крепостного порядка, тяжелым гнетом лежащих на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне" [2]) предлагает, как известно: 1) отмену выкупных и оброчных платежей, 2) отмену законов, стесняющих крестьянам распоряжение землей, 3) возвращение выкупных сумм, 4) возвращение отрезков и 5) объявление недействительными кабальных сделок.

Я перечислил это не с тем, чтобы заняться генезисом приведенных требований, меня здесь не занимает история аграрной программы, я это привел для того, чтобы был ясен тот отрывок из его комментария к программе, который разъясняет требования аграрной части программы. Указывая на то место, которое занимает мелкий производитель в обществе, на консервативный характер его стремлений, Плеханов пишет: „В качестве партии, наиболее всех других заинтересованной в торжестве демократических принципов политического устройства, социал-демократия, с своей стороны, выставляет ряд требований, осуществление которых значительно облегчило бы положение мелкого крестьянства,—как и всей вообще трудящейся массы,—ни мало не задерживая при этом быстрого хода современного экономического развития. Эти требования и теперь местами обеспечивают нашей партии сочувствие и поддержку некоторой части крестьянства. Но этим сочувствием они, в большинстве случаев, дарят ее именно как партию демократическую, а не как социальную демократию, не как партию социальной революции. Чтобы научиться ценить ее, как социально-революционную партию, они должны предварительно убедиться в том, что социальная революция представляет для них, как и для рабочего класса, единственный действительный выход из нынешнего тяжелого положения. Но убедиться в этом именно и значит перейти на точку зрения пролетариата. Распространять это убеждение между всеми вообще мелкими производителями (и мелкими лавочниками) составляет бесспорную обязанность международной социал-демократии На эту бесспорную обязанность указывает и наш проект, когда говорит, что социальная демократия, организуя пролетариат, руководя всеми проявлениями его борьбы и выясняя ему историческое значение и необходимость социальной революции, вместе с тем обнаруживает перед всей остальной трудящейся массой безнадежность ее положения в капиталистическом обществе и необходимость социальной революции в интересах ее собственного освобождения от ига капитала" [3]).

---

1) Г. В. Плеханов, Сочин., том XII.

2) „Искра" № 21, от 1/VI—1902 г.—„Проект программы Российской Социал-Демократической рабочей партии".

3) „Заря" № 2 „Проект программы Российской Социал-Демократической Партии".

Во время обсуждения съездом программы много упреков было адресовано Плеханову и искровцам за недостаточную последовательность и решительность программы в аграрной части. Возражая им, Плеханов говорит: „Тов. Мартынов говорит, что отрезки не везде имеют одинаковое значение, так как местами помещики налегали особенно на выкупные платежи. Но здесь мы подкованы на обе ноги, потому что мы требуем возвращения и отрезков, и выкупных платежей. Поскольку же кабальные отношения вытекают из современного положения вещей, способ борьбы с ними указывается другой частью программы. Нам говорят наконец, что наши требования мизерны. Это напоминает возражения, делаемые нам анархистами, которые говорят нам что слишком мизерны требования, подобные, например, требованию сократить рабочий день. По их мнению, надо начать с социализации средств производства. Но это, конечно, только смешно. Когда нас упрекают в том, что мы будто бы против обращения земли в общественную собственность, то забывают, что наша конечная цель именно и заключается в передаче всех средств производства в общественную собственность, но на пути к этой конечной цели мы добиваемся ряда частных реформ. Требование возвращения отрезков принадлежит к числу частных требований. Но оно имеет одну особенность. Оно имеет модернизацию нашего общества. Только такие требования и заключает в себе наша аграрная программа. Когда речь идет о новейшем буржуазном обществе, мы стоим на точке зрения Каутского и не считаем нужным вырабатывать особую аграрную программу. Мы далеки от оппортунизма a la David" [1]).

Возражая Махову, он говорит: „По мнению тов. Махова, возвращение выкупных платежей не только нежелательная, но и демагогическая мера. Чтобы успокоить его, напомню ему требование, выставленное в 1848 году Марксом в „Neue Rheinische Zeitung"—требование о возвращении силезских миллиардов. Таким образом, в ответ на упрек в оппортунизме, скажу только, что этот упрек относится и к Марксу. Но и в самой аргументации Махова нет и намека, что эта мера демагогическая. Пусть даже крестьяне разделят между собой полученные деньги. Я не вижу ничего худого в том, что сотни миллионов пойдут на улучшение крестьянского хозяйства. Такое улучшение, конечно, только увеличит дифференциацию между крестьянами, но не будем этого бояться. Что касается Либера, то должен сказать, что вторая часть его речи не похожа на первую. Сначала он говорил нам об общих требованиях по отношению к крестьянам, а затем уже упрекал в отсутствии требований по отношению к сельско-хозяйственному пролетариату, т.-е. требовал конкретизации. Мы, конечно, не думаем, что в нашей программе нет пробелов, но тов. Либер этих пробелов не указал.

Перехожу к вопросу о знаменитом черном переделе. Нам говорят: выставляя требование о возвращении отрезков, мы должны помнить, что крестьяне пойдут дальше этого требования. Нас это нисколько не пугает. В самом деле: выясним себе значение черного передела. Интересно мнение Энгельса по этому поводу: „В деревне,—говорит он,—черный передел энергичнее всего пропагандируется именно богатыми кулаками, которые надеются, что отобранная у помещиков земля будет делиться „по деньгам", т.-е. перейдет к богачам". И, действительно, такое движение в пользу передела было бы движением в пользу буржуазии. Мы, конечно, не обязаны активно выставлять программу для буржуазии, но если в борьбе против остатков крепост-

---

1) Полный текст протоколов. Второй очередной Съезд Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партии. Издание Центрального Комитета. Типография партии.

ных отношений крестьянство пошло по этому пути, то мы стали бы задерживать это прогрессивное движение. Наша роль состояла бы только в том, что, в отличие от наших противников социалистов-революционеров, которые видят в нем начало социализации, мы направили бы все силы, чтобы не оставить у пролетариата никаких иллюзий на счет результатов этого движения. Признавая возможность такого движения, мы должны себе сказать, что не мы, революционные социал-демократы, остановим этот процесс, крикнув ему, как некогда крикнул Архимед римским воинам: „Остановись! Ты испортишь нашу схему“ [1]).

Такова общая позиция Плеханова в вопросе об отношении пролетариата к крестьянскому движению. В „Искре“ уже с самого начала аграрно-крестьянский вопрос лучше всего и всего пристальнее изучал В. И. Ленин. И когда крестьянские волнения стали во всей России играть роль революционирующего фактора, Ленин уже выступал, как руководящий и направляющий политику партии в этом вопросе.

И аграрная часть программы формулирована под исключительным влиянием Ленина так, что история нашей партии заслугу решения аграрной политики соц.-демократии в огромной, исключительно большой степени, отнесет В. И. Ленину, особенно если иметь в виду ту огромную работу, которую он впоследствии проделал в этой области. Однако из вышеприведенного совершенно ясно, что Ленин унаследовал от Плеханова почти все основные элементы своей грядущей аграрной политики. Это ни в коей мере не умаляет значение проделанной В. И. Лениным работы. Наоборот, устанавливая генезис определенных идей Ленина, мы лишь еще сильнее и отчетливее выявим то, что подлинно принадлежит ему.

А устанавливая происхождение учения Ленина о крестьянстве, мы не можем не признать, что огромная доля идей унаследована им от Плеханова.

Приведенный выше материал, по моему разумению, не оставляет на этот счет никакого сомнения.

*

На вопросе об отношении пролетариата к мелкой буржуазной интеллигенции, как его понимает Плеханов, остановлюсь лишь вскользь. В дальнейшем история показала, что самостоятельного значения она не имела, внушительной силы, как единая группа, она не составляла,— в силу своего промежуточного классового положения она в разные этапы борьбы переходила то в одну, то в другую сторону, не усиливая, впрочем, ни ту, ни другую сторону настолько, чтобы приобрести значение самостоятельной общественной силы.

Это не трудно было предвидеть марксисту, и Плеханов, еще задолго до того, как практически интеллигенция показала себя половичатой и нерешительной, предвидел грядущую судьбу этой мелкобуржуазной группы.

В эпоху народничества взгляд на интеллигенцию был чрезвычайно оптимистичен. Тогда „интеллигенция“ играла в наших революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял современное порабощение русского народа—недостатком ли в нем

[1]) Полный текст протоколов.

понимания, отсутствием сплоченности и революционной энергии, или, наконец, полной неспособностью его к политической инициативе — каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения“ [1]).

Интеллигенции было отведено так много места в расчетах всех революционных фракций 70-х годов. Но это нисколько не означало, что революционерам той эпохи—в большинстве своем из интеллигенции—было ясно подлинное классовое лицо интеллигенции.

Наоборот, именно потому они так чрезмерно переоценивали роль ее, что, во-первых, были идеалистами и, во-вторых, не знали классовую природу интеллигенции; не знали и не могли поэтому объяснить свое бессилие, причину безрезультатности своей борьбы. „Русская интеллигенция“ сама есть плод, хотя, правда, совершенно нечаянный, петровского переворота, т.-е. начавшегося с тех пор обучения молодежи в „школах и академиях“. Устроенные более или менее по-европейски, школы эти прививали обучавшемуся в них юношеству многие европейские понятия, которым на каждом шагу противоречили русские порядки и прежде всего практика самодержавия. Понятно, поэтому, что часть русских образованных людей, не удовлетворяясь величественной перспективой табели о рангах, становится в оппозиционное отношение к правительству. Так образовался у нас слой, обыкновенно называемый интеллигенцией. Пока этот слой существовал на социальной основе, восходившей чуть ли не к одиннадцатому столетию, до тех пор он мог „бунтовать“ и увлекаться какими ему угодно утопиями, но не мог ровно ничего изменить в окружающей его действительности. В общем ходе русской жизни этот слой был—слоем „лишних людей“, он весь представлял собой какую-то „умную ненужность“, как выразился Герцен о некоторых из принадлежащих к нему разновидностей. С разрушением старой экономической основы русских общественных отношений, с появлением у нас рабочего класса, дело изменяется. Идя в рабочую среду, неся науку к работникам, пробуждая классовое сознание пролетариев, наши революционеры из „интеллигенции“ могут стать могучим фактором общественного развития,— они, которые нередко в полном отчаянии опускали руки, напрасно меняя программу за программой, как безнадежный больной напрасно бросается от одного медицинского снадобья к другому. Именно в среде пролетариата русские революционеры найдут себе ту „народную“ поддержку, которой у них не было до последнего времени [2]).

Что может сделать интеллигенцию могучим фактором? „Русская интеллигенция никогда не имела ни экономической, ни материальной силы. Она всегда была бедна и малочисленна, но у нее было свое могучее оружие, которое мы назовем оружием идеи. Бедная и малочисленная наша интеллигенция, как главная представительница умственного труда, являлась весьма значительной общественной силой, пока ее идеи хоть немного соответствовали общественному состоянию России. Но если в идеях заключался источник ее силы, то те же идеи могли явиться и причиной ее слабости“... „Материальной и экономической силы у нее, как мы уже сказали, не было никогда, а в настоящее время она утратила и силу идеи. Вот почему она играет теперь самую жалкую роль, умея лишь взывать к состраданию русского самодержца. Это состояние интеллигенции отражается и в ли-

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том II, стр. 132.
[2]) Там же, том III, стр. 78.

тературе. Упадок современной русской литературы означает прежде всего идейную беспомощность современной интеллигенции" [1]).

Такое плачевное состояние русской интеллигенции является результатом того, что интеллигенция не шла далее мелко-буржуазного социализма, а его идеи не развивались далее общих положений о благе народа.

Такая неопределенность идеологии была обусловлена классовым, или скорее межклассовым положением интеллигенции: „Интеллигенция нигде и никогда не составляла общественного класса, это противоречит самому понятию о таком классе. Интеллигенция могла бы, в крайнем случае, составить лишь касту, в качестве ученого сословия" [2]). Ее беда в том именно и заключается, что она сама склонна считать себя за особый общественный класс. „Наша так называемая интеллигенция и без того уже слишком склонна считать себя „самостоятельной общественной силой", которой нужно только придумать хорошенькую программку или,—как выражается „Свобода",—„комплекс принципов", чтобы переделать по-своему все общественные соотношения. Но именно потому наша „интеллигенция" и не приобрела до сих пор всего возможного для нее влияния на общественную жизнь. Пора уже перестать играть словами. То, что в известных кругах называется у нас интеллигенцией, составляет лишь небольшой общественный слой (слой неслужащих образованных „разночинцев"), который не может иметь самостоятельного исторического значения. В виду особенностей его положения, этому слою всего естественнее было бы примкнуть к рабочему классу (это класс в настоящем смысле этого слова), в среде которого нашего образованного разночинца ожидает в высшей степени плодотворная роль. Но этого, разумеется, не будет до тех пор, пока „в комплекс принципов" наших образованных разночинцев будет входить убеждение в том, что они составляют „особый класс", хотя и „не принадлежащий к числу древних политических формаций" [3]). Такая точка зрения—единственно правильная—не только гарантировала Плеханова от переоценки роли интеллигенции, но дала ему возможность правильно определить задачи интеллигенции и перспективы ее деятельности.

Либо с рабочим классом и тогда могучая революционная сила, тогда из „лишних людей" интеллигенция становится необходимостью, либо в буржуазно-либеральный лагерь,—но середина самостоятельного существования как класса, как общественной силы, для интеллигенции невозможна.

Процесс размежевания, расслоения в лагере интеллигенции шел очень долго, но шел именно в том направлении, в котором указывала российская социал-демократия.

Не думаю, чтобы была нужда в большом количестве цитат для доказательства выше высказанного положения. На всем протяжении своей политической и литературной деятельности Плеханов исходил из приведенного положения. Для нас было важно лишь установить, что интеллигенция в политическом построении Плеханова не играла самостоятельной роли.

Самый же вопрос об интеллигенции и ее судьбах нас здесь очень мало занимает.

---

[1]) Г. В. Плеханов, Сочин., том III, стр. 247.
[2]) Там же, стр. 269.
[3]) Там же, стр. 270.

Закончим наше изложение взгляда Плеханова на отношение социализма к политической борьбе.

Мы проследили возникновение и развитие отдельных элементов этого основного политического вопроса и несомненно вынуждены признать, что по разобранным нами вопросам Плеханов является в российской социал-демократии (нетрудно было бы доказать, что и во всем II Интернационале) представителем самого последовательного революционного воззрения, во-первых, а самое главное, что Плеханов в этом вопросе является прямым и непосредственным подготовителем российского большевизма—все элементы его учения о социализме и политической борьбе вошли неприкосновенно в идеологию нашей партии и составляли основу нашей тактики начиная со II съезда.

Но это уже другой вопрос, о котором следует говорить особо.

В. Ваганян.

Гольбах.

(К 200-летию его рождения).

I.

В декабре исполнилось двести лет со дня рождения одного из самых выдающихся „просветителей" восемнадцатого века—знаменитого атеиста и материалиста Гольбаха. Можно с уверенностью сказать, что буржуазия современной Франции ничем не отметит этой чрезвычайно важной даты в истории ее развития и борьбы. Гольбах—один из самых крупных идеологов и вождей буржуазии в восемнадцатом веке, ныне ею забыт и предан проклятию. За эти двести лет она не только успела завоевать власть, осуществить для себя всю выставленную Гольбахом и его единомышленниками программу и насладиться вдоволь жизнью, но и забыть увлечения молодости, состариться и приблизиться к своему закату. Что здорово молодости, то старости смерть. Молодости свойственны увлечения. И естественно, что когда буржуазия выступила на историческую арену, она была обуреваема сильными страстями и воодушевлена передовыми идеями. На старости же лет мир представляется ей в совершенно другом, черном свете: буржуазия нынешняя страдает болезнью старости. Она видит впереди свой конец, свой закат, свою могилу. И в то же время на ее же глазах растет и крепнет могучий „могильщик", готовый в любой момент использовать свою силу для выполнения своей исторической миссии. Мировой пролетариат находится ныне в том же положении, в каком французская буржуазия находилась в конце XVIII века. Крушение феодального строя и замена его буржуазным имело значение всемирно-исторического события. Французская революция предуказала более отсталым странам их будущее развитие. Она стала прообразом для целого ряда будущих переворотов. Из идейного арсенала французской революционной мысли и практики черпали орудия борьбы последующие поколения во всех европейских странах. И подобно тому, как английское „просвещение" в качестве порождения и орудия революционной борьбы английской буржуазии послужило опорным пунктом для французской, так и французская

просветительная философия, как более последовательная и радикальная, является исходным пунктом для пролетарского мировоззрения, складывающегося в эпоху „бури и натиска" сороковых годов XIX столетия.

Буржуазия, выступившая с лозунгом „Ecrasez l'infame!", стала богобоязненной. Буржуазия, поставившая себе целью разрушить христианство, церковь и, наконец, религию, как таковую, впоследствии вернулась в лоно ортодоксального католичества. Буржуазия, противопоставившая теологии философию, превратила свою философию в некий вид теологии. Неверующая, атеистическая буржуазия, боровшаяся с феодализмом под знаменем материалистической философии, объявила последнюю „позором" человечества, когда это знамя было завоевано пролетариатом. Лучшие умы, облекавшие в плоть и кровь материалистической философии смутные стремления и потребности своего класса, выковавшие незаменимое оружие, с помощью которого одерживались победы над классовыми врагами—этот идейный авангард, к голосу которого прислушивалась так или иначе вся Европа, изменнически предан забвению и анафеме. Буржуазия в борьбе с пролетариатом вынуждена была, забыв свое прошлое, вернуться к средневековому миросозерцанию, пренебрегая всеми колоссальными успехами положительных наук. При таких условиях, пролетариат оказался единственным законным наследником того идейного богатства, которое осталось от этого замечательного „философского века". Буржуазия отреклась от этого наследия; пролетариат же подхватил его, сохранив при этом благодарную память к этим неустрашимым героям мысли, несмотря на свою ненависть к буржуазии. Такова диалектика истории. И если буржуазия имеет теперь все основания относиться с презрением к своему революционному прошлому, то пролетариат всегда относился с глубоким уважением к деятелям великой революции.

Гольбах принадлежит к тем мыслителям восемнадцатого века, которые подготовили революцию пропагандой своих идей и которые создали мировоззрение революции.

II.

Гольбах родился в декабре 1723 г. в Гейдесгейме, в Баварии. Отец оставил ему большое наследство. Гольбах поселился в Париже, женился на француженке и остался на всю жизнь в этой стране, ставшей для него второй родиной. Он открыл салон, который стал центром материалистической мысли. Здесь по воскресеньям и четвергам собирались Гельвеций, Дидро, Руссо, Гримм, Д'Аламбер, Нэжон и пр. и проводили обычно время в беседах на политические, философ-

ские и литературные темы. Салоны в то время, за отсутствием организованных политических партий, имели огромное значение, поскольку они их заменяли и служили организационными центрами, вокруг которых группировались люди с одинаковыми взглядами и стремлениями. Это были своего рода „партийные" ячейки своеобразного характера с тем, однако, отличием, что собственно политической деятельностью в узком смысле слова не занимались. Вся деятельность носила по преимуществу литературный характер. Но само собою разумеется, что литературная деятельность, которая заключалась в смелом бичевании и обличении церкви, монархии, духовенства и проч. в специальных работах, издававшихся анонимно за пределами Франции, но широко распространявшихся в самой стране, приобретала политический характер и способствовала оформлению взглядов и сплочению всех оппозиционно настроенных элементов. Гольбах являлся главой „философской партии". Он был, по выражению Морелле, maître d'hôtel de la philosophie. Будучи разносторонне образованным человеком, он приходил товарищам на помощь своими обширными знаниями во всех областях. Для Энциклопедии он доставлял статьи и заметки по вопросам естествознания и политики; он занимался много также и переводами работ Толэнда, Коллинса и др. с английского языка, как и работ по химии с немецкого, обогащая тем французскую научную литературу. Самостоятельные литературные выступления Гольбаха по вопросам философии, религии и морали начинаются, повидимому, лишь с 1767 г., т.-е. на 44 году его жизни. Гольбах был человеком скромным, добродушным и среди всеобщего разврата и распущенности тогдашнего французского аристократического общества в нравственном отношении безупречным. Полученное им от отца большое состояние он употребил не на разгульную и развратную жизнь, а исключительно на удовлетворение умственных потребностей. Он отличался широкой благотворительностью. В особенности много помогал своим друзьям и единомышленникам. Гольбах никогда не стремился занять первое место и играть первую роль. Он сам претендовал лишь на роль гостеприимного хозяина дома, всегда ласкового, добродушного, спокойного, но всем интересующегося и на все отзывающегося. В салоне Гольбаха обсуждались все литературные новинки; здесь выдвигались, получали признание и черпали вдохновение молодые таланты; отсюда выходили все революционные произведения, которые произвели переворот в умах. Салон Гольбаха являлся поистине генеральным штабом третьего сословия в его идейной борьбе со старой Францией.

Революция, таким образом, зарождается в XVIII в. в салонах и, в первую очередь, в салоне Гольбаха. Вожди имеют пока-что в виду только идейную борьбу, но идеи становятся, как известно, материальной силой, когда они овладевают массами. Эту истину прекрасно понимают просветители восемнадцатого века. Они тем более ее понимают, что чрезмерно или даже исключительно верят в силу разума. Поэтому они не довольствуются изданием „нелегальной" революционной литературы только для высших кругов интеллигенции и третьего сословия, а проявляют оживленную деятельность в области издания популярной литературы „для народа", т.-е. для масс, для широких кругов населения. И тут мы опять-таки видим на первом месте того же Гольбаха. Мы вовсе не хотим сказать, что просветители сознательно стремились к революции. Для нас важен объективный смысл их деятельности, хотя не следует забывать и того обстоятельства, что многие из них—и в частности Гольбах—отстаивали право народов на революцию. Как бы то ни было, одно несомненно: гольбахианцы многое сделали для подготовки и для формулировки основных лозунгов революции.

С 1767 г. Гольбах начинает печатать одну книгу за другой как в самой Франции (нелегально, конечно), так и за границей. Печатание этих произведений обставлялось с такой таинственностью (соблюдалась конспирация!), что зачастую ближайшие друзья Гольбаха не знали об его авторстве или узнавали случайно. Рукопись в таких случаях передавалась Нэжону, который в качестве книготорговца уже пристраивал ее где-нибудь в Нанси или Амстердаме или другом месте. Сам Гольбах зачастую узнавал о выходе в свет своей книги от кого-либо из своих друзей, успевших уже ознакомиться с содержанием новой книги, в то время как автор еще не видел печатного экземпляра своей работы. Помимо такого индивидуального творчества, которое тоже должно быть понято ограничительно, так как в салоне проблемы, разрабатываемые мыслителями, подвергались коллективному обсуждению, имело место и коллективное творчество в узком смысле слова. Так, напр., Энциклопедия представляет собою результат труда и усилий всех выдающихся ученых и литераторов того времени. Коллективным трудом является и знаменитая „Система природы" Гольбаха. При этом, разумеется, надо помнить, что подобно тому, как душой Энциклопедии, ее истинным организатором и руководителем являлся Дидро, так и настоящим автором „Системы природы" все же является Гольбах, несмотря на то, что некоторые главы написаны Дидро или Лагранжем. Среди „энциклопедистов" Гольбах больше всех выделялся разносторонностью своих знаний, твердостью и выдержанностью направления, так что он один, пожалуй мог привести в законченную систему свои взгляды. Никто не сделал столько для разоблачения христианства и критики религии вообще, сколько Гольбах. Многие из его работ могли бы принести большую пользу в борьбе с религиозными предрассудками и ныне, несмотря на то, что

точка зрения автора устарела, что он подходит ко всем этим явлениям с рационалистической точки зрения. Некоторые его работы являются во всей мировой атеистической литературе единственными в своем роде. Я имею в виду его „Разоблаченное христианство", „Естественная история суеверия", „Здравый смысл", „Жреческий обман" и проч. [1]). Конечно, Гольбах имел некоторых предшественников. Достаточно назвать Мелье. Но надо прямо сказать, что никто с такой настойчивостью, постоянством, убежденностью не боролся против религии, как он. Это он создал специальный род боевой атеистической литературы, в которой, к сожалению, есть еще нужда в наше время.

Материалистическая философия XVIII века получила законченное и систематическое выражение в его „Системе природы", где излагаются воззрения автора на природу, человека, общество, мораль, политику и проч. Это тоже в своем роде единственное произведение в мировой литературе. Ведь надо прямо сказать, что мы до Гольбаха не имели материалистической с и с т е м ы философии, которая, с одной стороны, ставила бы себе непосредственные п р а к т и ч е с к и е задачи, которая бы так тесно сплеталась с проблемами политическими и социальными, ибо каждая строка „системы" упирается в политику и призывает к революции (пусть даже порою и бессознательно для самого автора), а, с другой стороны, формулировала бы м и р о в о з з р е н и е революционного общественного класса, не прикрывая новое содержание старой ф о р м о й, не облекая ее в костюм отживающего класса, а облекая ее в новые формы, в новые одежды восходящего класса. Буржуазия в лице Гольбаха говорит полным голосом, откровенно на своем тогдашнем плебейском языке. В отличие от англичан, французская буржуазия не идет на принципиальные уступки, не хочет знать компромиссов. Она не допускает компромисса даже в деле т е р м и н о л о г и и, отбрасывая беспощадно весь старый хлам, все, что так или иначе исходит от классового врага. Французская предреволюционная литература—и в особенности „Система природы"—является и в этом отношении любопытным предзнаменованием и симптомом чрезвычайно обостренной классовой борьбы, которая получит свое политическое выражение в бескомпромиссной революции. Гильотина в политической борьбе соответствует „Разоблаченному христианству" и „Системе природы" в борьбе идейной.

Влияние Гольбаха на дальнейшее развитие материалистической мысли было огромно. Л. Фейербах, как в своей критике религии, так и в вопросах общего миросозерцания, примыкает непосредственно к Гольбаху и к Гельвецию, разумеется. Маркс и Энгельс также примыкают к французскому материализму; опираясь на Фейербаха и Гегеля, они развивают дальше и углубляют материалистическое миросозерцание. Если при этом прибавить, что „Фурье непосредственно исходит из учения французских материалистов", что бабувисты были материалистами, что и „разработанный коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского материализма" (слова Маркса), что „учение материализма составляет логическую основу коммунизма" (Маркс), то для читателя станет вполне ясным историческое значение Гольбаха. Французский материализм вошел составной частью в мировоззрение научного коммунизма Маркса-Энгельса. Вот почему, несмотря на его „благородное" происхождение и на его принадлежность к буржуазии по своим взглядам и убеждениям, Гольбах в качестве пламенного борца за а т е и з м и м а т е р и а л и з м, принадлежит также и пролетариату.

[1]) Приходится пожалеть, что эти работы еще до сих пор не переведены на русский язык. Впрочем, „Здравый смысл" на-днях выходит из печати.

III.

Деятельность Гольбаха имела огромное культурно-историческое значение. Освободительные лозунги редко раздавались с высоты профессорских кафедр. В университетах и академиях всегда преподавали казенную философию, проповедывали официальное мировоззрение, т.-е. философию и мировоззрение господствующего класса. Поэтому естественно, что передовые, прогрессивные и революционные идеи рождались в недрах восходящего передового класса, по преимуществу, стало-быть, вне стен официальных „рассадников здания", в оппозиции к господствующим учениям. Не только Гольбаха, но и Вольтера трудно себе представить в роли профессоров, преподающих в университетах королевской Франции XVIII в. История философии приобрела бы совершенно другой характер, если бы историки не ограничивались прославлением главным образом профессоров философии, а обратились бы также к тем революционерам мысли, к которым доценты от философии и „ординарные" профессора относятся свысока, вследствие своей ограниченности и „ординарности". Гольбах является одним из таких революционеров мысли. Кто еще сделал так много в XVIII стол. для разрушения религиозных, метафизических и идеалистических предрассудков и для просвещения масс? Пусть он не обращался непосредственно к народу, но его революционные идеи проникли все же в массы и способствовали их просвещению и их освобождению. Гольбах сознательно стремился построить новую к у л ь т у р у на н о в ы х о с н о в а н и я х и разрушить старый мир, покоившийся идеологически на теологии. Фундаментом новой культуры должны были служить наука и разум—разум не как самодовлеющий фактор, а в союзе с опытом. М а т е р и а л и з м и а т е и з м должны были занять место и д е а л и з м а и т е о л о г и и, человек—место бога. Буржуазия не оказалась способной осуществить

этот грандиозный идеал. Человечество еще и поныне коснеет в предрассудках религиозных и спиритуалистических. Буржуазия из страха перед пролетариатом давно уже пошла в Каноссу,—непосредственно после великой революции. И только на долю пролетариата выпала почетная роль—построить новый мир и новое мировоззрение. Конечно, мировоззрение пролетариата существенно отличается от мировоззрения даже крайних представителей французского просвещения, но нельзя отрицать и того обстоятельства, что такие люди, как Гольбах, положили в фундамент нового здания несколько прочных камней, выдвинув требование атеистической и материалистической культуры, культуры, построенной на науке, а не на варварских предрассудках. Мыслители XVIII в. не понимали той истины, что новое мировоззрение, как идеологическое основание новой культуры, может быть лишь выражением нового общественного строя, нового мира, построенного на коммунистических или социалистических началах, что религиозные предрассудки и матафизические фикции питаются в значительной степени режимом частной собственности, эксплоатации и рабства „народа". Гольбах же думал, что религиозные иллюзии составляют результат заблуждений человечества и обмана жрецов, равно и средства политического порабощения народа. Он полагал, повидимому, что с разрушением феодального режима и торжеством буржуазного порядка непосредственно связано и торжество материализма и атеизма. Знаменитый материалист ошибся. Буржуазия в пылу борьбы с своим вековым врагом действительно пустила в ход это острое оружие, но даже в эпоху революции она пользовалась им крайне осторожно. Во время революции, до которой кстати Гольбах не дожил (он умер 21 января 1789 г.), восторжествовали, и то на короткое время, деистические взгляды Робеспьера, бывшего, как известно, последователем Руссо. Атеизм был представлен в конвенте эбертистами, из которых Клоотс, напр., прямо принадлежал в свое время к кружку энциклопедистов. Гебертисты потерпели поражение. Робеспьер шел в своей демагогии так далеко, что объявил атеизм гебертистов аристократической „идеологией", как мы бы ныне выразились, несмотря на то, что в действительности Гебер, Шомет и Клоотс были представителями пролетарских элементов тогдашней Франции. 24 марта 1794 г. гебертисты были казнены. Так расправилось мелко-буржуазное крыло якобинства с пролетарским, защитники деизма с идеологами атеизма.

IV.

Ниже читатель прочтет несколько глав из „Системы природы". Он ознакомится с взглядами Гольбаха на человека и общество. Этот новый буржуазный человек резко отличается от средневекового

человека, созданного богом, обладающего бестелесной и бессмертной душой и видящего истинную жизнь в потустороннем мире, отражением и тенью коего является мир земной. Человек—творение бога. Так смотрели представители старого мира. Человек—создание природы,—такова новая истина. Он подчинен тем же всеобщим законам, как и другие явления и существа природы. „Человек занимает определенное место посреди той массы существ, совокупностью коих является природа: благодаря своей сущности, т.-е. благодаря отличающему его способу существования, он оказывается способным к различным способам действия или движений, из которых одни просты и видимы, а другие сложны и скрыты". Его жизнь представляет лишь единую цепь необходимых и связанных между собою движений, которые имеют своим принципом или скрытые внутри его причины, как кровь, нервы и пр., или же внешние причины, т.-е. окружающие его предметы, действующие на его чувства и производящие в нем непрестанные изменения. Человек, словом, природное существо. Подобно всем существам природы, и он стремится к самосохранению: он сопротивляется своему разрушению и избегает всего того, что неблагоприятно для его жизни. С другой стороны, он стремится ко всему тому, что делает его счастливым. „Все его способы действия, все его чувства, идеи, страсти, желания и поступки суть необходимые следствия его собственных свойств и свойств, влияющих на него существ". Человек, независимо от своего желания и без своего ведома, входит в определенную систему и непрерывно видоизменяется причинами, определяющими его поведение. Он представляет собою органическое целое,—своеобразное сочетание различных веществ, определяющих его свойства, составляющие сущность человека. Природа не обладает разумом, но она способна производить из своих недр разумные существа, развивая из сочетания материи особую деятельность или способность, называемую интеллектуальной. Человеческий организм есть своеобразная машина, обладающая способностью ощущения, мыслящая и действующая. Все заблуждения людей происходят от того, что они вообразили, будто человек независим от законов природы, будто в его теле существует нематериальное существо—душа. Человек состоит, якобы, из тела и духа. „Человек вообразил, что в нем имеется некая субстанция, отличная от него самого и одаренная тайной силой, субстанция, которой он приписал свойства, совершенно отличные от свойств, действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов". Но что такое дух? Это чистое отрицание. Как можно себе мыслить это отрицание, это нематериальное существо действующим на тело, на материю? Очевидно, что мы имеем тут дело с простой химерой, с фикцией. На самом же деле душа

есть не что иное, как то же самое тело, рассматриваемое только в отношении некоторых его способностей, что она подвержена тем же изменениям, что и тело, что ее можно отличить от тела только в абстракции. В действительности все так называемое душевные способности сосредоточены в мозгу, так что можно сказать, что мозг составляет собственно душу человека, и, говоря о душе, мы просто абстрагируем мозг или деятельность мозга от него самого и тем самым от тела. Философы же возводят эту абстракцию в самостоятельную субстанцию. Так, „дикие народы допускают существование духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают кому приписать или которые кажется им чудесными". Но разве мы, населяя природу духами, поступаем лучше или иначе, чем дикари? Конечно, мы ушли недалеко от дикарей.

Все наши умственные способности составляют лишь способы существования и деятельности, вытекающие из организации нашего тела. Все они являются лишь модификациями физической чувствительности, т.-е. способности чувствовать. Вся психическая деятельность сводится к этой основной способности. Истинным „седалищем ощущения" является мозг. Движения или сотрясения, которые передаются материальным предметом органам, называются ощущениями. Восприятиями (percepti0ns) называются сотрясения, распространившиеся до мозга. Поскольку же восприятие представляет образ предмета, от которого исходит и к которому стносится ощущение и восприятие, оно называется идеей. Если наши чувства не испытывают никакого воздействия предмета, то мы не можем иметь ни ощущений, ни восприятий, ни идей. Из этих первичных действий, производимых в нас объектами, возникают и развиваются другие интеллектуальные функции, как воображение, суждение, размышление, деятельность, но в основе всех их лежат ощущения. Сознание есть способность различения в самих себе впечатлений и идей, получаемых нами от действующих на наши чувства предметов. Но все эти изменения имеют место лишь до тех пор, пока функционирует мозг. Вся психическая жизнь совершается в мозгу. Он же является и принципом нашей деятельности. Различие интеллектуальных способностей зависит от различия телесной организации, чем и объясняется столь „разнообразное зрелище духовного мира". „Это разнообразие столь же велико, как различие темпераментов или физиономий; из этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодействие, образующее жизнь духовного мира; из этого разногласия получается гармония, сохраняющая человеческий род". Это гераклитовское положение о том, что гармония состоит в дисгармонии, что согласие покоится на разногласии, как нельзя лучше выражало идею третьего сословия. „Различие между отдельными индивидуумами,—продолжает Гольбах,—порождает среди них неравенство, которое является опорой общества". Конечно, никто не будет отрицать разнообразия темпераментов, физиономий и способностей людей, никто не будет также спорить и против того, что это разнообразие придает человеческому обществу и своеобразную красоту и гармонию, но дело в том, что, исходя из этих физических (и духовных) различий, Гольбах приходит к выводам социологического и морального характера. Естественные или физические различия являются источником неравенства; неравенство же является основанием общества и морали. „Различие и неравенство физических и умственных способностей делают человека необходимым человеку, делают его общежительным (sociable) и доказывают ему неопровержимым образом необходимость нравственности". Гольбах сводит даже классовые различия к различию способностей и темпераментов. Надо ли доказывать, что социология и этика Гольбаха не выдерживают никакой критики? Если, рассуждает далее Гольбах, все зависит в конечном счете от темперамента, то очевидно, что „если бы мы знали те элементы, которые лежат в основе темперамента какого-нибудь человека, или большинства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, что им нужно, знали бы законы, которые им необходимы, учреждения, которые им полезны". Вздорность этих суждений очевидна; однако Гольбах идет еще дальше. Мы можем изменять и даже сделать себе темперамент, т.-е. исправлять природу путем регулирования огненного вещества, называемого флогистоном. От большего или меньшего количества огненного вещества зависят наши умственные способности и качества. Пища, климат, воздух влияют на твердые и жидкие элементы нашего организма и определяют наши склонности. Государи, вельможи, богачи лишены чувствительности, говорит Гольбах. Но разве пища, климат и воздух повинны в отсутствии чувствительности у богачей? Правда, Гольбах понимает „темперамент" шире, включая сюда воспитание и образ жизни. Но от этого дело все же не меняется, так как в основе лежит это „огненное вещество", лежат „твердые и жидкие элементы нашего организма". Если „темпераментом" определяется характер учреждений и законов, то учреждения, в свою очередь, влияют и до известной степени определяют темперамент, т.-е. характер, человека. Темперамент, как мы уже знаем, зависит так же от образа жизни и воспитания. Отсюда ясно, что общественные учреждения в значительной степени „создают" человека.

Однако мы не должны поддаваться темпераменту, который обычно вводит человека в заблуждение. Только опыт и размышление способны направлять нас на правильный путь и приводить к счастью. Но людей, обладающих разумом, очень немного. „Разум

предполагает умеренный темперамент, здравый ум, упорядоченное воображение, знание истины, основанное на надежных опытах, благоразумие и предусмотрительность". Очевидно, что такое счастливое сочетание всех этих способностей в одном человеке составляет редкое явление. Разум есть способность производить опыты, вспоминать, предвидеть будущее и выбирать необходимые для человеческого счастья средства. Опыт и разум научают человека ценить других людей, ибо он убеждается, что люди, с которыми он живет в обществе, необходимы ему. Благодаря опыту и разуму, человек научается проводить различие между добром и злом, добродетелью и пороком. Для достижения личного счастья мы нуждаемся в помощи других; поэтому в наших собственных интересах быть полезными другим людям. В этом и состоит добродетель. „Нравственная обязанность— это необходимость прибегать к средствам, способными сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побудить их сделать счастливыми нас самих". Счастье есть сообразное с человеческой природой длительное или временное состояние, вытекающее из согласия между человеком и обстоятельствами, в которые поставила его природа. Добродетель не состоит в подавлении страстей, как это проповедывала старая аскетическая мораль. Страсти имеют свое оправдание в самих себе. Они обусловливаются привычками и склонностями, внушаемыми нам воспитанием. Общество создано для счастья людей. Эту основную цель должны иметь в виду, как моралисты, так и политики.

Политика должна регулировать страсти людей, основывая свои принципы на их природе. Иначе говоря, она должна сообразоваться с сущностью и целью общества. Правительство и устанавливаемые им законы должны всегда иметь в виду обеспечение большинству народа тех выгод, ради которых они заключили общественный договор. Эти выгоды суть: свобода, собственность и безопасность. Законы должны уравнивать всех членов общества, т.-е. ослабить естественное неравенство. „Нет отечества без благополучия", восклицает Гольбах. „Рабы не могут быть гражданами", продолжает представитель третьего сословия. „Только свобода, собственность и безопасность делают отечество дорогим". „Без собственности нет отечества,"—заявляет буржуазия устами Гольбаха. Правительство представляет собою огромную силу: оно воспитывает общество, формирует нравы, определяет даже страсти людей и пр. Мы приносим с собой на свет божий лишь потребность самосохранения и стремление к счастью. Общественные учреждения должны исходить из этих потребностей. Но дурная политика и воспитание, скверные учреждения и вредные идеи, противоречащие природе человека, искажают его страсти и приносят ему лишь одни бедствия. Необходимо все это изменить ко

благу общества. Для этого требуется, чтобы общество взяло свои судьбы в собственные руки, чтобы оно организовало новую власть и сделало принципом деятельности правительства всеобщее благо.

IV.

В нашу задачу не входит критика идей Гольбаха. Это слишком легкая и неблагодарная задача. В самом деле, современность отделяет от Гольбаха промежуток времени в 150 лет. Гигантские успехи наук и исторический опыт, проделанный за это время Европой, опрокинули в значительной части теоретические построения Гольбаха. Ныне всякий школьник знает, что человек есть прежде всего существо общественное (и даже классовое), что не от темперамента и фантастического флогистона зависят законы и учреждения людей, что общество возникло не в силу договора, хотя бы и молчаливого, а путем постепенного развития, что мораль, т.-е. понятия добра и зла не являются вечным и неизменными соотношениями. Всякий марксист знает, что коренная ошибка французских просветителей заключалась в их натурализме, рационализма и проч. В оправдание же Гольбаха надо сказать, что он исходил из современного ему состояния наук и что он являлся выразителем исторически назревших потребностей общественного развития. И что в этом отношении он оказался во многих отношениях дальновиднее других крупных умов своего века. Не надо забывать, что Гольбах поставил себе целью построить целое новое мировоззрение и разрушить старую идеологию. При этом необходимо заменить, что принципиальные основы его мировоззрения, а не те или иные выводы и частности, в значительной степени не устарели. Они не устарели потому, что история их не преодолела, не сделала еще излишними. Мы имеем в виду основные атеистические и материалистические моменты его мировоззрения. Конечно, и до Гольбаха было немало материалистов и атеистов. Но он является одним из тех, кто стремился непосредственно изменить все общество, весь быт, всю жизнь, всю культуру, подводя под них атеистический и материалистический фундамент. Это такая огромная историческая заслуга, которая не должна быть забыта передовым классом человечества. Разумеется, Гольбах стремился обосновать буржуазное общество, в котором были бы обеспечены свобода, собственность и безопасность, в котором гармония, т.-е. единство общества, поддерживалась бы дисгармонией, т.-е. неравенством и взаимной конкуренцией. Но для этой цели он вынужден был построить материалистическое мировоззрение. Он считал необходимым выдвинуть новое понимание человека, общества и мира. Человек представляется ему существом земным, чувственным, материальным. Теология наделила человека божественной душой, провозгласила его

бессмертным существом, окружила его небесным ореолом, но лишь для того, чтобы унизить его до степени раба в этой земной жизни. Гольбах требует „низведения" человека до степени физического существа, лишения его всех божественных аттрибутов, но лишь для того, чтобы тем более возвысить достоинство и значение его, чтобы утвердить за ним право на счастье и построить соответственно этому и общество, в котором „всеобщее благо" было бы руководящим политическим принципом. Основная мысль Гольбаха состоит в том, что из мира, общества, морали и политики должны быть изгнаны сверхъестественные существа и всевозможные духи, равно как и метафизические призраки, которые принесли человечеству неисчислимые бедствия, ибо они служили в руках духовенства и господствующих классов орудием порабощения народа. Они находятся в вопиющем противоречии с опытом и разумом; они составляют результат невежества, суеверия и заблуждения человечества. В религиозных догматах и спиритуалистических призраках нет обсолютно никакого научного содержания. Они являются только средством управления и эксплоатации народа.

Учение о человеке, мире и обществе, как и о морали и политике должно быть построено на материализме, т.-е. на научном фундаменте. Между человеком и обществом, т.-е. окружающими его обстоятельствами и условиями, необходимо должно существовать согласие. В этих целях законодательство или правительство, которое является источником господствующих страстей, мнений и идей, должно ставить себе целью воспитание, т.-е. изменение человеческого характера и формирование его взглядов в соответствии с требованиями разума и природы. Гольбах полагал, что буржуазное общество, основанное на частной собственности и формальной свободе, и осуществит эти его требования. Оказалось, что он в этом отношении ошибся. Но зато необходимо подчеркнуть, что из французского материализма, при всей его ограниченности, противоречивости, последующие мыслители могли уже сделать социалистические выводы. Гольбах рассматривал человека, как существо природы, в основание своего учения об обществе положил индивидуум и его неизменную природу. Ему была чужда как историческая, так и социальная точки зрения. Натурализм, индивидуализм, рационализм и антиисторизм—вот основные черты материализма Гольбаха. Тем не менее, этот материализм (через Фейербаха) мог послужить исходным пунктом для дальнейшего развития материалистического мировоззрения и получить свое завершение в марксизме, который положил в основу объяснения исторического процесса материалистические принципы, а в основание изучения мира, человека и общества помимо того и историческую точку зрения.

А. Деборин.

Гольбах.

Четыре главы из „Системы природы".

ГЛАВА VI.

О человеке; о его делении на физического человека и на человека духовного; о его происхождении.

Человек занимает определенное место посреди той массы существ, совокупностью коих является природа: благодаря своей сущности, т.-е. благодаря отличающему его способу бытия, он оказывается способным к различным способам действия или движения, из которых одни просты и видимы, а другие сложны и скрыты. Его жизнь представляет лишь единую цепь необходимых и связавных между собой движений, которые имеют своим принципом или скрытые внутри его причины, как его кровь, нервы, фибры, мышцы, кости, словом, твердые и жидкие вещества, из которых состоит его тело; или же внешние причины, которые, действуя на него, различно модифицируют его, как окружающий его воздух, пища, коей он питается, и вообще все предметы, непосредственно действующие на его чувства и производящие, следовательно, в нем непрестанные изменения.

Как и все существа, человек стремится к самосохранению; он сопротивляется своему разрушению, он испытывает силу инерции, он тяготеет к самому себе, он притягивается сходными с ним объектами и отталкивается противоположными ему, он ищет и преследует одни предметы или пытается устранить другие. Эти различные способы действия и модификации, на которые способен человек, получили разные наименования: мы вскоре будем иметь случай рассмотреть их подробнее.

Какими бы чудесными, непонятными, сложными ни были, как видимые, так и скрытые, способы действия человеческой машины, но, если мы их внимательно исследуем, то мы увидим, что все ее действия, движения, изменения, ее различные состояния, совершающиеся в ней катастрофы, регулируются постоянно теми же самыми законами, какие присущи всем существам, которые природа порождает, развивает, обогащает способностями, растит, сохраняет в течение некоторого времени, а под конец разрушает или разлагает, заставив их изменить свою форму.

Человек вначале представляет лишь незаметную точку, части которой бесформенны, движения и жизнь которой ускользают от нашего взора, одним словом, нечто такое, в чем мы не замечаем никаких признаков качеств, называемых нами чувством, разумом, мыслью, силой, умом и т. д. Точка эта, помещенная в соответствующем вместилище, развивается, расширяется, растет, благодаря непрестанному присоединению родственных ее существу веществ, ко-

торые она привлекает, которые сочетаются и ассимилируются с ней. Человек, выйдя из этого вместилища, способного в течение некоторого времени сохранить, развить, укрепить слабые зачатки его организации, становится затем взрослым: его тело принимает тогда значительные размеры, его движения становятся заметными, он начинает ощущать во всех своих частях, он делается живой и действующей массой, т.-е. такой, которая чувствует, мыслит, исполняет функции, свойственные существам человеческого рода; эта масса становится способной к этому лишь потому, что она мало-по-малу росла, питалась, восстанавливала себя, притягивая к себе и непрерывно сочетаясь с веществами из породы тех, которые мы считаем инертными, нечувствующими, неодушевленными; между тем, именно эти вещества образовали органическое целое, которое действует, живет, чувствует, рассуждает, размышляет, желает, обдумывает, выбирает, и которое способно более или менее успешно работать над самосохранением, т.-е. над сохранением гармонии в своем собственном существовании.

Все движения или изменения, испытываемые человеком в течение его жизни, как со стороны внешних предметов, так и со стороны заключенных в нем самом субстанций, благоприятны или пагубны для его существа, поддерживают его в порядке или приводят в беспорядок, то сообразны, то противоположны существенной тенденции его существования,—одним словом, они или приятны, или неприятны ему: по своей природе человек вынужден одни из них одобрять, другие не одобрять; одни его делают счастливым, другие—несчастным; одни становятся предметами его желаний, другие—его опасений.

Во всех проявлениях человека от его рождения до его смерти, мы видим лишь цепь необходимых причин и следствий, сообразных с законами, общими всем существам природы. Все его способы действия, все его чувства, идеи, страсти, желания и поступки суть необходимые следствия его собственных свойств и свойств, влияющих на него существ. Все, что он делает и что происходит в нем, является следствием силы инерции, тяготения к самому себе, силы притяжения и отталкивания, стремления к самосохранению, одним словом, энергии, общей ему со всеми наблюдаемыми нами существами. Эта энергия проявляется в человеке лишь специфическим образом, зависящим от его особенной природы, отличающей его от существ другой системы или другого порядка бытия.

Источником заблуждений, в которые впал человек, когда он стал изучать самого себя, является, как мы вскоре покажем, его убеждение, будто он движется сам собой, действует всегда в силу своей собственной энергии, будто в своих поступках и желаниях, являющихся мотивами их, он независим от общих законов природы и от предметов, которые природа заставляет—часто без ведома его и всегда вопреки ему—действовать на него. Если бы он внимательно исследовал себя, он понял бы, что все его движения совершенно непроизвольны, он нашел бы, что его рождение зависит от причин, лежащих совершенно вне его власти, что без своего ведома он входит в систему, которая занимает определенное место; что с момента своего рождения до момента своей смерти он непрерывно видоизменяется причинами, которые вопреки ему влияют на его организацию, видоизменяют его существо и определяют его поведение. Малейшее размышление должно было бы показать ему, что твердые и жидкие субстанции, из которых составлено его тело, что весь скрытый механизм его, который он считает независящим от внешних причин, постоянно испытывают влияния этих причин и были бы иначе неспособны действовать. Разве не ясно, что темперамент человека совершенно не зависит от него самого, что его

страсти являются необходимым следствием этого темперамента, что его желания и поступки определяются этими самыми страстями и взглядами, которых он сам себе не дал? Разве большее или меньшее обилие или степень разгоряченности его крови, разве большая или меньшая степень напряженности его нервов и фибр, разве его постоянные и временные наклонности не определяют в каждый момент его мыслей, его видимых и скрытых движений? Разве состояние, в котором он находится, не зависит необходимым образом от той или иной модификации воздуха, от качества его пищи, от происходящих в нем самом скрытых сочетаний, которые сохраняют порядок или вносят беспорядок в его организм? Одним словом, все должно было бы убедить человека, что в каждое мгновение своей жизни он является пассивным орудием в руках необходимости.

В мире, где все связано, где все причины сплетены между собой, не может быть независимой и изолированной энергии или силы. Таким образом вечно активная природа намечает человеку каждую точку линии, которую он должен описать; природа вырабатывает и комбинирует элементы, из которых он должен быть составлен; природа собирает ему его существо, его устремление, его особенный способ действия; природа развивает его, растит, сохраняет на известное время, в течение которого он вынужден исполнить свою задачу; природа помещает на его пути предметы и события, которые действуют на него то приятным для него, то гибельным образом. Природа же, наделив его ощущением, дает ему возможность выбирать предметы и принимать наиболее пригодные для самосохранения меры; природа, по завершении им его жизненной карьеры, приводит его к гибели, заставив его подчиниться всеобщему и постоянному закону, от которого ничто не изъято. Так, движение порождает человека, поддерживает его некоторое время и, наконец, разрушает, заставив вернуться в лоно природы, которая вскоре воспроизведет его распыленным на бесчисленное множество новых форм, различные фазы коих будут пройдены каждой из его частей с той же необходимостью, с какой целое прошло фазы его предыдущего существования.

Существа человеческого рода способны, как и все прочие существа, к двоякого рода движениям: одни—это движения масс, тогда тело в целом или некоторые части его видимым образом переносятся с одного места на другое; другие—это внутренние, скрытые движения, из коих некоторые видимы нами, между тем, как другие происходят без нашего ведома и дают себя знать лишь производимыми ими вовне действиями. В очень сложной машине, оборудованной путем сочетания огромного количества веществ, представляющей большое разнообразие свойств, пропорций, способов действия, движения становятся по необходимости очень сложными; их медленность, равно как и быстрота, делают их часто недоступными самому субъекту, в котором они совершаются.

Поэтому не будем поражаться, что человек встретил столько препятствий, когда он захотел познать свое существо и свой способ действия, и что он придумал такие странные гипотезы для объяснения скрытого механизма своего тела, движущегося столь отличным—как ему казалось—способом от способа движения других тел природы. Он ясно видел, что его тело и различные части последнего действовали известным образом, но часто он не мог усмотреть, что побуждало их к действию: поэтому он пришел к убеждению, что обладает внутри себя каким-то отличным от своей физической машины движущим принципом, который дает скрытым образом импульс пружинам этой машины, движется в силу своей собственной энергии и действует

согласно законам, совершенно отличным от законов, управляющих движениями всех других существ. Человек сознает некоторые внутренние движения, которые дают себя чувствовать ему; но как объяснить то, что эти невидимые движения производят часто поразительнейшие действия? Как понять, что какая-нибудь случайно мелькнувшая идея, какой-нибудь незаметный акт мысли часто вносят порядок и беспорядок во все его существо? Одним словом, человек вообразил, что в нем имеется некая субстанция, отличная от него самого и одаренная тайной силой, субстанция, которой он приписал свойства, совершенно отличные от свойств, действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов. Он не обратил внимания на то, что первоначальную причину, благодаря которой падает камень или движется его рука, может быть, не менее трудно понять или объяснить, чем причину того внутреннего движения, результатом которого являются мысль и воля. Так, благодаря недостаточному размышлению над природой, благодаря тому, что человек не рассматривал ее с надлежащей точки зрения и не заметил сходства и соответствия между движениями этого мнимого двигателя и движениями его тела или его материальных органов,—благодаря всему этому он стал думать, будто он не только какое-то особенное существо, но и существо, совершенно отличное от других существ природы, существо, обладающее более простой сущностью и не имеющее ничего общего со всем тем, что он наблюдал [1]).

Отсюда получились последовательно понятия духовности (Spiritualité), нематериальности, бессмертия и тому подобные неопределенные слова, придуманные мало-по-малу мастерами умозрительных тонкостей, чтобы характеризовать аттрибуты неизвестной субстанции, которую человек, как ему казалось, заключает в самом себе и которую он считает скрытым принципом своих видимых движений. Венцом всех рискованных гипотез насчет движущей силы явилось предположение, что она, в отличие всех других существ и служащего ей оболочкой тела, не подвергается распаду; что ее совершенная простота не дает ей разложиться или изменить свою форму; одним словом, что по своей сущности она недоступна тем переменам, которым подвержено тело, равно как и все составные существа природы.

Так человек стал двойным. Он стал рассматривать себя, как некоторое целое, составленное путем какого-то непонятного соединения двух различных, не имеющих между собою ничего общего, родов. Он отличил в себе две субстанции: одна из них, явно подверженная влияниям грубых предметов и составленная из грубых инертных веществ, была названа телом; другую признали простой, более чистой по своей сущности, действующей сама по себе и сообщающей движения телу, с которым она чудесным образом соединена: ее назвали душой или духом. Функции первой были названы физическими, телесными, материальными; функции другой были названы духовными и интеллектуальными; человек, рассматриваемый по отношению к первым свойствам, был назван физическим человеком; а рассматриваемый по отношению к свойствам второго рода, был назван человеком духовным.

Эти различения, принятые в настоящее время большинством

[1]) „Следовало бы,—говорит один анонимный автор,—определить жизнь раньше, прежде чем размышлять над душой. Но я это считаю невозможным, ибо в природе существуют элементарные и столь простые вещи, что воображение не может ни разделить их, ни свести к более простым вещам: таковы жизнь, белизна, свет, которые можно определить только через посредство их действий". См. Dissertations melées, с. 252. Жизнь есть совокупность движений, свойственных организованному существу, а движение может быть лишь свойством материи.

философов, основываются на совершенно вздорных предположениях. Люди всегда помогали своему незнанию вещей тем, что придумывали слова, с которыми не могли связывать никакого определенного содержания. Люди воображали, будто они знают материю, все ее свойства, способности, ресурсы и различные сочетания только потому, что узнали некоторые поверхностные свойства ее; присоединивши же к ней некую субстанцию, гораздо менее понятную, чем она сама, только затемнили те смутные идеи, которые могли себе образовать насчет ее. Так метафизики, сочиняя слова и умножая существа, только создали новые затруднения, большие, чем те, которых они хотели избегнуть, и воздвигали препятствия на пути к прогрессу знания: не имея в руках фактов, они обратились к содействию гипотез, скоро превратившихся в их глазах в реальности; а их не руководимое более опытом воображение безнадежно забралось в лабиринт какого-то сочиненного им идеального и интеллектуального мира, и стало почти невозможным извлечь его оттуда и поставить на правильный путь, указать который может только опыт. Опыт показывает нам, что в нас—равно как и в действующих на нас объектах—имеется только одаренная различными свойствами материя, различно сочетающаяся, различно видоизменяемая и действующая согласно своим свойствам. Одним словом, человек есть некоторое организованное целое, составленное из различных веществ; подобно другим продуктам природы, он следует всеобщим, известным законам, а также свойственным лишь ему и еще неизвестным законам или способам действия.

Таким образом, если нас спросят, что такое человек, то мы ответим, что это материальное существо, организованное так, чтобы чувствовать, мыслить и испытывать видоизменения, свойственные лишь ему одному, его организации, особенным сочетанием веществ, собранных в нем. Если нас спросят о происхождении существ человеческого рода, то мы ответим, что человек, подобно прочим существам есть продукт природы, похожий на них в некоторых отношениях и подчиняющийся тем же законам, что и они, но отличающийся от них в других отношениях и подчиняющийся, сверх того, специальным законам, вытекающим из различия его строения. Если нас спросят, откуда появился человек, то мы ответим, что опыт не дает нам возможности решить этот вопрос, который, собственно, и не может интересовать нас по-настоящему; с нас достаточно знать, что человек существует и что по устройству своему он способен производить те действия, которые мы наблюдаем у него.

Но, спросят, всегда ли существовал человек? От века ли создан человеческий род, или он является происшедшим в определенное время продуктом природы? Всегда ли существовали подобные нам люди и всегда ли будут они существовать? Всегда ли существовали самцы и самки? Существовал ли первый человек, от которого произошли все прочие? Что чему предшествовало: яйцо животному или животное яйцу? Если виды организмов не имеют начала, то значит ли это, что они не будут иметь конца? Неуничтожимы ли эти виды, или же они преходящи, подобно индивидам? Всегда ли человек был тем, что он есть теперь, или же, прежде чем дойти до теперешнего состояния, он должен был пройти бесчисленное множество промежуточных стадий? Наконец, может ли человек считать, что он пришел до окончательного, неизменного состояния? Или же человеческому роду еще предстоят новые изменения? Если человек есть продукт природы, то нас спросят, может ли эта природа произвести новые существа и уничтожить старые виды организмов? Наконец, допустивши

последнее, могут спросить, почему природа не производит на наших глазах новых существ или новых видов?

По всем этим вопросам—не имеющим, в сущности, принципиального значения—можно, кажется, остановиться на любом решении. При отсутствии опытных данных, только гипотезы и догадки могут удовлетворить любознательность, устремляющуюся за грани того, что доступно нашей мысли. Признав это, наблюдатель природы ответит, что он не видит никакого противоречия в допущении, что человеческий род—как мы его видим теперь—был создан от века или же в некоторый определенный момент времени; ни в допущении, что человеческий род дошел до своего теперешнего состояния через ряд последовательных фаз развития. Материя вечна и необходима, но ее сочетания и формы переходящи и случайны: а что такое человек, как не сочетавшаяся известным образом материя, форма которой меняется с каждым мгновением?

Однако есть ряд соображений, говорящих, повидимому, в пользу гипотезы о том, что человек произошел в определенный момент времени, что это существо, которое свойственно земному шару и которое, следовательно, может существовать лишь с момента существования земли, являясь результатом специфических, управляющих ею, законов. Существование является существенной чертой вселенной, или совокупности наблюдаемых нами существенно различных веществ; но сочетания и формы не являются существенной чертой этих веществ. Если принять это, то мы вправе сказать, что, хотя вещества, составляющие землю, всегда существовали, но земля эта не всегда имела свою теперешнюю форму и свойства: может быть, земной шар представляет собой массу, отделившуюся в известный момент от какого-нибудь другого небесного тела; может быть, она продукт тех пятен или корок, которые астрономы наблюдают на солнечном диске и которые распространились оттуда по планетной системе; может быть, она является погасшей кометой, которая занимала некогда совершенно другое место в небесном пространстве и которая, следовательно, могла тогда производить существа, резко отличные от тех, что мы наблюдаем в ней теперь, ибо ее тогдашнее местоположение и природа должны были делать все произведения ее отличными от того, что имеется на ней в настоящее время.

На какой бы гипотезе ни остановиться, но растения, животных, людей можно считать произведениями, свойственными специально земному шару и его теперешней ситуации и положению; эти произведения должны были бы измениться, если бы, в силу какой-нибудь катастрофы, земля изменила свое местоположение. Подкреплением этой гипотезы является тот факт, что даже на земном шаре, в зависимости от различия климата, изменяются и все находящиеся на нем существа. Люди, животные, растения и минералы различны в различных местах, изменяясь иногда очень резко даже при незначительной разнице в расстоянии. Слон обитает в жарком поясе; олень живет под широтами холодного севера; Индостан—родина алмаза, который не встречается в наших краях; ананас растет в Америке на открытом воздухе, у нас же для роста его нужны ухищрения искусства, доставляющие ему столько солнечного света, сколько ему потребно; наконец, люди отличаются в различных климатах по цвету кожи, росту, строению, силе, мастерству, мужеству, по духовным способностям. Но что такое климат, от чего зависит он? От различного положения частей земного шара по отношению к солнцу, создающего такие значительные различия в находящихся на земле существах.

Таким образом можно предположить с значительной степенью

вероятия, что если бы, по какой-нибудь случайности, земной шар изменил свое местоположение, то неизбежно изменились бы все произведения его, ибо с изменением причин должны необходимым образом измениться и действия. Чтобы существа природы могли сохраниться или поддержать свое существование, они должны координироваться с целым, из которого они вышли: иначе они не могут существовать. Эту способность координироваться, эту относительную координацию мы называем порядком вселенной; отсутствие ее мы называем беспорядком. Существа, называемые нами чудовищными, это те, которые не могут координироваться с общими или частными законами окружающих их существ или тех целых, в которых они находятся; при своем образовании они могли приспособиться к этим законам; но законы эти противились их совершенству, благодаря чему они не могут продолжать существовать. Так, наличие известного соответствия между животными различных видов производит мулов; но мулы эти не могут размножаться. Человек может жить лишь в воздухе, а рыба—в воде: поместите человека в воду, а рыбу на воздухе, и вскоре эти животные, за невозможностью координироваться с окружающей их средой, погибнут. Перенесите мысленно человека с нашей планеты на Сатурн; вскоре грудь его начнет разрываться от слишком разреженного воздуха, а члены его окоченеют от холода; он погибнет из-за невозможности найти элементы, соответствующие его теперешнему существованию. Перенесите другого человека на планету Меркурий, и он вскоре погибнет от чрезмерного зноя.

Так, повидимому, все дает нам право высказать предположение, что человеческий род есть произведение природы, свойственное земному шару при занимаемом им теперь положении, и что, в случае изменения этого положения, человеческий род или изменился бы, или вынужден был бы исчезнуть, ибо существовать способно лишь то, что может координироваться, или связаться с целым. Именно эта способность человека координироваться с целым не только порождает у него идею порядка, но и заставляет его провозглашать, что все хорошо, между тем как все является лишь тем, чем оно может быть, является необходимо тем, что оно есть, не будучи положительно ни хорошим, ни дурным. Достаточно переместить человека, чтобы он стал обвинять вселенную в беспорядке.

Эти соображения противоречат, повидимому, взглядам тех, которые высказывали предположение, что другие планеты, как и земля, обитаемы подобными нам существами. Но если уж лапландец отличается так резко от готтентота, то какое различие вправе мы предположить между жителем земли и обитателями Сатурна или Венеры?

Как бы то ни было, если нас заставят обратиться мысленно к началу вещей и к колыбели человеческого рода, то мы скажем, что весьма вероятно, что человек явился в результате выхода земного шара из состояния хаоса или что он представляет один из результатов, свойственных земле в ее настоящем положении качеств энергии; что с самого рождения он делился на два пола: мужской и женский; что его существование координировано с существованием земного шара; что, пока будет существовать эта координация, человеческий род сохранится, размножаясь согласно первоначальным, вызвавшим его к жизни, законам; что если бы прекратилась эта координация или если бы земля, сместившись, перестала испытывать те же самые влияния со стороны воздействующих теперь на нее и сообщающих ей ее энергию причин, то человеческий род изменился бы и уступил

бы место новым существам, способным координироваться с состоянием, которое пришло бы на смену настоящему состоянию.

Следовательно, если допустить наличие изменений в положении земного шара, то первобытный человек отличался от современного человека, может быть, больше, чем четвероногое отличается от насекомого. Таким образом можно утверждать, что человек, подобно всему существующему на земле и на других планетах, находится в процессе непрестанного изменения, и конец его существования нам так же неизвестен и так же неинтересен, как и начало его. Таким образом нет никакого противоречия в допущении, что виды организмов непрерывно изменяются, и что мы также не можем знать то, чем они станут, как и то, чем они были.

Что касается лиц, спрашивающих, почему природа не производит новых существ, то мы их, в свою очередь, спросим: откуда они это знают? Что их заставляет считать природу столь бесплодной? Уверены ли они, что природа в происходящих в каждый момент сочетаниях не занята произведением новых существ, без ведома наблюдающих ее? Откуда они знают, что природа не собирает в данный момент в своей колоссальной лаборатории элементов, необходимых для порождения совершенно новых видов, не имеющих ничего общего с существующими в настоящее время видами? Почему нелепо или нелогично вообразить, что человек, лошадь, рыба, птица не будут больше существовать? Разве эти животные так необходимы для природы и разве она не сможет продолжать без них своего вечного движения? Разве вокруг нас не изменяется все? Разве мы сами не изменяемся? Разве не очевидно, что вселенная не была в своем бесконечном прошлом в точности такой, какова она теперь, и что невозможно, чтобы в своем вечном будущем она была хоть на мгновенье в точности той же самой, какова она теперь? Как же можем мы угадать, что принесет с собой бесконечная смена разрушений и созиданий, сочетаний и разложений, метаморфоз изменений, перемещений? Солнца гаснут и покрываются твердой корой; планеты рвутся и рассеиваются в эфирных пространствах; новые солнца зажигаются, новые планеты образуются, описывая новые орбиты и новые пути, а человек—это бесконечно малая частица шара, который сам—лишь незаметная точка в необъятном мире—думает, что вселенная создана для него, воображает, что он должен быть наперсником природы, считает себя вечным, называет себя царем вселенной.

О человек! Неужели ты никогда не поймешь, что ты однодневное существо? Все изменяется во вселенной, природа не содержит в себе никаких постоянных форм, а ты намерен утверждать, что твой род не может исчезнуть и должен составлять исключение из всеобщего закона, согласно которому все изменяется! Увы! Разве в своем теперешнем состоянии ты не подчинен непрерывным изменениям? Ты, называющий себя в своем безумии царем природы; ты, измеряющий землю и небо; ты, воображающий в своем тщеславии, будто все было создано потому, что ты обладаешь разумом,—подумай: достаточно малейшей случайности, достаточно смещения какого-нибудь атома, чтобы погубить тебя, унизить, отнять у тебя этот разум, которым ты так гордишься!

Если бы отказались принять все предыдущие соображения, утверждая, что природа действует согласно известной суммы общих и неизменных законов, если бы стали говорить, что человек, четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века и вечно остаются тем, что они есть теперь; если бы допустили, что звезды от века сияют на небосклоне, и сказали, что так же разумно

спрашивать, почему человек таков, каков он есть, как спрашивать, почему природа такова, какой мы ее видим, или почему существует мир,—то мы ничего не возразили бы против этого. На какую бы из двух точек зрения ни встать, они, вероятно, одинаково успешно справятся с открывающимися здесь трудностями; при более внимательном рассмотрении можно будет убедиться, что эти трудности нисколько не ослабляют силы установленных нами, в согласии с опытом, истин. Человеку не дано знать всего; ему не дано познать своего происхождения; ему не дано проникнуть в сущность вещей и добраться до первых принципов; но ему дан разум, добросовестность, заставляющие его признать откровенно, что он не знает того, что недоступно его ведению, и запрещающие ему подставлять на место своего неведения непонятные слова и бессмысленные предположения. Поэтому, чтобы покончить со всеми трудностями, мы скажем лицам, утверждающим, будто человеческий род происходит от какого-то первого мужчины и какой-то первой женщины, созданных божеством, что у нас есть некоторое представление о природе, но нет никакого представления о божестве и творении, и что пользоваться этими словами—это значит сказать лишь в других выражениях, что не знают энергии природы и что не знают, как она смогла произвести наблюдаемых нами людей [1]).

Скажем, поэтому, в заключение, что у человека нет никаких оснований считать себя каким-то привилегированным существом природы; он испытывает те же изменения, что и все другие произведения ее. Его мнимые прерогативы основываются лишь на заблуждении. Пусть он поднимется мысленно над земным шаром: он сумеет тогда посмотреть на человеческий род так, как на все другие существа. Он увидит, что, подобно тому, как каждое дерево производит плоды в соответствии со своим видом, так и каждый человек поступает в соответствии со своей особой энергией и производит столь же необходимые плоды—поступки, действия. Он поймет, что иллюзия предрасполагающая его в свою собственную пользу, происходит от того, что он одновременно и зритель, наблюдатель вселенной, и часть ее. Он узнает, что приписываемое им самому себе превосходство основывается лишь на его собственном интересе и на его предпочтении самого себя.

ГЛАВА VII.

О душе и о системе спиритуализма (Spiritualité).

Предположив без всяких оснований наличие двух разных субстанций в человеке, мыслители стали, как мы видели, утверждать, что та субстанция, которая невидимо действует внутри человека, отличается по существу от той, которая действует вне его; первую, как мы сказали, назвали духом или душой. Но если мы спросим, что такое дух, то современные мыслители, в результате всех своих метафизических изысканий, ответят нам, что то, что заставляет действовать человека—это субстанция неизвестной природы, столь простая, неделимая, лишенная протяженности, неуловимая чувствами, что части ее не могут быть отделены даже в абстракции или мыслью. Но как представить себе подобную субстанцию, являю-

[1]) Ut tragici poëtae confugiant ad Deum aliquem, cum aliter explicare argumentum non possunt. Cicero, de Didinatione, lib II. Он говорит еще: Magna stultitia est earum rerum Deos facere effectores, causas rerum non quaerere. Ibidem.

щуюся отрицанием всего, что мы знаем? Как составить себе представление о субстанции, лишенной протяженности и, тем не менее, действующей на наши чувства, т.-е. на материальные, протяженные органы? Как существо без протяженности может быть подвижным и приводить материю в движение? Как лишенная частей субстанция может соответствовать последовательно различным частям пространства?

Действительно, движение, как с этим согласится всякий, есть последовательное изменение отношений какого-нибудь тела к различным точкам пространства или к другим телам. Если то, что называют духом, может получать или сообщать движение, если он действует или приводит в движение органы тела, то надо признать, что это существо изменяет последовательно свои отношения, свое устремление, свое соответствие, положение своих частей по отношению к различным точкам пространства или по отношению к различным органам приводимого им в движение тела; но, допуская, что этот дух способен изменять свои отношения к пространству и к приводимым им в движение органам, следует признать, что он обладает протяженностью, твердостью и, следовательно, различными частями; если же какая-нибудь субстанция обладает этими качествами, то она является тем, что мы называем материей, и не может считаться существом простым в смысле современных философов [1]).

Мы видим таким образом, что те, кто предположили наличие в человеке нематериальной, отличной от тела, субстанции, сами не поняли своего утверждения и придумали лишь некоторое отрицательное качество, о котором они не имели настоящего представления. Только материя может действовать на наши чувства, без которых ничто не доступно нашему познанию. Эти лица не поняли, что существо, лишенное протяженности, не может ни двигаться само, ни сообщить движение телу, потому что подобное существо, не имея частей, не может ни изменить своих пространственных отношений относительно других тел, ни вызвать движения в человеческом теле, которое материально. То, что называют нашей душой, движется вместе с нами, но движение есть свойство материи. Эта душа движет нашу руку, а наша рука, приводимая ею в движение, производит толчок, следующий общему закону движения: так, если сила останется той же самой, а масса удвоится, то и толчок удвоится. Эта душа оказывается материальной также и в тех неодолимых препятствиях, которые она испытывает со стороны тел. Если она приводит в движение мою руку, когда ничто этому не препятствует, то она не сумеет двигать этой рукой, если положить на нее слишком большую тяжесть. Мы видим таким образом, как материальная масса уничтожает импульс, исходящий от духовной причины; между тем, для последней, не имеющей ничего общего с материей, не должно было бы быть труднее привести в движение весь мир, чем какой-нибудь атом, а какой-нибудь атом, чем весь мир. Отсюда можно заключить, что подобное существо есть химера, фикция. И, однако, из такого

[1]) Те, кто утверждают, будто душа есть простое существо, не примирут сказать нам, что сами материалисты и физики допускают элементы, атомы, простые и неделимые существа, из которых состоят все тела; но эти простые существа, или атомы физиков, совсем не то же самое, что души современных метафизиков. Когда мы говорим, что атомы суть простые существа, то мы этим указываем, что они чисты, однородны, без примесей; но, тем не менее, они имеют протяжение и, следовательно, обладают частями, отделимыми в мысли, хотя никакой естественный агент не может их отделить; простые существа этого рода способны к движению, между тем как невозможно вообразить себе, как могут двигаться сами или двигать другие тела придуманные теологами простые существа.

простого существа, из подобного духа сделали двигатель всей природы! [1]).

Если я замечаю или испытываю движение, то я вынужден признать протяженность, твердость, плотность, непроницаемость в субстанции, которая движется, или от которой я получаю движение; поэтому, если приписывать действие какой-нибудь причине, то я вынужден считать ее материальной. Я могу не знать ее особенной природы и ее специфического способа действия, но я не могу ошибаться насчет общих свойств, присущих всякой материи; впрочем, это незнание только увеличилось бы, если бы я приписал ей такую природу, о которой я не могу себе составить никакого представления, и которая, сверх того, совершенно лишает ее способности двигаться и действовать. Таким образом предположение о движущей и действующей духовной субстанции содержит в себе противоречие; отсюда я умозаключаю, что она совершенно невозможна.

Сторонники духовной субстанции полагают, что все эти затруднения разрешаются, если сказать, что душа находится целиком в каждой точке своей протяженности. Но легко понять, что это—нелепый ответ, нисколько не разрешающий наших затруднений. Ведь, в конце концов, приходится признать, что точка эта, какой бы незаметной и малой ни принять ее, остается чем-то осязательным [2]). Но как бы ни представить себе, что мой дух, или моя душа находится в своей протяженности, но если мое тело движется вперед, то душа моя не остается назади; следовательно, она имеет некоторое свойство, общее ей с моим телом и присущее материи, ибо она переносится в пространстве вместе с моим телом. Таким образом, если бы даже душа была нематериальной, то что можно было бы заключить из этого? Подчиненная целиком движениям тела, она была бы без него мертвой, инертной. Она была бы каким-то двойником, фатально увлекаемым сцеплением целого; она походила бы на птичку, которую ребенок ведет, куда ему угодно, прикрепленной на нитке.

Игнорируя указания опыта и разума, люди пришли к каким-то туманным представлениям о скрытом принципе своих движений. Но если мы освободимся от ига предрассудков и станем без предубеждения изучать нашу душу, или действующий в нас двигатель, то мы убедимся, что она составляет часть нашего тела, что ее можно отличить от него лишь в абстракции, что она есть это самое тело, рассматриваемое только в отношении некоторых его функций или способностей, которыми наделила его особенная природа его органи-

[1]) По образцу человеческой души сочинили потом универсальный дух, по образцу конечного разума—бесконечный разум; потом воспользовались этим бесконечным разумом, чтобы объяснить связь человеческой души с телом. При этом не заметили здесь порочного круга и не заметили также, что дух или разум—предположить ли их конечными или бесконечными—не в состоянии привести в движение материю.

[2]) Если придерживаться смысла этого ответа, то бесконечное множество разных непротяженностей, или одна и та же непротяженность, повторенная бесконечное количество раз, дает протяженность, что, очевидно, нелепо. Кроме того, легко доказать, согласно этому принципу, что человеческая душа так же бесконечна, как бог: ведь, бог есть не протяженное существо, которое, подобно человеческой душе, находится бесконечное множество раз в каждой точке вселенной или своей протяженности; отсюда можно заключить, что бог и человеческая душа одинаково бесконечны, если только не допустить непротяженностей различной протяженности, или же непротяженного бога более протяженным, чем человеческая душа. И вот подобные бессмыслицы желают навязать разумным существам! В своем стремлении сделать человеческую душу бессмертной, теологи сделали из нее какое-то духовное и непонятное существо. Почему лучше они не сделали из нее последнего возможного термина деления материи! В этом случае она была бы, по крайней мере, понятной и была бы, кроме того, бессмертной, ибо она была бы атомом, т.-е. неразрушимым элементом.

зации. Мы увидим, что эта душа вынуждена претерпевать те же изменения, что и тело, что она рождается и развивается вместе с ним, что она проходит, как и тело, через состояние детства, слабости, неопытности, что она растет и крепнет параллельно ему, становясь тогда способной исполнять известные функции, что она обладает разумом, обнаруживает, более или менее, рассудительность, ум, деятельность. Подобно тому, она подвержена влияниям внешних причин, она разделяет его удовольствия и его страдания; она здорова, когда тело здорово; она больна, когда тело больно; как и тело, она испытывает непрерывные воздействия различной тяжести воздуха, времен года, поступающей в желудок пищи. Наконец, мы не можем не признать, что в известное время она обнаруживает явные признаки одряхления, угасания и смерти.

Но, несмотря на эту аналогию или даже это постоянное тождество состояний души и тела, люди все же хотят отличить их друг от друга по их сущности. Из этой души сделали какое-то непонятное существо, при чем, чтобы составить себе о нем какое-нибудь представление, пришлось все же прибегнуть к материальным существам и их способу движения. Действительно, слово дух содержит в себе просто идею дуновения, дыхания, ветра; поэтому, когда нам говорят, что душа есть дух, то это означает, что ее способ действия похож на способ действия дыхания, которое, будучи само невидимым, производит видимые действия. Но дыхание есть материальная причина, это—модифицированный воздух; это не простая субстанция, вроде той, которую современные мыслители означают словом дух [1]).

Хотя слово дух очень древнего происхождения, но связываемый с ним смысл нов, и общепринятая теперь идея духовности—это совершенно недавний продукт воображения. Действительно, ни Пифагор, ни Платон, при всей разгоряченности их фантазии и при всей их склонности к чудесному, никогда, кажется, не понимали под духом нематериальную или лишенную протяженности субстанции, подобную той субстанции, из которой современные философы сделали человеческую душу и скрытый двигатель вселенной. Древние словом дух обозначали очень тонкое вещество, более чистое, чем то, которое грубо действует на наши чувства. Поэтому одни считали душу воздушной субстанцией, другие сделали из нее огненное вещество, третьи сравнивали ее со светом. Демокрит сводил ее к движению и, следовательно, видел в ней некий модус. Аристоксен, будучи музыкантом, считал ее гармонией. Аристотель рассматривал душу, как некоторую движущую силу, от которой зависит движение живых тел.

Точно так же как первые учители христианства [2]) имели о душе лишь материальное представление, Тертуллиан, Арнобий, Климент Александрийский, Ориген, Иустин, Ириней и т. д. говорили о ней, как о какой-то телесной субстанции. Лишь их преемники, долго спустя, сделали из человеческой души и из божества или души мира чистых духов, т.-е. нематериальные субстанции, о которых не-

[1]) Еврейское слово rouah означает spiritus spiraculum vitae, дуновение, дыхание. Греческое слово Πνεῦμα означает то же самое и происходит от Πνέω, spiro. Лактанций утверждает, что латинское слово anima происходит от греческого слово ἄνεμος, означающего ветер. Некоторые философы, боясь, без сомнения, ясного понимания человеческой природы, сделали ее тройной и утверждали, будто человек состоит из тела, души и ума—σῶμα, ψυχή, νοῦς. См. Marc. Anton. Lib. III. 16.

[2]) Согласно Оригену, ἀσώματος, incorporeus—эпитет, приписываемый богу, означает более тонкую субстанцию, чем субстанция грубых тел. Тертуллиан говорит положительным образом: Quis autem negabit Deum esse corpus, etsi Deus spiritus? Тот же Тертуллиан говорит: Nos autem animam cirporalem et nic profitemur, et in suo volumine probamus habentum proprium genus substemtiae, soliditatis, per quam quid et sentire et perbi sposet.

возможно себе составить правильного представления. Мало-по-малу невразумительный догмат о духовности, без сомнения, более соответствующий видам теологии, имеющей принципом сокрушение разума,—взял верх над всеми прочими взглядами [1]); этот догмат был признан божественным и сверхъестественным, ибо он был непонятен человеку, и стали считать безрассудными и безумными всех тех, кто осмеливались думать, что душа или божество могут быть материальными. Но раз люди отказываются от руководства опытом и разумом, то разгул их воображения с каждым днем должен расти; они с радостью углубляются все больше и больше в свое заблуждение; они поздравляют себя с новыми открытиями и успехами, в то время, как в действительности все большим мрак окутывает их мысль. Так, благодаря ложным принципам, положенным в основу рассуждения, были созданы идеи о душе или о движущем принципе человека, а также о скрытом двигателе природы—эти чистые химеры, чистые выдумки нашего ума [2]).

В спиритуалистическом учении мы видим лишь смутные идеи или, вернее, отсутствие всяких идей. Что представляет для ума субстанция, не похожая ни на что решительно из доступного нашим чувствам? Действительно ли можно представить себе существо, которое, не будучи материей, действует, однако, на материю, не имея с ней ни точек соприкосновения, ни аналогии, и которое само получает импульсы от материи через посредство материальных органов, предупреждающих его о присутствии других существ? Возможно ли представить себе соединение души и тела? Как может это материальное тело связать, содержать в себе, принуждать, детерминировать неуловимое существо, ускользающее от всех чувств? Можно ли назвать добросовестным решением этих трудностей утверждение, что все это тайны, что это действия всемогущества некоторого существа, еще более непонятного, чем человеческая душа и ее образ действия? Разве решить эти проблемы ссылкой на чудеса и вмешательство божества не означает признания в своем невежестве или же желания обмануть нас?

Не будем поэтому удивляться тонким, но мало удовлетворительным при всем их остроумии, гипотезам, к которым должны были прибегнуть, под влиянием теологических предрассудков, глубочайшие современные мыслители, когда они пытались примирить духовность души с физическим действием материальных существ на эту бестелесную субстанцию, с ее противодействием им, с ее соединением с

[2]) Система спиритуализма, как она принята теперь, обязана Декарту всеми своими мнимыми доказательствами. Хотя и до него душу признавали духовной, но он первый установил, что то, что мыслит, должно быть отличным от материи. Отсюда он заключил, что наша душа или то, что мыслит в нас, есть дух, т.-е. простая неделимая субстанция. Но не естественней ли было бы умозаключить, что, так как человек, который есть материя, имеет идею лишь о материи, обладает способностью мыслить, то материя может мыслить или способна к той специфической модификации, которую мы называем мыслью? См. Dict. Bayle, слова: Pomponace и Simonide.

[1]) Если в спиритуалистической системе мало логики и философии, то нельзя отрицать, что система эта является продуктом очень глубокой, задуманной в интересах теологов, политики. Надо было придумать какое-нибудь средство, чтобы спасти некоторую часть человека от разрушения, сделав ее, таким образом, способной к наградам и наказаниям. Ясно таким образом, что догмат этот был очень выгоден для жрецов, чтоб, напугавши невежественных людей, управлять ими и обирать их, и даже, чтобы создать хаос во взглядах более просвещенных людей, которые тоже совершенно неспособны ничего понять в том, что им говорят о душе и о божестве. Однако эти жрецы утверждают, что нематериальная душа будет гореть и, значит, страдать от действия материального огня в аду или в чистилище,—и им верят на слово!

телом. Когда человеческий ум, отказавшись от свидетельства своих чувств, начинает руководиться голосом фантазии и авторитета, то он не может не впасть в заблуждения [1]).

Поэтому, если мы захотим составить себе ясное представление о нашей душе, то подвергнем ее опыту, откажемся от своих предрассудков, удалим все теологические предположения, разорвем священные покрывала, имеющие целью затемнить наш взор и повергнуть ниц наш разум. Пусть физики, анатомы, врачи объединят свои опыты и наблюдения и покажут нам, что должно думать о субстанции, которую хотели сделать непознаваемой; пусть их открытия покажут моралисту истинные двигатели человеческих действий; законодателям—мотивы, которые они должны привести в движение, чтобы побудить людей работать и трудиться для всеобщего благополучия общества; государям—средства сделать поистине, по-настоящему, счастливыми управляемые ими народы. Физические души и физические потребности требуют физического счастья и реальных объектов, а не химер, которыми столько веков кормили наши умы. Будем трудиться для физической стороны человека, сделаем ее приятной для него, и мы вскоре увидим, что его духовная сторона становится лучше, счастливей; мы увидим, что душа его становится мирной, ясной, а воля его направляется к добродетели, определяясь к тому естественными и доступными наблюдению мотивами. Если законодатель станет заботиться о физической стороне человека, то получатся здоровые, крепкие, хорошо сложенные граждане, которые, будучи счастливы, легко будут поддаваться полезным воздействиям на их души. Но души эти будут всегда порочными, если тела будут хилыми, а народы несчастливыми. Mens sana in corpore sana. Вот что создает хороших граждан.

Чем больше мы станем размышлять, тем больше мы будем убеждаться, что душа не только не отлична от тела, но есть самое это тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или к некоторым способам бытия и действия, на которые оно способно, пока живет. Таким образом душа есть человек, рассматриваемый по отношению к его способности чувствовать, мыслить и действовать определенным образом, вытекающим из его собственной природы, т.-е. из его свойств, его специфической организации и длительных или кратковременных модификаций, испытываемых этой организацией со стороны действующих на нее агентов [2]).

Те, кто отличают душу от тела, по существу отличают просто имеющийся у тела мозг от него самого. Действительно, мозг есть

[1]) Если желать составить себе представление о тех помехах, которые создала теология полету мысли гениальных христианских философов, то достаточно прочесть лишь метафизические романы Лейбница, Декарта, Мальбранша, Кедворса и т. д. и хладнокровно рассмотреть остроумные химеры, известные под названиями систем предустановленной гармонии, окказионализма, физического предвижения и т. д.

[2]) Если спросить у теологов, упорствующих в своем допущении двух отличных по существу, субстанций—почему они умножают без нужды существа, то они ответят: потому что мысль не может быть свойством материи. Если далее спросить их, не может ли бог сообщить материи способность мыслить, то они ответят на это отрицательно, ибо бог не может делать невозможных вещей. Но, в таком случае, теологи оказываются настоящими атеистами: действительно, согласно их принципам, так же невозможно, чтобы дух или мысль произвели материю, как невозможно, чтобы материя произвела дух или мысль; отсюда можно заключить против них, что мир не был создан духом, как и дух не был создан миром; что мир вечен, и что, если существует вечный дух, то, значит, существуют, согласно им, два вечных существа, что нелепо; но если существует одна вечная субстанция, то ясно, что этой субстанцией является мир, ибо мир, несомненно, существует.

тот общий центр, где кончаются и собираются все нервы со всех частей человеческого тела; при помощи этого внутреннего органа совершаются все операции, приписываемые душе; сообщенные нервам изменения и движения видоизменяют мозг, в результате этого он оказывает противодействие и приводит в движение органы тела или же действует на самого себя и становится способным произвести внутри себя огромное разнообразие движений, называемых умственными способностями.

Из этого-то мозга некоторые мыслители хотели сделать духовную субстанцию. Ясно, что невежество породило и укрепило эту столь противоестественную систему. Благодаря нежеланию изучить человека, в нем предположили наличие некоего агента, отличающегося по своей природе от его тела; исследуя это тело, можно убедиться, что для объяснения всех наблюдаемых в нем явлений нет никакой нужды прибегать к гипотезам, которые могут лишь сбить нас с прямого пути. Спутывает этот вопрос то, что человек не может видеть самого себя; действительно, чтоб он мог видеть себя, он должен был бы быть одновременно и внутри, и вне себя. Его можно сравнить с чувствительной арфой, издающей сама по себе звуки и спрашивающей себя самое, что заставляет ее издавать их; она не видит, что, будучи чувствительной, она сама задевает свои струны, и что струны эти задеваются и начинают звучать при всяком прикосновении к ним.

Чем обширнее станет наш опыт, тем больше случаев мы будем иметь убедиться, что слово дух не имеет никакого смысла, даже для тех, кто придумал его, и не может пригодиться нигде, ни в физике, ни в морали; то, что современные метафизики понимают под этим словом, представляет в действительности скрытую силу, придуманную для объяснения скрытых качеств и действий, но в действительности не объясняющую ничего. Дикие народы допускают существование духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают кому приписать или которые кажутся им чудесными. Но, приписывая духам происходящие в природе или в человеческом теле явления, мы разве рассуждаем иначе, чем дикари? Люди наполнили природу духами, ибо они почти никогда не знали истинных причин явлений. Не зная сил природы, ее считали одушевленной каким-то великим духом; аналогичным образом, не зная свойственной человеческому организму энергии, его считали одушевленным каким-то духом. Отсюда ясно, что словом дух означают лишь неизвестную причину известного явления, которое не умеют объяснить естественным образом. Так, аналогичным образом, индийцы думали, что страшные действия пороха производятся духами или божествами. Аналогично же еще и в наше время верят в ангелов, в демонов; а наши предки некогда верили в богов, в манов, в гениев; рассуждая, как они, мы должны были бы приписать духам тяготение, электричество, явления магнетизма [1]) и т. д.

[1]) Легко понять, что представление о духе, придуманное дикарями и усвоенное невежественными людьми, может задержать прогресс знания, ибо оно препятствует нам искать истинных причин наблюдаемых нами явлений и благоприятствует лености человеческой мысли. Эта леность и невежество могут быть очень полезны теологам, но они крайне пагубны для существа. Жрецы во все времена преследовали тех, кто первые объяснили естественным образом явления природы—достаточно вспомнить имена Анаксагора, Аристотеля, Галилея, Декарта и пр. Истинная физика должна повлечь за собой гибель теологии.

ГЛАВА VIII.

Об умственных способностях: все они являются производимыми от способности чувствовать.

Чтоб убедиться, что так называемые умственные способности представляют лишь вытекающие из организации нашего тела способы бытия и действия, нам остается только анализировать их; мы увидим тогда, что все приписываемые нашей душе операции представляют лишь модификации, на которые не может быть способна непротяженная или нематериальная субстанция.

Первая способность, которую мы наблюдаем в живом человеке и из которой вытекают все прочие,—это способность чувствовать (Sentiment). Как бы ни казалась непонятной на первый взгляд эта способность, если присмотреться к ней ближе, мы найдем, что она вытекает из сущности и свойств организованных существ, подобно тому, как тяжесть, магнетизм, электричество и т. д. вытекают из сущности или природы некоторых других существ, а эти физические явления—как мы увидим—не менее непонятны, чем явления ощущения. Однако, если мы захотим составить себе точное представление о нем, то мы найдем, что чувствовать (sentir) означает особый способ испытывать воздействие, свойственный некоторым органам живых тел и обнаруживающийся при наличии материального предмета, действующего на эти органы, движения или сотрясения которых передаются мозгу. Мы чувствуем лишь через посредство нервов, разбросанных в разных местах нашего тела, которое является, так сказать, одним большим нервом, или которое похоже на большое дерево, ветви коего испытывают через посредство ствола исходящее от корней действие. В человеке нервы соединяются в мозгу; этот орган является настоящим седалищем ощущения; подобно пауку в центре своей паутины, способность чувствовать быстро узнает о всех заметных изменениях, происходящих в теле, до самых оконечностей которого простираются его нити или ветви. Опыт показывает нам, что человек перестает чувствовать в тех частях своего тела, у которых прервано сообщение с мозгом; если же в самом этом органе произошло какое-нибудь нарушение или он испытал слишком резкое воздействие, то человек чувствует лишь несовершенным образом или перестает совсем чувствовать [1]).

[1]) Les Mémoires de l'Academie Royale des sciences de Paris дают нам доказательства вышеизложенного; в них говорится о человеке, у которого сняли черепную крышку, заменив ее кожей: когда через эту кожу надавливали рукой на мозг, то человек впадал в своего рода летаргию и ровно ничего не чувствовал. Опыт этот был произведен г. де-ла Пейрони. Борелли в своем трактате de motu animalium называет мозг Regie anima. Есть все основания думать, что именно от мозга зависит различие не только между человеком и животным, но и между умным человеком и глупым, между мыслящим человеком и невеждой, между рассудительным человеком и сумасшедшим. Бартолиний утверждает, что мозг человека вдвое больше бычачьего,—это наблюдение было сделано до него еще Аристотелем. Виллис, диссекируя труп одного слабоумного, убедился, что мозг его меньше нормы; он говорит, что самое крупное различие, замеченное им между частями тела этого слабоумного и органами нормального человека, заключается в том, что сплетение межреберных нервов (которое, по его словам, свойственно только человеку, являясь посредником между сердцем и мозгом) было у него очень мало и имело меньшее количество нервов, чем обыкновенно. Согласно тому же Виллису из всех животных у обезьяны относительно наибольший мозг; она же является, после человека, наиболее умным животным. См. Willis, Anat. Cerebrin, гл. 26, и dem Nervorum descriptio, с. 26. Кроме того, было замечено, что у лиц, работающих умственным трудом, мозг обширнее, чем у других; аналогичным образом у гребцов руки толще, чем у прочих людей.

Как бы то ни было, чувствительность мозга и всех его частей является фактом. Если нас спросят, откуда взялось это свойство мозга, то мы ответим, что оно результат специфически свойственного животному сочетания: грубая и бесчувственная материя, оживотняясь, т. е. сочетаясь и отождествляясь с животным, становится чувствительной. Так, молоко, хлеб и вино превращаются в субстанцию человека, являющегося чувствующим существом: сочетаясь с чувствующим целым, эти грубые вещества становятся чувствующими. Некоторые философы думают, что способность чувствовать (sensibilité)—это всеобщее свойство материи: в этом случае бесполезно было бы спрашивать, откуда является у нее это свойство, которое мы знаем по его действиям. Если допустить эту гипотезу, то подобно тому, как отличают в природе два рода движения, одно, называемое живой силой, а другое — мертвой силой, так можно будет различать двоякого рода способность чувствовать — одну активную или живую, а другую — инертную или мертвую; в этом случае оживотнение субстанции будет означать устранение препятствий, мешающих ей быть активной и чувствующей. Одним словом, способность чувствовать это или свойство, сообщающееся подобно движению и получающееся путем сочетания, или же свойство, присущее всякой материи; и в том и в другом случае субъектом его не может быть непротяженное существо, каким предполагают человеческую душу [1]).

Строение, форма, ткань, тонкость внешних и внутренних органов человека и животных делают части их очень подвижными и производят то, что их органическая машина может быть приведена в действие с очень большой быстротой. В теле, представляющем совокупность фибров и нервов, соединенном в одном общем центре, смежных друг с другом и всегда готовых прийти в действие, в целом, составленном из жидких и твердых веществ, части которых находятся, так сказать, в равновесии, и мельчайшие молекулы которых соприкасаются, будучи активными и быстрыми в своих движениях и сообщая постепенно друг другу получаемые ими впечатления колебания, сотрясения,—в таком составном теле малейшее движение быстро распространяется, и колебания, вызванные в отдаленнейших частях его, очень скоро передаются в мозг, который, благодаря своей тонкой ткани, способен очень легко модифицироваться. В нервах и фибрах непрерывно циркулируют столь подвижные агенты, как воздух, огонь и вода, способствующие, несомненно, той невероятной быстроте, с которой мозг осведомляется о всем, происходящем на оконечностях тела.

Несмотря на большую подвижность организации человека, несмотря на непрерывное воздействие на него внутренних и внешних причин—он не всегда ясно и раздельно чувствует производимые на его органы впечатления: он чувствует их только тогда, когда они произвели некоторое изменение или некоторое сотрясение в его мозгу.

[1]) „Все части природы могут дойти до состояния воодушевленности; разница здесь не по существу, а по состоянию... Если спросят, что необходимо, чтобы одушевить какое-нибудь тело, то я отвечу, что не нужно ничего особенного и что для этого достаточно силы природы в соединении с организацией. Жизнь есть совершеннейшее произведение природы; в ней нет части, которая бы не стремилась к этому и не достигала этого тем же самым путем. Акт жизни двойственен. Нет никакой разницы между жизнью насекомого, собаки, человека; но акт этот совершеннее (по отношению к нам) пропорционально усложнению структуры органов, а структура эта характеризуется семенем, которое содержит в себе принципы жизни более, чем всякая другая часть материи. Следовательно, верно то, что способность чувствовать, страсти, восприятие предметов, идеи, их образование, их сравнение, воля представляют органические способности, зависящие от соответственного устройства частей животного". См. Dissertations mêlles sur diwers sujets importans, напечатан в Амстердаме в 1740 г., с. 254.

Так, хотя воздух окружает нас со всех сторон, мы чувствуем его действия лишь тогда, когда он поражает с достаточной силой наши органы и нашу кожу, так что мозг наш предупрежден о его присутствии. Так, в глубоком и спокойном сне, не нарушаемом сновидениями, человек перестает чувствовать. Наконец, так, несмотря на происходящее в человеческом организме непрерывное движение, человек как будто ничего не чувствует, когда все движения совершаются подходящим образом. Он не замечает состояния здоровья, но он замечает состояние боли или болезни, потому что в первом случае его мозг не испытывает сильного воздействия, между тем как во втором—его нервы испытывают сокращения, сотрясения, бурные и беспорядочные движения, предупреждающие мозг, что какая-то причина действует на них сильно и необычным образом: это и составляет то, что мы называем болью.

С другой стороны, случается иногда, что внешние предметы производят очень значительные изменения в нашем теле, хотя в тот момент, когда эти изменения происходят, мы их и не замечаем. Часто в пылу битвы солдат не замечает опасной раны, ибо многообразные бурные и быстрые движения, которыми полон его мозг, мешают ему различить особенные изменения, происходящие в какой-нибудь части его тела. Наконец, когда на человека действует одновременно и с большой энергией множество причин, то он этого не выдерживает, он падает в обморок, теряет сознание, лишается способности чувствовать.

Вообще, ощущение имеет место лишь тогда, когда мозг может различать производимые на органы впечатления. Сознание (conscience) состоит в различном сотрясении, в воспринятой модификации мозга [1]). Отсюда ясно, что ощущение—это способ бытия, или различимое изменение, произведенное в нашем мозгу, в связи с импульсами, полученными нашими органами от внешних или внутренних причин, видоизменяющих их длительным или кратковременным образом. Действительно, мы наблюдаем, что человек, на органы которого не действуют никакие внешние предметы, чувствует самого себя, сознает происходящие в нем изменения; в этом случае его мозг видоизменяется или возобновляется, благодаря внутренним модификациям. Не будем удивляться этому; в столь сложной машине, как человеческое тело, все части которого сообщаются с мозгом, последний должен получать сведения об изменениях и импульсах, происходящих в целом, части которого способны по своей природе чувствовать, находятся в непрерывном взаимодействии и объединяются все в нем.

Когда человек испытывает боль от подагры, то он сознает, т.-е. он чувствует внутренне, что в нем происходят очень заметные изменения, хотя никакая внешняя причина не воздействует непосредственно на него. Однако, доискиваясь до корня этих изменений, мы найдем, что они произведены такими внешними причинами, как полученные нами от наших родителей организация и темперамент, известная пища и тысяча мелких и ничтожных причин, которые, накопляясь мало-по-малу, производят humor подагры, дающей себя очень чувствительно знать. Боль от подагры порождает в мозгу идею или модификацию, обладающую способностью повторяться в нем даже тогда, когда человек не имеет уже больше подагры: мозг человека, путем ряда движений, приходит тогда в состояние, аналогичное тому, в котором он

[1]) Согласно доктору Кларку, „сознание—это обдуманный акт, при посредстве которого я мыслю, и мои мысли или мои действия оказываются принадлежащими мне, а не другому человеку". См. его письмо против Додуэлл.

находился, когда испытывал реально эту боль; человек никогда не имел бы представления о ней, если бы он раньше не испытал ее.

Органами чувств называются видимые органы нашего тела, через посредство которых модифицируется мозг. Этим модификациям дают различное наименование. Слова: ощущения (sensations), восприятия, идеи означают лишь изменения, происходящие во внутреннем органе, в связи с впечатлениями, производимыми на внешние органы действующими на них телами. Эти изменения, рассматриваемые сами по себе, называются ощущениями; когда внутренний орган замечает их или предупрежден о них, они называются восприятиями; когда внутренний орган относит эти изменения к произведшему их предмету, они называются идеями.

Таким образом всякое ощущение представляет лишь сотрясение, полученное нашими органами; всякое восприятие представляет это сотрясение, распространившееся до мозга; всякая идея—это образ предмета, от которого происходит ощущение и восприятие. Отсюда ясно, что если наши чувства не испытывают никакого воздействия, то мы не может иметь ни ощущений, ни восприятий, ни идей, как мы будем иметь случай доказать тем, кто стали бы еще сомневаться в столь очевидной истине.

Человек отличается от других существ, называемых нами бесчувственными и неодушевленными, большой подвижностью своей организации; различная степень подвижности организации отдельных лиц устанавливает между ними невероятное множество оттенков и различий как со стороны телесных способностей, так и со стороны тех способностей, которые называют умственными или интеллектуальными. Из этой большей или меньшей подвижности вытекают ум, чувствительность, воображение, вкус и т. д. Но остановимся в настоящий момент на деятельности наших чувств и посмотрим, как действуют на них и видоизменяют их внешние предметы; затем мы рассмотрим реакцию внутреннего органа.

Глаза представляют собой очень подвижные и очень тонкие органы, через посредство которых мы испытываем ощущения света или цвета, сообщающие мозгу раздельное восприятие, в результате коего светящееся или цветное тело порождает в нас некоторую идею. Лишь только я открываю веки, как сетчатка моя испытывает определенное воздействие; в жидкости фибров и нервов, из коих составлены глаза, возбуждаются колебания, которые передаются мозгу и рисуют в нем образ действующего на наши глаза тела; благодаря этому, мы имеем идею о цвете этого тела, о его величине, его форме, его расстоянии: так объясняется механизм зрения.

Благодаря подвижности и эластичности фибров и нервов, образующих ткань кожи, достаточно приложить эту оболочку человеческого тела к другому телу, чтобы она очень быстро испытала воздействие последнего; она предупреждает мозг о наличии этого чужого тела, о его размерах, шероховатости или гладкости его, о тяжести его и других качествах его, сообщающих мозгу раздельные восприятия и порождающих в нем различные идеи; все это составляет осязание.

Благодаря тонкости оболочки, выстилающей внутренность ноздрей, она способна испытывать раздражения даже от невидимых и неосязаемых частиц, которые исходят от пахнущих тел и несут с собой мозгу ощущения, восприятия идеи: все это составляет чувство обоняния.

Рот, будучи заполнен чувствительными, подвижными, нервными сосочками, содержащими в себе соки, способные растворить соли, испытывает очень быстро воздействие со стороны проходящей через

него пищи и передает мозгу полученные им впечатления: этим механизмом объясняется вкус.

Наконец, ухо, способное, благодаря своему строению, воспринимать различные впечатления от модифицированного разным образом воздуха, сообщает мозгу колебания или ощущения, порождающие восприятие звуков и идею о звучащих телах: это составляет слух.

Таковы единственные пути, через посредство которых мы получаем ощущения, восприятия и идеи. Эти последовательные модификации нашего мозга, вызываемые предметами, воздействующими на наши чувства, становятся сами причинами и производят в душе новые модификации, которые называются мыслями, размышлениями, памятью, воображением, суждениями, желаниями, действиями и которые все имеют в основе ощущения.

Чтобы составить себе точное понятие о мысли, надо тщательно исследовать то, что происходит в человеке в присутствии какого-нибудь предмета. Допустим на минуту, что этим предметом является персик. Этот плод производит сперва на мои глаза два различных впечатления, т.-е. вызывает в них модификации, передающиеся мозгу; в связи с этим мозг испытывает два новых способа бытия или восприятия, которые я обозначаю названиями цвета и круглости; следовательно, у меня оказывается идея о круглом и цветном теле. Положив руку на этот плод, я прикасаюсь к нему органом осязания; тотчас же моя рука испытывает три новых впечатления, которые я обозначаю названиями: мягкость, свежесть, тяжесть; отсюда вытекают три новых идеи. Если я приближу этот плод к органу обоняния, то последний испытывает новую модификацию, передающую мозгу новое восприятие и новую идею, называемую запахом. Наконец, если я поднесу этот плод к моему рту, то орган вкуса испытывает особое воздействие, сопровождаемое восприятием, вызывающим во мне идею вкуса. Соединяя все эти различные впечатления или модификации моих органов, сообщенные моему мозгу, т.-е. сочетая полученные мною ощущения, восприятия и идеи, я получаю идею о некоем целом, которое я называю персиком, которым мысль моя может заниматься или о котором я имею понятие [1]).

Всего сказанного достаточно, чтобы объяснить нам зарождение ощущений, восприятий и идей и их соединение и связь в мозгу; мы видим, что эти различные модификации представляют лишь следствия последовательных колебаний, передаваемых нашими внешними органами нашему внутреннему органу, обладающего тем, что мы называем способностью мыслить, т.-е. способностью замечать в самом себе или чувствовать различные модификации или идеи, комбинировать их и разделять, расширять их или суживать, сравнивать их, возобновлять и т. д. Отсюда ясно, что мысль суть лишь восприятие модификаций, полученных нашим мозгом от внешних предметов или вызванных им в себе самом.

Действительно, наш внутренний орган не только замечает получаемые им извне модификации, но он способен еще модифицировать себя сам и рассматривать происходящие в нем изменения и движения, или свои собственные операции, что вызывает в нем новые восприятия и новые идеи. Деятельность этой способности обращаться к самому себе называется размышлением.

Отсюда ясно, что мыслить и размышлять—это значит чувствовать или замечать в самих себе впечатления, ощущения, идеи, получаемые нами от действующих на наши чувства предметов и различные изменения, производимые нашим мозгом или внутренним органом в самом себе.

Память есть способность внутреннего органа возобновлять в самом себе полученные им модификации, приходить в состояние, подобное тому, в какое его привели уже раньше вызванные в нем внешними предметами восприятия, ощущения, идеи в порядке их действия,—без нового воздействия со стороны этих предметов, и даже тогда, когда эти предметы отсутствуют. Наш внутренний орган замечает, что эти модификации те же самые, какие он испытал раньше в присутствии предметов, к которым он их относит, или которым приписывает. Память верна, если эти модификации те же самые; она не верна, если они отличаются от тех, что раньше испытал наш орган.

Воображение—это способность мозга создавать себе новые восприятия по образу тех, которые он получил, благодаря воздействию внешних предметов на органы чувств. Наш мозг в этом случае лишь комбинирует полученные им раньше идеи, которые он вспоминает, чтобы составить из них известное целое или сумму модификаций, которой он не воспринимал, хотя он знает отдельные идеи или части, из коих он составляет эту идеальную, существующую лишь в нем самом, совокупность. Так, он составляет себе идеи о центаврах, гиппогрифах, богах и демонах и т. д. С помощью памяти наш мозг возобновляет полученные им ощущения, восприятия, идеи и представляет себе предметы, которые когда-то реально воздействовали на его органы; с помощью же воображения он комбинирует эти модификации, чтоб создать из них предметы или целые, которые никогда не воздействовали на его органы, хотя он знает элементы или идеи, из коих он их составляет. Так, люди, комбинируя ряд идей, заимствованных ими у самих себя,—как, например, идеи справедливости, мудрости, доброты, разума и т. д.,—образовали, при содействии воображения, некое идеальное целое, названное ими божеством.

Суждением назвали ту способность, которою обладает мозг, чтобы сравнивать между собою полученные им модификации или идеи, или которую он может пробудить в себе, чтобы вскрыть их отношения или действия.

Воля, это модификация нашего мозга, благодаря которой он оказывается способным к действию, т.-е. способным двигать органы своего тела так, чтобы добывать себе то, что модифицирует его соответственным его бытию способом, или же устранять то, что вредит ему. Хотеть—это быть расположенным к действию. Внешние предметы или внутренние идеи, порождающие это расположение в нашем мозгу, называются мотивами, ибо они являются движущими пружинами, побуждающими его действовать, т.-е. привести в движение органы тела. Поэтому произвольными движениями являются движения тела, вызванные модификациями мозга. Вид плода модифицирует мой мозг, побуждая его привести в движение мою руку, чтоб достать увиденный мною плод и поднести его ко рту.

Все модификации, испытываемые внутренним органом или мозгом; все ощущения, восприятия или идеи, которые он получает от

[1]) Все сказанное доказывает, что мысль имеет начало, продолжительность, конец, или же, что она рождается, существует известное время и разлагается, как все прочие модусы материи; подобно последним, мысль возбуждается, детерминируется, растет, делится, складывается, упрощается и т. д. Но если душа, или мыслящее начало, неделима, то как она может мыслить последовательно, делить, абстрагировать, комбинировать, расширять свои идеи, удерживать их и терять, помнить и забывать? Как перестает она мыслить? Если формы кажутся неделимыми в материи, то лишь при абстрактном рассмотрении их, на манер геометров; но эта неделимость форм не существует в природе, где нет совершенно правильных форм или атомов. Отсюда следует заключить, что формы материи не менее неделимы, чем мысль.

действующих на его чувства предметов или которые он возобновляет в самом себе, полезны или вредны нашему обычному или случайному способу бытия, предрасполагая внутренний орган к действию: он поступает так в силу своей собственной энергии, которая не одна и та же во всех существах человеческого рода и которая зависит от их темпераментов. Отсюда вытекают более или менее сильные страсти, которые являются движением воли, определяемой действующими на нас предметами в сложной зависимости от сходства или несходства между ними и нашим способом бытия и силой нашего темперамента. Ясно таким образом, что страсти—это способы бытия или модификации внутреннего органа, притягиваемого или отталкиваемого предметами и, следовательно, подчиненного, на свой лад, физическим законам притяжения и отталкивания.

Способность нашего внутреннего органа воспринимать или быть модифицируемым, как внешними предметами, так и самим собой, называется иногда пониманием (entendement).

Разумом (intelligence) назвали совокупность различных способностей мозга. Умом (raison) называют некоторый определенный способ проявления им своих способностей. Остроумием, мудростью, добротой, благоразумием, добродетелью и т. д. называют постоянные или временные расположения или модификации внутреннего органа, побуждающие людей к действиям.

Одним словом, как мы скоро будем иметь случай доказать, все умственные способности, т.-е. все предписываемые душе способы действия, сводятся к модификациям, к качествам, к способам бытия, к изменениям, производимым движением в мозгу, являющимся в нас видимым седалищем способности чувствовать и принципом всех наших действий. Эти модификации зависят от действующих на наши чувства предметов, передающих свои импульсы мозгу, или же не от идей, которые эти предметы порождают в мозгу и которые он способен вопроизводить; мозг в этом случае приходит сам в движение, воздействует на самого себя, приводя в движение органы, которые объединяются в нем или которые являются скорее расширением его собственной субстанции. Так, скрытые движения внутреннего органа становятся видимыми наружу через посредство видимых знаков. Мозг, испытав модификацию, называемую нами страхом, создает дрожание в членах и вызывает бледность на лице. Этот мозг, испытав чувство боли, вызывает слезы на глазах, хотя бы никакой предмет не действовал на него; достаточно представляемой им себе ярко идеи, чтобы вызвать очень энергичные модификации, воздействующие явно на весь организм.

Во всем этом мы видим лишь одну и ту жу субстанцию, действующую разно в своих различных частях. Если скажут, что этого механизма недостаточно для объяснения принципа движений или способностей нашей души, то мы скажем, что то же самое относится ко всем телам природы, в которых наипростейшие движения, ординарнейшие явления, обычнейшие способы действия представляют загадочные тайны, первых принципов которых мы никогда не познаем. Действительно, можем ли мы надеяться познать когда-нибудь истинный принцип тяжести, в силу которой падает камень? Знаем ли мы механизм, производящий протяжение в одних субстанциях, а отталкивание в других? В состоянии ли мы объяснить передачу движения от одного тела к другому? Сверх того, исчезнут ли теоретические трудности, связанные с вопросом о способе действия души, если мы сделаем из нее некое духовное существо, о котором мы не имеем ни малейшего представления и которому, следовательно, не может удовлетворить ни одно из наших понятий о нем. Поэтому удовольствуемся знанием, что душа движется и что она модифицируется воздействующими на нее материальными причинами. Мы вправе заключить отсюда, что все ее операции и способности доказывают материальность ее.

ГЛАВА IX.

О разнообразии умственных способностей; они, как и нравственные качества, зависят от физических причин.—Естественные принципы общежития (sociabilité), нравственности и политики.

Природа вынуждена разнообразить все свои творения; различные по своей сущности элементарные вещества должны образовать существа, различающиеся своими сочетаниями и своими свойствами, своими способами бытия и действия. В природе нет и не может быть двух, математически строго тождественных, существ и сочетаний, ибо, так как место, обстоятельства, отношения, пропорции, модификации никогда не бывают в точности подобными, то вытекающие из них существа никогда не могут представлять совершенного подобия, и их способы действия должны различаться в чем-нибудь. Даже если мы усматриваем у них величайшее сходство [1]).

Благодаря этому, подтверждаемому со всех сторон принципу, нет двух людей, которые обладали бы одними и теми же чертами, которые чувствовали бы и мыслили бы одинаковым образом, которые одинаково глядели бы на вещи, которые имели бы одинаковые идеи и, следовательно, поступали тождественным образом. Внешние и внутренние органы людей представляют, конечно, известные аналогии, обладают некоторым сходством и соответствием, благодаря чему, они grossu modu испытывают одинаковые воздействия от известных причин; но в подробностях между ними существуют бесконечные различия. Человеческие души можно сравнить с музыкальными инструментами, струны которых, различные сами по себе или по веществам, из которых они сделаны, сверх того еще настроены на различные тона: под влиянием одного и того же воздействия каждая струна издает свойственный ей звук, т.-е. звук, зависящий от ее состава, ее натяжения, толщины, от того временного состояния, в которое ее приводит окружающий воздух и т. д. Это-то и порождает столь разнообразное зрелище духовного мира; отсюда столь поразительное разнообразие умов, способностей, страстей, энергий, вкусов, воображений, идей, взглядов у людей; это разнообразие столь же велико, как различие темпераментов или физиономий; из этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодействие, образующее жизнь духовного мира; из этого разногласия получается гармония, сохраняющая человеческий род.

Различие между отдельными индивидами порождает среди них неравенство, которое является опорой общества. Если бы все люди были одинаковы и в физическом и в духовном отношениях, то они не нуждались бы друг в друге: благодаря же разнообразию их способностей и вызываемому этим неравенству, люди оказываются необходимыми друг другу; без этого они жили бы изолированным обра-

[1]) См. сказанное в конце VI главы.

зом. Ясно таким образом, что это неравенство, на которое мы часто напрасно жалуемся, и невозможность достигнуть благополучия в одиночку являются счастливым обстоятельством, заставляя нас ассоциироваться, зависеть от наших ближних, добиваться их помощи, склонять их на свою сторону, привлекать их к себе, чтобы устранить общими усилиями то, что могло бы нарушить гармонию нашего организма. Благодаря различию людей и их неравенству, слабый вынужден прибегать к защите сильного; оно же заставляет последнего прибегать к знаниям, талантам, мастерству более слабого, если он их считает полезным для самого себя. Благодаря этому естественному неравенству, народы отличают оказывающих им услуги граждан, воздавая почести и вознаграждая лиц, знания, деятельность и доблесть которых создают обществу реальные или воображаемые выгоды, удовольствия, всякого рода приятные ощущения; благодаря ему, гений приобретает влияние на людей и заставляет целые народы признавать свою силу. Таким образом различие и неравенство физических и интеллектуальных способностей делают человека необходимым человеку, делают его общежительным (sociable) и доказывают ему неопровержимым образом необходимость нравственности.

В зависимости от различных своих способностей, люди делятся на различные классы по разнообразию производимых ими действий и по различию наблюдаемых у них качеств, которые вытекают из индивидуальных особенностей их душ или из особенных модификаций их мозга. Так ум, чувственность, воображение, таланты и пр. являются источником различий между людьми; так возникают различия между людьми добрыми и злыми, добродетельными и порочными, учеными и невеждами, рассудительными и нерассудительными и т. д.

Если мы станем анализировать различные способности, приписываемые душе, то мы увидим, что они, подобно физическим способностям, зависят от физических причин, которые не трудно выяснить. Мы найдем, что силы души те же, что и силы тела, и зависят всегда от организации последнего, от его особенных свойств, от испытываемых им постоянных или временных модификаций, одним словом, от темперамента.

Темпераментом человека называется обычное состояние, в котором находятся жидкие и твердые составные части его тела. Темпераменты изменяются в зависимости от элементов или веществ, преобладающих в каждом индивиде и от различных сочетаний и модификаций этих разнообразных самих по себе веществ в его организме. Так, у одних преобладает кровь, у других желчь, у иных флегма и т. д.

Мы обязаны своим темпераментом природе, т.-е. нашим родителям, а также причинам, которые модифицировали нас непрерывно с первого момента нашего существования. В утробе матери каждый из нас почерпал вещества, которые будут всю жизнь влиять потом на его умственные способности, на его энергию, его страсти, поведение. Принимаемая нами пища, качество воздуха, которым мы дышим, климат, в котором мы живем, полученное нами воспитание, внушаемые нам идеи и взгляды модифицируют этот темперамент; и, так как эти обстоятельства никогда не могут быть одинаковыми у двух людей, то нет ничего удивительного, что между людьми существует такое разнообразие или же что существует столько различных темпераментов, сколько имеется различных индивидов.

Таким образом, хотя среди людей наблюдается некоторое общее сходство, но они отличаются друг от друга существенным образом как тканью и строением своих фибров и нервов, так и качеством и количеством веществ, приводящих эти фибры в движение. Человек, уже отличающийся от другого человека структурой и расположением своих фибров, станет еще более отличным от него, если он будет принимать здоровую пищу, пить вино, заниматься физическими упражнениями, в то время как другой будет пить лишь воду и принимать недостаточную пищу; последний должен будет ослабеть и зачахнуть.

Все эти причины влияют необходимым образом на ум, на страсти, одним словом, на то, что называют интеллектуальными способностями. Так, мы видим, что сангвинический человек обыкновенно остроумен, вспыльчив, сластолюбив, предприимчив, меж тем как флегматический человек обнаруживает тугость понимания и тупость чувств, обладает слабым воображением, слабодушием и не способен сильно хотеть.

Если бы, отбросивши предрассудки, считались с указаниями опыта, то медицина дала бы нравственности ключ к человеческому сердцу и, излечивая тело, могла бы иногда излечивать дух. Делая же из нашей души духовную субстанцию, довольствуются тем, что приписывают ей духовные лекарства, которые нисколько не влияют на темперамент или только вредят ему. Догмат о духовности души превратил нравственность в какую-то проблематическую науку, не раскрывающую перед нами тех настоящих средств, которыми можно действовать на людей. Если бы, руководствуясь опытом, мы знали те элементы, которые лежат на основе темперамента какого-нибудь человека, или большинства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, что им нужно, знали бы те законы, которые им необходимы, учреждения, которые им полезны. Одним словом, мораль и политика могли бы извлечь из материализма выгоды, которые никогда им не доставит учение о духовности души и о которых оно не позволяет даже мечтать. Человек всегда будет загадкой для тех, кто будет упорно желать видеть его через очки теологических предрассудков или кто будет приписывать его действия принципу, о котором он никогда не сможет иметь представления. Поэтому, желая познать человека, будем пытаться открыть вещества, которые входят в его организм и составляют его темперамент; эти открытия помогут нам угадать природу и качество его страстей и наклонностей и предвидеть его поведение при известных обстоятельствах; они укажут нам средства, необходимые для исправления недостатков порочной организации или темперамента, вредно как обществу, так и самому обладателю его.

Действительно, нет сомнения, что можно исправлять, изменять, модифицировать темперамент человека физическими причинами, подобными тем, которые его составляют. Каждый из нас может сделать себе некоторым образом темперамент; человек сангвинического темперамента, принимая менее сочную пищу или принимая ее в меньшем количестве, воздерживаясь от крепких напитков и т. д., может исправить природу, качество и количество движений преобладающей в нем жидкости. Человек желчного или меланхолического темперамента может, с помощью некоторых средств, уменьшить массу этой преобладающей жидкости и, посредством упражнений, развлечений, веселости, вытекающих из движения, исправить недостатки своего темперамента. Европеец, переселившись в Индию, станет мало-по-малу совсем новым человеком по настроению, по идеям, по темпераменту и характеру.

Хотя до сих пор было сделано мало опытов, чтобы распознать принцип, образующий темперамент людей, но для практического применения их имеется уже достаточно. Повидимому, огненное начало,

которое химики назвали флогистоном или воспламеняющимся веществом, является у человека источником большой живости и энергии; оно придает больше силы, подвижности, активности его фибрам, больше напряжения его нервам, больше быстроты его жидкостям. Из этих материальных причин вытекают обычно наклонности или способности, называемые нами способностью чувствовать, умом, воображением, желаниями, гением, живостью и т. д., придающие особый тон страстям, желаниям, моральным поступкам людей. В этом смысле довольно удачно пользуются выражениями жар души, пылкое воображение, искра гения [1]).

Именно этот огонь, имеющийся в разных дозах у людей, сообщает им движение, активность, животную теплоту и делает их, так сказать, более или менее живыми. Этот, столь подвижный и тонкий, огонь легко рассеивается; в этом случае он должен быть восстановлен с помощью пищи, которая содержит его и которая, благодаря этому, способна возобновить работу нашей животной машины, согреть мозг, сообщить ему активность, необходимую для выполнения так называемых интеллектуальных функций. Этот содержащийся в вине и крепких напитках огонь придает самым флегматичным людям живость, на которую без него они были бы неспособны, и побуждает даже трусов к сражению. Изобилие у нас этого огня при известных болезнях порождает бред, а чрезмерный недостаток его при других болезнях вызывает у нас упадок сил. Наконец, этот огонь уменьшается в старости и совершенно исчезает со смертью [2]).

Если мы рассмотрим, согласно нашим принципам, интеллектуальные способности или моральные качества людей, то мы увидим, что они зависят от материальных причин, влияющих более или менее длительным и заметным образом на их организацию. Но откуда происходит эта организация, как не от родителей, от которых мы получаем элементы ее, неизбежно аналогичные их собственной организации? Откуда получается большее или меньшее количество огненного вещества или животворной теплоты, определяющей наши умственные качества? Источником ее является мать, носившая нас в своей утробе, сообщившая нам частицу огня, которым она была сама одушевлена и который, вместе с ее кровью, циркулировал в ее жилах. Источником ее является пища, которой мы кормились, климат, в котором мы живем, воздух, который нас окружает. Все эти причины влияют на жидкие и твердые элементы нашего организма и определяют наши естественные склонности. Исследуя эти склонности, от которых зависят наши способности, мы найдем всегда, что они телесны и материальны.

Первая из этих склонностей—это физическая чувствительность (sensibilité), из которой, как мы увидим, вытекают все наши другие интеллектуальные или моральные качества. Чувствовать (sentir), как было сказано, это значит,—испытывать воздействие и иметь сознание о происходящих в нас изменениях. Таким образом обладать чувствительностью, это значит—быть устроенным таким образом, что-

[1]) Я склонен думать, что то, что врачи называют нервной жидкостью, или то подвижное вещество, которое предупреждает так быстро мозг о всем происходящем в нас, есть не что иное, как электрическая материя; различие в ее дозе или пропорции является одной из главных причин разнообразия людей и их способностей.

[2]) Если мы захотим отнестись добросовестно к фактам, то мы найдем, что принципом жизни является теплота. Благодаря теплоте, существа переходят от бездействия к движению, от покоя к брожению, от неодушевленного состояния к жизни; доказательством этого является яйцо, из которого вылупливается, благодаря теплоте, цыпленок. Одним словом, нет произрождения (génération) без теплоты.

бы чувствовать очень быстро и очень живо производимые на нас предметами впечатления. Следовательно, чувствительная душа—это просто мозг человека, устроенный так, чтобы легко воспринимать сообщаемые ему движения. Так, мы называем чувствительным того, кого вид несчастного человека, или рассказ о какой-нибудь катастрофе, или идея о горестном зрелище трогают так сильно, что вызывают у него слезы на глазах; для нас это симптом, по которому мы заключаем о значительном нарушении хода человеческой машины. Мы говорим о человеке, в котором музыкальные звуки вызывают большое удовольствие, или на которого они вообще производят заметное действие, что у него чувствительное ухо. Наконец, о человеке, в котором красноречие, красивые художественные произведения или же все действующие на него предметы вызывают очень энергичные движения, мы говорим, что у него чувствительная душа [1]).

Ум (esprit) является следствием этой физической чувствительности Действительно, мы называем умом присущую некоторым людям способность быстро схватывать совокупность предметов и их различные взаимоотношения. Мы называем гением способность легко схватывать эту совокупность и отношения в случае обширных, полезных и трудно познаваемых предметов. Ум можно сравнить с зорким зрением, быстро замечающим вещи; гений—это зрение, схватывающее одним взглядом все пункты обширного горизонта. Здравый ум—это ум, замечающий предметы и отношения так, как они суть на деле; путаный (faux) ум — это ум, замечающий только неверные отношения, что происходит от какого-то изъяна организации. Здравый ум подобен ловкости в руке.

Так как воображение означает способность легко и быстро комбинировать идеи или образы, то оно состоит в способности легко воспроизводить и связывать вместе модификации нашего мозга или же соединять их с соответствующими предметами: в этом случае воображение удовлетворяет нас; в этом случае мы одобряем фикции, которыми оно украшает природу и истину; но мы, наоборот, порицаем его, если оно рисует нам неприятные призраки или же комбинирует идеи, которые совсем неспособны ассоциироваться между собой. Так поэзия, цель которой сделать природу более трогательной, радует нас, когда она разукрашивает свои произведения соответствующими им красотами; она создает идеальные, но приятно волнующие нас существа, и мы, в благодарность за полученное нами удовольствие, прощаем иллюзию. Отвратительные же химеры суеверия противны нам, ибо они являются продуктами больного воображения, вызывающими в нас лишь неприятные идеи.

Заблуждающееся воображение порождает фанатизм, религиозные преследования, необдуманное рвение, безумие, великие преступления. Упорядоченное воображение порождает энтузиазм к полезным вещам, страсть к добродетели, любовь к отечеству, жар дружбы,—одним словом, оно придает силу и живость всем нашим чувствам: лишены воображения обыкновенные люди, в которых флегма гасит священный огонь, являющийся в нас принципом подвижности и теплоты чувств и оживляющий все наши интеллектуальные способности. Для вели-

[1]) Мы видим, сострадание зависит от физической чувствительности, которая никогда не бывает одинаковой у всех людей. Поэтому было ошибкой сделать из сострадания источник наших представлений о морали и наших чувств к нашим ближним. Далеко не все люди чувствительны: не мало есть таких, у которых чувствительность совсем не развита. Таковы государи, ведьможи, богачи и т. д.

ких доблестей, как и для великих преступлений, необходим энтузиазм. Энтузиазм приводит наш мозг или нашу душу в состояние, сходное с опьянением; энтузиазм и опьянение вызывают в нас быстрые движения, которые люди одобряют, когда они полезны, и которые они называют сумасшествием, бредом, преступлением или бешенством, когда они вызывают известные нарушения в организме.

Ум действует здраво, судя правильно о вещах, а воображение бывает упорядочено лишь тогда, когда организм способен выполнять с точностью свои функции. В каждый момент своей жизни человек производит опыты; каждое испытываемое им ощущение является фактом, запечатлевающим в его мозгу некоторую идею, воспроизводимую потом с большей или меньшей точностью его памятью: эти факты связываются, эти идеи объединяются, и цепь их составляет опыт и науку. Знать—это значит увериться на основании повторных и произведенных точно опытов в идеях, в ощущениях, в действиях, которые какой-нибудь предмет может произвести на нас или на других. Всякая наука может основываться лишь на истине, а сама истина основывается на постоянных и верных сообщениях наших чувств. Таким образом истина—это постоянное согласие или соответствие, обнаруживаемое, с помощью опыта, нашими нормально функционирующими чувствами между познаваемыми нами предметами и приписываемыми нами им качествами. Одним словом, истина—это правильная и точная ассоциация наших идей. Но как без опыта убедиться в правильности этой ассоциации? А если не повторять этих опытов, как констатировать их? Наконец, если в наших чувствах есть какой-то изъян, то как считаться с опытом или фактами, запечатленными в нашем мозгу? Только путем многократных, повторных, разнообразных опытов можно поправить недостатки первых опытов.

Мы заблуждаемся всегда, когда наши органы, не вполне здоровые по своей природе или испорченные длительными или временными модификациями, не дают нам возможности правильно судить о вещах. Заблуждение заключается в ложной ассоциации идей, благодаря которой мы приписываем предметам качества, не имеющиеся у них. Мы заблуждаемся, когда мы предполагаем существующими вещи, которые не существуют, или когда мы ассоциируем представление о счастье с предметами, способными повредить нам непосредственно или путем отдаленных следствий, которых мы не в состоянии предвидеть.

Но как можно предвидеть действия, которых мы еще не испытали? Опять-таки при посредстве опыта. Благодаря опыту мы знаем, что аналогичные или сходные причины производят аналогичные или сходные действия. Память, напоминая нам испытанные нами уже действия, дает нам возможность судить о тех действиях, которые мы можем ожидать от тех же самых причин или от причин, находящихся в связи с теми, которые уже подействовали на нас. Отсюда мы видим, что благоразумие, предусмотрительность—это способности, имеющие своим источником опыт. Я почувствовал, что огонь вызвал в моих органах болезненное ощущение; этого опыта достаточно, чтобы заставить меня предвидеть, что огонь, приложенный к какому-нибудь из моих органов, вызовет в нем и в будущем то же самое ощущение. Я испытал, что какое-нибудь действие с моей стороны вызвало ненависть или презрение ко мне у других людей; этот опыт заставляет меня предвидеть, что всякий раз, когда я буду поступать таким же образом, меня будут ненавидеть или презирать.

Наша способность производить опыты, вспоминать и предвидеть

действия, чтобы устранить те из них, которые могут вредить нам, или доставить себе те, которые полезны для нашего самосохранения и нашего счастья—единственная цель всех наших физических и духовных действий—составляет то, что называют разумом (raison). Наши чувства, наша природа, наш темперамент могут ввести нас в заблуждение и обмануть, но опыт и размышление наставляют нас на правильный путь, показывая, что может привести нас к счастью. Отсюда ясно, что разум—это наша природа, видоизмененная, благодаря опыту, рассуждению и размышлению. Разум предполагает умеренный темперамент, здравый ум, упорядоченное воображение, знание истины, основанное на надежных опытах, наконец, благоразумие и предусмотрительность. Это доказывает, что, несмотря на постоянное утверждение, будто человек—разумное существо,—в действительности существует лишь очень немного людей, которые обладают разумом или составляющими его способностями и опытом.

Не будем удивляться этому: существует мало людей, способных делать и производить правильные опыты. Все люди при рождении приносят с собой органы, которые способны испытывать воздействия или накоплять опыты; но, вследствие недостатка ли их организации или под влиянием модифицирующих ее причин, их опыты ложны, их идеи смутны и плохо ассоциированы, их суждения ошибочны; их мозг наполняется негодными системами, которые неизбежно влияют на все их поведение и постоянно расстраивают деятельность их разума.

Как мы видели, наши чувства являются единственными орудиями, с помощью которых мы можем познать, истинны ли наши взгляды, полезно ли для нас наше поведение, выгодны ли для нас вытекающие из него действия. Но чтобы наши чувства давали нам правильные сообщения о вещах или приносили в мозг истинные идеи, они должны быть здоровы, т.-е. находиться в состоянии, необходимом для сохранения нашего существа в порядке, который обеспечил бы ему его существование и постоянное благополучие. Необходимо, чтобы наш мозг был сам здоров, т.-е. был в состоянии исполнять свои функции и упражнять свои способности; память должна изображать ему верно его прежние ощущения и идеи, так, чтобы он мог судить или предвидеть действия, на которые он может надеяться или которых он должен опасаться от предпринимаемых волей поступков. Если наши внешние или внутренние органы имеют какие-нибудь недостатки от природы или благодаря модифицирующим их причинам, то мы способны ощущать лишь несовершенным и неотчетливым образом; наши идеи ложны или ненадежны; мы судим плохо; мы находимся в иллюзии или в опьянении, которые нам мешают улавливать истинные отношения вещей. Одним словом, память изменяет нам, рассудок не работает, воображение вводит в заблуждение. Ум обманывает нас, а чувствительность наших органов, одолеваемых одновременно массой раздражений, мешает благоразумию, предусмотрительности и деятельности разума. С другой стороны, если наши органы, в силу особенности сво-го сложения, могут двигаться лишь слабо и медленно, как это бывает в случае людей флегматического темперамента, то опыты приходят поздно и часто бесполезно. Черепаха и бабочка одинаково неспособны избегнуть гибели. Глупый человек и пьяный человек одинаково не смогут достигнуть своей цели.

Но какова же цель человека в занимаемой им области бытия? Существовать и сделать свое существование счастливым. Поэтому человеку важно знать надлежащие средства к этому, пользоваться которыми для достижения ставимой им себе цели его учат благоразумие и разум. Этими средствами являются его собственные способ-

ности, его ум, таланты, его умение, его действия, определенные страстями, к которым предрасполагает его природа и которые придают больше или меньше активности его воле. Опыт и разум показывают ему также, что люди, с которыми он живет в обществе, необходимы ему; что они могут способствовать его счастью и удовольствиям и помогать ему своими способностями. Опыт показывает ему, каким образом он может использовать их для своих целей; побудить их желать и действовать в его пользу; он замечает действия, которые они одобряют, и другие, которые они порицают; он замечает, какое поведение их привлекает и какое отталкивает; он наблюдает их суждения об этом, выгодные или вредные результаты, вытекающие из различных способов бытия и действия. На основании всех этих опытов он составляет себе представления о добродетели и пороке, о справедливом и несправедливом, о добром и злом, о приличном и неприличном, о честном и бесчестном и т. д.; одним словом, он научается судить людей и их поступки и различать возникающие в них неизбежно, в зависимости от воздействующих на них причин, чувства. На неизбежном разнообразии этих причин основывается различие добра и зла, порока и добродетели; различие, которое—в отличие от мнения некоторых мыслителей—отнюдь не основывается на соглашениях между людьми, а тем менее на химерических требованиях какого-то сверхъестественного существа, но на вечных и неизменных соотношениях, которые существуют между живущими в обществе людьми и которые будут существовать до тех пор, пока будут существовать человек и общество. Таким образом *добродетель*—это все то, что поистине и постоянно полезно живущим в обществе людям, *порок*—это все то, что вредно им. Величайшие добродетели—это те, которые доставляют им величайшие и длительнейшие выгоды; величайшие пороки—это те, которые больше всего препятствуют их стремлению к счастью и которые нарушают больше всего необходимый обществу порядок. *Добродетельный* человек—это тот человек, действия которого всегда устремлены к благополучию его ближних, *порочный* человек—это тот, поведение которого ведет к несчастью тех, с кем он живет, из чего обыкновенно вытекает и его собственное несчастие. Все то, что доставляет нам самим подлинное и длительное счастие—разумно; все, что нарушает наше собственное благополучие или благополучие людей, необходимых для нашего счастия—бессмысленно или неразумно. Человек, который вредит другим—злой человек; человек, который вредит самому себе—это неблагоразумный человек, который не имеет понятия ни о разуме, ни о собственных интересах, ни об истине.

Наши *обязанности*—это средства, которые необходимы, как показывает нам опыт и разум, для достижения ставимой себе нами цели; эти обязанности являются необходимым следствием отношений, существующих между людьми, которые одинаково желают счастья и самосохранения. Когда говорят, что эти обязанности *обязывают* нас, то это означает, что, если мы не воспользуемся этими средствами, то мы не сумеем достигнуть цели, ставимой себе нашей природой. Таким образом *нравственная обязанность*—это необходимость прибегать к средствам, способным сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побудить их сделать счастливыми нас самих; наши обязанности по отношению к самим себе—это необходимость прибегать к средствам, без которых мы не смогли бы существовать, ни сделать наше существование прочно счастливым. Нравственность, как и вселенная, основывается на необходимости или на вечных отношениях вещей.

Счастье—это такой способ бытия, продолжения которого мы желаем, в котором мы хотим пребывать. Оно измеряется своей длительностью и интенсивностью. Величайшее счастье это то, которое наиболее длительно: мимолетное или мало длительное счастье называется *удовольствием*: чем оно интенсивнее, тем оно мимолетнее, потому что наши чувства способны только на известные количества движений; всякое удовольствие, превосходящее эту меру, превращается в *страдание* или в мучительный способ существования, прекращения которого мы желаем: вот почему так близки между собой удовольствие и страдание. Неумеренное удовольствие сопровождается сожалением, скукой и отвращением; кратковременное счастие превращается в длительное несчастие. На основании этого принципа можно заключить, что человек, стремящийся в каждое мгновение своей жизни к счастию, должен, если он разумен, уметь распоряжаться своими удовольствиями, отказываться от тех, которые могут превратиться в страдание и пытаться добиться для себя наиболее длительного благополучия.

Счастье не может быть одним и тем же для всех людей; одни и те же удовольствия не могут действовать одинаково на людей различной организации. Вот несомненная причина разногласий большинства моралистов насчет предметов, в которых, по их мнению, заключается счастье, а также и насчет средств добиться его. Однако счастье заключается, повидимому, вообще в длительном или временном состоянии, на которое мы соглашаемся, ибо мы находим его сообразным с нашим существом; это состояние вытекает из согласия между человеком и обстоятельствами, в которые поместила его природа; или, если угодно, счастье—это координация человека с действующими на него причинами.

Идеи людей о счастьи зависят не только от особенностей их темперамента или их организации, но еще и от усвоенных ими привычек. *Привычка*—это способ бытия, мышления и действия человека, усвоенный нашими внешними и внутренними органами, благодаря повторению одних и тех же движений, что дает возможность воспроизводить быстро и легко эти движения.

Если мы присмотримся внимательнее к фактам, то мы увидим, что почти все наше поведение, система наших поступков, наши занятия, наши связи, наши развлечения, наши манеры и наши обычаи, наша одежда, наша пища—это результаты привычки. Привычке мы обязаны легкостью, с какой работают наши умственные способности, наша мысль, рассудок, ум, разум, вкус и т. д. Привычке же обязаны большинством наших склонностей, наших желаний, мнений, предрассудков, наших ложных идей о счастье, одним словом, заблуждениями, в которые все пытается ввести нас и удержать. Привычка привязывает нас либо к пороку, либо к добродетели [1]).

Привычка так изменяет нас, что часто ее смешивают с нашей натурой; здесь, как мы скоро увидим, берут свое начало те взгляды или идеи, которые назвали *врожденными*, ибо не желали доискиваться источника их, как бы отождествления их с нашим мозгом. Как бы то ни было, мы очень цепко держимся за все вещи, к которым мы привыкли; наш дух испытывает своего рода насилие или отталкивание всякий раз, когда желают заставить его изменить ход своих

[1]) Опыт показывает нам, что решиться на первое преступление всегда труднее, чем на второе, на второе, чем на третье, и так далее. Первое действие есть начало привычки; борясь с препятствиями, мешающими нам совершить преступные действия, мы научаемся легче побеждать их. Так, часто становятся злым по привычке.

мыслей; какой-то роковой уклон часто приводит его к ним, несмотря на голос разума.

Мы можем объяснить физические и духовные явления привычки с помощью чистого механизма: несмотря на свою мнимую духовность, наша душа модифицируется совершенно подобно телу. Благодаря привычке, органы голоса приучаются быстро выражать находящиеся в мозгу идеи при посредстве некоторых движений, которые наш язык привыкает в детстве исполнять с легкостью. Когда наш язык привыкнет двигаться определенным образом, ему становится трудно двигаться иным образом; гортань с трудом выполняет движения, отличные от движений привычной нам речи. То же самое относится к нашим идеям; наш мозг, наш внутренний орган, наша душа, рано привыкшая к тому, чтобы претерпевать определенные модификации и связывать определенные идеи с определенными предметами, составившая себе связную систему истинных или ложных взглядов, испытывает болезненное ощущение, когда стараются придать новый импульс или направление ее привычным движениям. Почти так же трудно заставить нас изменить свои взгляды, как переменить язык [1]).

Вот, несомненно, причина почти непреодолимой привязанности людей к обычаям, предрассудкам, учреждениям, на бесполезность или даже опасность которых тщетно указывают разум, опыт, здравый смысл. Привычка оказывает сопротивление самым ясным доказательствам; они не имеют никакой силы против укрепившихся страстей и привычек, против самых смешных систем, против самых странных обычаев, особенно, когда с этим связана идея пользы, общего интереса, общественного блага. Вот где источник упорства, с каким люди защищают вообще свои религии, свои древние и нелепые обычаи, свои столь мало праведные законы, свои предрассудки, нелепость которых иногда сознают, не желая, однако, отделаться от них. Вот почему народы усматривают опасность в самых полезных нововведениях и сочли бы себя погибшими, если бы пытались устранить бедствия, которые они привыкли признавать необходимыми для своего спокойствия и которые, по их мнению, опасно было бы исцелить [2]).

Воспитание—это искусство заставить людей усвоить рано, т.-е. когда их органы очень гибки, привычки, взгляды и способы бытия, принятые в том обществе, где они будут жить. Первые годы нашего детства уходят на то, чтобы делать всякого рода опыты; те, кто занят нашим воспитанием, обучают нас применению этих опытов или развивают разум в нас; полученные нами от них первые импульсы обычно предопределяют нашу судьбу, наши страсти, наши представления о счастье, средства, употребляемые нами для достижения его, наши пороки и наши добродетели. Дитя на глазах своих учителей приобретает идеи, научается ассоциировать их, мыслить определенным образом, хорошо или дурно судить. Ему показывают различные предметы, которые его приучают любить или ненавидеть, желать или избегать, уважать или презирать. Так, взгляды передаются детям от отцов, матерей, кормилиц, учителей; так дух мало-по-малу заполняется истинами или заблуждениями, согласно которым каждый регулирует свое поведение, делающее его счастливым или несчастным, добродетельным или порочным, уважаемым или ненавидимым, довольным или недовольным своею судьбой, в зависимости от предметов, на которые направили его страсти и энергию его духа, т.-е. которые ему указали его интерес или его счастье; благодаря этому он любит и ищет то, что ему сказали надо любить и искать; он имеет вкусы, склонности, фантазии, которые он старается в течение всей своей жизни удовлетворить, в зависимости от активности, полученной им от природы и развитой в нем воспитанием.

Политика должна была бы быть искусством регулировать страсти людей и направлять их на благо общества; но она очень часто является лишь искусством разжигать страсти членов общества для их взаимоистребления и для разрушения той общественной организации, которая должна была бы дать им счастье. Обычно она так плоха потому, что она не основывается вовсе на природе, на опыте, на всеобщей пользе, а на страстях, капризах и индивидуальной выгоде тех, кто управляет обществом.

Чтобы быть полезной, политика должна основывать свои принципы на природе, т.-е. она должна сообразоваться с сущностью и с целью общества. Но так как общество представляет лишь некое целое, образованное множеством семейств и индивидов, объединившихся для того, чтобы с большей легкостью удовлетворять свои взаимные потребности и обеспечить себе взаимопомощь и особенно возможность спокойно пользоваться благами, которые могут доставить природа и человеческий труд, то ясно, что политика, желающая способствовать сохранению общества, должна считаться с задачами общежития, облегчить средства достижения их, устранить все находящиеся на пути к этому препятствия.

Люди, объединившись друг с другом для жизни в обществе, заключили формальным или молчаливым образом договор, в силу которого они обязались оказывать друг другу услуги и не вредить друг другу. Но так как человек, по своей природе, склонен искать в любой момент свое благополучие в удовлетворении своих мимолетных страстей или капризов, не считаясь совершенно со своими ближними, то необходима была сила, которая удерживала бы его в рамках долга, заставляла бы его сообразоваться с ним и напоминала бы ему об обязательствах, которые, под влиянием страсти, он мог часто забывать. Эта сила—закон. Закон есть сумма воль общества, объединившихся, чтобы определить поведение членов его или направить их действия к единой цели общежития.

Но так как общество—особенно многочисленное—может собираться лишь с трудом, так как в этом случае выражение его воли сопровождалось бы беспорядками, то оно вынуждено выбирать граждан, к которым оно питает доверие. Оно делает их толмачами своей воли и вручает им власть, необходимую для того, чтобы заставить выполнять ее. Таково происхождение всякого правительства, являющегося законным лишь тогда, когда оно основывается на добровольном согласии общества, без которого оно является лишь насилием, узурпацией, разбоем. Те, кто управляют, называются государями, вождями, законодателями; в зависимости от формы, приданной обществом своему правительству, эти государи называются монархами, магистрами, представителями и т. д. Так как правительство заимствует свою власть от общества и установлено лишь для блага его, то ясно, что общество может всегда, когда этого требуют его интересы, убрать эту власть, изменить форму своего правительства, расширить или ограничить власть, врученную им своим вождям, по отношению к которым оно сохраняет всегда верховный

[1]) Гоббс говорит, что „каждому телесному существу, которое часто приводят в движение одним и тем же способом, свойственно приобретать большую склонность или большую легкость воспроизводить одни и те же движения". Это и составляет привычку как в духовной области, так и в физической. См. Hobbes, Essai sur la nature humaine.

[2]) Assidnitabe quobidiana et consuetudine oculorum asreescunt animi, neque admirantur neque requirunt rationes earum rerum quas vident. Cicero, de Natura Deorum, lib. II, cap. 2.

авторитет, в силу ненарушимого закона природы, требующего, чтобы часть была подчинена целому.

Таким образом государи являются слугами общества, его толмачами, хранителями большей или меньшей доли его власти, а не его абсолютными господами и не собственниками народов. В силу формального или молчаливого договора, государи эти обязуются заботиться о сохранении и благополучии общества; только на этих условиях общество согласно подчиняться им. Ни одно общество не могло и не хотело вручить безвозвратно своим вождям право вредить ему; такого рода передача полномочий была бы аннулирована природой, согласно законам которой всякое общество, равно как и всякий человек, стремится к самосохранению и не может согласиться быть постоянно несчастным.

Чтобы законы были справедливыми, они должны иметь своей неизменной целью всеобщие интересы общества, т.-е. обеспечение наибольшему числу граждан тех выгод, ради которых они объединились. Эти выгоды—свобода, собственность, безопасность. Свобода—это способность делать ради своего собственного счастья все то, что не вредит счастью других членов общества; при объединении в общество каждый индивид отказался от некоторой доли своей собственной свободы, которая могла бы вредить свободе других индивидов. Злоупотребление свободой, вредное обществу, называется распущенностью (licence). Собственность—это возможность пользоваться выгодами, доставляемыми каждому члену общества его трудом и умением. Безопасность—это уверенность каждого члена общества в том, что он сможет пользоваться своим добром и своей особой под охраной законов до тех пор, пока он будет верно блюсти принятые им по отношению к обществу обязательства.

Правосудие (justice) обеспечивает всем членам общества обладание вышеуказанными выгодами или правами. Отсюда ясно, что без правосудия общество не в состоянии доставить никому никакого счастья. Правосудие называется также равносправедливостью (equité), потому что, при помощи законов, которым все должны подчиняться, оно уравнивает всех членов общества, т.-е. мешает им использовать друг против друга полученные ими от природы или созданные в них воспитанием неравенства.

Права—это все то, что справедливые законы общества позволяют делать членам его для их собственного счастья. Права эти, очевидно, ограничены неизменной целью общежития; общество имеет, со своей стороны, права по отношению ко всем своим членам, в силу доставляемых им выгод, а все члены его вправе требовать от него или от представителей его тех выгод, ради которых они живут в обществе, отказываясь от части своей собственной свободы. Общество, вожди и законы которого не доставляют никаких благ членам его, теряет, очевидно, свои права на них; вожди, вредящие обществу, теряют права управлять им. Нет отечества без благополучия; общество без справедливости содержит в себе лишь врагов; угнетенное общество заключает лишь угнетателей и рабов; рабы не могут быть гражданами; только свобода, собственность, безопасность делают отечество дорогим и только любовь к отечеству создает гражданина [1]).

Благодаря незнанию этих истин или неумению применять их, народы стали несчастными, превратившись в жалкое скопище рабов, отделенных друг от друга и оторванных от общества, не доставлявшего им никакого блага. Благодаря неблагоразумию этих народов или

[1]) Servorum nulla est unquam civitas,—сказал один древний поэт.

же хитрости и насилию тех, кому они вручили власть и право—составлять законы и приводить их в исполнение, государи стали абсолютно господами общества. Эти государи, не зная истинного источника своей власти, вообразили себе, будто они имеют ее от неба, перед которым они и ответственны за свои действия, и будто они ничем не обязаны обществу, одним словом, будто они—боги на земле, которые управляют с тем же произволом, с каким боги управляют на небесах. С тех пор политика совершенно развратилась и стала сплошным разбоем. Народы были порабощены и не осмелились сопротивляться желаниям своих вождей; законы стали лишь выражением прихотей последних, общественный интерес был принесен в жертву их личным интересам; сила общества обратилась против него самого; члены его покинули его и присоединились к угнетателям его, которые, для обольщения их, разрешили им вредить ему и пользоваться его бедствиями. Так, свобода, правосудие, безопасность, добродетель были изгнаны из среды народов. Политика стала искусством пользоваться силами и достоянием народов, чтобы подчинить их и использовать различие интересов подданных в целях господства над ними; а под конец бессмысленная машинальная привычка заставила народы любить свои цепи.

Всякий человек, которому нечего бояться, становится вскоре злым; тот, кто думает, что он ни в ком не нуждается, начинает полагать, что он может спокойно предаваться всем склонностям своего сердца. Таким образом страх, это—единственное препятствие, которое общество может противопоставить страстям своих вождей: без этого последние развратятся сами и не замедлят воспользоваться теми средствами, которые дает в их руки общество, чтобы найти себе сообщников в своих неправедных делах. Чтобы предупредить эти злоупотребления, общество должно ограничить власть, врученную им его вождям, и оставить за собой такую долю власти, которая помешала бы им вредить ему; оно должно благоразумно разделить силы, которые, объединившись, безусловно раздавят его. Впрочем, самое простое размышление должно показать ему, что бремя правления слишком тяжело для одного человека, который не сумеет справиться с многообразием своих обязанностей и который, благодаря размеру своей власти, непременно станет злым. Наконец, опыт всех веков должен убедить народы, что человек склонен злоупотреблять властью, что государь должен подчиняться закону, а не закон государю.

Правительство влияет неизбежно как на физическую, так и на духовную сторону народов. Своей заботливостью оно вызывает к жизни трудолюбие, деятельность, обилие, здоровье; по точно так же его невнимательное и несправедливое отношение влекут за собой лень, апатию, голод, заразные болезни, пороки и преступления. От него зависит вызвать к жизни или задушить таланты, трудолюбие, добродетель. Действительно, правительство, раздатчик милостей, богатств, наград и наказаний, одним словом, хозяин тех вещей, в которых люди приучились с детства видеть свое счастье, должно приобрести неизбежным образом влияние на их поведение; оно разжигает их страсти; оно направляет их в угодную ему сторону; оно модифицирует их; оно определяет их нравы; иначе говоря (и это относится как к народам, так и к отдельным индивидам), их поведение, т.-е. общую систему желаний и действий, необходимо вытекающих из их воспитания, из их образа правления, их законов, их религиозных взглядов, их разумных или бессмысленных учреждений. Одним словом, нравы—это обычаи людей: эти нравы хороши, когда из них получается настоящее и прочное счастье для общества; несмотря на санкцию законов,

обычая, религии, общественного мнения и примера, эти нравы могут быть отвратительны в глазах разума, если они имеют в пользу себя лишь голос привычки и предрассудков, редко считающихся с опытом и здравым смыслом. Нет такого гнусного поступка, которому не сочувствует или не сочувствовал когда-нибудь какой-нибудь народ. Отцеубийство, принесение в жертву детей, воровство, узурпация, жестокость, нетерпимость, проституция считались у некоторых народов вещами дозволенными и даже похвальными. Особенно характерна в этом отношении религия, освятившая бессмысленнейшие и отвратительнейшие обычаи.

Так как страсти—это притягательные и отталкивательные движения, которыми снабдила человека природа по отношению к предметам, кажущимся ему полезными или вредными, то они могут быть сдерживаемы законами и направляемы правительством, имеющим в своих руках средства для руководства ими. Все страсти сводятся всегда к тому, чтобы любить или ненавидеть, искать или избегать, желать или бояться. Эти необходимые для сохранения человека страсти являются следствием его организма, проявляясь, в зависимости от темперамента, с большей или меньшей энергией; воспитание или привычка развивают и модифицируют их, а правительство направляет их в сторону предметов, которых, с его точки зрения, должны желать подчиненные ему граждане. Различие названий страстей зависит от различных, вызывающих их, предметов, как, например, наслаждения, общественное положение, богатство, честолюбие, тщеславие, скупость. Если мы станем внимательно изучать господствующие у народов страсти, то мы обыкновенно найдем источник их в правительствах. Инициатива вождей делает народы то воинственными, то суеверными; то жаждущими славы, то жадными до денег; то благоразумными, то нерассудительными; если бы государи, желая просветить и осчастливить свои государства, употребили на это десятую долю тех расходов и забот, которые они тратят, чтобы отупить, обмануть и обезд лить их, то подданные их были бы вскоре так же просвещенны и счастливы, как теперь они невежественны и несчастны.

Итак, пусть откажутся от нелепой мысли уничтожить страсти в человеческом сердце; пусть направят их на предметы, полезные для людей. Пусть воспитание, правительство и законы приучат людей сдерживать страсти в границах, указываемых опытом и разумом. Пусть честолюбивый человек, оказывающий пользу отечеству, получит почести, титулы, чины и власть; пусть человеку, любящему богатства, дадут их, если он окажется необходимым для своих сограждан; пусть ободряют похвалами того, кто любит славу; одним словом, пусть будет дана свобода человеческим страстям, если из них получаются реальные и длительные выгоды для общества. Пусть воспитание и политика возбуждают и благоприятствуют лишь тем страстям, которые полезны человеческому роду и необходимы его сохранению. Человеческие страсти так опасны лишь потому, что все, как будто нарочно, делается так, чтобы дурно направлять их.

Природа не создает их ни добрыми, ни злыми [1]): она делает из них более или менее активные, подвижные, энергичные машины; она дает им тела, органы, темпераменты, необходимыми средствами которых являются их более или менее бурные страсти и желания; страсти эти имеют всегда своей целью счастье; следовательно, они законны и естественны и могут быть названы хорошими или дурными,

[1]) Сенека правильно сказал: erras si existimes vitia nobiseum nasci; supervenerunt, ingesta sunt. См. Senec. Epist. 91, 95, 124.

только в зависимости от их влияния на людей. Природа дает нам ноги, способные поддержать нас и необходимые, чтобы переносить нас с одного места на другое; заботы наших воспитателей укрепляют их, приучают нас пользоваться ими, делая из них хорошее или дурное употребление. Полученная мною от природы рука ни хороша, ни дурна: она необходима в массе случаев в жизни; но пользоваться этой рукой становится преступным, если я приобрел привычку красть или убивать, чтобы добывать себе деньги, которые меня приучили с детства желать, которые необходимы мне в обществе, где я живу, но которые я мог бы добыть собственным трудом, не вредя своим ближним.

Сердце человека подобно участку земли, который, в зависимости от его природы, может производить или терния, или полезные злаки, ядовитые растения или приятные плоды, смотря по брошенным в землю семенам и по обработке почвы. В детстве нам показывают предметы, которые мы должны ценить или презирать, искать или избегать, любить или ненавидеть. Наши родители и учителя делают нас добрыми или злыми, рассудительными или безрассудными, трудолюбивыми или бездельниками, серьезными или легкомысленными. Их примеры и разговоры своим воздействием видоизменяют нас на всю жизнь, показывая нам, каких вещей мы должны желать или бояться; мы желаем их и пытаемся их получить, смотря по энергии нашего темперамента, определяющего всегда силу наших страстей. Таким образом именно воспитание, внушая нам истинные или ложные взгляды или идеи, дает нам первоначальные импульсы, согласно которым мы действуем с пользой или вредом для нас самих и для других. Рождаясь, мы приносим с собой лишь потребность самосохранения и стремление сделать наше существование счастливым; обучение, пример, беседы, светские обычаи дают нам действительные или мнимые средства к этому; привычка приучает нас легко пользоваться ими и крепко привязывает нас к тем, кого мы считаем способными помочь нам овладеть предметами, которые мы научились желать. Когда наше воспитание, даваемые нам примеры, доставляемые нам средства одобряются разумом, то все способствует тому, чтоб сделать нас добродетельными: привычка укрепляет в нас эти расположения, и мы становимся полезными членами общества, с которым— как доказывает все—неразрывно связано наше длительное благополучие. Если же, наоборот, наше воспитание, окружающие учреждения, даваемые нам примеры, внушаемые нам с детства взгляды заставляют нас считать добродетель бесполезной или вредной, а порок полезным и благоприятным нашему собственному счастью, то мы становимся порочными и считаем полезным для себя вредить нашим сочленам по обществу: мы бываем тогда увлечены общим пороком; мы отказываемся от этой добродетели, предстающей перед нами в виде пустого идола, и мы не хотим вовсе следовать за ней или поклоняться ей, если она требует, чтобы ей были принесены в жертву вещи, на которые нас всегда заставляли смотреть, как на самые дорогие и желательные.

Чтобы человек был добродетельным, необходимо, чтоб он находил интерес в этом и видел выгоды в добродетельном поведении. Для этого необходимо, чтобы воспитание внушило ему рациональные идеи, чтобы общественное мнение и пример заставили его видеть в добродетели достойнейшую уважения вещь; чтоб ее спутником была всегда слава; чтобы порок и преступление были всегда презираемы и наказываемы. Но таково ли положение добродетели у нас? Дает ли нам воспитание правильные идеи о счастьи, верные понятия о доб-

родетели, благоприятные для окружающих нас склонности? В самом ли деле способны наблюдаемые нами примеры заставить нас уважать пристойность, честность, добросовестность, справедливость, чистоту нравов, супружескую верность, аккуратность в исполнении своих обязанностей? Делает ли нас более социальными, мирными, человечными религия, претендующая на монополию в руководстве нашими нравами? Вознаграждают ли руководители общества тех, кто служат на пользу отечеству, и наказывают ли они тех, кто грабят его, дробят, разоряют? Твердой ли рукой держит правосудие свои весы, относясь одинаково ко всем гражданам? Не оказывают ли законы содействия сильному против слабого, богачу против бедняка, счастливцу против несчастного? Наконец, не видим ли мы часто, что преступление пользуется успехом и нагло торжествует над поправными заслугой и добродетелью? В таких обществах добродетель—удел лишь немногих мирных граждан, знающих цену ее и наслаждающихся ею тайком; она неприятна всем прочим, видящим в ней лишь врага своего собственного счастья или докучного цензора своего поведения.

Если человек, вынужден своей природой желать своего счастья, то он вынужден также любить средства к этому; было бы бесполезно и, может быть, несправедливо требовать от человека быть добродетельным, если он может стать таковым лишь ценой своего счастья. Раз порок делает его счастливым, он должен полюбить порок; раз тунеядство или преступление находятся в почете и получают награды, то что за смысл для него интересоваться счастьем своих ближних или сдерживать свои бурные страсти? Наконец, раз ум его заполнен ложными идеями и пагубными взглядами, то его поведение неизбежно станет сплошной цепью распутных и развратных действий.

Говорят, будто дикари, чтобы сделать плоскими головы своих детей, сжимают их между двумя досками, мешая им таким образом принять предназначенную им природой форму. Почти то же самое можно сказать о всех наших учреждениях; они обычно идут наперекор природе, стремясь стеснить, отвратить в другую сторону и ослабить исходящие от нее импульсы, чтобы заменить их другими, являющимися источником наших бедствий. Народы почти повсюду находятся в неведении истины, их питают ложью или всякого рода чудесными россказнями; с ними обращаются, точно с детьми, которых неразумные няни стягивают разными повязками, мешающими им свободно пользоваться своими членами, не дающими им расти и пагубными для их здоровья.

Религиозные воззрения людей имеют своей задачей показывать им высшее счастье в иллюзиях, ради которых и разжигают их страсти; а так как призраки эти не могут иметь одинакового вида для всех тех, кто созерцает их, то люди постоянно спорят между собой по их поводу, ненавидят друг друга, преследуют друг друга и часто думают, что поступают хорошо, совершая преступления во имя своих взглядов. Так, религия с детства отравляет людей тщеславием, фанатизмом, неистовством, если у них пылкое воображение; если же, наоборот, они флегматичны и вялы, то она делает из них людей, бесполезных обществу; если они энергичны, то она делает из них безумцев, часто столь же жестоких по отношению к самим себе, как и тягостных другим людям.

Общественное мнение постоянно внушает нам ложные идеи о славе и о чести; оно учит нас уважать не только малостоящие вещи, но и вредные действия: пример побуждает подражать им, предрассудки освящают их, а привычка мешает смотреть на них с тем отвращением и презрением, которых они заслуживают. Действительно, привычка примиряет нашу мысль с самыми нелепыми идеями, самыми дикими обычаями, самыми дурными действиями, с предрассудками, гибельными как для нас, так и для общества, в котором мы живем. Мы находим странными, удивительными, заслуживающими презрения, смешными лишь те взгляды и вещи, к которым мы не привыкли; существуют страны, в которых похвальнейшие поступки кажутся дурными и смешными, и где, наоборот, гнуснейшие действия кажутся правильными и разумными [1]).

Власть считает обыкновенно выгодным для себя поддерживать принятые взгляды: признаваемые ею с этой целью необходимыми предрассудки и заблуждения поддерживаются силой, которая никогда не рассуждает. Государи, сами преисполненные ложных представлений о счастье, могуществе, величии и славе, окружены льстецами-царедворцами, в интересах которых не разубеждать своих господ; эти испорченные вконец люди имеют для добродетели одни лишь оскорбления и мало-по-малу они развращают народ, который вынужден следовать за пороками вельмож и который начинает видеть заслугу в подражании их распутному поведению.

Дворы государей—это настоящие рассадники развращения народов.

Вот каков настоящий источник морального зла. Так все соединяется для того, чтобы сделать людей порочными и сообщить их душам гибельные страсти: в результате получается какое-то всеобщее нестроение в обществе, становящемся несчастным, благодаря несчастью почти всех составляющих его членов. Наиболее могучие побуждения направляются на то, чтоб внушить нам страсти к вздорным, ненужным нам вовсе вещам, которые становятся, однако, пагубными для наших ближних ввиду требуемых для достижения их способов. Те, на обязанности которых лежит руководство нами, будучи обманщиками или сами обманутые своими предрассудками, запрещают нам прислушиваться к голосу разума; они доказывают нам гибельность истины и необходимость заблуждения для нашего благополучия здесь, на земле, и в загробном мире. Наконец, сила привычки привязывает нас крепко к нашим нелепым взглядам, нашим опасным склонностям, нашим слепым пристрастиям и бесполезным или опасным вещам. Вот почему большинство людей с неизбежностью побуждается ко злу. Вот почему свойственные нам по природе и необходимые для нашего самосохранения страсти становятся орудием нашей гибели и гибели общества, которое они должны были бы сохранить. Вот почему жизнь в обществе становится своего рода войной, объединяя лишь всегда борющихся меж собой врагов, завистников, соперников. Если среди нас находятся добродетельные лица, то их надо искать в небольшом числе тех, кто, имея от рождения флегматический темперамент и слабые страсти, не желают совсем или слабо желают тех вещей, к которым стремятся всегда с жадностью их сочлены по обществу.

Наша природа и различное воспитание ее определяет наши физические и духовные способности, наши физические и моральные качества. У сильного и сангвинического человека должны быть сильные страсти; у человека желчного и меланхолика будут странные и

[1]) У некоторых народов стариков убивают, а дети удавливают своих родителей. Финикияне и карфагеняне приносили своих детей в жертву своему богу. Европейцы одобряют дуэли и считают обесчещенным того человека, который отказался этим путем убить другого человека. Испанцы и португальцы находят очень хорошим сжигать еретиков. Христиане думают, что вполне справедливо истреблять друг друга из-за различия во взглядах. В некоторых странах не считается бесчестием, что женщины проституируются и т. д.

мрачные страсти; человек с игривым воображением будет иметь веселые страсти; у человека с преобладанием флегмы страсти будут мягкие, тихие. Состояние тех людей, которых мы называем добродетельными, зависит, повидимому, от равновесия гуморальных жидкостей; их темперамент является, повидимому, продуктом сочетания, в котором элементы или начала жизни уравновешиваются между собой с достаточной точностью, так что ни одна страсть не действует на организм сильнее, чем любая другая. Привычка, как мы видели, это модифицированная натура человека; последняя дает материю; воспитание же, национальные нравы и семейные обычаи, примеры и пр. придают этой материи соответствующую форму. В зависимости от сообщаемого природой темперамента, факторы эти создают рассудительных или безрассудных людей, фанатиков или героев, энтузиастов общественного блага или идиотов, мудрецов, увлеченных добродетелью, или погруженных в порок распутников. Все духовные различия человека зависят от различных идей, различно сочетающихся и комбинирующихся в различных мозгах через посредство чувств. Темперамент есть продукт физических субстанций; хорошие или дурные взгляды, истинные или ложные мнения, сосредоточивающиеся в человеческой мысли, являются всегда лишь следствиями физических импульсов, полученных ею через посредство чувств.

Демокрит.

Статья III.

К вопросу о жизни и личности Демокрита.

Это заглавие требует с самого начала оговорки. Я говорю о „жизни и сочинениях“, но было бы, однако, наивно думать, что мы располагаем такими заслуживающими доверия источниками, на основании которых можно было бы дать более или менее,—не говоря уж о полном,—исчерпывающее представление о жизни и сочинениях Демокрита. Ни основные даты его жизни, ни главнейшие факты его литературной деятельности, даже ни одно из сохранившихся до нас названий его сочинений, не могут быть установлены нами с полной уверенностью в истинности наших выводов.

Отсюда своеобразие поставленной пред нами задачи, отсюда своеобразная трудность ее разрешения. Совершенно ясно, что говорить о жизни и сочинениях Демокрита значит в известном смысле говорить, об едином непротиворечивом толковании тех разноречивых и противоречащих друг-другу свидетельств, которые мы находим у древних писателей о жизни и сочинениях великого абдерийца. Но в таком случае систематическая задача изложения уступает место историческому исследованию источников, „критике текста“ и т. д., т.-е. вопрос ставится в той же плоскости, в какой мы раньше говорили об „источниках изучения Демокрита“ [1]). Разумеется, это не путь „популяризатора“ той своеобразной формации, какая установилась у нас в последнее время. Нам незачем прикрываться „популяризаторским талантом“, чтобы, повторяя все фантастические рассказы, все басни о жизни и личности абдерийского философа, создать „полное“ (непременно полное!) и „целостное“ представление о его „биографии“. Ни для кого не секрет, что за „полнотой“ и „целостностью“ подобных биографов скрывается невежество, но ведь ясно, что следует предпочитать знание, быть может, одного подлинного факта, чем десятка выдуманных.

С другой стороны, совершенно самоочевидна вся необходимость и вся важность возможно более полного и возможно более точного

[1]) Напечатанные в нашем журнале две статьи представляют собою лишь первую половину „Источников“. Большинство авторов, цитируемых в настоящей статье, разобрано, к сожалению, в ненапечатанной части.

определения основных дат жизни Демокрита, основных и подлинных из „его" сочинений. Быть может, ни один философ древности не поддается столь легко превратному толкованию благодаря неправильной хронологии, как Демокрит. Между тем, „философия" Демокрита—это целая эпоха, это—веха в развитии научного знания, и в первую голову это—эпоха зарождения научного исследования. „Философия" Демокрита завершает всю предшествующую, так называемую „досократическую" философию, являясь последним и решительным шагом в деле великого освобождения объективного мира от пут религиозной фантастики и мистики. Бесконечная полнота объективной вселенной, бесконечное многообразие количественных форм, как проблем научного изучения вещей, и проблем, как пластических форм количественного многообразия мира, физика, возвращающая мир к нему самому и утверждающая его в нем самом,—все эти черты демокритовского материализма, разумеется, немыслимы без предшествующих подготавливающих теорий Эмпедокла, Анаксагора или элеатов. И, тем не менее, в вопросах о генезисе не должна быть забыта необходимость объективного определения хронологии. До самого последнего времени слишком увлекались, если так можно выразиться, „досократизированием" Демокрита. Из Демокрита делали чуть ли не предшественника Анаксагора, не говоря уж о Сократе, относительно которого утверждение, что Демокрит является его предшественником, стало общим местом в литературе с легкой руки Аристотеля. Общее понятие „досократической философии" стало как бы предпосылкой понимания атомистики, принципиальной чертой ее общего характера. Между тем, нет никаких сомнений в том, что в данном случае мы имеем дело с таким вопросом, который необходимо вновь поставить и пересмотреть в свете новейших филологических исследований.

Из всех источников, которыми мы располагаем о жизни Демокрита, наиболее полным, оставляющим наиболее цельное впечатление, является свидетельство Диогена Лаэртского,—одна из глав девятой книги его „Мнений философов". Для удобства анализа я возьму за основание этот отрывок из книги Диогена Лаэртского, который и привожу ниже. Это было бы уместно также и для первоначального ориентирования читателя в исторической обстановке интересующих нас фактов.

Диоген Лаэртский пишет: „Демокрит, сын Гегезистрата, по мнению некоторых, Атенокрита, а по мнению других—Дамасиппа, происходил из Абдеры, или, как утверждают некоторые, из Милета. Он получил образование у магов [1]), персидских жрецов и халдеян, которых царь Ксеркс оставил его отцу в качестве учителей для сына, когда гостил у него, как об этом говорит и Геродот. Благодаря этим учителям, Демокрит, будучи еще ребенком, познакомился с теологией и астрологией. Но впоследствии он знакомится с Левкиппом и Анаксагором, который, как говорят некоторые, был старше его на сорок лет. Фаворин [1]) в „разных историях" утверждает, что Демокрит будто говорит об Анаксагоре: учения о солнце и луне не принадлежали ему, Анаксагору, а были более древнего происхождения, он же их присвоил. Демокрит ругал его за его взгляды о мироустроении и разуме и относился к нему враждебно, так как тот отказывался от дружбы с ним. Как же он мог его слушать, как думают некоторые?

Деметрий в „Гомонимах" и Антисфен в „Преемствах философов" сообщают, что он ездил в Египет изучать у жрецов геометрию, а также к халдеям, затем в Персию и к Красному морю. Он был знаком с гимнософистами в Индии и, как говорят некоторые, ездил в Эфиопию. Как один из трех братьев, он получил свою часть из отцовского состояния; именно, как утверждают некоторые, он выбрал себе незначительную часть, то-есть наличные деньги, в которых он нуждался для своих путешествий; те же (его братья) его, повидимому, обманули в этом деле.

Деметрий, впрочем, утверждает, что его доля превышала сто талантов, которые он все израсходовал. Как рассказывает он, Демокрит был настолько трудолюбив, что построил в отцовском саду маленький домик, в котором сам заперся, так что, когда однажды отец привел быка и привязал к его домику, тот все время ничего не замечал, пока отец его не привел в себя, подняв его по поводу жертвоприношения, и не рассказал все о быке. „Кажется,—говорит Деметрий,—он явился также в Афины, но не делал попыток стать известным, так как он презирал славу". Он знал Сократа, но последний его не знал. Сам он говорит о себе так: „я прибыл в Афины, и там меня никто не знал".

Если „Соперники в любви" ('Αντερασταί) являются произведением Платона, говорит Трасилл, то Демокрит мог бы стать на место „неназванного", в отличие от приверженцев Ойнопида и Анаксагора, который в дружеской беседе с Сократом рассуждает о философии, и которому, как он сам говорит, философ представляется знатоком борьбы во всех ее пяти видах (ὡς πένταθλος); и действительно, Демокрит охватывал умом не только физику и этику, но также математику и те знания, которые относятся к общему образованию, но и к этому следует добавить еще полное практическое знакомство с искусствами. Ему принадлежит также изречение: „слово есть тень дела" Деметрий Фалерийский сообщает в „апологии Сократа", что он никогда вообще не был в Афинах. Но можно было бы сказать еще больше, если только он относился пренебрежительно к такому городу: он не желал прославиться благодаря месту, но, наоборот, желал самому сделать знаменитым место своего пребывания.

Яркий образ его можно вынести из его сочинений. Кажется,

[1]) Μάγος маг, „тайновед", „ясновидящий", жрец.

[1]) Писатель, живший в 80—150 г.г. после Р. Х., ритор и полигистор.

говорит Трасилл [1]), его вдохновляли пифагорейцы; вспоминает Пифагора, впрочем, сам Демокрит с чувством восхищения в сочинении, которое носит заглавие: „Пифагор". Вот почему могло показаться, что все свои познания он заимствовал у Пифагора и что он слушал его самого, если бы этому не противоречила хронология. Во всяком случае—так думает его современник Главк из Регия,—он слушал кого-то из пифагорейцев. Также Аполлодор из Кизикии, говорит, что он был знаком с Филолаем.

Он был занят тем,—говорит Антисфен,—что самыми разнообразными способами проверял свои представления (и наблюдения), уединяясь для этого в одиночество и проводя все время среди могил.

Когда он вернулся из своих путешествий,—рассказывает Антисфен,—он находился в крайней нужде, так как ему пришлось истратить все свое состояние. В это тяжелое время его поддерживал брат его, Дамаст. После того, как он однажды правильно предсказал некоторые явления в будущем, его стали уважать, а многие даже оказывали ему почести. Но так как существовал закон, по которому растративший отцовское состояние не достоин быть погребенным на родине,—так говорит Антисфен,—то он, отдавая себе ясно отчет в своем положении, для того, чтобы вырвать оружие из рук завистников и клеветников, прочел своим согражданам сочинение: „Великое миростроение", самое замечательное из того, что им было написано; все граждане, прослушавшие его, сразу оценили сочинение в пятьсот талантов и даже не удовольствовались этим: они поставили ему медную статую, а когда он умер, государство взяло на себя устройство торжественных похорон; он умер, прожив более ста лет. Деметрий, напротив, утверждает, что его родственники прочли „Великое миростроение" и оно было оценено ими только в сто талантов. То же самое сообщает также и Гиппобот.

Аристоксен в „Исторических достопримечательностях" (ὁμωνύμασι) говорит, что Платон намеревался сжечь все произведения Демокрита, какие только он мог достать, но пифагорейцы Амиклид и Клиний посоветовали этого не делать, говоря, что все это бесполезно, так как книги Демокрита уже были у всех на руках. Да и так ясно: в то время, как Платон упоминает почти всех древних философов, он нигде ничего не говорит о Демокрите даже там, где, казалось бы, он должен был выступить с возражениями против него; очевидно, он прекрасно сознавал, что имеет дело с лучшим из всех философов. Демокриту посвящает похвальное слово также и Тимон:

> Я признаю Демокрита, мудрого пастыря слов,
> И в разговоре разумном его признаю между первыми.

Что касается времени его жизни, то, как он сам говорит в „Малом миростроении", он был еще совсем молод, когда Анаксагор был уже стар. Это „Малое миростроение",—говорит он сам,—было написано им 730 лет спустя после падения Трои. Его рождение, следовательно, как говорит Аполлодор в „Хронике", приходится в 80-ю олимпиаду [1]), а по Трасиллу, наоборот, на 3-й год 77-й олимпиады [2]), как он говорит в своем „Введении в чтение сочинений Демокрита"; другими словами, он был на один год старше Сократа [3]). Демокрит был, следовательно, современником Архелая, ученика Анаксагора, а также современником Ойнопида, ибо и его упоминает он.

Он думал о взглядах относительно *единого* часто упоминаемых в его время философов Парменида и Зенона, а также Протагора, который, как это признается всеми, был современником Сократа.

В 8-й книге своих „прогулок" (ἐν τῇ περιπάτων) Атенодор рассказывает, что, когда однажды к Демокриту пришел Гиппократ, тот попросил принести молока, и, когда молоко было принесено, он сейчас же сказал, что оно от черной первый раз родившей козы. Перед этой величайшей точностью дальнозоркости Гиппократ горячо выражал свое удивление. Его сопровождала девушка. Демокрит накануне ее встретил приветствием: „привет тебе, девушка!", а на следующий день он ее встречает словами: „привет тебе, женщина!". И действительно девушка ночью потеряла невинность.

Как сообщает Гермипп, он, будучи уже совсем престарелым, не переставал отдавать себе отчет во всем. Его сестра огорчалась тем, что смерть его приходилась ко времени праздника Тесмофориев, и она не сможет выполнить своего долга перед богиней. Но Демокрит сказал ей, чтобы она была бодрой, и попросил давать ему каждое утро теплый свежевыпеченный хлеб; хлеб он держал перед носом, вдыхая его запах и таким образом продлил свою жизнь на время праздника; когда же прошли дни праздника (их было три), он совершенно спокойно, безболезненно испустил дух, в возрасте 109 лет, как сообщает Гиппарх. У меня имеется стихотворение, посвященное ему в моем „Собрании"; оно читается так:

> Кто же сравнился бы с ним по мудрости и по величью?
> Кто был, как Демокрит, сведущ во всех областях?
> Смерть в его доме три дня гостьей была, и все же
> Запахом теплого хлеба ее отстранял от себя.

Вот и все о жизни этого человека...

Существует шесть Демокритов. Первый—это наш. Второй—живший одновременно с ним музыкант из Хиоса. Третий—скульптор, которого упоминает Антигон. Четвертый—автор одного произведения об Эфесском храме, городе Эфесе и Самофракии. Пятый—поэт, автор эпиграмм, ясный и свежий в выражениях. Шестой—из Пергама, составивший себе имя исследованиями по риторике" [4]).

---

[1]) О нем см. ниже.

[1]) В 460—457 г.г. до Р. Х.
[2]) Т.-е. в 470—469 г. до Р. Х.
[3]) Род. в 468 г. до Р. Х.
[4]) Diels: FVS², 350—352.

Таково свидетельство Диогена Лаэртского о жизни Демокрита.

К Диогену Лаэртскому [1]), литературная деятельность которого относится к концу III и началу IV века после Р. Х., следует подходить прежде всего как к автору эпиграмм. Это—поэт-компилятор, совершенно далекий от всякого критического отношения к своим источникам, пренебрегающий логическим планом в изложении и не стесняющийся своими многоречивыми повторениями. Почти всегда, когда у него под рукою какое-либо более или менее пространное жизнеописание философа, он спешит его использовать, если оно богато любопытными анекдотическими деталями, в особенности, если последние связаны с описанием смерти данного философа. Этим анекдотическим деталям он и посвящает свои стихотворные эпиграммы. Вне стихотворных эпиграмм он не проявляет никакой самостоятельной критической работы мысли. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание хотя бы на то, что в приведенном отрывке ему принадлежит, строго говоря, одна лишь эпиграмма по поводу смерти Демокрита. Все остальные суждения о различных периодах жизни последнего, о различных исторических фактах, связанных с его именем, Диоген заимствует из вторых и из третьих рук. Он цитирует сперва Фаворина, характеризующего отношение Демокрита к Анаксагору. Затем приводит сообщение Деметрия и Антисфена о путешествиях Демокрита. Дальнейший отрывок вновь заимствован из Деметрия, как он сам указывает на это. Переходя к характеристике его познаний, Диоген привлекает на помощь Трасилла, о котором у нас еще будет речь ниже в связи с сочинениями нашего героя. Затем он опять переходит к Деметрию Фалерийскому и выписывает из него, что Демокрит ни разу не был в Афинах, но, имея под рукою также и Трасилла, он приводит противоположное мнение последнего, не называя своего источника. Затем следует цитата из того же Трасилла об отношении Демокрита к пифагорейцам и Диоген подкрепляет свидетельство Трасилла ссылками на Главка из Регия и Аполлодора Кизикийского. Весь дальнейший отрывок носит анекдотический характер, здесь Диоген вовсе не стесняется противоречивостью своих сообщений,—Антисфен, Деметрий Магнезийский, Гиппобот, Аристоксен, Тимон,—вот новая группа источников этого отрывка, из которых Диоген черпает свои сведения об обстоятельствах смерти Демокрита, об отношении Платона к нему, об отношении к отцовскому наследству, о случае с Гиппократом. Сюда вкраплен отрывок о хронологии, заимствованный из Аполлодора; мнению Аполлодора противопоставляется мнение Трасилла. По внутренней согласованности и сконцентрированности это место выгодно выделяется во всем приведенном отрывке. Даже указание на то, что Демокрит много думал над проблемами Парменида и Зенона, а также „абдерита Протагора, современника Сократа, как это признается всеми", имеет целью очевидно, обрисовать

[1]) На нем я подробно останавливаюсь в ненапечатанной части моих „Источников изучения Демокрита".

также, именно, не что иное, как ту историческую перспективу, в свете которой следует мыслить личность и литературную деятельность Демокрита.

Здесь не место разбираться в сложной проблеме об источниках Диогена. Это подлежит рассмотрению в общей связи „доксографических" источников, в их „биографическом" направлении [1]). Для интересующего нас вопроса о жизни и сочинениях Демокрита достаточно установить более или менее сходные свидетельства древних писателей, пользуясь для того, как исходной точкой, свидетельствами Диогена Лаэртского.

Большинство доксографических источников согласуется с сообщением Диогена в двух вопросах; в вопросе о родине Демокрита и в вопросе о его родных. Большинство писателей признает, что он был родом из Абдеры, города во Фракии, и что отца его звали Дамасипп. Δημόκριτος Δαμασίππου Ἀβδηρίτης — самое обычное выражение у древних писателей, когда они говорят и Демокрите [2]), сохранившееся также и у позднейших алхимистов в псевдодемокритовой литературе [3]). Но и на этот счет у нас не может быть никакого определенного суждения. Целый ряд свидетельств, указывающих на противоположные данные, остается фактом, с которым следует считаться. Диоген называет Дамасиппа, отца Демокрита, но, „по мнению некоторых",—говорит он,—он был сыном Гегесистрата, а по мнению других — Атенокрита. Свида пишет то же самое [4]). Также и относительно его родного города: называют также не только Абдеру, но и Милет [5]). Повидимому, имя его отца было потеряно уже в древности [6]), а указывать на Милет, как на его родину, толкало общее представление о Левкиппе, „учителе Демокрита", происходящем из Милета и слушавшем Парменида и Зенона [7]). В сущности, вопрос о родине Демокрита в свете подобных свидетельств может остаться и нерешенным с той определенностью, с какой нам хотелось его разрешить. Достаточно установить, что Демокрит происходил из западного побережья Егейского моря, из города одной из ионийских колоний, широко открытых для культурного влияния как Запада, так и Востока. Относительно личности его отца нам ничего не известно. Повидимому, он принадлежал к числу богатейших людей своего времени, если на его

[1]) У меня, там же.

[2]) Aristot. meteor. B. 7 p 365 a 17 Athaeneus: Deipnosoph. II p. 46 FVS², 356, 36. Aelian, variae historiae (Halae 1772) p. 125. Hippolyti, philosophumenon 13. Diels, Dox, 505. 4. Epiphanii, advers. haeres, III, 2, 14. Dox. 590, 30. Theodoret IV, 9. Dox. 285 b. Aetius 1, 3, 16. Dox. 285. Censorinus 15, 3. FVS², 353, 19. Julian. epist. 37. FVS², 355, 9.

[3]) Berthelot, Collection d. ancien. alchim. grecs, livr. 3, text grec, p. 425, 2.

[4]) Suida, FVS², 352, 44.

[5]) Diog. L. IX, 34. (выше стр. 52.)

[6]) Nietzsche, Philologica, Werke, XIX, 203.

[7]) Ch. Aetius. I. 3, 15. Dox. 285. Dieg. L. IX, 30. Simplicius, phys. 28, 4 (ед. Дильса). Dox. 483.

средства Демокрит мог объехать весь Восток и Египет. Древние писатели называют двух его братьев, Дамаспа [1]) и Геродота [2]) и одну сестру [3]).

Вопрос о времени жизни Демокрита также, к сожалению, не может быть решен с определенностью обыкновенной исторической справки. У нас нет даже двух или трех свидетельств, которые не противоречили бы друг другу в этом вопросе. По Аполлодору, Демокрит родился в 80-ю олимпиаду, т.-е. 460—457 г.г. дохристианской эры, а по Трасиллу, в третьем году 77-й олимпиады, т.-е. в 470—469 г.г. [4]). Свида пишет, что, по некоторым, он родился в 472—469 г.г., а по мнению других—в 460—457 г.г. [5]). По хронологии Евсевия, Демокрит и Анаксагор родились в семидесятую олимпиаду, т.-е. в 500—497 г.г. [6]). Столь же разноречивы и остальные свидетельства относительно года рождения [7]). Нет достоверности и в свидетельствах о времени смерти Демокрита. Его относят то к 94, 1 олимпиаде, т.-е. к 404 году [8]), то к 105 олимпиаде [9]), т.-е. 359 г. Одни считают, что он умер в возрасте 104 лет [10]), другие—108 [11]), третьи—109 [12]).

Чтобы разобраться в этой массе разноречивых свидетельств и остановиться с большей или меньшей вероятностью на одной определенной дате, необходимо обратить внимание на одно наблюдение, которое уже было мимоходом отмечено по поводу рассказах Диогена Лаэртского. Это то место, где он говорит о свидетельстве Аполлодора относительно года рождения Демокрита. Останавливает на себе внимание именно то, что рядом со свидетельством Аполлодора Лаэртский приводит слова самого Демокрита, как бы подкрепляя Аполлодора ссылкой на самого Демокрита. При ближайшем рассмотрении оказывается, что внутренне-связное изложение в этом месте Лаэртского и сравнение свидетельства Аполлодора со словами Демокрита приводит к вероятным непротиворечивым выводам.

[1]) Diog. L. IX, 39. Plinius XVIII, 3b. Clemens. Strom. VI p. 255. FVS², 354, 44. Hesychius, Milesius у Mullach'a, Democriti op. fr. (1843), p. 37, 5.

[2]) Suidas s. v. Δ μόκριτος. FVS², 352, 44—353, 1.

[3]) Diog. L. IX, 43 (выше стр.).

[4]) Diog. L. IX, 41 (выше стр.).

[5]) FVS², 352, 45.

[6]) FVS², 353, 9.

[7]) Свида о Зеноне: „Зенон, сын Телевтагора, элейский философ из числа близких по времени к Пифагору и Демокриту, ибо он жил в 78 олимпиаду (468—465)". FVS², 127, 12. Евсевий, Chron. a) Иероним. „Эмпедокл и Парменид... пользовались известностью к 1561 г. от Авраама"; армян. Ол. 81, 1 (т.-е. 456). „В то время пользовался известностью Демокрит из Абдеры"... FVS², 107, 30. Акмэ („расцвет") Демокрита приходится по хронологии Евсевия на девятый год 80 олимпиады, т.-е. 436—433.

[8]) Diodor Sic. XIV, 11, 5: „приблизительно в то же время (Олимп. 94, 1, т.-е. 404) умер философ Демокрит на девятидесятом году жизни". (Другими словами, год его рождения он относит к 494-ому году). Euseb. Chron: „смерть приходится на Ол. 94", т.-е. 404—401".

[9]) Chronica Paschalis 317, 5. FVS², 353, 15

[10]) (Lucianus). Macrob. 18 FVS², 353, 18.

[11]) Censorin. Mullach. op. cit., 15.

[12]) Гиппарх у Diog. L. IX, 43.

В указанном месте Диоген пишет: „Что касается времени, то он был, как он сам говорит в *Малом миростроении*, еще молод, когда Анаксагор был уже стар. Это *Малое миростроение*,—говорит он,—было написано им 730 лет спустя после падения Трои [1]). Его рождение, как говорит Аполлодор в своей хронике, падает на 80-ю олимпиаду (460—457 до Р. Х.), а по Трасиллу, наоборот, в его Введении в чтение Демокрита, на третий год 77-й олимпиады (470—469), т.-е., следов., он был моложе Сократа на один год".

Сравнительный анализ сохранившихся до нас фрагментов Эфора и других придерживающихся его летоисчисления греческих историков [2]) позволяет установить год падения Трои: он приходится приблизительно на 1150 до Р. Х. Демокрит говорит, что „Малое миростроение" написано им 730 лет спустя после падения Трои, т.-е., следовательно, в 420 году. По Аполлодору же, „расцвет" (акмэ) Демокрита приходится одним „поколением" позже Анаксагора, т.-е. последний был старше его на 40 лет, а последний, по его „Хронике", родился в 80-ю ол., т.-е. в 460 году [3]). Другими словами, время „расцвета" Демокрита—это время, когда он на сороковом году жизни писал свое „Малое миростроение". Принимая уже во внимание, что все писатели отмечают преклонный возраст Демокрита, наиболее вероятной датой его смерти следует, повидимому, считать 104, 4 олимпиаду, т.-е. 360 г. до Р. Х. [4]). Таковы основные биографические даты, которые можно принять с большей или меньшей вероятностью.

Дильс приводит также следующие доводы для обоснования именно этих дат. Философы древности, по установившемуся обыкновению, посвящали своему учению очень много лет, иногда целые десятилетия, прежде чем выступить в качестве самостоятельных мыслителей. Если же принять во внимание, что Демокрит ради своего образования предпринял очень большие, следов., продолжительные путешествия, то следует думать, что сорок лет—это самый ранний срок, когда он мог выступить в качестве главы самостоятельной школы. Но нужно пойти дальше и спросить: не указывает ли вся постановка этого хронологического вопроса о Демокрите и Анаксагоре на то, что речь идет не о живом современнике Демокрита, а о покойном философе? И в самом деле, очевидно, речь идет о покойном философе. Анаксагор умер в 428 г., в Лампсаке, где он имел свою школу и где пользовался очень большой известностью, на что указывают имеющиеся у нас древние свидетельства о его смерти и пребывании в Лампсаке. Здесь, а не в Афинах, познакомился с ним Демокрит, прежде чем отправиться путешествовать. Ему было 30 лет, Анаксагор

[1]) В словах Демокрита есть что-то эпическое, узревшее себя в тысячелетиях, напоминающее пафос эпохи Возрождения.

[2]) Welcker: Rhein. Mus. 1835, p. 356. B. ten. Brink. Philol. 1851, p. 589 сл.

[3]) Анаксагор уже, по Аполлодору, родился в 500 до Р. Х.

[4]) Ch. Berthelot. Journal des savants, 1884, p. 517: „357 до Р. Х."—FVS², 353, 15 (Chronika Paschalis 317, 5).

же был 70-летний старик. Затем, спустя десять или пять лет, возвратившись из путешествий, он основывает в Абдере свою школу и позже, в возрасте 40 лет, выступает с „Малым миростроением". Вот почему понятно замечание Демокрита в „Малом миростроении", что он был еще совсем молод, когда Анаксагор был стар. „Малое миростроение" написано после смерти Анаксагора, и Демокрит, закончив свое первоначальное образование, отмечает, как он, будучи юным, слушал Анаксагора [1]).

Аристотель говорит о Демокрите, что он еще до Сократа занимался логическими определениями понятий [2]). То же самое говорит Цицерон [3]). Это, разумеется, не противоречит принятым выше биографическим датам, поскольку речь идет не о хронологии в свидетельствах Аристотеля и Цицерона, а о философских проблемах. Демокрит мог быть современником Сократа и заниматься логическими проблемами еще до того, как Сократ подошел к ним.

Но Диоген Лаэртский противопоставляет мнению Аполлодора мнение Трасилла, повидимому, имевшего на руках сочинения Демокрита и даже написавшего нечто вроде пособия для чтения его произведений. Трасилл говорит, что Демокрит родился в 470—469, т.-е. был на один год старше Сократа. Но и это свидетельство не является решающим аргументом против указанных выше дат. Во-первых, желая исправить Аполлодора, Трасилл основывается на годе падения Трои, нам же неизвестно, по какому летоисчислению он исчислял год падения Трои; возможно, что он следовал не Эфору, а Эратосфену. Во-вторых, мнение Трасилла не имеет принципиального значения для суждения, был ли Демокрит современником Сократа, или значительно старше его. Наоборот, Трасилл как-будто делает Демокрита моложе, чем мы предполагали. Конечно, мы далеки от определенно-достоверных положений; никогда, напр., нельзя будет опровергнуть возражения, что слова Демокрита о времени написания „Малого миростроения" всегда останутся нерешающими для хронологии, так как, ведь, нам неизвестно, какого летоисчисления придерживался сам Демокрит, чтобы определить год падения Трои. Тем не менее, все выше сказанное говорит за то, что именно таковы вероятные основные биографические даты Демокрита.

Отсюда следует также отношение к Протагору. Известно, что они были ровесниками [4]), что Протагор слушал Демокрита [5]). Известно, что Демокрит горячо полемизировал с Протагором [6]). Будучи современником Сократа, Протагора, Горгия [7]), Демокрит противопоставляет себя древним философам и высказывается о них, или критикуя, или характеризуя их в исторической перспективе. Известен его отзыв о Фалесе, как первом из астрономов [1]), об Анаксагоре, приводимый Секстом [2]). Диоген Лаэртский говорит, что, по словам Демокрита, учение Анаксагора о солнце и луне вовсе не принадлежит ему, но более древнего происхождения. Все эти факты говорят о том, как мало выражает существо дела общераспространенное представление о Демокрите, как о „досократике". Впрочем, тем самым положительного обоснования этой мысли здесь, конечно, еще не имеем; она может быть раскрыта и обоснована лишь в систематическом исследовании развития философских идей и проблем досократической философии в ее додемокритовском содержании.

Теперь вернемся к знакомому нам отрывку из Лаэртского и рассмотрим те факты из жизни нашего героя, которые он сообщает.

Диоген пишет в самом начале, что первоначальное образование юный Демокрит получил у персидских магов, которые были в свите Ксеркса и которых последний оставил отцу Демокрита в качестве воспитателей его сына. Весь этот рассказ совершенно невероятен. Нелепой выдумкой являются также аналогичные фантастические рассказы Валерия Максима о том, что отец Демокрита устроил царское пиршество для войск Ксеркса [3]). Диоген Лаэртский ссылается на Геродота, желая обосновать свои слова. На самом деле, здесь мы имеем дело с свободным измышлением Диогена между строками Геродота [4]). Геродот действительно упоминает Ксеркса и Абдеру в VII, 109 и VIII, 120, но ни в одном из этих мест он ничего не говорит ни об отношении Ксеркса к отцу Демокрита, ни об отце Демокрита. Геродот говорит лишь о том, что, возвращаясь в Азию, Ксеркс остановился в Абдере и в благодарность за гостеприимство подарил жителям золотую саблю и вытканную из золота тиару. Непонятно, почему он должен был остановиться непременно у отца Демокрита; Диоген Лаэртский, поэт, любитель эпиграмм, вряд ли заглядывал в Геродота; он поверил своему источнику, который, повидимому, относится к тому времени, когда имя Демокрита уже славилось повсеместно, как имя волшебника и родоначальника „тайноведения" и „магии". Но в таком случае предположение неизвестного источника Диогена, быть может, Диокла Магнезийского, само по себе нелепо. Геродот говорит о 80-х годах пятого века, Демокрит родился в 460 г., и поэтому спрашивается: каким образом мог оставить Ксеркс своих магов и жрецов отцу Демокрита в качестве воспитателей юного философа за двадцать лет до его рождения? Но если бы при помощи своих волшебников он умел предвидеть рождение философа за двадцать лет, то и тогда

---

[1]) Diels. Leukipp u. Diogen. v. Apollonia. Rh. Mus. 42, 3.
[2]) Metaph. 1078 b 21. De part. anim. A. 642a8.
[3]) Acad. post. I, 12, 44. Ср. Natorp. Rh. Mus. 42, 374.
[4]) Apul. Flor. 18 (FVS², 528, 15).
[5]) Diog. L. X, 50.
[6]) Sext. VII. 389.
[7]) Censor. 15, 3. FVS², 353, 19.—Suida. FVS², 545, 14.

[1]) Diog. L. I, 23.
[2]) Sext. VII, 140.
[3]) Val. Maximus lib. VIII, cap. 7. Mullach. Dem. fr. (1843), 38[10].
[4]) Ср. Diels FVS², 711 к 350, 16. Mullach: Dem. fr. (1843), 39. Zeller. Phil. d. griech.[6] (1920), I b, S. 1046.

Ксеркс не оставил бы своих мудрецов в Абдере, так как известно, что в это время греки возгорелись такою ненавистью к персам, что повсеместно преследовали их жесточайшим образом, а между тем, между фракийской Абдерой и Афинами к этому времени начинают крепнуть тесные дружеские узы [1]); вот почему гостеприимство абдеринцев, вероятнее всего, было лишь одной симуляцией покорности[2]).

Повидимому, к этой серии рассказов, явно подложных, относятся также свидетельства, рисующие Демокрита в пути во время путешествия. Напр., император Юлиан в одном из своих писем рассказывает о таком случае из жизни Демокрита: после того как „Демокрит из Абдеры, оказался бессильным утешить Дария, у которого умерла красивая жена, он сказал, что ей, мертвой, он снова вернет жизнь, если Дарий прикажет доставить все для этого необходимое, что он попросит; и хотя царь приказал доставить и приготовить все, что нужно было, немного помолчав, но Демокрит сказал, что нехватает одного, и что он не знает, каким образом это можно сделать, но что, может быть, Дарий, который был царем всей Азии, легко отыщет то, чего нехватает. И когда последний спросил, что же это такое, наконец, что может быть доступно только царю, Демокрит ответил: его жена вернется к жизни, если на ее могиле напишут имена трех лиц, совершенно свободных от горестей. Смущенный такими словами, Дарий действительно никого не мог найти, у кого бы не было какой-либо печали, и Демокрит, смеясь по своему обыкновению, сказал ему: „И ты, странный более чем кто-либо, не стыдишься печалиться столь безмерно, как будто тебя одного только постигает несчастье! А между тем, ты не нашел ни одного из тех, которые никогда не имели какой-либо личной печали“ [3]). Сам по себе этот рассказ, который Дильс приводит в числе свидетельств для характеристики подлинных фактов жизни [4]), может быт опровергнут простой исторической справкой. Дарий, сын Гистаспа, умер в олимп. 73, 4, т.-е. в 485 г., а Дарий II, правивший от 425 до 404 г. до Р. Х., был царем после смерти своей жены [5]). Но, нелепый сам по себе, рассказ об „утешителе“ Демокрите имеет связь вообще со всеми остальными многочисленными свидетельствами о путешествиях Демокрита и в широкой связи всех доксографических источников об этих путешествиях и должен рассматриваться как отражение несомненно подлинных свидетельств о путешествиях Демокрита.

На этот счет мы оказываемся в более счастливом положении. У целого ряда древних писателей мы находим почти совершенно сходные сообщения об этой стороне жизни Демокрита. Элиан пишет:

[1]) Фукидид II, 291, р. пер. Ф. Мищенка, 1915, стр. 115.

[2]) На легендарный характер диогеновского рассказа указывает также то, что Филострат рассказывает то же самое о Протагоре: vita Soph. 10 p. 13,1. FVS², 353, 35.

[3]) Julian. epist. 37, греч. текст по FVS², 355, 9.

[4]) FVS² p. 712 k 355.

[5]) Mullach, Dem. fr. (1843), p. 49.

„Он побывал во многих странах. Был и у халдеев, и у вавилонян, и у магов, и у софистов в Индии“ [1]). Гезихий Милетский сообщает: „Отдавший свое состояние брату и взявший себе лишь незначительную часть, Демокрит познакомился с гимнософистами, побывал в Индии и Эфиопии“ [2]). „Почему Пифагор сам ездил в Египет и к персидским магам?—спрашивает Цицерон.—Почему он объехал так много варварских стран и переплыл столько морей? Почему то же самое сделал Демокрит?“ [3]). Другие сообщают, что он был не только „в Персии, Аравии, Египте, Эфиопии и учился там у магов“ [4]), но и в Индии: „В гористой части Индии находится река Сила, которую еще никто не переплыл. Демокрит сомневался в существовании этой реки, так как он изъездил вдоль и поперек бо́льшую часть Азии“ [5]). Почти в тех же выражениях говорит то же самое Диоген Лаэртский, ссылаясь на „гомонимы“ Деметрия и „преемства философов“ Антисфена [6]). В связи с путешествиями древние сообщения говорят также о материальных средствах Демокрита. „Как один из трех братьев,—читаем мы в одном из них,—он получил свою долю общего состояния и многие утверждают, что он отобрал для себя лишь незначительную часть, именно, наличные деньги, в которых он нуждался для своих путешествий“ [7]).

Если последнее сообщение может показаться вымышленным, то никакие сомнения не могут возникнуть относительно путешествий Демокрита. Не только явное согласие свидетельств на этот счет говорит об этом. Можно предположить, что каждое из путешествий Демокрита отмечалось каким-либо научным сочинением, может быть, подводящим итоги наблюдениям или собирающим материал для систематических занятий. И, действительно, среди книг Демокрита, о которых сообщает Диоген Лаэртский, имеются такие, как „исследование о фригиян“, „исследование о халдеях“, „об историческом исследовании“, „о священных свитках в Вавилоне“, „о священных свитках в Мерое“, „путешествие вдоль океана“. Ниже, в общей связи сочинений Демокрита, будет показано, насколько подлинны эти сочинения, но, как бы то ни было, уже здесь должна быть отмечена несомненная связь Демокрита с его путешествиями. И с большей или меньшей вероятностью обоснована эта сторона литературной деятельности великого абдерийца, когда она протекала вне пределов, охватываемых влиянием греческого мира. И с этой целью следует остановиться несколько подробнее на одном знаменитом свидетельстве Климента Александрийского, в котором последний приводит слова Демокрита,

[1]) Aelian, var. hist. IV, 20. Hallae, 1772, стр. 125.

[2]) Mullach, op. cit. 44. Отсутствует у Дильса FVS².

[3]) Cicer., de fin. bon. et mal. V, 29.

[4]) Plinius, hist. nat. XXV, 13.

[5]) Strabo, lib. XV p. 703. FVS², 354, 1.

[6]) Diog. L. IX, 35.

[7]) Aelian. IV, 120 (Hallae, 1772, p. 126). Diog. L. IX, 35—36.

восхваляющего себя за многоученость и преимущества пред другими учеными мира. В этом месте Климент хочет доказать, что греческая философия не представляет собою ничего оригинального, но всецело возникала из подражания восточным и вообще варварским образцам. Вот это место полностью в русском переводе:

„Пифагор имел учителя Суши, который был первым среди мудрецов Египта, Платон Зехнуфиса из Гелиополиса и Евдокс Книдский Хоннуфиса,—эти оба были родом из Египта. Этические [1]) изречения, которые написал Демокрит, принадлежат вавилонянам [2]); так как говорят, что он перевел колонную надпись (στήλη) Ахикара, присоединил ее к своим сочинениям и сверху в начале написал: так говорит Демокрит. Ведь и сам он говорит о себе так, восхваляясь своей многоученостью: „Я один из всех моих современников объехал (ἐπεπλανησάμην) большую часть земли, предпринял исследования самые глубокие, и я видел большинство климатов (αέρας) и стран, и я слушал речи большинства ученых людей; и никто не превзошел меня в соединении линии с доказательством (μετὰ ἀποδείξεως), даже так называемые у египтян гарпедонапты [3]). Вместе с ними я был еще пять [4]) лет на чужбине после всех моих (путешествий) [5]). И, действительно, он был [6]) и в Вавилонии, и в Персии, и в Египте у магов и ученых жрецов [7]).

Вся цитата из Демокрита до самого последнего времени была предметом горячих споров. Дильс категорически относит ее к подложным фрагментам, и столь же решительно ее подлинность признается Т. Гомперцом. По мнению одних, Демокрит Климента Александрийского оказывается лишь псевдо-Демокритом [8]); по мнению

1) Diels: ἠθικούς. Cobet: ἰδίους (свои собственные). Euseb. praep. ev. X, 4 p. 472: ἑλληνικοῦς (эллинские).—Rob. Eisler, Arch. f. Gesch. d. Ph. 1918, 188: „слово было добавлено впоследствии, но не стояло первоначально".

2) Или: „Демокрит написал этические учения вавилонян"... и в этом случае подчеркнутое можно принять за заглавие сочинения.

3) Земемеры. ἁρπεδονάπται образ. из ἁρπεδόνη, аркан, петля, веревка и ἅπτω, прицепить, завязывать; ἁρπεδονῶν ἁπτόμενος, qui funibus occupatur (B. ten Brink, Phil. 7, 357).

4) У Климента: восемьдесять. Нелепость сообщения Климента самоочевидна. Ошибка могла произойти оттого, что Климент мог π, означающую πέντε легко смешать с ϟ, означающей 80. На это наводит нас Диодор Сицилийский (I, 98, FVS², p. 230, 18), который говорит, что Демокрит пробыл в Египте одно пятилетие. Было указано на это уже Mullach'ом, op. cit. 19. Zeller'ом, Phil. d. Gr. 1920, 1 b⁶, 1047. B. ten Brink, PhilOl. 7, 354. R. Eisler, op. cit. (1918), 188. Diels, FVS², p. 727 k 439, 16.

5) Правильно добавляет Дильс, FVS².

6) Diels ἐπῆλθε (по рукописи), он был. R. Eisler: ἐπῆλθον, я был. Последний думает, что цитата заканчивается этой фразой, так как Климент использованием вавилонских изречений Демокритом хотел доказать собственным показанием последнего". На самом деле нет никакой нужды в подобной интерпретации, так как цитата заканчивается логически как по форме, так и по смыслу указанием на время пребывания на чужбине.

7) Clemens, Stromates, 1, 15, 69 p. 356, 357 и Eusebius, praeparatio evangel X, 4 p. 472.

8) R. Smend, Alter u. Herkunft des Achikar-Romans, 74 Nöldeke, Unters. zu Achikar-Roman, 1913; Abh. d. Gött. Ak. d. Wiss. XIV, Br. 1913, 4, S. 22.

других мы имеем дело с подлинными словами абдерийского философа [1]).

Конечно, с одной стороны, следует признать недостаточность таких доводов [2]) в пользу подлинности, как отсутствие каких-либо иных аутентических свидетельств Демокрита, противоречащих словам Климента, или недостаточность одного факта самохвальства для того, чтобы усомниться в подлинности этого фрагмента. Но, с другой стороны, и те восемь соображений, которые заставляют Дильса отрицать подлинность фрагмента, при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики [3]).

Первое соображение Дильса состоит в том, что, по его мнению, „βαβυλώνιοι λόγοι характеризуются Климентом, как „перевод колонной надписи Ахикара, т. е. Халдея, который изложил свои мудрые изречения на колонне. Этот мотив надгробного столбца „...также характерен для времени написания его в александрийскую эпоху, как и хитрость перевода, которая была бы немыслима до александрийской эпохи". Между тем, в действительности, ученый отец церкви говорит не о сочинении Демокрита, озаглавленном „вавилонские учения", но,—следуя простому „говорят",—лишь обвиняет его в том, что он присоединил к своим сочинениям греческие изречения вавилонян, которые были им прочитаны на одной колонне Ахикара и переведены на греческий язык. „Этические изречения вавилонян" не есть таким образом заглавие одного из сочинений Демокрита, и все предположение, что мысль о плагиате Демокрита указывает на александрийское происхождение всего фрагмента, само собою понятно. Дело в том, что эта „колонная надпись" Ахикара, о которой говорит Климент и из которой, следуя примеру александрийских „пронырливых плагиаторов" [4]), великий абдериец заимствовал все свои моральные изречения, не есть какой-то вымышленный источник, о котором нам оставалось бы делать только туманные догадки, и сообщение Климента Александрийского может действительно оказаться загадкой, если бы в настоящее время его мнимый источник не был бы раскрыт во всем историческом своем содержании.

Судя по папирусам, найденным в иудейской колонии Элефантины, на юге Египта, мы имеем дело с широко распространенным во всем древнем мире рассказом о Сенахерибе, царе Ассирийском, о его мудром визире (министре) Ахикаре и о дурном племяннике последнего Надане [5]). По этому рассказу Ахикар разрешил сложные задачи

1) В особенности Robert Eisler, Zu Dem. Wanderjahren, Arch. f. Gesch. d. Phil. 1918, 189.

2) Принадлежащих Гомперцу, Beiträge z. Krit. u. Erklär. griech. Schriftseleler, Sitz.-Ber. d. K. Ak. d. Wiss. ph.-hist. Kl. Bd. 152 (1906), 24.

3) Для дальнейшего см. R. Eisler, Arch. f. Gesch. d. Ph., 1918, которому в основных чертах я всецело следую.

4) Выражение Eisler'a, op. cit., 188.

5) Текст в сирийск. и англ. обработке F. C. Conybeare, S. R. Harris, A. Smith Lewis, The story ot Achikar, Cambridge, 1898. Во франц. обработке F. Nau:

египетского фараона и заставил его уплатить дань Сенахерибу. Тот простил Ахикара, который был в немилости благодаря клеветническим козням племянника Надана. С этого момента Ахикар отдается нравоучительным наставлениям и излагает в виде кратких афоризмов [1]). Рассказ этот был полон нравоучительных сентенций, аллегорий и басен, украшенных поэтическими образами. Рассказ или „роман" об Ахикаре, повидимому, относится к VII веку [2]) или к эпохе между VI и VII веками до Р. Х. [3]). „Важность этого рассказа для истории религии заключается в том, что, по всей вероятности, он относится к потерянной арамейской литературе дохристианской эры" [4]). Однако установить происхождение рассказа трудно уже потому, что еще в глубокой древности мы находим самые разнообразные вариации, переводы, переделки [5]). Наиболее обоснованными в литературе явились предположения об их арамейском [6]), сирийском [7]) и иудейском [8]) первоисточниках. Не входя, однако, в анализ этих специальных вопросов, не имеющих прямого отношения к нашей теме, важно установить, что „рассказ" об Ахикаре мог возникнуть уже в VII веке до Р. Х. и пользоваться широкой известностью в древнем мире. Что с этим „рассказом" был знаком иудейский мир,—показывает книга Товит [9]), где в нескольких местах приводится имя ассирийского мудреца Ахикара [10]). Но „рассказ" был известен и римской Галлии: на одной мозаике с музами в Трире, некий богатый сириец Моннус изображает ACICAR'a рядом с музой Полигимнией; последнее обстоятельство указывает также на знакомство с „рассказом" арабских поэтов доисламской эры [11]). В послехристианскую эру „рассказ" не был потерян или забыт, он, напротив, даже подвергался обработке и исправлениям, так как явно языческий характер не мог устоять пред христианским воззрением о мире [12]).

Histoire et sagesse d'Achikar L'Assyrien, Paris 1909. Сюжет сам по себе не затейлив, но изложение его и разбор завели бы нас слишком далеко.

[1]) Переведены F. Nau, op. cit. Nöldeke, op. cit., 35–51.

[2]) Baumstark, Geschichte d. syrisch. Literatur, Bonn 1922, 11.

[3]) Francois Nau, op. cit., 39. 115.

[4]) M. Lidzbarski, The story ot Ahikar, Encycl. of Rel. and Ethics (James Hastings), 1908, 1, 231.

[5]) Известны версии арабская, армянская, румынская, эфиопская, славянская (F. Nau, op. cit., 74 сл.), древнетюркская, грузинская (Baumstark, op. cit., 12, все примеч.).

[6]) Rob. Eisler, op. cit., 188 (текст). Lidzbarski, op. cit., 231. У него же то из остальной литературы, что неизвестно мне.

[7]) Streck, P.-Wissova, Suppl. 1, 43. Nöldeke, op. cit., 6.

[8]) Baumstark, op. cit., 11, примеч. 11. Halévy y Nöldeke, op. cit. 6.

[9]) Одна из неканонических книг, относящихся к ветхому завету и рисующая жизнь праведника израильтянина Товита.

[10]) Подробно Th. Nöldeke, Unters. z. Achikar-Roman, Abh. d. K. Ges. Wiss. zu Gött. N. F. XIV, 4 (1913), 19. P. Vetter: Das Buch d. Tobit u. d. Achikarsage. Theol. Quartalschrift, 86, 321.

[11]) Baumstark, op. cit., 11.

[12]) Baumstark, op. cit., 11, примеч. 7. 11. Lidzbarski, op. cit., 232.

Греческий мир познакомился с мудростью Ахикара уже в 5 веке. Позже, если верить сообщению Диогена Лаэртского [1]), этот „рассказ" послужил темой для специального сочинения Теофраста: „Ахикар" Посидоний [2]) упоминает пророка Ахайкара, жившего в Боспоре и обскими магами. Другими словами, Ахикар из Боспоры пользовался в Греции известностью, как один из мудрейших людей в Вавилонии [3]). На знакомство греков с мудрыми изречениями Ахикара указывают фрагменты Менандра (342—290 до Р. Х.), который, повидимому, познакомившись с ним благодаря Демокриту, подражал ему, как это можно видеть, сравнивая его фрагменты с текстом Ахикара [4]). Наконец, широкорас пространенный в греческом мире „рассказ" (или „роман") об Эзопе (Vita Aesopi), относящийся к византийским первоисточникам [5]) 6-го века [6]), носит на себе все следы влияния ахикаровского „романа", именно можно видеть, что в последней своей части сюжет Эзопа заимствован из Ахикара. Повидимому, мы имеем дело здесь с взаимным влиянием, в силу которого многие басни, аллегории и образы „Жизни Эзопа" могли на восточной почве выделиться, оформиться в самостоятельное сочинение [7]) и тем создавать повод для новых вариаций ахикаровского „романа", если тем более можно считать установленным, что самое содержание „Жизни Эзопа", во всяком случае, исходит с Востока, „и, может быть, из Сирии" [8]). Но в этой до-демокритовской „Жизни Эзопа" мы не находим нравоучительных сентенций Ахикара, но лишь аллегорическую, фабулистическую сторону „рассказа" о нем. Демокрит же познакомил греческий мир именно с моральными изречениями Ахикара; однако следует добавить, что так говорят весьма сомнительные источники, и нужна осторожная критика, чтобы нащупать истину.

Литературная форма „романов", подобных Ахикаровскому, такова, что излюбленным приемом одеть сюжет в поэтические формы являлось указание на различные надписи—могильные, колонные, на эпиграфы на статуях, как на источники фабулы [9]). Климент, повидимому, имел на руках изложение ахикаровского романа, в котором рассказчик ссылался на „колонную надпись" с изречениями Ахикара.

---

[1]) D. L. V, 50 (FVS², p. 727 к 439, 9).

[2]) У Страбона, XVI, 762.

[3]) Большинство исследователей считает тождественными Ахикара из Боспоры (Борсиппы, города в Вавилонии) и Ахикара, героя древнего нравоучительного рассказа. Противоположного мнения Wissowa, Payly-Wissowa, I, 1168. Здесь, в Борсиппе, поблизости Вавилона, между 5 и 7 веком до христианской эры, в среде сектантски настроенных пуделей, могла возникнуть та мораль и языческая фантастика, которые наблюдаются в основании „рассказа". Ср. Eisler, op. cit., 159—190, примеч.

[4]) François Nau, op. cit., 42, сопоставил их.

[5]) Eberhard, Fabulae Romanenses Graece, Lpz. 1872, 1, 225 сл.

[6]) A. Hausrath, P.-Wissowa, 6, 1712.

[7]) Ib. 1712.

[8]) Streck, op. cit. 43.
См. примеч. 3а у Eisler'a, op. cit., 190.

Колонной надписи, о которой говорит Дильс и которую Демокрит, будто бы, перевел и выдал за свое сочинение, в действительности не существовало вовсе [1]).

Но нам известно, что именно типичные ахикаровские изречения, вполне установленные в своей аутентичности, еще в древности были известны под именем „гномов" („сентенций", „изречений") Демокрита. Известно, напр., что в арабских произведениях перса Шахрастани (1085—1153), в числе приписываемых последним Демокриту моральных изречений мы находим три, из которых два с очевидностью можно констатировать в сирийской вариации Ахикара, а одно—в армянской и славянской [2]). Несомненно, это—псевдодемокритовские изречения. Уже этот факт указывает на то, что в действительности случилось как раз обратное тому, что утверждает Климент Александрийский: под именем Демокрита пользовались широким распространением несомненно ахикаровские изречения. Подобные случаи и могли подать повод к нелепому обвинению в плагиате,—обвинению, которое, быть может, еще до Климента Александрийского пользовалось устным признанием, что и отразилось в выражении Климента: „говорят, что"... Впрочем, и сам Дильс признает, что „никому еще в древности не приходила в голову мысль сделать из Демокрита переводчика восточной гномики" [3]). О том же, что существовало целое собрание гномов (моральных изречений) Демокрита, носящее заглавие „моральные учения вавилонян" и являющихся, будто бы, лишь переводом изречений ахикаровского псевдоэпиграфа на колонне,—об этом нельзя утверждать ничего положительного на основании разбираемого места Климента Александрийского.

François Nau сделал попытку сравнить моральные изречения Демокрита с изречениями Ахикара [4]). Он вывел из этого сравнения, что, будучи в Вавилоне, Демокрит читал „колонные надписи" Ахикара, перевел на греческий язык и познакомил последний с восточной мудростью [5]). Не высказываясь о том, насколько правилен [6]) французский перевод Nau [7]), нужно, однако, признать его попытку неудачной. Во-первых, он привлек из 75 изречений Ахикара только 11, а во-вторых, тщательный сравнительный анализ этих приведенных изречений не убеждает вовсе в том, что Демокрит „перевел" их, или даже что они были ему известны [8]). Демокрит любит обобщать, Ахикар прибегает поминутно к конкретным примерам. Демокрит выдви-

[1]) Не намек ли на это у Nöldeke, op. cit., 21: „Pseudepigraphon Achikars".

[2]) Эти изречения в изд. Nöldeke, op. cit. 22 и §§ 10. 37. 38.

[3]) Diels, FVS², B. 3. (Registerband), 1910, p. XIII.

[4]) Fr. Nau, op. cit., 41. 156. 160. 165. 173.

[5]) Fr. Nau, op. cit., 291 и др.

[6]) Сомнение на этот счет возникает из сравнения с немецкой обработкой Nöldeke, см. также его поправки, ib. 22.

[7]) Ввиду недоступности для меня сирийского текста.

[8]) В этом отношении замечания Th. Nöldeke, Unters. z. Ach.-Rom., ib. 22, совершенно правильны.

гает общие для всех людей цели и идеалы, Ахикар большей частью останавливается на отдельных сторонах жизни. Самообладание и спокойствие Демокрита совершенно другого порядка, чем у Ахикара. Сходство только в общей проблеме, в одних и тех же понятиях, что неудивительно, поскольку речь идет о моральных сентенциях как там, так и здесь. Неудачная попытка Nau опять-таки убеждает в нелепости обвинения Климента Александрийского. Демокрит, эта „яснейшая голова древности", по меткому выражению Нöльдеке, несомненно был знаком со всевозможными вавилонскими учениями, поскольку они входили в общий опыт, в общее образование его времени, но ему незачем было моральные изречения для греков заимствовать из восточных источников. Впоследствии мы увидим, что именно та особенность Демокритовой мысли, которая заставляет отличать его от „досократиков", и есть не что иное, как единство физического мировоззрения и этики, когда этика определяется материалистическим учением о мире и человеке в единой систематической связи. Таким образом выводы, которые сейчас можно сделать из исследований ориенталистов Гарриса, Сменда и Нöльдеке, вполне подтверждается исследованием научно-философского мировоззрения Демокрита.

В пользу подложности фрагмента, интересующего нас, Дильс, во-вторых, приводит следующий довод: „Как признак зависимости Демокрита от варваров, которую Климент сперва утверждает, следуя простому „говорят", Климент приводит собственные слова Демокрита, который a) сам говорит о своем авторстве и b) сам признает ясно свое зависимое ученическое отношение к выдающимся ученым всех стран. Это неметодично (unmethodisch) отделять эту цитату от заглавия книги. Одно должно совпадать с другим. Если бы Климент имел на руках различные сочинения Демокрита, то он различил бы их по заглавиям". На самом деле, все вышесказанное убеждает нас в том, что нельзя смешивать цитату с мнимым заглавием „этические учения вавилонян". Это совершенно ясно, поскольку последние взятые мною в ковычки слова вовсе не являются заглавием сочинения Демокрита. Климент действительно имел на руках только одно сочинение, из которого он выписал показание Демокрита для того, чтобы доказать, что путешествующий по миру абдерский мудрец мог пользоваться вавилонскими источниками, но совершенно очевидно, что это сочинение не было ни „этическими учениями вавилонян", ни „переводом колонной надписи Ахикара" [1]).

Третий довод Дильса заключается в том, что, по его мнению, совершенно не заслуживает доверия цитата о самохвальстве Демокрита, о котором нам ничего не известно; между тем, Климент как-будто подчеркивает это самохвальство Демокрита. По этому поводу, однако, следует заметить, что пред нами, именно, такой тон фрагмен-

[1]) R. Eisler, op. cit., 192.

та, такая манера выражаться, которая, конечно, ученому отцу церкви с его христианским смирением могла показаться достойным порицания самохвальством (σεμνυνόμενος), но которая удивительным образом отвечает целому ряду других фрагментов, создавая с ними в совокупности совершенно целостное впечатление. Вспомним его слова о времени написания „Малого миростроения". Он говорит, что „Малое миростроение" написано им 730 лет спустя после падения Трои. За историческими вехами, за великими историческими воспоминаниями скрывается эпическая величавость осознавшей свою силу мысли, которая мерит себя пространствами и событиями, эпохами и людьми. На склоне лет, обозревая свою богатую жизнь, он пишет: „Я один из всех моих современников объехал большую часть земли, предпринял глубочайшие исследования, и я видел большинство климатов и стран, и я слушал речи большинства ученых людей, и никто не превзошел меня в соединении линии с доказательством, даже так называемые гарпедонанты; с ними после всех моих путешествий пробыл я пять лет на чужбине. Был же я—в Вавилонии и в Персии, и в Египте, научаясь у магов и жрецов".—Но нет пророка в своем отечестве!—„Пришел я в Афины,—говорит он,—и там меня никто не знал" [1]). Но разве он станет из-за этого печалиться? „Я предпочел бы найти,—говорит он,—одно причинное объяснение, чем занять трон персидских царей" [2]).

Если последние фрагменты подлинны,—а в их подлинности еще никто не сомневался (как не сомневался и Дильс),—то разве не дополняют взаимно все эти слова Демокрита, создавая целостное впечатление о большом и благородном характере великого ученого? В сущности, не приходится даже объяснять или извинять „самохвальство" Демокрита [3]). Ему не зачем было распространять свою славу, ибо он не добивался ее. Будучи, например, в Афинах, он знал Сократа, а тот же его не знал, и Демокрит не делал никаких попыток стать более известным, „потому что он презирал славу", как говорит Деметрий о нем [4]).

В-чегвертых, Дильс говорит следующее: „Совершенно случайно, но во всяком случае лишено решающего значения употребление греко-египетского названия „гарпедонанты", которое, между тем, у александрийца Климента весьма естественно". На самом деле, слово „гарпедонанты", „связыватели петель", т.-е. землемеры [5]), вполне гре-

[1]) Diog. L. IX, 36. Cic., Tusc. V. 36. 104.

[2]) Dionys. Alex. у Евсевия, praep. ev. XIV, 27, 4. FVS³, 407, 7.

[3]) Как, например, Т. Гомперц, Греч. мысл., р. п. 1911, 1, 274: „Самохвальство Демокрита можно объяснить и извинить еще одним особым обстоятельством. Повидимому, известность его при жизни ограничивалась лишь городом, в каком он жил... Может быть, оскорбленный тем, что, несмотря на огромные труды и ученые занятия, ему не удалось достигнуть известности в столице греческой умственной жизни, он решил сам распространить свою славу".

[4]) Diog. L. IX, 36.

[5]) M. Cantor, Gesch. d. Mathem. I, 55, 3, по-немецки удачно: Seilknüpfer.

ческое и встречается у Геродота и Ксенофонта, и является выражением греков, живущих уже с VII-го века в Египте, Мемфисе, Навкратисе, которое в устах бывшего у них в пятом веке Демокрита вполне естественно. О каком-либо александринизме не может быть и речи.

„Тенденция, утверждать зависимость греческой науки от варваров и при этом подчеркивать превосходство греков, была очень распространена именно у александрийцев" [1]). Но эта тенденция, которую Дильс в этом пятом аргументе приводит для доказательства подложности фрагмента, как нельзя лучше отвечает как исторической истине, которую легко открыть в массе источников, недоступных александрийцам, и которая, наоборот, сама подтверждает подлинность интересующего нас фрагмента. Таковы самые существенные возражения [2]) Дильса против подлинности фрагмента. Должно быть совершенно ясно после вышесказанного, что эти возражения не убедительны. Но если это так, то можно считать совершенно установленным, что Демокрит действительно предпринимал путешествия на Восток и в Египет, чтобы познакомится с восточной наукой и с египетской мудростью.

Мы располагаем еще одним фрагментом, который также говорит о продолжительном общении Демокрита с восточными мудрецами. Этот фрагмент, который не вызывает никаких сомнений ни у Дильса, ни у кого-либо другого, и который, может быть, вместе с предыдущими составляет некоторую часть „автобиографии" философа. Речь идет о том же Клименте [3]). У него мы находим следующие слова Демокрита:

„Некоторые из ученых подымают свои руки туда, где мы, эллины, теперь помещаем [4]) воздух, (и говорят): Все называет Зевс [5]), и все знает [6]) он, дает и снова берет, и он царь над всем".

Дильс замечает, что под „учеными, которые почитают Зевса, как воздух", Демокрит имеет в виду Диогена Аполлонийского [7]). Это не совсем так. Ведь, из текста совершенно очевидно, что воздухом называют Зевса не „ученые", а „мы, эллины, теперь",—и, мо-

[1]) FVS², ibid.

[2]) Остальные возражения (чисто-филологического характера) также опровергнуты R. Eisler'ом, op. cit., 196—198.

[3]) Protrept., p. 92. 20 Schn. FVS², 397, 17.

[4]) Οὗ καλέομεν, т.-е. Дильс правильно: οὗ εἶναι φαμεν, „где, как говорим мы, находится" воздух. FVS², 720 к 397,20. Но и еще: „где находится то, что мы, эллины, теперь называем воздухом".

[5]) Или дальше от подлинника, но лучше передает смысл: „Название всего—Зевс"...

[6]) Οἶδε; или: „и знание всего—он".

[7]) Именно, Verhandl d. deutsch. Philol. Vers. in Stettin Lpz. 1881, 108, 40, а также ск. FVS², 329,32 и 335,19. Диоген Аполлонийский здесь (Simpl. phys. 151,28) говорит: „и это... первовещество есть то, что люди называют воздухом, он погружает в себя все и всем обладает. Ибо именно он... есть бог, воздесущий и всеохватывающий и во всем присутствующий". Augustin, De civ. d. VIII, 2 (Dox. 174): „Диоген, также слушавший Анаксимена, говорит, что материей вещей является воздух, из которой все происходит".

жет быть, здесь только и имелся в виду Диоген Аполлонийский, с которым Демокрит был одного мнения,— а „ученые, подымающие руки к нему", говорят, что он „называет все, и, как царь надо всем, дает и берет вновь" воздух. И подобно тому, как Геродот, сравнивая нравы греков с варварскими, употребляет часто выражение „мы, эллины, теперь", то и здесь под „учеными людьми" имеются в виду не „эллины" „настоящего времени" („теперь"), именно, или эллины первобытного времени, или варвары, чужеземные „ученые", которые, говоря о Зевсе, подымают руки „на воздух", к „небу". И Демокрит действительно мог быть знакомым с этими учеными, с их образом мыслей, с их манерой выражаться. Шпигельберг [1]) открыл в папирусах Египта толкование Аммона, т.-е., по-гречески, Зевса, как всепроникающей пневмы; у вавилонян—Бел,—у Геродота Зевс Βῆλος—на это, очевидно, указывается самым идеографическим написанием его имени как en-lil, т.-е. „господь воздух"; „все знает" он—это заратустровское выражение: „знающий", „понимающий", и чисто-демокритовское „царь над всеми" может быть открыто в арамейских, ассирийских и древнеармянских источниках [2]); в той же связи понятно цитируемое „все называет": представление о слове как творческой силе занимало большое место в древне-восточных религиях, что отразилось нагляднейшим образом в целом ряде источников [3]). Таковы те данные, которые самоочевидно доказывают факт путешествий Демокрита и его тесного общения с восточными мудрецами, что опять-таки подтверждает подлинность отвергнутого Дильсом автобиографического фрагмента из Климента Александрийского.

Основные биографические даты, большие путешествия, близкое знакомство с выдающимися учеными своего времени—вот и все факты, которые можно принять с большей или меньшей вероятностью относительно внешней истории Демокрита. Что касается его „внутренней биографии", то здесь, к сожалению, мы не встречаемся ни с одним свидетельством, которое не носило бы легендарного характера. Эти свидетельства можно найти в приведенном в начале отрывке из Диогена Лаэртского. Рассматривая их, можно подумать, что еще при жизни Демокрита его личность не только вызывала большое внимание со стороны современников, но и создавала повод ко всякого рода легендам.

Тем не менее, кое-какие реальные стороны личности нашего героя все-таки можно нащупать в массе фантастических свидетельств о нем, если проследить, как сообщаемые последними различные факты по разному обрисовывают одну и ту же черту его характера.

К числу подобных особенностей личности великого абдерийца следует отнести прежде всего его исключительную любовь к научным

[1]) По Eisler'y, op. cit., 195.

[2]) Доказательство ib., op. cit., 195.

[3]) См. прежнее чрезвычайно ценное для целостного изучения философии двухтомное исследование Rob. Eisler'a, Weltenmantel und Himmelszelt, Bd. II (1910), 751,2.

занятиям, его стремленье упорными и непрестанными опытами добиваться истины и разнообразнейшими путями испытывать и проверять найденную истину. Это был человек, который жил для науки и ради науки. Ни события, ни люди, ни время, ни пространство не могли отвлечь его сосредоточенного внимания от возникающих и разрушающихся миров, от конкретного многообразия окружающей действительности. Он уединяется, он бродит в одиночестве среди могил, отрешаясь от каждодневных впечатлений суетной жизни людей [1]). Он настолько занят размышлениями, что не замечает, как к его жилищу привязывают быка для жертвоприношения [2]). Отсюда целый ряд легенд обо всех этих „странностях" абдерского мудреца. Рассказывают, что на склоне своих лет он ослепил себя, чтобы чувственные впечатления не обманывали его ум и не отягощали его своей смутностью, неразборчивостью и изменчивостью. „В памятниках греческой истории сказано,—читаем мы в одном из рассказов об этой легенде,—что Демокрит, человек, которого более других уважали, и который издавна обладал большим внутренним весом, по своей собственной воле лишил себя света очей своих, ибо он был того мнения, что размышления его духа и его исследования при разумном созерцании природы будут более чистыми и более точно отвечающими действительности, если убрать от них внешнюю привлекательность видимого и препятствия, создаваемые глазами" [3]). И если бы этот рассказ не был легендарным отзвуком действительного характера философа, то, быть может, психология последнего должна была быть понята нами так, как ее понял Цицерон. „Лишив себя света очей,—говорит он,—Демокрит, конечно, не мог различать черное от белого; но, ведь, он мог различать добро и зло, справедливость и несправедливость, честность и нечестность, полезность и бесполезность, великое и малое; и он мог жить и без красочного разнообразия видимого, но он не мог жить без понимания вещей. Также полагал он, что даже острота духовного взора (animi) притупляется способностью зрения, и, в то время, как иные часто не замечают того, что находится у их ног, он проникал мыслью всю бесконечность, которая никогда не заключается во внешности" [4]). Выдающаяся личность уже в древности окружалась, таким образом, легендами. Их можно найти в приведенном выше отрывке из Диогена Лаэртского. Их можно найти в псевдогиппократовском „Романе в письмах", в котором, впрочем, вымышленное, несомненно, недалеко от действительности. „Рассказывают [5]), что Демокрит, будучи гражданином города Абдеры, не раз своими странно-

[1]) Diog. L. IX, 38—39.

[2]) Diog. L. IX, 36.

[3]) Gellius, Noct. att. X 17. FVS[1], 355,39.

[4]) Cicer. Tusc. V 39, 114. FVS[2], 355,33.

[5]) Дальше, не имея под рукою Гиппократа, цитирую Гомперца, Греч. мысл., р. п. 94, стр. 272.—О псевдогиппократовских „письмах" к Демокриту речь будет впереди в главе о сочинениях Демокрита.

стями приводил в изумление сограждан, так что они решились, наконец, пригласить искусного врача, чтобы удостовериться в умственной нормальности своего великого соотечественника. Гиппократ явился и убедил их, что они ошиблись. С этого времени начинается общение двух великих людей, сначала личное, а затем письменное. Весьма вероятно, что „Роман в письмах", который мы находим в гиппократовском собрании, является до известной степени отражением действительно бывшего; по крайней мере, очень вероятно, что оба естествоиспытателя много путешествовали и, будучи одного возраста (род. 460), были в близких отношениях, тем более, что Гиппократ действительно бывал в Абдере, посещая больных то у „Фракийских ворот", то на „Священной дороге", то на „Верхней дороге". Поэтому нужно признать, что изображаемый легендою домик в саду близ городской ограды и тенистый платан, под сенью которого великий врач заставал абдерского мудреца, окруженного свитками и вскрытыми трупами животных, пишущего, склоняясь на свои колени— все это, вероятно, недалеко от действительности". „Я предпочел бы найти одно причинное объяснение, чем получить трон персидских царей",—говорит он, и весь образ его личности, с трудом вырисовывающийся за массой смутных легендарных рассказов древних писателей, как нельзя лучше подтверждает истину его слов. И вся его богатая жизнь как-будто была призвана доказать ту великую истину, что „слово есть тень дела" [1]), истину, которая не только по лапидарной отчеканенности своей формы, но и по существу своему может служить прототипом другой классической формулы: „не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание". Вот почему его личность нельзя понять не только без его этики, но и без физики, ибо впервые именно в нем определилась этика, как один из выводов из научного материализма, научного исследования вселенной. И если физическое мировоззрение определялось исторической эпохой во всей целокупности, во всей структуре своих социальных и экономических сторон, то этическое мировоззрение великого абдерийца обусловливалось именно его физикой. В свете подобного научного монизма четкой и неотвратимой становится та грань, которая отделяет его от прочих досократиков. Если у его предшественников 6 и 5 веков монизм был предпосылкой мышления, то у него он стал выводом из фактов. Вот почему именно этой целостностью мировоззрения его личность и производила неотразимое впечатление не только на древних, но и на ученых всех веков и народов. „За его писаниями чувствовалась личность, внушавшая уважение и вызывавшая почитание. Они не содержали ничего, что давало бы повод людям, предвзятым или партийным, ложно толковать их или умалять их значение. Еще поныне широко распространенное предубеждение, будто между научным материализмом и тем, что можно назвать этическим материализмом, существует необходимая связь, ничем нельзя лучше опровергнуть, как тем образом, в который еще в древности воплотилась личность и жизненные воззрения абдерского ученого, и который сохранился неомраченным до позднейших времен". И этими словами Т. Гомперца более всего уместно закончить наши, связанные часто с толкованием и критикой текста, замечания о невыясненных вопросах „личности и жизни" Демокрита и перейти к анализу „литературного наследства" великого абдерийца.

Гр. Баммель.

[1]) Plutarch, de peier. ed. 14 p. 9. FVS², 410,3. λόγος γὰρ ἔργου σκιή.

О методологических основаниях психоаналитического учения Фрейда.

В итоге своего поступательного развития науки одна за другой прочно самоопределились, как диалектически-материалистические. Специалисты, во всех отраслях науки, оставаясь в рамках своей специальности, вынуждены логикой фактов неуклонно придерживаться основных методологических принципов марксизма, часто не будучи с ними знакомы. Последним оплотом идеалистического мировоззрения являлась до последнего времени психология. Иначе и быть не могло, вследствие того, что исходный пункт идеалистического учения коренится в психологии, так как вся сокровенная сущность идеализма—не что иное, как психологизм, универсализированный либо непосредственно, либо после предварительного проецирования (логизм). Далее, центр разногласий между обоими философскими мировоззрениями приурочивался идеалистами к психологической проблеме познаваемости. Вот почему борьба современных психологических учений является боем за цитадель идеализма, и торжество материализма в психологии равноценно изгнанию идеализма из его последнего убежища. Исключительный интерес приобретает для нас психология также благодаря промежуточному положению своего объекта между науками естественными и общественными; другими словами, в силу того, что психические явления суть явления биосоциальные.

В настоящее время, без опасности ошибиться, можно утверждать, что метафизическая и самодовлеющая психология накануне агонии. В работах И. П. Павлова и В. М. Бехтерева изучение психических явлений обрело прочную материалистическую базу [1]), вступило на путь, верно ведущий к господству современной научной [2]) методологии в науке о реакциях человека, ко включению психологии в круг остальных наук, следовательно, к окончательному торжеству материализма. Монистическое понимание психофизиологических процессов и их объективное изучение точными, усовершенствованными

[1]) Несмотря на непоследовательное отмежевывание от материализма основоположника рефлексологии.

[2]) Т.-е. марксистской.

физиологическими методами сулят блестящие перспективы доселе бесплодной науке.

Реактология [1]), однако, не отрицает значения явлений сознания, психического и т. п., не отбрасывает их прочь, как иллюзорные (пасквильный материализм Енчмена), не отказывается от использования и анализа данных субъективного наблюдения [2]). Напротив, реактология объясняет психические явления, включая их в общую связь энергетических процессов, раскрывая материальную субстанциональность прежде метафизических понятий. „Уже с самого начала при обосновании рефлексологии, как научной дисциплины, объективно изучающей личность, мы не противополагали ее субъективной психологии и ничуть не исключали последнюю“ [3])... „В этом направлении можно пойти дальше и говорить о возможном и даже неизбежном в будущем построении рефлексологии с особенным рассмотрением субъективных явлений, сопровождающих развитие сочетательных рефлексов в мозгу“ [4])... Субъективная психология должна опираться на прочный научный фундамент физиологии, контролируя свои наблюдения в свете объективного исследования. Более того,—только общими усилиями обеих наук достижимо наиболее совершенное изучение сложнейших проблем, стоящих перед ними.

В ряду современных субъективистских учений, психоаналитическая школа, возглавляемая венским профессором Зигмундом Фрейдом, представляет для нас несомненный интерес. Многочисленные яростные нападки на психоанализ буржуазного ученого мира не могли сдержать распространения учения, и в настоящее время оно насчитывает многочисленных и авторитетных сторонников во всех странах [5]).

Краеугольным камнем учения Фрейда является „бессознательное“. „Психическое“ и „сознательное“—понятия не тождественные. Первое шире второго и включает, наряду с „сознательным“, другую сферу—„бессознательное“, неосознанное, находящееся вне того, что Бехтерев называет „личным комплексом“. Бессознательное не есть только une façon de parler, а представляет нечто вполне реальное, оказывающее вполне реальные влияния и вызывающее ощутимые следствия, оставаясь латентным (скрытым) для сознания. Ядро системы

[1]) Я предпочитаю этот термин, употребляемый тов. Корниловым, термину „рефлексология“. Первый менее узок и более выразителен для наименования науки о „соотносительной деятельности“.

[2]) Об этом см. В. Бехтерев, „Общие основы рефлексологии человека“, изд. 2-е, гл. XVIII.

[3]) В. Бехтерев, „Общие основы“, стр. 344.

[4]) Ibidem, стр. 345.

[5]) Подробно о развитии и распространении психоанализа см. S. Freud, „Очерк истории психоанализа“ в сборнике „Основные психологические теории в психоанализе“, Гос. Изд. 1923 г.

бессознательного составляют влечения, органические тенденции, которые стремятся дать выход своей энергии. Эти тенденции аналогичны унаследованным инстинктам животных, сложившимся в процессе видовой эволюции. К этому ядру присоединяются представления и влечения детского возраста (инфантильные), вытесненные из сознания в ходе индивидуального развития человека, как неприемлемые для него. Помимо этих составных элементов, резко отличных от сознательных, бессознательное содержит также акты только временно бессознательные, не успевшие проникнуть в сознание [1]). Возможно влияние бессознательного одного человека на другого, минуя сознание. Каждый отдельный процесс сперва принадлежит психической системе бессознательного и при определенных условиях может перейти в систему сознательного. Но необязательно, чтобы каждый психический процесс непременно превратился в сознательный. Бессознательное представляет собой психическую систему со своеобразными движениями, механизмами, собственными способами выражения. В отличие от способа выражения логического, словесного, характерного для сознания, бессознательное может быть определено, как дологическое, бессловесное. Сознательное представление состоит из предметного представления плюс соответствующее словесное представление, а бессознательное—из одного предметного представления [2]).

Как внутренние органические влечения, так и внешние восприятия беспрепятственно воспринимаются в бессознательном, но встречают преграды для перехода в сферу сознательного. Преграду эту Фрейд называет „цензурой". Цензура охраняет сознание от проникновения в него недопустимых для „я", отчасти рудиментарных-филогенетических, отчасти инфантильных влечений. Неприемлемость для развитого „я", для этических, эстетических и т. п. установок личности является причиной так называемого вытеснения из сознания. „Вытеснение"—второе, наряду с „бессознательным", основное положение психоанализа. Росту „я" соответствует усиление цензуры и вытеснения. На почве борьбы между бессознательными влечениями и вытесняющим их „я" создается конфликт, могущий разрешиться или победой бессознательных органических влечений, следствием чего является регрессия к инфантильности и „извращенность", или компромиссом между обеими тенденциями (так называемой интерференцией); наконец, третья возможность—победа „я" и „ущемление аффекта" (вытеснение). Однако вытеснение не убивает влечения. Оно сохраняется как бессознательное и или сублимируется [3]), или становится причиной образования невроза. Осознание бессознательной причины невроза (преодоление амнезии) при помощи сосредоточения на нем и ослабления цензуры и перерешение конфликта при новом соотношении сил (после довоспитания),—такова терапия психоаналитика. Фрейд работал преимущественно над истерией, неврозом навязчивости, паранойей, dementia praecox (схизофренией) и фобиями.

[1]) „Бессознательный, resp. неподотчетный, ряд, или „подсознанно" по субъективной терминологии, нельзя смешивать с теми чисто-нервными процессами низших центров, которые в развитом организме не имеют вообще ничего общего с сознанием" (В. Бехтерев, l. c., стр. 388).

[2]) Под этим углом зрения открывается любопытная перспектива для исследования докультурного сознания, а также генетики речи и мышления.

[3]) О сублимировании см. ниже.

Выше мы видели, что ядро системы бессознательного образуют влечения. Что разумеет Фрейд под этим понятием? Влечение отличается от раздражения тем, что последнее исходит из внешнего мира через органы восприятия, а влечения вызываются процессами внутри организма. Раздражение отличается от влечения не только по своему происхождению, но и по выявлению. Раздражение действует как единичный толчок или как сумма их, а влечение характеризуется как постоянная волевая сила (потребность). Соответственно своему различию раздражение и влечение вызывают различные реакции [1]). В филогенетическом аспекте влечения, в значительной части, представляют собою осадки влияния внешних раздражений, воспринятых организмом в процессе родового и видового приспособления.

Фрейд тщательно исследовал при помощи психоаналитического метода сексуальные влечения (либидо). Изучая сексуальное в бессознательном, Фрейд делает ряд значительных и интересных заключений о развитии либидо. Сексуальные влечения присущи человеку и до половой зрелости. С первых же дней жизни ребенок проходит ряд фаз прегенитального развития либидо, когда последнее не находится под гегемонией гениталий и не имеет целью продление рода. Первые фазы сексуального развития индивида (представляющие сконцентрированное повторение филогенезиса) аутоэротичны (лишены объекта) и выражаются в том, что Фрейд называет Organlust (наслаждение органов). Таковы в раннем детстве оральная зона (эрогенна слизистая оболочка рта), позднее—анальная (эрогенен anus) и мастурбационная. Первые объекты либидо инцестуозны (кровосмесительны) и направлены на родителей, позднее—братьев и т. п. К периоду половой зрелости посредством вытеснения устраняются предыдущие фазы, сохраняясь лишь отчасти, в качестве прелиминарных актов при приимате гениталий и с конечной целью, направленной к продлению рода. Однако конституциональные предрасположения и несостоятельность (так называется невозможность удовлетворения половых потребностей нормальным путем) влекут за собой регрессию к инфантильной сексуальности, фиксацию на прегенитальных ступенях либидо, следствием чего бывают извращения. В других случаях, при исходящей между либидо и „я" борьба заканчивается компромиссом: либидо условно выявляется в форме невротических симптомов. Не следует удивляться, что объектом изучения психоаналитиков являются пато-

[1]) Влечения представляют полную аналогию той категории нервных регуляций, которые носят у Сеченова наименование „системных чувств". См. Сеченов, „Физиологические очерки", часть 2, изд. Поповой, СПБ. 1898 г., стр. 66 и сл.

логические явления. Причина такого предпочтения—большая рельефность, более резкое выявление недоступных в нормальных условиях влечений, их, так сказать, гиперболичность. Однако в количественно меньшем объеме все эти явления могут быть наблюдаемы и у нормальных людей. Фрейд называет эти последние явления „психопатологией обыденной жизни".

Та же игра бессознательных сил может быть изучена и на сновидениях. Сновидения имеют целью охранять сон от всяких внешних и внутренних раздражений. Достигается это тем, что воспринимаемые раздражения разрешаются не периферически, моторно (что нарушило бы сон), а центрально, в форме сновидений. Материалом сновидения является наиболее сильные дневные переживания, не вполне подавленные сном, соединяющиеся с бессознательными влечениями, обычно скрытыми от человека, игре которых благоприятствует ослабление контроля „я" во сне. Благодаря этому истолкование сновидений—один из наиболее удобных методов обнаружения бессознательных стремлений. „Снотолкование,—говорит Фрейд,—есть via Regia к познанию бессознательного". Но обнаружение это сопряжено с огромными трудностями, благодаря искажающему действию цензуры. Фрейд отличает скрытый смысл сновидений от их явного содержания, искаженного цензурой. Нужно произвести работу, противоположную искажению, чтобы восстановить истинный смысл сновидения. И, чем глубже бессознательное, чем неприемлемее оно для „я", тем искаженнее оно выражено в явном сновидении, тем более подвержено оно амнезии. Инфантильные сны, благодаря незначительному развитию „я" ребенка, значительно свободнее от искажений цензуры и потому особенно удобны для первоначального изучения. Они с полной наглядностью обнаруживают свою природу. Содержанием детских снов является осуществление галлюцинаторным способом (центрально) волнующих ребенка желаний. Другим осложняющим снотолкование обстоятельством являются регрессия мышления во время сна к дологичности и символике зрительных образов. Отсюда перед психоанализом снова открываются научные перспективы, далеко заходящие за пределы психологии,—в область слово- и мифотворчества. Со сновидениями сходны по своей сущности грезы, „сны наяву". Так же, как и в сновидениях, но при более строгой цензуре и менее архаичном мышлении, грезы осуществляют галлюцинаторным способом затаенные влечения субъекта.

Переходя к анализу ординарных обмолвок, описок, очиток, ошибочных и симптоматических действий, психоанализ вскрывает и их скрытый смысл, стоящую за ними игру бессознательного. Ни одно из указанных проявлений не является случайным, они не обусловлены осознанными причинами, но детерминированы бессознательным. За всякой обмолвкой, опиской и т. п. может быть обнаружена скрытая мысль, вытесняемая „я", но прорвавшаяся в речь. Такие явления взаимного проникновения скрещивающихся тенденций (сознательного и бессознательного) Фрейд называет интерференцией. Ошибочные действия и т. п., будучи компромиссным, частичным удовлетворением отвергаемых влечений, соответствуют симптомам при неврозе навязчивости. Между сознательным и бессознательным нет непроходимой грани. В обмолвках, например, чрезвычайно легко осознание их бессознательных причин при некотором сосредоточении на обмолвке. На этом стремлении к осознанию неосознанного, посредством сосредоточения на ассоциированных с бессознательным представлениях, основывается вся техника психоанализа. В перерешении осознанного конфликта заключается, как я уже упоминал, сущность психоаналитической терапии.

Таковы в самом сжатом изложении основные черты учения [1]). Естественно, что при догматическом изложении целый ряд выводов кажется парадоксальным. Изложение затрудняется благодаря тому, что психоанализ не представляет собой законченной системы, а лишь несистематизированные искания и достижения, проникнутые единством метода. Выводы психоанализа чреваты множеством разносторонних перспектив и открывают новые точки зрения на сопредельные, неисследованные еще области.

Дело специалистов—проверка и развитие исследований Фрейда. Я ограничусь анализом исходных методологических посылок и итоговых выводов психоаналитического учения в свете диалектического материализма.

Психоанализ не только по своей терминологии, но и по трактовке вопросов—учение субъективистское, и естественно, первый вопрос, напрашивающийся при оценке психоанализа: не противоречит ли это субъективистское учение объективному изучению соотносительной деятельности, сторонниками которого мы являемся. Сам Фрейд совершенно недвусмысленно относится к вопросу о взаимоотношении между его учением и объективно-физиологическим подходом. „Созданное нами научное здание психоанализа в действительности является надстройкой, которая когда-нибудь будет стоять на своем органическом фундаменте; но мы пока не знаем этого фундамента" [2]). В самом деле, реактология находится еще на начальной ступени своего развития и не дает вполне прочного органического фундамента для трактовки сложных проблем, изучаемых психоанализом. Один из основоположников рефлексологии справедливо сказал: „Мы проще, чем психологи; мы строим фундамент нервной деятельности, а они строят высшую надстройку, и так как простое, элементарное, понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наше исследование, наш успех нисколько не зависит от их исследований. Мне кажется, что для

[1]) Я сознательно опустил целый ряд проблем, во избежание усложнения изложения и растворения в них самой сути учения.

[2]) Prof. S. Freud, „Лекции по введению в психоанализ", т. II, Гос. Изд., Москва—Петроград 1922 г. Стр. 177.

психологов, наоборот, наши исследования должны иметь очень большое значение, так как они должны впоследствии сост вить основной фундамент психологического знания" [1]). Как мы видели выше, таково же и мнение В. М. Бехтерева. Однако резко подчеркнутая Павловым в приведенной цитате зависимость психологии от достижений рефлексологии, не вполне применима к психоанализу. Несколькими строками ниже Павлов поясняет свою мысль: „Таким неблагоприятным условием психологического исследования является тот факт, что исследование это не имеет дела с сплошным непрерывным рядом явлений. Ведь, в психологии речь идет о сознательных явлениях, а мы отлично знаем, до какой степени душевная психическая жизнь пестро складывается из сознательного и бессознательного" [2]). Дело в том, что психоанализ, в отличие от психологии, о которой идет речь, занимается изучением бессознательных явлений психики. „Цель у него только одна—открыть бессознательное в душевной жизни" [3]). Что касается непрерывности ряда сознательных и бессознательных явлений, то вся техника психоанализа покоится на ней (непрерывности). „Осознание бессознательного"—таков лозунг психоаналитической терапии. „Каждый отдельный процесс сперва принадлежит к психической системе бессознательного и при определенных условиях может перейти в систему сознательного" [4]). „Условное отождествление психического с сознательным оказывается абсолютно нецелесообразным. Оно нарушает психическую непрерывность, ввергает нас в неразрешимые трудности психофизического параллелизма, вызывает упрек в том, что без достаточных оснований переоценивают роль сознания" [5])... Психоанализ стоит на той же монистической позиции, что и рефлексология. „Говорили,—пишет Фрейд,—что психоанализу (психоанализ? *Б. Б.*) стараются (старается? *Б. Б.*) дать чисто-психологическую теорию невротических явлений, а это дело совершенно безнадежное, потому что психологические теории никогда не могут объяснить болезни. Изволили забыть, что сексуальная функция [6]) не представляет собой нечто чисто-психическое так же, как и не что-то только соматическое. Она оказывает влияние на телесную и душевную жизнь. Если мы в симптомах психоневрозов познакомились с выражением нарушения психического влияния сексуальной функции, то нас не удивит, если мы найдем в актуальных неврозах, непосредственные соматические следствия сексуальных нарушений" [7]). И далее, после некоторых соображений: „...Мы должны видеть в неврозах следствие нарушения сексуального обмена веществ или потому, что таких сексуальных токсинов производится больше, чем может преодолеть данное лицо, или потому, что внутренние или даже психические условия не допускают правильного устранения из организма этих веществ" [1]). Это значительно уступает рефлексологии в смысле однозначности терминологии и четкости мысли, но суть дела от этого не изменяется. Что собой представляет „психический факт", столь уважаемый Фрейдом? [2]). „Важно выяснить, происходят ли отдельные душевные проявления непосредственно из физических, органических, материальных воздействий, и в таком случае изучение их не дело психологии, или же явления происходят и связаны с другими психическими процессами, за которыми уже где-то дальше скрывается ряд органических причин. Психическими процессами мы всегда называем только процессы второго рода" [3])... Классификация, имеющая под собой такую условную и вторичную основу, как непосредственность, несомненно, шатка, но, по существу, такого рода психические процессы являются вполне объективными, и психоанализ относится к ним, несмотря на терминологию, как к сложно-органическим, материальным процессам, складывающимся в процессе видовой и индивидуальной эволюции. Характеризуя представления, аффекты и чувства, Фрейд пишет: „...Представления являются в сущности следами воспоминаний, между тем как аффекты и чувства соответствуют процессам израсходования энергии, конечное выражение которых воспринимается как ощущение" [4]). Устанавливаемые Фрейдом два принципа психической деятельности [5]) представляют собой не что иное, как субъективное отражение собственно соотносительной деятельности (принцип реальности) и такое же отражение внутриорганических влечений (принцип удовольствия). Сложнейшие явления сознания возникают в процессе развития соотносительной деятельности (значения реальности). „Возросшее значение внешней реальности повысило роль обращенных к внешнему миру органов чувств и связанного с ним сознания... Была выработана особая функция—внимание, в задачу которой входило периодически обследовать внешний мир... Весьма вероятно, что одновременно с этим была введена система отметок, которая должна была сохранять продукты этой периодически осуществляемой деятельности сознания,—часть того, что мы называем памятью... Ставшая необходимой задержка моторного проявления

[1]) Акад. И. Павлов, „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных", Гос. Изд. Москва—Петроград 1923 г. Стр. 65.

[2]) Ibidem.

[3]) S. Freud, l. c., стр. 177.

[4]) Ibid., стр. 84.

[5]) Freud. Сб. „Основные психологические теории в психоанализе", стр. 127. Курсив мой.

[6]) Главный объект исследования психоаналитиков!

[7]) Freud, „Лекции", т. II, стр. 176.

[1]) Ibid., стр. 177.

[2]) „Удивительно, как мало у нас в сущности уважения к психическому факту" (Freud, „Лекции", т. I, стр. 54). Противопоставление психической реальности материальной (ibid., стр. 159) к данному вопросу отношения не имеет, так как речь идет в обоих случаях о „психических фактах", различающихся своим взаимоотношением с объектами внешнего мира.

[3]) „Лекции", т. I, стр. 66.

[4]) „Основные психологические теории", стр. 136—137. Курсив мой.

[5]) Ст. „Положения о двух принципах психической деятельности", ibidem.

(действия) осуществлялась процессом мышления“ [1])... Наконец, психоанализу не чуждо подведение не только раздражений, но и влечений под схему рефлекса. „Она (физиология. *Б. Б.*) дала нам понятие о раздражении (Reiz) и о рефлексной схеме, по которой внешнее раздражение, действующее на живую ткань (или нервное вещество), посредством движения переводится наружу. Это движение целесообразно, так как избавляет раздражимое вещество от действия раздражителя, удаляет это вещество из среды влияния раздражения“ [2]). И далее: „Ничто не мешает нам подвести понятие о влечении под понятие раздражений“ [3]).

Когда ближе знакомишься с психоанализом, не только убеждаешься в его согласуемости с реактологией, но и начинаешь сомневаться в его субъективизме. Субъективизм кажется затемняющей суть дела оболочкой. В самом деле, психоанализ—учение о бессознательном, о чем-то, происходящем вне пределов субъективного, „я“. Бессознательное реально воздействует на реакции организма, часто руководя ими. Бессознательное не может быть изучаемо через сознание, субъективно. Это и служит причиной того, что Фрейд изучает объективные проявления бессознательного (симптом, ошибка и т. д.), ищет условия минимального участия сознания (сон, детский возраст). Все это безусловно приемлемо для реактологии. В отношении цензурирующего „я“, второго из образующих конфликт элементов, также не возникает никаких сомнений. Фрейдовское „я“ носит в учении Бехтерева наименование „личного комплекса сочетательных рефлексов“ [4]).

Согласуемость психоанализа с реактологией не ограничивается изложенным. Она значительно глубже, распространяясь на основу основ теории — энергетизм психических процессов. Энергетическое понимание психических процессов пронизывает от начала до конца психоаналитическое учение Фрейда [5]). Энергетика носит у Фрейда название „экономической точки зрения“. „Одно только можно с уверенностью утверждать, а именно, что наслаждение каким-то образом связано с уменьшением, понижением или угасанием имеющегося в душевном аппарате количества раздражений, а неудовольствие—с их повышением. Исследование самого интенсивного наслаждения, доступного человеку, наслаждения при выполнении полового акта, не оставляет места сомнению в этом пункте. Так как при таких процессах наслаждения дело касается учета количеств душевного раздражения или энергии, то рассуждения такого рода мы называем экономическими... Мы можем сказать, что душевный аппарат имеет своей целью одолеть и освободиться от воспринимаемых им извне и изнутри раздражений и возбуждений“ [1]). В другом месте он пишет: „У нас, разумеется, нет никакого основания утверждать, что между двумя группами влечений (речь идет о сексуальных влечениях и влечениях „я“. *Б. Б.*) имеется, хотя по существу и нелегко уловимое, различие. Обе группы представляются нам только названиями источников энергии индивида, и обсуждение вопроса о том, являются ли оба в своей сущности одним и тем же, или чем-то существенно различным, а если одним и тем же, то когда именно они отделились друг от друга,—не может вестись относительно понятий, а только относительно тех биологических фактов, которые обозначаются этими понятиями“ [2]). Еще определеннее выражается Фрейд, характеризуя аффекты: „Аффект, во-первых, включает определенные моторные интервации или оттоки энергии“ [3])... Напомним, что сублимирование энергии является существенным моментом психоаналитической терапии. После этого, кажется, не остается сомнений в том, что психоанализу не чуждо энергетическое понимание психических явлений, трансформация внешних раздражений в психическую энергию и, наоборот, моторные явления, как отток энергии, а также единство различных видов энергии.

Уже из приведенных цитат явствует, что энергетизм понимается Фрейдом биологически, материально. В пользу этого утверждения нетрудно привести еще несколько доводов. Так, например, различая раздражения от влечений, Фрейд в качестве примера последних приводит сухость слизистой оболочки рта и раздражение кислотой слизистой оболочки желудка [4]). Характеризуя сексуальное влечение, он пишет: „Накопление половых продуктов создает и поддерживает половое напряжение. Может быть, давление этих продуктов на стенки их вместилища действует раздражающе на спинальный центр; состояние возбуждения последнего воспринимается высшими центрами, и тогда в сознании возникает известное нам половое напряжение“ [5]). Далее отмечаются слабые стороны этой гипотезы и приводится токсическая теория. „Впрочем,—продолжает Фрейд,—я не придаю большой цены вышеуказанному положению и сейчас же готов отказаться

[1]) Ibid., стр. 84—85. Курсив Фрейда.

[2]) Ibid., стр. 104.

[3]) Ibid. Следует различение обоих понятий по происхождению—извне и изнутри. В ст. „Бессознательное“ Фрейд устанавливает полную аналогию между восприятием внешних раздражений и внутренних бессознательных влечений, сравнивая функцию сознания в этом последнем случае с функцией воспринимающих органов (органов чувств) (Ibid., стр. 130).

[4]) См. Бехтерев, „Общие основы рефлексологии“, гл. 53. Там же, в гл. 51—52, сделана попытка „подстановки“ рефлексологических терминов под основные понятия психоанализа.

[5]) Кстати сказать, энергетизм не получил у Бехтерева последовательно-материалистического решения, и вполне свободную от идеалистических рудиментов трактовку получил в работах проф. К. Н. Корнилова (см. его „Учение о реакциях человека“, гл. 8).

[1]) „Лекции“, т. II, стр. 146. См. там же рассуждение на стр. 164.

[2]) Ibid., стр. 201.

[3]) Ibid., стр. 184 См. там же ст. „Печаль и меланхолия“ в сб. „Основные псих. теории“, где дается энергетическое объяснение меланхолии и маниакальности.

[4]) „Основ. псих. теорий“, стр. 104.

[5]) Prof. S. Freud, „Три статьи о теории полового влечения“, изд. „Наука“, Москва 1912, стр. 88.

от него в пользу другого, если только сохранить основу этого положения, именно—обращение внимания на сексуальный химизм" [1]). Цитируемая работа заканчивается словами: „Неудовлетворяющий результат, к которому приводят эти исследования расстройств половой жизни, зависит от того, что мы очень мало знаем о тех биологических процессах, в которых заключается сущность сексуальности, а поэтому и не в состоянии создать из наших отдельных взглядов теорию, удовлетворительно объясняющую нормальную и патологическую половую жизнь" [2]).

Но вернемся к вопросу об энергетизме. Его значение в психоанализе особенно повышается благодаря динамизму, красной нитью проходящему через все учение. „Наша задача не только описывать и классифицировать явления, но и понять их, как результат борьбы душевных сил, как выражение направляющих к определенной цели стремлений, или действующих совместно, или направленных друг против друга. Мы стремились к динамическому пониманию душевных явлений" [3]).

И действительно, нет ни одного явления, к которому психоанализ относился бы статически, метафизически. Идет ли речь об обмолвках, ошибочных действиях или о толковании сновидений, о страхе или о бессознательном,—все они мыслятся как процессы, динамически. „Выражение бессознательный, употребляемое нами до сих пор только в описательном смысле, получает теперь более расширенное значение. Оно обозначает теперь не только латентные мысли, а особенные, отличающиеся динамическим признаком, а именно такие, которые остаются вдали от сознания, несмотря на свою интенсивность и действенность" [4]). Динамичны абсолютно все понятия психоанализа: интерференция, цензура, вытеснение, регрессия, перенесение и т. д. Все психофизиологические процессы не только мыслятся, как процессы, но неизменно как борьба противоположных тенденций. „Душевная жизнь представляет собой арену борьбы и действия противоположных тенденций, или, выражаясь нединамически, в ней имеется противодействие двух противоположных психических пар. Так что, если можно доказать существование у человека одной определенной тенденции, то этим вовсе не исключается возможность одновременного существования противоположной тенденции. Найдется достаточно места для обеих. Все будет зависеть от того, как относятся друг к другу эти противоположности, и как влияют они друг на друга" [5]). Типичны с этой точки зрения понятия биполярности, амбивалентности и изменчивости чувств [6]), кото-

[1]) Ibid., стр. 90.
[2]) Ibid., стр. 116.
[3]) „Лекции", т. I, стр. 72. Курсив Фрейда.
[4]) „Основ. псих. теорий", стр. 77.
[5]) „Лекции", т. I, стр. 82. Ср. приложение этого принципа ко сну и ошибочным действиям (Ibid., стр. 134, п. 7).
[6]) См. об этом ст. „Влечения и их судьба", а также „Лекции", т. II, стр. 90.

рые вплотную подводят психоаналитический динамизм к диалектике. Даже старый диалектический тезис о качественных различиях, как узловых пунктах количественных вариаций, находит свое выражение у Фрейда. Так, сексуальные извращения отличаются от сексуальных проявлений нормального человека количественно,—„той исключительностью, с которой совершаются эти отступления (от сексуальной цели. *Б. Б.*)" [1]). То же—в отношении неврозов „эдиповского комплекса" [2]) и фетишизма. „Известная степень такого фетишизма неизменно присуща нормальной любви... Такого рода случаи следует считать патологическим только с того момента, когда стремление к фетишу выходит за определенные границы и заменяет собою нормальную сексуальную цель... Таковы общие условия перехода просто вариаций полового влечения в патологические извращения" [3]). Для довершения характеристики методологии учения Фрейда, как последовательно и всесторонне диалектической, обращают внимание на исключительное по значительности место, занимаемое в нем фило- и онтогенетикой [4]). Развитие при этом мыслится не эволюционно, а безусловно диалектически. „...Сексуальная жизнь,—как мы говорим, функция либидо,—появляется не как нечто готовое, и не растет, имея всегда один и тот же вид, а проделывает ряд следующих одна за другой фаз, не похожих друг на друга, что, следовательно, мы имеем тут процесс неоднократно повторяющегося развития, как, например, от гусеницы до бабочки" [5]).

Таким образом мы приходим к заключению, что, не взирая на на субъективистскую оболочку, психоанализ в основе своей есть учение, проникнутое монизмом, материализмом (не злостный энергетизм всегда есть не доведенный до логического конца материализм) и диалектикой, т-е. методологическими принципами диалектического материализма. Это не значит, что я „подозреваю" Фрейда в знакомстве с диалектическим материализмом. Отнюдь нет. Я хочу на этом примере непроизвольного материалистического учения еще раз доказать, что факты—упрямая вещь. Мы совершенно не гарантированы от самых неожиданных идеалистических выходок психоаналитиков. Но, ведь, стало тривиальным утверждение, что, когда дело клонится к материализму, логическая последовательность исчезает из числа добродетелей даже лучших буржуазных ученых. Но от этого становятся менее убедительными только буржуазные ученые, но никогда—факты и логика.

Тождество методологической природы психоанализа с диалектическим материализмом указанными принципами не исчерпывается. Психоанализ, как строго научная теория, базируется на постулате

[1]) „Лекции", т. II, стр. 111.
[2]) Ibid., стр. 128.
[3]) „Три статьи о теории полового влечения", стр. 24—25.
[4]) См. „Лекции", гл. 10, 13, 20, 22, 25, 26.
[5]) „Лекции", т. II, стр. 117—118.

детерминизма. „Психоаналитик отличается особо строгой уверенностью в детерминации душевной жизни. Для него в психической жизни нет ничего мелкого, произвольного и случайного. Он ожидает повсюду встретить достаточную мотивировку, где обыкновенно таких требований не предъявляется“ [1]). „В вас глубоко внедрена вера в психическую свободу и в произвол; но вера эта противоречит научному пониманию и должна сложить оружие перед требованиями детерминизма, господствующего также и в области душевной жизни“ [2]). Огромнейшая заслуга психоанализа заключается в предельном распространении детерминизма на явления „случайные“, адетерминистичные par excellence. Психоанализ вскрывает детерминистическую природу, обмолвки, описки и т. д., обнаруживает каузальную закономерность в так называемых случайных поступках, выясняет строгую обусловленность сновидений [3]). Предельные области, по отношению к которым приходилось ограничиваться дедуцированием детерминизма, обнаруживают свою закономерность в причинном ряду и после индуктивного изучения. А, ведь, речь идет о явлениях, исключительным смыслом которых считалась бессмысленность, отличительной чертой—случайность. Более того,—психоанализ обнаруживает и причину того, что указанные явления мнятся случайными и бессмысленными. Этой причиной является их происхождение из системы бессознательного, то обстоятельство, что они диктуются влечениями неосознанными. Детерминизм делает новое завоевание. Марксистская формула о том, что случайным нам кажется то, причин чего мы не знаем, приобретает новый углубленный смысл.

Научное истолкование указанных „случайных“ явлений имеет, кроме того, большое значение для понимания целого ряда суеверий и борьбы с ними. Научное истолкование суеверий вместо мистической их интерпретации, конечно, много убедительнее одного лишь опровержения мистики. И для науки, несомненно, ценны такие, например, выводы: „Не приходит ли вам в голову, что в этих примерах (забывание, ошибочные действия, затеривание. *Б. Б.*) ошибки заняли место omina или предзнаменований древних народов. В действительности, часто omina были не чем иным, как ошибочными действиями, например, когда кто-либо спотыкался или падал“)... Толкование сновидений принимает, как мы видели, у Фрейда строго научный характер. Русский переводчик, психоаналитик д-р М. Вольф, после приводимого Фрейдом примера правильного истолкования сна

[1]) S. Freud, „О психоанализе“, изд. „Наука“ Москва 1912, стр. 43.

[2]) „Лекции“, т. I, стр. 110.

[3]) „Оказалось, что символика наших сновидений, столь свободная и необузданная в своей фантастике, повторяемая нами в области художественного творчества, на самом деле не фантастична, не свободна, а совершенно предопределена и детерминирована“. М. Рейснер, „Проблема психологии в теории исторического материализма“,—„Вестник социалист. академии“, кн. 3, стр. 233.

[4]) „Лекции“, т. I, стр. 64.

Александра Македонского древними делает справедливое замечание: „Верно в смысле осуществления желаний Александра (во сне. *Б. Б.*), а не предсказания будущего“ [1]). Фрейд именно так и понимает. В одной из своих лекций, читанных в Clark University in Worcester Mass, он говорит: „Низшие слои нашего населения и теперь еще не позволяют совратить себя с истинного пути в отношении толкования сновидений и ожидают от снов, как и древние, раскрытия будущего. Должен признаться, что я не имею ни малейшей потребности в мистических предпосылках для пополнения пробелов в наших современных знаниях, и потому я не мог найти ничего такого, что могло бы подтвердить пророческое значение снов. Относительно сновидений можно сказать много другого, также достаточно удивительного“ [2]). Таков вклад Фрейда в научный арсенал против суеверий, как примитивных, так и рафинированных (мистицизм, телеологизм, интуитивизм). „Область свободной интуиции, которая для многих мистиков является последним прибежищем, как, например, для Бергсона и некоторых других,—эта область в настоящее время постепенно раскрывается, и она дает новую закономерность, а, может быть, и более устойчивую, нежели та, которую мы находим в области эстетического восприятия и восприятия логического“ [3]).

Главным предметом изучения Фрейда является сексуальная жизнь: инфантильная сексуальность, половые извращения и психоневрозы на эротической почве. Фрейд, несомненно, переоценивает этиологическое значение сексуального момента, на что неоднократно указывали не только его противники, но и некоторые сторонники. Например, об этиологии неврозов Фрейд говорит: „Я не знаю, почему другие, не сексуальные душевные волнения не должны вести к тем же результатам, и я ничего не имел бы против этого (это не шло бы вразрез с принципами психоанализа. *Б. Б.*); но опыт показывает, что они подобного значения не имеют, и самое большее, что они помогают действию сексуальных моментов, но никогда не могут заменить последних“ [4]). В другом месте он пишет еще решительнее: „Весьма возможно, что в организме не происходит ничего значительного, что не служило бы в то же время одним из компонентов полового влечения“ [5]). В более поздней своей работе Фрейд относится к вопросу осторожнее и совершенно справедливо замечает: „Пользуясь (пользуюсь?) случаем предупредить вас тут, чтобы вы не становились ни на какую сторону в совершенно излишнем споре. В науке очень принято выхватывать частицу истины, ставить ее на

[1]) Ibid., стр. 247.

[2]) „О психоанализе“, стр. 37.

[3]) М. Рейснер, l. c., стр. 233.

[4]) „О психоанализе“, стр. 47.

[5]) „О теории полового влечения“, стр. 76.

место всей и оспаривать в пользу этой частицы все остальное, не менее верное. Таким путем откололись уже несколько направлений от психоаналитического движения, из которых одно признает только эгоистические влечения, отрицая зато сексуальные, другое придает значение только влиянию реальных жизненных задач, не замечая значения индивидуального прошлого и т. п." [1]). Сказанное, как мы видели, в некоторой мере относится и к самому Фрейду, поскольку он недооценивает иных факторов, помимо сексуального. Впрочем, в цитируемом труде он отрешается от односторонности специалиста. Так, на стр. 64 он указывает на травматические неврозы, возникающие во время войны на почве самосохранения. А после заявления на стр. 140 вопрос можно считать исчерпанным. Заявление гласит: „Очень часто случалось, что когда психоанализ приписывал какой-нибудь душевный процесс проявлению сексуальных влечений, то ему с досадливым возмущением указывалось, что человек состоит не из одной сексуальности, что в душевной жизни существуют еще и другие влечения и интересы, кроме сексуальных, что нельзя „все" сводить к сексуальности, и т. п. И вот очень приятно иной раз быть того же мнения, что и противники. Психоанализ никогда не забывал, что существуют и не-сексуальные влечения, он построен на резком разделении сексуальных влечений и влечений „я", еще до того, как стали раздаваться возражения, он не утверждал, что неврозы происходят от сексуальности, а что обязаны своему происхождению конфликту между „я" и сексуальностью. У него нет и никакого разумного мотива для того, чтобы оспаривать существование и значение влечений „я", в то время, как сам он изучает в болезни и в жизни роль сексуальных влечений. Дело заключается в том, что на его долю выпало в первую очередь заниматься изучением сексуальных влечений, потому что, благодаря неврозам перенесения, эти влечения оказались самыми доступными изучению, и потому, что ему пришлось изучать то, чем пренебрегли другие" [2]). Учтя это соображение, мы можем перейти к вопросу о патогенности сексуального.

Фрейд доказывает наличие инфантильной сексуальности и предрасположения ребенка к полиморфной извращенности. Но „сексуальные стремления детских лет, с одной стороны, бесполезны, так как функция продолжения рода неисполнима, что представляет главную характерную черту латентного периода, с другой же стороны, они сами по себе являются извращенными стремлениями, т.-е. исходят из эрогенных зон и вызываются влечениями, которые при определенном направлении развития индивидуума (в сторону нормы) могут дать только чувство неудовольствия. Поэтому они возбуждают в душе

[1]) „Лекции", т. II, стр. 136.
[2]) Ibid., стр. 140—141.

противные силы (реактивные образования), которые для действительного подавления такого чувства неудовольствия строят... психические плотины—отвращение, стыд и мораль" [1]). Таким образом инфантильные сексуальные влечения в процессе развития оттесняются, во-первых, в силу своей физиологической нецелесообразности и, во-вторых, в силу моральной неприемлемости для развитого индивидуума. Здесь мы подходим к весьма замечательной „теории конфликта".

Дело в том, что в обществе все проявления человека, не исключая и биологических влечений, приобретают социальный характер. Для общества вовсе не безразлична форма осуществления его членами сексуальных влечений. Вопросы, связанные с народонаселением и брачными формами, неизбежно нормируются обществом, точнее, обусловливаются его социально-экономической структурой. Семейно-брачная единица при общественном устройстве, основанном на частной собственности, представляет собой первичную экономическую ячейку. Одним словом, сексуальная проблема является в обществе не только (даже: не столько) проблемой физиологической, но и социальной [2]). Возникает конфликт между биологической и сексуальной природой человека, благодаря „внешней и внутренней несостоятельности" [3]). Под внешней несостоятельностью разумеется невозможность, в силу социальных препятствий, нормального разрешения сексуального влечения; под внутренней—неприемлемость для „я" (социально-обусловленного) анормального удовлетворения (стыд, отвращение, мораль). С ростом „я" происходит вытеснение из сознания неприемлемых физиологических склонностей. „Наблюдающая за самим собой инстанция известна нам, как цензор „я", как совесть, это та же инстанция, которая ночью выполняет обязанности цензуры сновидения, от которой исходят вытеснения недопустимых желаний. Когда она распадается при „бреде наблюдения", то она раскрывает нам свое происхождение от влияния родителей, воспитателей и социальной среды, от отождествления себя с некоторыми из этих лиц, служащих идеалом" [4]). „Я"—величина социально-переменная и зависит от возраста и социально-этического уровня личности" [5]). „Между настойчивостью полового влечения, с одной стороны, и стремлением отвергать все сексуальное, с другой стороны, создается выход в болезнь, который конфликта не разрешает, но старается избежать его, превращая либидиозные стремления в симптомы психоневроза" [6]). Таков исход-

[1]) „О теории полового влечения", стр. 53. Ярко-субъективистская терминология не может скрыть суть вопроса. А propos: и само деление на сознательное и бессознательное есть деление по субъективному признаку.
[2]) Подробно об этом см. К. Каутский, „Размножение и развитие в природе и в обществе".
[3]) В качестве иллюстрации может служить вся почти буржуазная художественная литература.
[4]) „Лекции", т. II, стр. 216.
[5]) Ср. иллюстрацию „В подвале и в первом этаже", ibid., стр. 142—143.
[6]) „О теории полового влечения", стр. 36.

ный пункт фрейдовской теории психоневрозов. Патогенным, очевидно, является не сексуальное влечение само по себе, а конфликт между естественными влечениями и требованиями социальной действительности. „Учение о вытеснении—фундамент, на котором зиждется все здание психоанализа",—пишет Фрейд [1]). Близость исходного положения психоаналитической теории неврозов к историко-материалистической концепции столь ясна, что я считаю в данном случае излишними всякие комментарии.

Заканчивая оценку учения о психоневрозах, я кратко остановлюсь еще на двух моментах. Во-первых, на сублимировании, как на возможном безболезненном выходе из конфликта [2]). „Оно состоит в том, что сексуальное побуждение отказывается от своей цели, состоящей в получении наслаждения от удовлетворения частичного влечения или удовлетворения влечения к продолжению рода, и ставит себе другую цель, имеющую только генетическую связь с той, от которой пришлось отказаться, но саму по себе уже не сексуальную, а заслуживающую названия социальной" [3]). Короче, речь идет о трансформации сексуальной энергии в высшую, расходуемую на общественную деятельность [4]).

Второй момент, который я хочу отметить, заключается в том, что стимулирующие неврозы и регрессивно-физиологические элементы (конституциональное предрасположение, наследственность и условия последующей переработки сексуальности в онтогенетической эволюции) при дальнейшем исследовании оказываются в значительной степени также обусловленными причинами социального характера.

Как общие причины такого рода, укажу дегенерацию, паразитизм общественного класса и пауперизм. Рассмотрение этого интересного вопроса завело бы нас далеко за рамки темы.

Перейдем к конечным, „действенным" выводам психоанализа, к вопросу о практическом его приложении. Психоаналитическая терапия, естественно вытекая из сделанных заключений о причине неврозов, должна быть более чем медицинской терапией. Так как патогенным является конфликт, порождаемый социальной обстановкой, психотерапия не может не быть социальной терапией. Познакомимся, таковы ли в самом деле выводы психоанализа.

Психоаналитическая терапия начинается с сосредоточения на симптоме, что имеет целью наведение аналитика в поисках вытесненной причины невроза. Далее, в процессе лечения аналитику приходится неизменно встречаться с „перенесением" невротиком (в той или

[1]) „Основ. псих. теории", стр. 25.

[2]) Об исключительном значении сублимирования в современной жизни нашей коммунистической партии см. работы тов. А. Залкинда.

[3]) „Лекции", т. II, стр. 135.

[4]) „Внутренние (т.-е. физиологические. *Б. Б.*) условия двух последних процессов (вытеснения и сублимирования. *Б. Б.*) нам совершенно неизвестны" („О теории полового влечения", стр. 113).

иной форме) чувств на личность врача. „Поскольку его перенесение носит положительный характер, оно придает авторитет врачу, превращается в веру и понимание его слов. Без такого перенесения, или в том случае, если оно отрицательно, он и слушать не стал бы врача и его доказательств" [1]). Мало найти вытесненное, необходимо осознание его невротиком. „Нельзя смешивать патогенного конфликта невротиков с нормальной борьбой душевных движений, находящихся на одной и той же психологической почве. В данном случае борьба разыгрывается между двумя силами, из которых одна достигла ступени предсознательного и сознания, а другая задержалась на ступени бессознательного... Разрешение конфликта может быть найдено только тогда, когда оба встречаются на одной и той же почве" [2]). „Цель наших стараний мы можем выразить в различных формулах: осознание бессознательного, уничтожение вытеснений, выполнение амнестических изъянов,—все это одно и то же" [3]). Чтобы осуществить это, необходимо преодолеть сопротивление цензуры, нужно поднять личность на новую ступень развития. „Эта работа преодоления составляет самую существенную сторону аналитического лечения, больной должен ее проделать, а врач помогает ему в этом при помощи внушения, действующего в воспитательном духе. Поэтому правильно утверждать, что психоаналитическое лечение есть довоспитание" [4]). В каком же духе должно быть это довоспитание? Конечно, не в поповском. Не смирение, не подавление страстей проповедует аналитик. Напротив, „если нравственные ограничения, требуемые обществом, принимают участие в испытываемом больными лишении, то лечение может дать больному мужество или даже прямо указать ему, чтобы он преступил эти преграды и добился удовлетворения и выздоровления, отказавшись от осуществления так высоко чтимого обществом идеала и в то же время нередко неосуществляемого. Можно выздороветь, „изживая" свою сексуальность, хотя при этом на аналитическое лечение падает тень, что оно не служит целям общественной морали" [5]). „Хотя мы не реформаторы, а только наблюдатели, но мы не можем не наблюдать критически, и нашли невозможным стать на сторону условной сексуальной морали, высоко ценить тот способ, которым общество старается разрешить проблемы сексуальной жизни. Мы можем сделать обществу простой расчет, по которому то, что оно считает нравственностью, стоит больших жертв, чем заслуживает, и что образ действий общества не зиждется на искренности и не свидетельствует об уме. Мы не скрываем от наших пациентов этой критики, мы приучаем их к свободному без предрас-

[1]) „Лекции", т. II, стр. 232. Об отличии перенесения от гипнотического внушения, см. ibid., стр. 237.

[2]) Ibid., стр. 220.

[3]) Ibid, стр. 222.

[4]) Ibid., стр. 238. Курсив Фрейда.

[5]) Ibid., стр. 219.

судков обсуждению сексуальных отношений, как и всяких других"[1]... Так логика фактов приводит смелого наблюдателя к тому, чтобы стать по ту сторону буржуазной морали. „Вы, вероятно, уже догадываетесь,—восклицает Фрейд,—насколько результаты лечения зависят от социальной среды и культурного состояния семьи" [2]). Осознание бессознательного влечения после довоспитания делает возможным перерешение конфликта при новом соотношении сил, в результате чего: „или личность больного убеждается, что она несправедливо отказалась от патогенного желания и принимает его всецело или частью, или это желание направляется само на высшую, не возбуждающую никаких сомнений цель (что называется сублимацией), или же отстранение этого желания признается справедливым, но автоматический, а потому и недостаточный механизм вытеснения заменяется осуждением помощью высших психических сил человека; таким образом достигается сознательное овладение несовместимым желанием" [3]).

Не следует, однако, переоценивать возможности изживания своей сексуальности; не нужно забывать о значении „реальной несостоятельности". „Реальная несостоятельность—несчастье жизни, от которого происходят лишения в любви, бедность, семейные раздоры, неудачное супружество, неблагоприятные социальные отношения и строгость нравственных требований, под гнетом которых находится данное лицо. Тут открывается широкое поприще для действительной терапии, но такой должна была бы быть терапия, к которой прибегал, по словам венских народных преданий, император Иосиф,—вмешательство, как благотворителя, могущественного человека, перед волей которого склоняются люди и исчезают всякие затруднения" [4]). Переводя эти проницательные, но крайне наивные слова буржуазного ученого на язык точной общественной науки, мы должны сказать: Современное общество зашло в тупик. Социалистическая революция, разрушающая обветшалые устои капитализма, с его патогенными, социальными и брачными установлениями, социалистическая революция, созидающая гармоничное общество и творящая новую мораль раскрепощенного человечества,—такова истинная могущественная социальная терапия.

Я не склонен переоценивать психоаналитическое учение. Знаю, что оно содержит много спорного и что некоторые заключения Фрейда (которых я старался не касаться в настоящей статье) произвольны и односторонни. Психоаналитическое учение окутано плотной оболочкой субъективизма, и в изложении психоаналитиков явления часто производят впечатление вывороченных на субъективистскую изнанку.

[1]) Ibid., стр. 221.
[2]) Ibid., стр. 247.
[3]) „О психоанализе", стр. 28—29.
[4]) „Лекции", т. II, стр. 219.

Но я старался вылущить здоровое ядро психоанализа и думаю, что оно достаточно ценно и значительно. Я старался доказать, что в своих методологических посылках и основных принципиальных выводах психоанализ (бессознательно) воспроизводит в области своего исследования положения, провозглашаемые диалектическим материализмом. Осознание этого психоаналитиками поставит их учение на широкую прочную основу. Диалектический материализм может записать в свой актив еще одну победу.

Б. Быховский.

По поводу речи Рутерфорда.

В настоящей книжке нашего журнала печатается речь Эрнеста Рутерфорда, которая была им произнесена в Ливерпуле три месяца тому назад на торжественном собрании Британской Ассоциации 12 сентября. С чисто внешней технической стороны, интересно отметить, что с помощью громко-говорящих телефонов речь была передана сразу в несколько переполненных аудиторий и притом не в одном только Ливерпуле. Таким образом это, можно сказать, первая удачная попытка с помощью новейших усовершествований радиотелефона дать возможность широким кругам интересующихся наукой непосредственно услышать выступления выдающихся людей науки на годичных собраниях Британской Ассоциации: к тому, что бывает сказано в эти дни всегда с напряженным вниманием прислушиваются на всем земном шаре.

По содержанию речь представляет собой обзор успехов, достигнутых в теории строения материи за период, начавшийся открытием лучей Рентгена в 1895 году. Рутерфорд справедливо называет эти истекшие годы „эпохой возрождения" физики и рядом красноречивых доводов доказывает, что пора эта еще не прошла.

Наибольший интерес, конечно, привлекает та часть речи, где идет изложение новейших исследований атомного ядра. Необходимо отметить большую осторожность автора, которая, может быть, вызовет большое разочарование у тех, кто считает, что выделение внутри-атомной энергии не сегодня, завтра будет уже окончательно решенной задачей. Рутерфорд указывает, что кроме радиоактивных тел, у которых атомы действительно обладают громадными запасами внутри-атомной энергии, ему самому удалось, вызвав искусственный распад атомов, выделить энергию, например, из атомов алюминия; но, с другой стороны, есть данные, которые заставляют думать, что в таком состоянии находятся далеко не все типы известных нам атомов.

Ведь, разложить искусственным способом удалось только те из атомов, атомный вес которых не является кратным четырех, как например, алюминий 27, азот 14, фосфор 31 и т. д. Повидимому, соединения электронов и „протонов", т.-е. положительно заряженных ядер атомов водорода в атомы химических элементов, бывают двух

родов, наподобие химических соединений в собственном смысле этого слова. Мы, ведь, знаем, что вода, углекислота и целый ряд химических соединений образуется с выделением энергии (тепло и свет при сгорании угля в кислороде с образованием углекислоты и т. д.). Запас энергии после соединения меньше, чем до соединения; наоборот, в соединениях, для получения которых нужно затрачивать энергию, будет заключено больше энергии, чем в составных частях этого соединения, благодаря этому, например, взрывчатые вещества заключают в себе большой запас энергии. По видимому, так же обстоит дело и с соединениями более высокого порядка, которые мы называем элементами. Некоторые из них, как, например, радий, торий, алюминий, можно уподобить взрывчатым телам, другие—как, например, гелий и кислород—не содержат больших запасов энергии и, наоборот, быть может, при их возникновении выделяются колоссальные количества энергии, за счет чего, быть может, поддерживается температура солнца и звезд. Какие данные мы имеем в пользу этой точки зрения? Вытекают эти соображения из соотношения атомных весов. Если мы вес атома кислорода приравниваем 16, то вес атома водорода—„свободного" будет 1,0072; между тем, в „сложные" атомы гелия, алюминия и т. д. водородные атомы входят с весом, равным единице!

По теории Томсона это объясняется тем, что силовые линии, связывающие + и — заряды в компактном ядре атома гелия или азота и алюминия значительно короче и могут поэтому при движениях атома захватывать меньшее количество эфира, а потому и имеют меньшую массу. Чем короче однако силовая линия, соединяющая + с — тем меньше потенциальная энергия системы, так как притягивающиеся частицы + и — уже сблизились. Чтобы их развести, надо затратить извне энергию, которая и превратится в потенциальную энергию двух раздвинутых зарядов.

Эта связь между энергией зарядов и атомным весом, установленная Томсоном в 1903 году и вновь открытая Эйнштейном [1]), дает возможность подсчитать, какая энергия должна была выделиться при образовании ядра атома гелия из четырех ядер водорода и двух электронов. Расчет показывает, что при образовании одного фунта гелия должно выделиться столько тепла, сколько выделяется при сгорании восьми тысяч тонн чистого углерода!

Естественно, что едва ли мы при этих условиях имеем основание полагать, что в атомах гелия осталась еще неиспользованная энергия.

Итак, весьма возможно, что не все виды атомов обладают несметными запасами энергии: в некоторых из них процесс выделения энергии, быть может, уже закончился.

[1]) См. „Под знаменем марксизма" № 6—7 стр. 235.

Это, конечно, не должно останавливать нас в наших попытках извлекать энергию из тех атомов, где энергии еще очень много. Для этого прежде всего необходимо, как указывает Рутерфорд, до мельчайших деталей выяснить, в чем состоит процесс атомного распада, так как только знание механики процесса распада даст нам возможность его регулировать по нашему усмотрению и использовать для своих нужд.

А. Тимирязев.

Электрическое строение материи.

)Речь, произнесенная президентом Британской Ассоциации Эрнестом Рутерфордом 12-го сентября 1923г. на съезде Ассоциации в Ливерпуле).

В последний раз наша Ассоциация собиралась в Ливерпуле еще в 1896 году под председательством покойного лорда Листера, великого пионера антисептической хирургии, память о котором благоговейно чтится всей нацией. Его речь, касавшаяся, главным образом, истории приложения антисептических методов к хирургии и их связи с работами Пастера, этого короля экспериментаторов, столетие со дня рождения которого мы праздновали в нынешнем году, дала нам законченную страницу из блестящей истории этой науки. В то же самое время во вступительных словах Листер подчеркнул важность открытия Рентгеном излучения нового типа х-лучей,—открытия, которое мы считаем теперь началом новой и плодотворной эры в другой области знания.

Это посещение Ливерпуля в 1896 году было для меня памятным случаем потому, что здесь я в первый раз присутствовал на собрании Ассоциации, и здесь я докладывал свою первую научную работу. Но еще важнее было здесь то, что я пользовался благоприятным случаем, который широко предоставлялся этим собранием, увидеть впервые многих замечательных ученых Великобритании и представителей науки других стран, гостивших по этому случаю в городе. 1896 год казался мне всегда памятным и по другой причине; теперь, оглядываясь назад уже с некоторым чувством перспективы, мы ясно видим, что последний Ливерпульский съезд отметил начало той эпохи в физике, которую справедливо можно назвать героической. До этих пор никогда в истории физики не приходилось видеть периода такой необыкновенной активности, когда открытия фундаментальной важности следовали друг за другом с такой быстротой, что сбивали порой многих с толку.

Открытие х-лучей Рентгеном сделалось известным миру в 1895 году, в то время как открытие радиоактивности урана было опубликовано Беккерелем в начале 1896 года. В то время даже ученые с наиболее развитым воображением никогда не могли представить того расширения наших знаний о строении материи, которое развилось благодаря этим двум фундаментальным открытиям, но в протоколах Ливерпульского съезда мы видим неясные предчувствия возможных последствий открытия x-лучей не только в области приложения их к медицине и хирургии, но также и как нового и могущественного средства при разрешении основных проблем физики. Доклад Дж. Дж. Томсона, президента секции А [1]), был посвящен, главным образом, обсуждению природы x-лучей и замечательным свойствам, которые приобретают газы при прохождении x-лучей через них,—начало новой и плодотворной отрасли науки.

В прикладной физике эти годы также были отмечены успешным началом в ином направлении. При обсуждении доклада о новом магнитном детекторе для электрических волн, который я имел честь читать, покойный сэр Вильям Прис сообщил съезду об успешной передаче сигналов на несколько сот ярдов посредством электрических волн, произведенной в Англии молодым итальянцем Маркони. Первая публичная демонстрация сигнализации электрическими волнами на короткое расстояние была устроена сэром Оливером Лоджем на Оксфордском съезде Ассоциации в 1894 году. Поразительно, с какой быстротой из такого скромного начинания развился новый метод беспроволочного сообщения на огромнейшие из земных расстояний. За несколько последних лет так же быстро разраслась родственная область радиотелефонии, как практическое средство, позволяющее бросить речь или музыку на расстояние, ограниченное только мощностью посылающей станции. Быстрота этих технических успехов является иллюстрацией той тесной связи, которая должна существовать между чистой и прикладной наукой, чтобы сделать возможным быстрый и надежный прогресс. Инженеры-электрики могли основывать свои технические открытия на солидном фундаменте электромагнитной теории Максвэлла и ее прекрасной поверке в исследованиях Гертца, также и как в опытах Оливера Лоджа в ливерпульском университете,—поверке, произведенной незадолго до того, как практическая возможность этого нового метода сигнализации была признана всеми. Последние успехи радиотелеграфии и радиотелефонии зависят в большей степени от приложения результатов основных исследований свойств электрона, что иллюстрируется применением термионных или электронных трубок как для посылки, так и для получения электрических волн.

Чрезвычайно интересно отметить, что эти выгоды соединения чистой и прикладной науки не являются односторонними. Если основные исследования работников чистого знания дают фундамент, на котором надежно можно разрабатывать приложения, то успешные практические приложения способствуют оживлению и расширению интереса исследователей к этим основным проблемам, а развитие новых методов и средств, предназначенных для технических целей, доставляет

[1]) Секция А в Британской Ассоциации является секцией физики и математики. (*Прим. перев.*).

часто исследователям способы для разрешения более трудных вопросов.

Важность этого взаимодействия между чистым и прикладным знанием можно иллюстрировать примерами из различных областей науки. Это проявляется особенно ясно в техническом развитии применения х-лучей для терапевтических и промышленных целей, где появление усовершенствованных способов возбуждения этих лучей и целого ряда специальных трубок дало физикам гораздо более действительные орудия для их исследований о природе самих лучей и строении атома. Теперь нельзя резко разграничить значение так называемых чистых и прикладных исследований, и те, и другие одинаково важны для прогресса, и нельзя не признаться, что, если бы в наших университетах и научных институтах не процветала целая школа по исследованию основных научных вопросов, технические исследования замерли бы. К счастью, в настоящий момент нет никакой нужды бороться за эту точку зрения, так как важность развития чисто-научных исследований признана всеми. Департамент научных и индустриальных исследований принял широко меры для привлечения и обеспечения молодых людей, подающих надежды, как исследователи, в наши научные институты и оказал помощь для ведения особенно важных работ, которые оказываются не по средствам для наших лабораторий. Те, кто несет ответственность за распределение средств, предназначенных для поддержки исследований в области как чистой, так и прикладной науки, должны обладать величайшей осторожностью и опытностью, чтобы дать мудрое назначение этим средствам и добиться максимальных результатов при минимальных расходах. Чрезвычайно легко промотать много денег на попытку непосредственного решения какой-нибудь важной технической проблемы, тогда как ее разрешение может зависеть от приложения некоторых знаний, которые могут быть получены, возможно даже с ничтожными затратами, в совершенно иной области научных исследований. Моей целью является подчеркнуть, насколько трудно уравновесить расходы на чистую и прикладную науку так, чтобы получить впоследствии наилучшие результаты, но никоим образом не критиковать действия людей, распределяющих средства для поддержки научных и технических исследований. Сегодня моей задачей является краткое сообщение существенных сторон тех огромных успехов в познании природы электричества и материи, которые наложили отпечаток на промежуток времени, протекший с последнего съезда нашей Ассоциации в Ливерпуле.

Чтобы обозреть обширную территорию, завоеванную наукой за это время, желательно дать краткий обзор состояния наших знаний о строении материи в начале этой эпохи. Атомная теория с тех пор, как она была высказана Дальтоном, постоянно делала успехи и образовала философское основание для истолкования фактов из области химии. В первой стадии ее приложения к физике и химии не было необходимости обладать сколько-нибудь подробными знаниями размеров или строения атома. Необходимо было только допустить, что атомы действуют как индивидуальные единицы, и знать относительные массы атомов различных элементов. В следующей стадии, например, в кинетической теории газов, оказалось возможным выяснить главные свойства газов, предполагая, что атомы газа ведут себя, как маленькие совершенно упругие шарики. За этот период при помощи различных методов, многие из которых были даны лордом Кельвином, по грубой оценке были получены абсолютные размеры и масса атома. Это обнаружило ничтожную величину и массу атома и необходимость наличия огромного числа атомов, чтобы произвести ощутительный эффект при любом способе измерения. Благодаря этому возникло всеобщее убеждение, что атомная теория по необходимости должна остаться недоступной для поверки прямыми опытами, и некая философская школа [1]) настаивала даже на том, что атомная теория должна быть изгнана из преподавания химии, и закон кратных отношений нужно принимать в химии, как простой факт.

Пока держались эти неопределенные понятия о возможном строении атома, среди людей, настроенных более философски, существовало общее убеждение, что атомы элементов нельзя рассматривать как простые, ничем не связанные друг с другом единицы. Периодическое изменение свойств элементов, обнаруженное Менделеевым, было бы объяснимо только тогда, если бы атомы имели сходное строение и были построены каким-нибудь образом из однородного материала. Мы увидим, что проблема строения атома является тесно связанной с нашими представлениями о природе электричества. Удивительные успехи электромагнитной теории сосредоточили внимание на среде или эфире, окружающем проводник электричества, и действительным носителям электрического тока уделялось немного внимания. В то же самое время сделала успехи мысль о том, что выяснение результатов фарадеевских опытов с электролизом возможно лишь при допущении, что электричество, подобно материи, по природе имеет атомистическое строение. Этой основной единице было дано Джонстоном Стонеем имя „электрон“, и ее величина грубо оценена, но полное раскрытие значения и важности этого понятия принадлежит новой эпохе.

Для выяснения этого несколько неопределенного представления имело необыкновенную важность доказанное в 1897 г. независимое существование электрона, как подвижной электрической единицы, масса которой сравнительно с легчайшим атомом была ничтожна. Скоро стало видно, что электрон должен быть составной частью всех атомов материи, и что оптические спектры происходят благодаря его колебаниям. Открытие электрона и доказательство возможности получения его различными способами свободным из всех атомов материи

[1]) Энергетики, во главе с Оствальдом, а также разнообразные последователи Маха. (*Прим. ред.*).

имело огромное значение для укрепления взглядов, что электрон, вероятно, является общей единицей в постройке атомов, периодическое изменение которой указывают химические свойства. Это же дало в первое время некоторую надежду на успех в разрешении самой фундаментальной из всех проблем: вопроса о детальной структуре атома. Первоначальным развитием этого вопроса наука очень обязана работам Дж. Дж. Томсона, смелости его идей и остроумию в разработке методов вычисления числа электронов в атоме и нащупывании его строения. Он первый держался взгляда, что структура атома является электрической, что он удерживается исключительно электрическими силами, и показал в общем виде возможность объяснения изменения физических и химических свойств элементов, подтверждаемого периодическим законом.

Между тем, наши представления об атоме и размере сил, поддерживающих его в равновесии, были революционизированы изучением радиоактивности. Открытие радия было большим шагом вперед, с ним открывалась возможность экспериментировать с могущественными источниками излучений, особенно пригодными для исследования природы тех характерных лучей, которые вообще испускались радиоактивными веществами. Вскоре было показано, что атомы радиоактивных веществ испытывают непрерывные превращения, и испускаемые ими характерные излучения, именно α-, β- и γ-лучи, являются следствием и постоянным сопровождением этих атомных взрывов. Чудесная последовательность более чем 30 превращений, происходящих с ураном и торием, была скоро обнаружена и просто представлена теорией. Радиоактивные элементы были для нас в первое время лучем света в лаборатории природы и позволили наблюдать и изучать, но не контролировать изменения, происходящие в самом сердце радиоактивных атомов. Эти атомические взрывы заключали энергию, которая является гигантской в сравнении с энергией обыкновенных физических и химических процессов. В большинстве случаев выбрасывается с большой скоростью α-частица, в других вылетает быстрый электрон, сопровождаемый часто γ-лучами, которые являются глубоко проникающими x-лучами высокой частоты. Доказательство того, что α-частица является заряженным атомом гелия, с самого начала обнаружило важность гелия, как структурной единицы радиоактивных атомов и, вероятно, атомов большинства обыкновенных элементов. Эти радиоактивные элементы не только имели огромное прямое влияние на естествознание, но и косвенно они дали нам экспериментальные методы почти такой же важности. Пользование α-частицами, как метательными снарядами для исследования внутренности атома, ясно показало его нуклеарное строение, привело к искусственному разложению некоторых легких атомов и обещает возможность получить более подробные сведения о структуре самого ядра.

Влияние радиоактивности распространилось и на другую завлекательно интересную область изучения. Мы видели, что первые грубые вычисления размеров и массы атома давали лишь слабую надежду, что мы сможем обнаружить действие одного атома. Открытие, что радиоактивные вещества испускают на самом деле заряженные атомы гелия, обладающие громадной энергией, изменило положение этого вопроса. Энергия, связанная с отдельной α-частицей, настолько велика, что может быть легко обнаружена различными способами. Как первый показал Вильям Крукс, каждая α-частица производит вспышку света, хорошо видимую в темной комнате, когда она падает на экран, покрытый кристаллами сернистого цинка. Этот сцинтилляционный метод счета отдельных частиц оказался неоценимым во многих исследованиях, представляя исключительно тонкий способ для изучения действия отдельных атомов. Таким образом α-частица может быть открыта электрическим или фотографическим способом, но самым могущественным и прекрасным из всех методов является усовершенствованный Вильсоном способ наблюдения пути через газ не только α-частицы, но и любой радиации, которая порождает на своем пути ионы или наэлектризованные частицы. Этот метод сравнительно прост и зависит от открытого им впервые факта, что, если газ, насыщенный парами, внезапно охладить, то каждый ион, получившийся благодаря действию радиоактивного излучения, делается ядром видимой капли воды. Водяные капли по пути α-частицы ясно видны глазом и могут быть сфотографированы. Эти прекрасные фотографии результата, произведенного единственным атомом или единственным электроном, я думаю, взывают ко всем ученым. Они не только доставляют убедительное доказательство прерывной природы этих частиц, но и дают нам новое мужество и уверенность, что научный метод эксперимента и дедукции победит в этой исследовательской борьбе, так как многие существенные подробности, выяснившиеся так ясно и конкретно на этих фотографиях, были правильно выведены задолго до того, как мы были способны получать подтверждающие их фотографии. В то же самое время непродолжительное изучение деталей, обнаруживаемых этими фотографиями, дает нам чрезвычайно ценные сведения и новые указания о неведомых до сих пор действиях, производимых проходом через материю этих летящих снарядов или глубоко проникающих излучений.

В эту пору было изобретено множество новых способов для определения с известной точностью массы отдельного атома и числа атомов в данном количестве вещества. Согласованность результатов, полученных из совершенно различных физических оснований, создавала твердое убеждение в правильности атомистического понимания материи. Наиболее точный из найденных методов зависел от окончательного доказательства атомической структуры электричества и точного определения этой основной единицы заряда. Мы видели, что уже давно догадывались об атомистической структуре электричества. Этот взгляд был подтвержден и расширен изучением заряда, который

несут электроны, α-частицы и ионы, производимые в газах x-лучами и лучами радиоктивных веществ. Таунсенд первый доказал, что положительный и отрицательный заряд, который несут ионы в газах, неизменно равен заряду водородного иона при электролизе воды, который, как мы видели, по предположению Джонстона Стонея, и по предположению правильному, является основной единицей заряда. Были придуманы различные методы для измерения величины этой основной единицы. Самым известным и точным является способ Милликана, состоящий в сравнении действия электрического поля на падающую заряженную каплю масла или ртути, с весом этой капли. Эти опыты дали самое убедительное доказательство правильности электронной теории и размеры этой единицы, самой основной из всех физических единиц, с точностью до одной тысячной. Зная эти данные, мы можем при помощи электрохимических данных легко получить величину массы отдельного атома и число молекул в кубическом сантиметре любого газа с точностью, возможно, до тысячной, но, вероятно, скорее до сотой. Если мы вспомним ничтожные размеры единицы электричества и массы атома, то эти экспериментальные подвиги являются чрезвычайно замечательными, даже в эту эпоху величайших успехов.

Идея атомистического строения электричества тесно связана с попыткой разрешения проблемы строения атома. Если структура атома является электрической, то он может содержать только целое число заряженных единиц, и, так как он обычно нейтрален, число положительно заряженных единиц должно быть равно числу отрицательных. Одной из главных трудностей в этой проблеме являлась неосведомленность о той роли, которую играет в структуре атома положительное и отрицательное электричество. Мы знаем, что электрон имеет отрицательный заряд величиной в одну основную единицу, между тем, как заряженный атом водорода, образующийся при электролизе или электрическом разряде, имеет одну положительную единицу заряда. Но масса электрона составляет только $\frac{1}{1840}$ массы атома водорода и, несмотря на то, что были сделаны обширные исследования, не было найдено никаких доказательств существования положительного электрона с небольшой массой, подобного отрицательному. Положительный заряд мы всегда находим соединенным с массой, не меньшей, чем масса заряженного атома водорода. Эта разница между положительным и отрицательным электричеством на первый взгляд чрезвычайно удивительна, но при углублении наших исследований выступает еще резче более фундаментальная разница между единицами положительного и отрицательного электричества. Действительно, как мы увидим дальше, структура атома совершенно несимметрична по отношению к содержащимся в нем положительным и отрицательным единицам, и кажется вероятным, что, если бы не разница в массе между этими двумя единицами, материя не могла бы существовать в том виде, в каком мы ее знаем.

Естественно искать, какое же объяснение можно дать этой резкой разнице в массе двух этих единиц. Я думаю, все ученые убеждены, что ничтожная масса отрицательного электрона тесно связана с энергией его электрической структуры, так что электрон можно рассматривать как лишенный телесной оболочки атом отрицательного электричества. Мы знаем, что электрон во время движения, кроме имеющегося у него электрического поля, порождает вокруг себя и магнитное поле, и энергия накопляется в электромагнитной форме и движется вместе с ним. Это дает электрону его видимую или электрическую массу, которая, хотя и почти постоянна для небольших скоростей, но быстро возрастает по мере того, как его скорость приближается к скорости света. Это возрастание массы хорошо согласуется с вычислениями, как основанными на обычных теоретических представлениях, так и на теории относительности. Теперь мы знаем, что атом водорода является самым легким из всех атомов и, наверное, самым простым по структуре, и знаем, что заряженный атом водорода, который мы рассматриваем как ядро водорода, несет единицу положительного заряда. Таким образом естественно предположить, что ядро водорода является атомом положительного электричества или положительным электроном, аналогичным отрицательному электрону, но отличным от него по массе. Теория электричества показывает, что масса данного электрического заряда возрастает с его концентрацией, и большая масса водородного ядра была бы понятна, если бы его размеры были гораздо меньше, чем электрона. Такое заключение опирается также и на данные, полученные из изучения близких столкновений α-частиц с водородными ядрами. Найдено, что ядро водорода должно быть ничтожных размеров с радиусом меньше, чем у электрона, который обычно предполагается около 10^{-13} см., таким образом экспериментальные данные не противоречат взгляду, что ядро водорода может действительно быть много меньше, чем электрон. В то время, как можно таким образом выяснить большую массу атома положительного электричества, мы останавливаемся перед загадкой: почему эти две единицы электричества столь различны в этом отношении? При настоящем состоянии наших знаний кажется невозможным двинуть этот вопрос дальше или обсуждать отношения этих двух единиц.

Мы увидим, что существуют серьезнейшие указания, что атомы материи построены из этих двух электрических единиц, именно электрона и водородного ядра или протона, как его обыкновенно называют, когда он образует часть атома. Вероятно, что это—две основные единицы, которые и образуют наш мир, но мы можем сохранить в нашем уме мысль о возможности того, что дальнейшие исследования покажут, что и эти единицы являются сложными, и делятся на более основные сущности. По взглядам, которые мы набросали, масса атома является суммой электрических масс индивидуальных заряженных единиц, из которых он построен, и нет никакой надобности допускать,

что существует какой-либо другой вид массы. В то же самое время нужно помнить, что действительная масса атома может быть несколько меньше, чем сумма масс составляющих его положительных и отрицательных электронов, когда они находятся в свободном состоянии. Такое уменьшение массы предвиделось и общими теоретическими соображениями, благодаря очень тесному сближению заряженных единиц в ядре атома и происходящим от этого возмущениям в электрических и магнитных полях вокруг них.

Теперь мы должны опять оглянуться назад, на более ранние стадии настоящей эпохи, чтобы наметить развитие наших идей о деталях строения атома. Что электрон, как таковой, является важной составной частью, было ясно уже в 1900 году, но, пока не сделалась ясной роль, принадлежащая положительному заряду, действительные успехи были невелики. Новое освещение этого вопроса получилось благодаря изучению отклонений α-частиц при прохождении их через атомы материи. Было найдено, что иногда быстрая α-частица отклонялась при столкновении с единственным атомом от своего прямолинейного пути более чем на прямой угол. Законы обычной динамики приложимы к таким столкновениям, и отношения между скоростями сталкивающихся атомов до и после столкновения точно такие же, как если бы мы рассматривали сталкивающиеся частицы, как вполне упругие шары ничтожных размеров. Однако нужно помнить, что в этих атомистических столкновениях дело идет не только о механическом толчке, как это мы наблюдаем в случае обыкновенной материи. Эта реакция между двумя частицами протекает через посредство сильного электрического поля, окружающего их. Прекрасные фотографии, иллюстрирующие точность законов столкновения между α-частицами и атомом, были получены Вильсоном, Блакертом и другими. Вильсон недавно получил и поразительные иллюстрации столкновения между двумя электронами. Если вспомнить огромную кинетическую энергию α-частицы, то ее отклонение на большой угол при простом атомном столкновении ясно показывает, что внутри атома существуют чрезвычайно интенсивные отклоняющие силы. Кажется ясным, что электрическое поле такой мощности могло получиться, только если бы главная часть заряда атома была сконцентрирована в небольшом ядре. Отсюда и возникла картина нуклеарного атома, теперь так хорошо известная, в которой сердцевина атома предполагается состоящей из небольшого, но массивного ядра, несущего положительный электрический заряд и окруженного на некотором расстоянии требуемым количеством электронов, образуя таким образом нейтральный атом.

Подробное изучение рассеяния α-частиц под различными углами Гейгером и Марсденом показало, что результаты находятся в близком согласии с этой теорией и что интенсивность электрической силы вблизи ядра меняется согласно обыкновенному закону обратных квадратов. Кроме того, эти опыты позволили определить нам верхний

предел для размеров ядра. Для тяжелых атомов, вроде золота, радиус ядра, если считать его шарообразным, меньше, чем одна тысячная радиуса всего атома, окруженного электронами, и наверное меньше чем 4.10^{-12} см. Было найдено, что все атомы показывают такое нуклеарное строение и сделана приблизительная оценка заряда ядер различных атомов. Этот тип нуклеарного атома, основанный на прямых экспериментальных данных, обладает некоторыми очень простыми свойствами. Ясно, что число единиц результирующего положительного заряда ядра определяет число внешних планетарных электронов в нейтральном атоме. Затем, так как эти внешние электроны находятся некоторым образом в равновесии благодаря притягательной силе ядра, и так как уверены на основании общих физических и химических данных, что все атомы одного и того же элемента одинаковы по их внешней структуре, ясно, что расположение и движение электронов должно вполне зависеть от величины нуклеарного заряда. Так как обыкновенные физические и химические свойства приписываются, главным образом, расположению и движению этих внешних электронов, то следует, что свойства атома определяются целым числом, представляющим его нуклеарный заряд. Таким образом определение значения этого нуклеарного заряда делается чрезвычайно важным для всех элементов.

Данные, полученные из рассеяния α-частиц, а также из рассеяния x-лучей, легких элементов, указывают, что нуклеарный заряд элемента численно равен почти половине его атомного веса по водороду. Из общих соображений было совершенно ясно, что заряд водородного ядра равен единице, а ядра гелия (α-частица)—двум. При таком положении другое открытие огромной важности дало могущественный метод для разрешения этой проблемы. Открытие Лауэ дифракции x-лучей кристаллами окончательно доказало, что x-лучи являются электромагнитными волнами, с длиной волны гораздо более короткой, чем у света, и опыты Вильяма Брагга и В. Л. Брагга дали простой способ изучения спектра пучка x-лучей. Было найдено, что в общем спектр представляет непрерывную полосу, на которую наложен спектр из ярких линий. При таком состоянии дела Мозелей начал исследования с намерением определить, какие свойства элемента зависят больше от его нуклеарного заряда, чем, как обыкновенно предполагалось, от его атомного веса. Для этой цели были изучены рентгеновские спектры, испускаемые несколькими элементами, и оказалось, что они все одного и того же типа. Было найдено, что частота испускаемых линий изменяется почти как квадрат целого числа, изменяющегося на единицу при переходе от одного элемента к ближайшему. Мозелей отождествил это целое число с атомным или порядковым числом элемента, получающимся при расположении элементов в порядке возрастания атомных весов, учитывая известные аномалии в периодической системе и пустые места, соответствующие возможным, но отсутствующим элементам. Он заключил, что атомный

номер элемента измеряется его нуклеарным зарядом, и правильность этого вывода была позже подтверждена Чеджвиком прямыми опытами над рассеянием α-частиц. Открытие Мозелея имеет чрезвычайную важность потому, что оно позволяет не только определить число электронов во всех атомах, но и окончательно показало, что свойства атома определяются не его атомным весом, как предполагалось раньше, а его нуклеарным зарядом. Таким образом между элементами были найдены отношения неожиданно простые. Не было неожиданным, что за пятью исключениями все атомные номера между водородом 1 и ураном 92 оказались соответствующими известным элементам. Огромное могущество закона Мозелея в определении атомных номеров элементов хорошо иллюстрируется недавним открытием недостающего элемента, с атомным номером 72, Костером и Хевеши в Копенгагене, который они назвали „гафнием".

Когда главнейшие черты структуры атома были определены, число электронов известно, дальнейшее изучение строения атома пошло естественно в двух главнейших направлениях: во-первых, в знакомстве с расположением внешних электронов, которые определяют главные физические и химические свойства элемента, а во-вторых, структуры ядра, от которой зависит масса и радиоактивность элемента. По нуклеарной теории, атом водорода является чрезвычайно простым, состоя из однозарядного положительного ядра с одним только сопровождающим электроном. Положение и движение этого единственного электрона должно объяснить сложный оптический спектр и все решительно физические и химические свойства, присущие атому водорода. Первое ясное решение этой проблемы электронной структуры атома было дано Нильсом Бором. Он ясно понял, что если принять это простое строение, то невозможно объяснить по классической теории электричества спектр водорода, но необходимо совершенно отречься от существующих взглядов. Для этого он приложил к атому основные идеи теории квант, которая была развита Планком для других целей, но оказала большие услуги в разрешении фундаментальных затруднений в самых разнообразных областях физики. По теории Планка, излучение испускается в определенных единицах или квантах, выраженная в которых энергия излучения Σ равна $h\nu$, где ν — частота излучения, измеренная обычным способом, и h — некоторая универсальная постоянная. Например, энергия кванты видимого света мала, но делается большой для излучения высокой частоты, соответствующего x-лучам или γ-лучам радия.

Время не позволяет мне рассмотреть положения, принятые в основу теории квант, и связанные с ней трудности. Некоторые взгляды на эти трудности были высказаны Оливером Лоджем в 1913 году в президентском докладе Ассоциации в Бирмингаме. Достаточно сказать, что эта теория оказалась чрезвычайно ценной в различных отраслях науки и опирается на целую массу прямых опытных доказательств.

Прилагая теорию квант к строению атома водорода, Бор предполагал, что единственный электрон может, не теряя энергии, благодаря излучению, двигаться по определенному числу устойчивых орбит, сдерживаемый притягательной силой ядра. Положение и характер этих орбит определены известными квантовыми отношениями, зависящими от одного или нескольких квантовых чисел. Предполагалось, что излучение испускается лишь тогда, когда электрон по каким-либо причинам переходит с одной устойчивой орбиты на другую с меньшей энергией. В таком случае предполагалось, что испускается однородное излучение с частотой ν, определяемой квантовым соотношением $\Sigma = h\nu$, где Σ — разность энергий электрона на этих двух орбитах. Некоторые из этих возможных орбит круговые, другие эллиптические, с ядром в фокусе, и, как показал Зоммерфельд, эти орбиты, если учитывать изменение массы электрона со скоростью, зависят от двух квантовых чисел и являются незамкнутыми, состоя из почти эллиптической орбиты, медленно вращающейся вокруг ядра. Таким образом оказывается возможным не только дать отчет о связи между серией ярких линий водородного спектра, но выяснить также тонкую структуру этих линий и те очень сложные изменения, которые наблюдаются, когда излучающий атом подвергнут действию сильного электрического или магнитного поля. В водородном атоме при обычных условиях электрон вращается вокруг ядра по замкнутой круговой орбите, но если атом возбужден электрическим разрядом или каким-нибудь другим подобным способом, электрон может сместиться и занять одно из устойчивых положений, предусматриваемых теорией. В излучающем газе, дающем полный спектр водорода, будут присутствовать поэтому несколько различных родов водородных атомов, в каждом из которых электрон описывает одну из возможных орбит, определяемых теорией. С этой точки зрения, является понятным, что разнообразие видов колебаний водородного атома вызывается не сложностью строения атома, но разнообразием устойчивых орбит, которые электрон может занимать по отношению к ядру. Эта новая теория происхождения спектров была развита не только в приложении к водороду, но и ко всем другим элементам и пролила свет на отношения между этими спектрами, как рентгеновскими, так и оптическими, и на их происхождение. Ясно, что для водорода эта проблема является менее сложной, чем для тяжелых атомов, где каждый из многих электронов действует на другой, и где орбиты, описываемые ими, становятся более сложными, чем орбита единственного электрона в водороде. Однако, несмотря на большие трудности в исследовании движения такой сложной системы электронов, оказалось возможным определить квантовые числа, характеризующие движение каждого электрона, и составить приблизительное понятие о характере орбит.

Эти планетарные электроны сами разделяются на группы, смотря по характеризующим их орбиты одному или более квантовым числам. Можно, не входя в детали, немногими примерами иллюстрировать те заключения, которые были получены. Как мы ви-

дели, первый элемент, водород, имеет нуклеарный заряд, равный 1, и 1 электрон, второй, гелий, имеет заряд 2 и 2 электрона, движущиеся по орбитам, детальное строение которых является до сих пор несколько неопределенным. Эти два электрона образуют определенную группу, известную как K-группа, которая является общей для всех элементов, исключая водород. С увеличением нуклеарного заряда эта K-группа электронов сохраняет свои характерные особенности, но движется с возрастающей скоростью и еще больше приближается к ядру. Когда мы переходим от гелия с атомным номером 2 к неону с номером 10, прибавляется новая группа электронов, состоящая из двух подгрупп, каждая из 4 электронов, вместе называемых L-группой. Эта L-группа появляется во всех атомах с высоким атомным числом, и, так же, как и в случае K-группы, скорость движения электронов возрастает, а величина их орбит уменьшается с атомным числом. Когда L-группа укомплектована, вне ее начинает образовываться новая и еще более сложная M-группа электронов, и подобный процесс идет до урана, обладающего наибольшим атомным номером.

Так как является интересным попытаться составить себе наглядное представление о подобном атоме, то мы возьмем в качестве иллюстрации самый тяжелый атом, атом урана. В центре атома находится очень небольшое ядро, окруженное группой из 92 кружащихся электронов, движущихся по определенным орбитам и занимающих объем, во всяком случае чрезвычайно большой, сравнительно с объемом ядра. Одни электроны описывают вокруг ядра почти круговые орбиты, другие—орбиты более эллиптической формы с осями, быстро вращающимися около ядра. Движение электронов в различных группах не ограничено определенной областью атома, но электроны одной группы могут глубоко проникать в область, занятую другой группой; таким образом получается род внутренней связи или соединения между различными группами. Максимальная скорость какого-нибудь электрона зависит от его близости к ядру; внешний электрон будет иметь минимальную скорость более чем 1.000 километров в секунду, между тем как внутренний k электрон имеет среднюю скорость более чем 150.000 километров в секунду, или половину скорости света. Теперь, когда мы увидели чрезвычайную сложность электронной системы, мы можем удивиться, что оказалось возможным найти некоторый порядок в видимом разнообразии движений. При получении этих выводов, которыми мы обязаны, главным образом, Бору и его сотрудникам, были приняты во внимание все имеющие значение данные о различных атомах. Особенно изучение спектров x-лучей доставило чрезвычайно важные сведения о расположении различных групп в атоме, в то время как оптические спектры и общие химические свойства имеют большое значение для решения вопроса о расположении внешних электронов. Предложенное Бором решение вопроса о группировке электронов облегчалось рассуждениями подобного рода

и является по своему характеру не эмпирическим, но имеет более прочное основание в общем теоретическом исследовании орбит электронов, являющихся физически возможными по обобщенной теории квант. Запутанность действительной проблемы может быть иллюстрирована таким образом. Положим, ядро золота будет каким-нибудь образом обнажено от сопровождающих его семидесяти девяти электронов, и атом восстанавливается, последовательно улавливая электроны по одному. По Бору, атом будет реорганизовываться именно таким образом, и каждая группа будет образовываться после другой и определенным образом заполняться. Нуклеарный атом часто уподобляется солнечной системе, где солнце соответствует ядру и планеты-электронам. Однако эту аналогию нельзя проводить слишком далеко. Положим, например, что какое-нибудь большое и быстрое небесное тело проходит через нашу солнечную систему, так что ни с ним самим, ни с планетами не происходит никакой катастрофы. Результатом этого являются окончательные изменения в длине месяца и года, и наша система никогда не вернется к ее начальному состоянию. Эффект пролета электрона или α-частицы через электронную атмосферу атома противоположен этому. Движение некоторых электронов будет возмущено их проходом, и в особых случаях электрон может быть удален с своей орбиты и вышвырнут из атомной системы.

Но через короткое время другой электрон из той или иной группы попадет на свободное место, и это свободное место будет заполнено, и так до тех пор, пока атом снова не восстановится. Во всех случаях окончательное состояние системы будет то же самое, как и начальное. Иллюстрацией этого служит указание о происхождении x-лучей, возбуждаемых в атоме, возникающих при процессе преобразования атома, из которого был выброшен электрон, и происходит излучение высокой частоты, когда был удален электрон из K-группы.

Нельзя высказывать слишком постепенно окончательное мнение о достоверности этой теории, определяющей внешнее строение атома, но нет сомнения, что она представляет огромный успех. Ею дается не только общее объяснение происхождения оптических и рентгеновских спектров атома, но детально учитываются и многие наиболее характерные черты периодического закона Менделеева. Она дает нам, во-первых, ясное представление о причине появления в семье элементов групп соседних элементов с подобными химическими свойствами, подобным группе железа или единственной в своем роде группе редких земель. Теория Бора, как все жизненные теории, не только подчиняет множество отдельных известных об атоме фактов в одно целое, но и оказывается способной предсказывать новые отношения, которые могут быть поверены опытом. Например, эта теория предсказала отношения, которые должны существовать между постоянной Ридберга для искровых и дуговых спектров [1]) и вообще между всеми

[1]) Дуговыми спектрами называются спектры нейтральных атомов, искровыми—ионизированных. Дуговой спектр возникает при не особенно сильном раскаливании и электрическом разряде, искровой—при очень сильном электрическом разряде. (*Прим. пер.*).

последовательными оптическими спектрами элемента—предсказание, с поразительной точностью подтвержденное работами Пашена о спектре дважды ионизированного гелия и работами Фоулера о спектре трижды ионизированного кремния. Наконец, она с такой точностью предсказала химические свойства отсутствующего элемента номер 72, что это послужило необходимым побуждением для его недавнего открытия.

Хотя прогресс наших знаний о внешнем строении атома оказался гораздо более быстрым, чем это можно было предвидеть, но все-таки мы ясно видим, что сделано только начало в решении этой обширной проблемы, и потребуется огромное количество труда, прежде чем сможем составить себе что-нибудь подобное полной картине внешнего строения атома. Мы можем быть уверены, что главные черты строения нам ясны, но в столь сложной проблеме прогресс в познании деталей необходимо должен быть медленным и трудным.

До сих пор мы еще не упоминали об очень сложном вопросе выяснения по этой теории строения химических соединений атомов. Пока еще эта теория сама едва касалась молекулярной структуры. С чисто-химической стороны, однако, были сделаны, особенно Леви, Косселем и Лангмьюром, уже известные успехи в объяснении химических свойств при помощи идеи об общих электронах участвующих в электронной структуре обоих связанных атомов. Поэтому нет сомнения, что в ближайшее десятилетие мы будем свидетелями усиленных попыток к разрешению этого очень важного, но, без сомнения, очень сложного вопроса со стороны физиков и химиков.

Прежде чем оставить этот предмет, может быть интересным упомянуть о некоторых пунктах теории Бора более философского характера. Там видно, что орбиты и энергии различных групп электронов могут быть определены известными квантовыми числами, а отсюда определена и природа излучения, связанная с изменением орбиты. Но в то же время мы не можем выяснить, почему допустимы при нормальных условиях только эти орбиты, или понять механизм, при помощи которого испускается излучение. Оказывается вполне возможным точно формулировать отношение энергии электронов в атоме по простой теории и выяснить замечательные детали во всех свойствах атома, не понимая ясно промежуточных процессов, которые ведут к этим результатам. Естественно надеяться, что с успехами науки мы окажемся способными охватить детали процесса, ведущего к испусканию излучения, и понять, почему орбиты электронов в атоме определяются квантовыми соотношениями. Некоторые, однако, склоняются к взгляду, что при настоящем состоянии науки совершенно невозможно, по самой сущности дела, образовать детальную картину последовательных в пространстве и времени событий, которое мы привыкли рассматривать как важную часть полной теории. Атом является, естественно, самым основным из известных нам комплексов.

Свойства его структуры должны объяснить свойства всех более сложных структур, включая всю материю, и мы поэтому не можем надеяться, что эти процессы возможно объяснить представлениями, полученными целиком при изучении молекулярных свойств. Эти атомные процессы могут иметь столь основной характер, что их полное понимание может быть недоступным нам. Однако рано делаться в этом вопросе пессимистом потому, что, как можно надеяться, эти трудности разрешатся когда-нибудь дальнейшими открытиями.

Мы должны теперь направить наше внимание на новую и сравнительно мало исследованную область—ядро атома. При обсуждении структуры атома десять лет назад в ответ на вопрос о строении ядра я был достаточно опрометчив, чтобы сказать, что это проблема, которая вполне может быть оставлена ближайшему поколению,—настолько невозможным казалось в то время как-нибудь осветить его строение. Однако были сделаны бо́льшие успехи, чем это казалось возможным в то время, хотя проблема строения ядра является по существу более трудной, чем уже рассмотренная подобная же проблема строения внешности атома, где мы имеем целую массу сведений, полученных из изучения обычных и рентгеновских спектров и из изучения химических свойств, подтверждающих правильность нашей теории.

В случае ядра мы знаем его общий заряд, определяемый законом Мозелея, и его массу, которая почти равна массе целого атома, так как масса планетарных электронов является чрезвычайно малой, и ей можно для большинства целей пренебречь. Мы знаем, что ядро имеет ничтожные размеры сравнительно с размерами всего атома и можем с некоторой уверенностью установить максимальный предел для его величины. Изучение радиоактивных веществ дало нам чрезвычайно ценные сведения о строении ядра, потому что мы знаем, что α- и β-частицы должны испускаться им, и кроме того есть серьезные указания на то, что γ-лучи, обладающие способностью легко проходить сквозь большую толщу материи, представляют последствия колебаний электронов, содержащихся в нем. Во время длинной цепи превращений, происходящих в атоме урана, испускается восемь α-частиц и шесть электронов, и ясно, что ядро тяжелого атома построено, по крайней мере, частью, из ядер гелия и электронов. Естественно предположить, что многие из обыкновенных устойчивых атомов построены подобным образом. Замечательно, что не было получено указаний, что при этих превращениях освобождаются самые легкие ядра, именно ядра водорода, хотя происходящие здесь процессы являются столь внушительными по характеру. В то же самое время очевидно, что ядро водорода должно быть одной из единиц в структуре тяжких атомов, и это было подтверждено прямыми опытами. Чедвик и я наблюдали, что из бора, азота, фтора, натрия, алюминия и фосфора при бомбардировке быстрыми α-частицами освобождаются быстрые ядра водорода, и здесь мало причин сомневаться, что эти ядра водорода, главным образом, нуклеарного происхождения. Скорость

выбрасывания этих частиц зависит от бомбардируемого элемента и от скорости α-частиц. Интересно отметить, что водородные ядра освобождаются во всех направлениях, но скорость в обратном направлении всегда несколько меньше, чем в направлении α-частиц. Такой результат получает простое объяснение, если мы предположим, что водородное ядро не входит в главное ядро, но существует в виде спутника, двигающегося, вероятно, вокруг центральной сердцевины. Здесь не может быть сомнения, что бомбардировка α-частицами производит действительное расщепление ядра этой группы элементов. Знаменательно, что освобождение водородных ядер встречается только в элементах с нечетным атомным номером, именно: 5, 7, 9, 11, 13, 15, элементы с четными номерами кажутся совершенно нечувствительными. Существенным для столкновения α-частиц является, что они должны или близко подойти к ядру, или даже проникнуть в него. Благодаря ничтожным размерам ядра для этого чрезвычайно мало шансов. Например, хотя каждая индивидуальная α-частица будет проходить на своем пути внешние части ядра более чем 100.000 атомов аллюминия, только одна из миллиона α-частиц подходит достаточно близко к ядру, чтобы освободить его водородного спутника.

Это частичное расщепление элементов α-частицами происходит только в ничтожных размерах, и наблюдать его возможно, только считая отдельные быстро движущиеся ядра водорода благодаря вспышкам, производимым ими в сернистом цинке.

Эти опыты создают представление, что ядро, или протон, должно быть одной из основных единиц, из которых построен атом, и кажется чрезвычайно вероятным, что ядро гелия является вторичной основной единицей, состоящей из очень тесного соединения четырех протонов и двух электронов. Взгляд на ядро всех атомов, как на постройку, в конечном счете состоящую из протонов с массой, равной почти единице, и электронов, получил значительную поддержку и расширение благодаря изучению изотопов. Еще раньше было замечено, что некоторые из радиоактивных элементов, обладающих различными радиоактивными свойствами, химически настолько схожи, что является невозможным отделить их друг от друга, если они смешаны вместе. Элементы такого рода были названы Содди „изотопами“ [1], так как они занимают в периодической системе одинаковые места. Например, некоторые последние радиоактивные элементы в ряде тория и урана оказались имеющими одинаковые физические и химические свойства с обыкновенным свинцом, но атомный вес, отличный от обыкновенного свинца, также и иные радиоактивные свойства. Нуклеарная теория атома дает возможность простого истолкования отношений между изотопными элементами. Так как химические свойства элементов зависят от их нуклеарного заряда, а масса влияет лишь незначительно, то изотопам должны соответствовать атомы с

[1]) Изос—равный, топос—место по-гречески. (*Прим. пер.*).

тем же самым нуклеарным зарядом, но с ядрами различных масс. Такой взгляд просто объясняет, почему радиоактивные изотопы имеют различные радиоактивные свойства, так как можно предвидеть, что устойчивость ядра зависит от его массы и строения.

Наши знания об изотопах были чрезвычайно расширены за несколько последних лет Астоном, который изобрел точный прямой метод для открытия изотопов в обыкновенных элементах. Он нашел, что некоторые элементы являются „чистыми“, т.-е. состоят из атомов с одинаковыми массами, в то время как другие представляют смесь двух или нескольких изотопов. В случае изотопных элементов атомная масса (вес), как она обычно измеряется химиками, является средним значением, величина которого зависит от атомных масс индивидуальных изотопов и их относительного количества. Эти исследования не только ясно показали, что число атомов различного рода гораздо больше, чем предполагалось, но обнаружили также между элементами весьма важные и интересные отношения. Атомные массы изотопов большинства исследованных элементов были с точностью до одной тысячной найдены равными целым числам по отношению к кислороду 16. Это показывает, что ядра построены, в конце концов, из частиц с массой, очень близкой к 1, и электронов. Естественно предположить, что этими кирпичами являются ядра водорода, но что их средняя масса в сложном ядре несколько меньше, чем в свободном состоянии, благодаря тесному соединению заряженных единиц в нуклеарной структуре. Мы уже видели, что ядро гелия с массой 4 является, вероятно, вторичной чрезвычайно важной во многих атомах структурной единицей; может быть, в ядре встречаются и другие простые комбинации протонов и электронов с массой 2 и 3, но они не наблюдались в свободном состоянии.

Хотя масса большинства изотопов выражается почти целым числом, все же Астон наблюдал несколько случаев незначительного отклонения от этого правила. Такие отклонения в массе могут оказать, в конце концов, имеющими большую важность для разрешения вопроса о расположении и степени близости протонов и электронов, и нужно только надеяться, что скоро окажется возможным сравнивать атомные массы элементов с точностью большей, чем теперь.

В то время как мы уверены, что протон и электрон являются теми первоначальными единицами, участвующими в строении всех атомов и можем с некоторой уверенностью делать заключения о числе протонов и электронов в ядрах всех атомов, мы имеем мало, если вообще имеем, сведений о распределении этих единиц в атоме и о природе сил, удерживающих их в равновесии. Подробное изучение столкновений между α-частицами и атомами водорода, где ядра сближаются друг с другом очень тесно, показало, что силы между ядрами возрастают гораздо более быстро, чем это можно было ожидать по закону обратных квадратов, и может быть, что на очень малых рас-

стояниях, отделяющих в ядре протоны и электроны, имеют значение новые и неожиданные силы. Пока мы не получили более подробных сведений о природе сил внутри ядра и законе их изменения, дальнейший прогресс в изучении детальной структуры ядра является затруднительным. В то же самое время, тем не менее, здесь существует много направлений, в которых не безнадежно вести наступление на эту весьма сложную проблему. Можно надеяться, что детальное изучение γ-излучения из радиоактивных веществ дает сведения как о движении электронов внутри ядра, так и, как убеждает Эллис, о том, что квантовые законы действительны внутри ядра так же, как и вне его. Из изучения относительных количеств элементов в земной коре Харкинс показал, что элементы с четными атомными номерами встречаются гораздо чаще, чем элементы с нечетными номерами, внушая мысль об уже отмеченной разнице в устойчивости этих двух классов элементов. Кажется вероятным, что любой прогресс звездной эволюции должен быть тесно связан с образованием сложных ядер из простых, и изучение его дает надежду лучше осветить вопрос эволюции элементов.

Ядро тяжелого атома является, несомненно, очень сложной системой, в некотором смысле самостоятельной вселенной, незначительной, но совершенно не подчиняющейся влиянию обычных физических и химических агентов, находящихся в нашем распоряжении. Когда мы рассматриваем массу ядра сравнительно с его объемом, мы можем с достоверностью сказать, что его плотность больше во много биллионов раз, чем плотность самого тяжелого элемента. Однако, если мы создадим увеличенную картину ядра, мы должны ждать, что оно окажется имеющим прерывное строение, будучи занятым, но не заполненным, мелкими структурными единицами, протонами и электронами, находящимися в быстром непрерывном движении под влиянием взаимодействующих между ними сил.

Прежде чем оставить этот предмет, является желательным сказать несколько слов о важном вопросе энергетических отношений, проявляющихся при образовании и расщеплении атомного ядра, впервые открытых при изучении радиоактивности. Хорошо известно, например, что вся энергия, развивающаяся в продолжение полного распада одного грамма радия, во много миллионов раз больше, чем при сгорании того же весового количества каменного угля. Известно, что вначале эта энергия испускается, главным образом, в виде кинетической энергии быстрых α-и β-частиц, и энергия движения этих веществ превращается в теплоту, когда они задерживаются материей. Так как думают, что радиоактивные элементы по строению аналогичны обыкновенным неактивным элементам, возникает естественно идея, что атомы всех элементов содержат подобные сгущения энергии, годной для использования, если бы только был открыт какой-нибудь простой метод для возбуждения и регулирования их распада. Эта возможность получения нового и дешевого источника энергии для

практических целей, естественно, одинаково привлекательна и для ученых, и для практиков. Является совершенно верным, что если бы мы были способны ускорить радиоактивные процессы в уране и тории так, что полный цикл их распада ограничивался бы несколькими днями, вместо того, чтобы растягиваться на тысячи и миллионы лет, эти элементы явились бы очень удобными источниками энергии, достаточно крупными, чтобы иметь значительную важность в практике. К несчастью, хотя и было сделано много опытов, нет пока еще никаких указаний, что скорость распада этих элементов может быть хоть в самой слабой степени изменена наиболее могущественными лабораторными средствами. С увеличением наших знаний о строении атома постепенно изменилась наша точка зрения на этот важный вопрос, и сегодня у нас нет той уверенности, которая была десять лет назад, именно, что атомы всякого элемента содержат скрытые запасы энергии. Может быть, стоит употребить несколько минут для обсуждения причины изменения нашей точки зрения. Это может быть иллюстрировано интересной аналогией между превращениями радиоактивного ядра и изменениями в расположении электронов в обыкновенном атоме. Теперь хорошо известно, что посредством бомбардировки электронами или посредством надлежащего излучения можно возбудить атом таким образом, что один из его внешних электронов смещается из своего обычного устойчивого положения в другое временно устойчивое положение, отстоящее от ядра дальше. С течением времени электрон падает обратно в свое старое положение, и в этом процессе его потенциальная энергия превращается в излучение. Это дает повод думать, что в смещенном положении электрон находится определенное среднее время, и шансы его возвращения в первоначальное положение подчиняются законам вероятности. В некоторых отношениях такой „возбужденный“ атом подобен радиоактивному атому, но, конечно, энергия, освобождающаяся при распаде ядра, является величиной совершенно другого порядка, чем энергия, освобождающаяся при возвращении электрона в возбужденном атоме. Быть может, эти элементы—уран и торий—являются единственными важными на земле до настоящего времени представителями элементов того типа, которые были в те давно прошедшие времена, когда атомы, теперь составляющие землю были в состоянии образования. Некоторая часть атомов тория и урана, образовавшихся в то время, выжила до сих пор благодаря чрезвычайно малой скорости их превращения. Таким образом возможно рассматривать эти атомы, как не выполнившие еще до сих пор цикла превращений, через который обыкновенные атомы прошли уже давно, и эти атомы до сих пор находятся в таком „возбужденном“ состоянии, в котором их нуклеарные единицы не расположились еще сами собой в положении окончательного равновесия, но еще имеют избыток энергии, который может быть освобожден в форме характерного излучения из активного вещества. По такому взгляду присутствие

запасов энергии, всегда готовой освободиться, является свойством не всех атомов, но только особых классов атомов, подобных радиоактивным атомам, еще не достигшим состояния окончательного равновесия.

Можно настаивать, что частичное расщепление некоторых элементов бомбардировкой быстрыми α-частицами дает определенное доказательство существования запаса энергии в некоторых обыкновенных элементах, для которых известно, что водородные ядра, освобождаемые, например, из аллюминия, вылетают с такой скоростью, что они имеют большую индивидуальную энергию, чем освободившие их α-частицы. К несчастью, очень трудно дать на этот вопрос определенный ответ, прежде чем мы лучше узнаем детали этого расщепления.

С другой стороны, за последние годы приобрел важное значение другой метод подхода к этому вопросу, основанный на сравнении относительных масс элементов. Эту новую точку зрения можно лучше всего иллюстрировать сравнением атомных масс водорода и гелия. Как мы видели, кажется очень вероятным, что гелий не является основной структурной единицей ядра, но представляет очень тесное соединение четырех ядер водорода и двух электронов. Масса ядра гелия относительно кислорода 16 равна 4,00—значительно меньше, чем масса 4,03 четырех водородных ядер. По современным взглядам существует очень тесная связь между массой и энергией, и это уменьшение массы при синтезе ядра гелия из водородных ядер указывает, что при образовании ядра гелия из его компонентов было освобождено большое количество энергии в форме излучения. Из этого уменьшения массы легко вычислить, что энергия, освобождающаяся при образовании грамма гелия, велика даже в сравнении с той, которая освобождается при полном распаде одного грамма радия. Вычисления показывают, например, что энергия, освобождающаяся при образовании одного фунта газообразного гелия, эквивалентна энергии, получаемой при полном сжигании приблизительно восьми тысяч тонн чистого углерода. Это внушило Эддингтону и Перрену мысль, что это является главным источником энергии, поддерживающей тепловое излучение солнца и горячих звезд в продолжение долгого периода времени. Вычисления потери тепла солнцем показывают, что для того, чтобы поддержать его излучение на теперешней высоте в продолжение тысяч миллионов лет, этот синтез гелия должен происходить в незначительных размерах. Нужно сознаться, что этот аргумент является несколько спекулятивным по своему характеру, так как не было получено достоверных экспериментальных доказательств того, что гелий может образоваться из водорода.

Однако медленное течение звездной эволюции, конечно, указывает, что синтез гелия, а, может быть, и других элементов более высокого атомного веса, может в слабой степени происходить во внутренности горячих звезд. Хотя мы, пользуясь электрическим зарядом через водород при низком давлении, можем легко воспроизвести условия внутри самых горячих звезд, поскольку дело идет об энергии движения электронов и водородных ядер, мы не можем воспроизвести огромную плотность излучения, существующую внутри гигантских звезд. По этой и некоторым другим причинам очень трудно или даже невозможно получить гелий из водорода при лабораторных условиях.

Если мнение об испускании громадного количества тепла при образовании гелия правильно, то ясно, что ядро гелия является самым устойчивым из всех ядер, принимая во внимание энергию, требуемую для разложения трех или четырех α-частиц на их составные части. Кроме того, так как масса протона в ядре только 1,000 вместо 1,0072 в свободном состоянии, следует, что в атоме должно заключаться гораздо больше энергии, чем ее освобождается при расщеплении его на первоначальные части. Если мы в то же время рассмотрим атом кислорода, который можно считать построенным из четырех ядер гелия, как вторичных единиц, изменение массы при синтезе его из четырех уже сформировавшихся ядер гелия так мало, что мы не можем быть уверены, получим ли мы при расщеплении его на гелиевые ядра выигрыш или потерю в энергии, но во всяком случае мы уверены, что величина этой энергии гораздо меньше, чем при синтезе гелия из водорода. Наши сведения по вопросу об изменениях энергии при образовании и расщеплении атомов в общем до сих пор слишком недостоверны и спекулятивны, чтобы дать какое-нибудь определенное мнение о будущих возможностях в этом направлении, но я старался набросать некоторые из тех главнейших доводов, которые надо принять во внимание.

Я должен кончать теперь мой обзор. Я боюсь, что он слишком короток и не соответствовал этой великой эпохе успехов физики. В то короткое время, которое было в моем распоряжении, невозможно, даже если бы я обладал ораторским искусством, сообщить о громадных успехах, сделанных в продолжение этого периода, учитывая их во всех областях чистой и прикладной науки. Я хорошо знаю, что в некоторых областях сделанный успех можно справедливо сопоставить с нашими собственными успехами. В расширении наших сведений о строении материии принимали активное участие все цивилизованные нации, но мы можем гордиться, что самые основные вклады сделаны сюда Великобританией. Здесь я должен упомянуть и страны по ту сторону океана, которые тоже не отставали в разработке этой новой области знания. Я уверен, что для страны является предметом гордости факт, что ученые этой страны оказались способными совершить одно из наиболее фундаментальных открытий этой эпохи, в особенности в области радиоактивности. Эта эпоха успеха тянулась непрерывно с 1896 г., но неизбежно была ослаблена войной. Хорошим предзнаменованием является, что за немногие последние годы прежняя быстрота движения вперед не только восстановилась, но даже увеличилась, и

потому нет никаких видимых признаков чтобы этот период великих успехов близился к концу. Никогда не было времени, когда энтузиазм научных работников был больше, или когда они были так полны надеждой на неминуемость значительных успехов. Это чувство без сомнения связано с теми громадными успехами, которые были сделаны за эту эпоху в области технических способов разрешения вопросов, так как проблемы, которые одно время казались неразрешимыми, уступят теперь, вероятно, перед силой новых методов. Эта эпоха была, главным образом, веком эксперимента, так как опыт являлся пионером в деле подхода к новым проблемам. В то же самое время это был век смелых теоретических идей, что так хорошо иллюстрируется теорией квант и теорией относительности.

Я чувствую, что быть свидетелем этого периода, который почти можно назвать ренессансом в физике, является большим преимуществом. Следить за постепенным развитием новых идей и непрерывными изменениями методов подхода к труднейшим проблемам представляет чрезвычайный интерес. Нельзя было предвидеть, что, напр., общие отношения между элементами окажутся столь простыми, как мы считаем теперь. Это является иллюстрацией того, что природа действует, повидимому, самым простым образом, и что наиболее основные проблемы часто проще, чем понятия, нужные для их объяснения, Быстрота и определенность успехов в эту эпоху в широкой степени зависели от того обстоятельства, что было возможно придумать опыты так, что измерялись немногие переменные. Например, изучение строения атома было значительно облегчено возможностью изучения эффекта, производимого единственным атомом материи, или как в радиоактивности или x-лучах, в отдельных атомах, которые совершенно независимы от внешних условий.

Наблюдая быстроту успехов физики, я все более и более проникался впечатлением могущества научных методов расширения наших знаний о природе. Опыт, направляемый дисциплинированным воображением, или индивидуальным, или, еще лучше, группы индивидуальностей с различным умственным темпераментом, способен достигнуть результатов, которые далеко превосходят воображение отдельного величайшего естествоиспытателя. Опыт без фантазии или фантазия без обращения к опыту могут сделать мало, но для действительного успеха счастливое соединение этих двух сил необходимо. Неизвестное в глазах человека кажется как бы покрытым густым туманом. Чтобы рассеять эту неизвестность, мы не можем призвать на помощь гения, но должны рассчитывать на совместные усилия нескольких, достаточно компетентных обыкновенных людей с научным воображением. Каждый из них в своей собственной области исследований способен, пользуясь научными методами, двинуться немного вперед, и эта работа взаимодействует и влияет на весь коллектив остальных работников. Время-от-времени возникает блестящая концепция, основанная на накопленных сведениях, которая озаряет широкие области

и связь между этими индивидуальными усилиями таким образом, что успех делается общим. Атака начинается снова по еще более широкому фронту и часто с усовершенствованными техническими средствами. Мысль, которая привела к этому успеху, кажется часто простой и ясной, как только ее пустили в ход. Это является общим уделом, и ученые испытывают часто чувство досады, что они сами не предвидели теорий, которые, в конце концов, кажутся такими простыми и неизбежными.

Умственный интерес к быстрому росту современной науки не перестанет стимулирующе действовать на молодежь, побуждая ее стремиться к научным исследованиям. В каждой области науки есть многочисленные чрезвычайно важные и интересные проблемы, которые ждут разрешения. Мы можем с уверенностью предсказать ускоренное шествие прогресса в научных открытиях, полезное для человечества в материальном, а возможно еще более и в умственном отношении. Чтобы получить наилучшие результаты, однако, нужно выполнить некоторые условия. Необходимо, чтобы наши университеты и другие специальные институты поддерживались настолько щедро, чтобы они были в состоянии не только обучать достаточно молодых исследователей, но и сами служить в качестве активных центров исследования. В то же самое время они должны иметь возможность приютить у себя и оригинальные исследования. Мир во всех цивилизованных странах одинаково важен как для быстрых успехов науки, так и для всеобщего материального благополучия. В самом деле наука поистине интернациональна, и для прогресса во всех направлениях сотрудничество наций так же важно, как и сотрудничество отдельных лиц. Наука не меньше, чем промышленность, жаждет устойчивости в мировом масштабе, но это еще не достигнуто.

Теперь слишком часто господствует заблуждение, что научный прогресс выражается в разрушении хорошо обоснованных теорий. Например, часто утверждают, что обобщенный принцип относительности Эйнштейна ниспровергнул работы по тяготению Ньютона. Трудно сказать что-нибудь более отклоняющееся от истины, чем это приведенное утверждение. Их труды даже трудно сравнивать между собой, так как они подходят к вопросу с разных сторон. Поскольку работы Эйнштейна имеют отношение к работам Ньютона, они являются просто обобщением и расширением их основ; в самом деле—это типичный случай развития математических и физических идей. В общем великие принципы не разрушены, но изменены так, что они опираются на более широкое и устойчивое основание [1]). Ясно, что этот блестящий период научной активности, который мы здесь обозрели, обязан своими успехами трудам великих людей прошлого, заложив-

[1]) Интересно сравнить это место с одним местом в речи немецкого физико-теоретика М. Планка „Новые пути физического познания", касающемся того же вопроса об устойчивости основных принципов физики. См. „П. З. М." № 1 за 1923 г., стр. 74, строка 6 и дальше. (*Прим. пер.*).

ших мудро надежные основы, на которых научные работники строят теперь. Поэтому мы можем сказать, цитируя слова, начертанные на здании Национальной галлереи: „Труды, выдержавшие испытания веков, требуют уважения, на которое не может рассчитывать современность".

Перевел Вл. Семенченко.

„Nature", 15 сентября 1923 г.

Марксизм и естествознание.

Марксизм всегда с величайшим вниманием следил за успехами естествознания и, по примеру Маркса и Энгельса, их ученики постоянно искали подтверждения своих положений в обширной области так называемых точных наук, в частности в области математики. И Маркс, и Энгельс, и их ученики всегда указывали, что, несмотря на попытки естествоиспытателей набросить идеалистический флер на факты, с которыми оперирует естественник, несмотря на их желание облечь выводы своей науки в формы идеалистической философии, факты эти таковы, сама их природа такова, что этот идеалистический флер является только метафизической привеской, внося только путаницу в ясные и определенные положения точных наук,—положения, выведенные из опыта.

Но именно потому, что естествознание с его головокружительными успехами в последнее время служит неисчерпаемым источником, откуда материалист черпает свои аргументы, и именно потому, что к голосу ученых-естественников так внимательно прислушивается наша молодежь (и это, несомненно, очень отрадное явление), именно потому необходимо с величайшим вниманием относиться к тем общим выводам, к каким приходят ученые-естественники, когда они делают философские заключения из высшей степени важных и интересных фактов, добытых в настоящее время естествознанием.

Возьмем хотя бы такой вопрос, как спор о том, к идеалистическим или материалистическим выводам приводит знаменитая теория относительности Эйнштейна.

Одни утверждают, что эта теория есть величайшее подтверждение материализма, а другие, и к их числу относится большинство патентованных ученых-естественников, держатся того мнения, что как раз именно Эйнштейн и доказал всю несостоятельность материализма.

Что это действительно так,—в этом очень легко убедиться, стоит только раскрыть любую из вышедших за последнее время (за очень малым исключением) и популярных, и серьезно-научных книг.

Вот перед нами интересная книга такого знатока истории математики, как проф. А. В. Васильев: „Пространство, время, движение. Исторические основы относительности".

Вывод, к которому приходит наш математик, формулируется им весьма определенно. „В конце XVIII века Кант дал синтез, сблизивший детерминизм математической философии Ньютона с идеалистическими воззрениями Декарта и Лейбница, и этот синтез надолго определил собою философское мышление человечества. Но синтез Канта не мирится с результатами неевклидовой геометрии, и едва ли можно примирить его, как продолжают думать многие, с результатами теории относительности. Новый будущий синтез, конечно, также не удовлетворит навсегда человеческую мысль. Расширение физического опыта, с одной стороны, могущество математического анализа—с другой, откроют уму новые горизонты, подобно тому, как это сделала теория Эйнштейна. Но тот царственный путь, по которому пойдет человеческая мысль и впредь, будет одинаково далек и от антинаучных построений и безответственных мистических исканий современных неоплатоников и гностиков, и от узкого фанатизма, считающего материализм Геккеля и Энгельса за последнее слово человеческого мышления" (Курсив мой. *В. Н.*).

Итак, люди, принимающие материализм Энгельса, узкие фанатики и, это самое главное, люди, не понимающие, что этому материализму Энгельса пришел конец.

В чем же здесь, однако, дело? Почтенный математик пытается доказать, что между основными положениями теории Эйнштейна и взглядами Маха и Авенариуса нет не только никакой разницы, но как раз существует очень большое сходство.

„Подобно тому,—говорит проф. Васильев,—как гипотеза абсолютного пространства Ньютона выросла в атмосфере английского платонизма, так и идеи, положенные в основание теории Эйнштейна, совпадают с идеями той школы научной философии, выдающимися представителями которой являются Мах и Авенариус" (стр. 129). Математики—народ последовательный и не страшатся делать выводы из признанных ими положений, хотя бы эти выводы вели к самому чорту и его бабушке.

Так поступает и проф. Васильев. Он делает самые бесстрашные идеалистические выводы из своих утверждений. На следующей странице, сославшись на мнение Петцольда о том, что теория относительности не находится в противоречии со взглядами Маха, проф. Васильев уже от себя говорит: „Но взгляды Маха на физику и геометрию, на цели научного исследования неразрывно связаны с его философскими воззрениями—с отрицанием иной реальности, кроме наших ощущений, с тем течением, которое ведет нас через Беркли к Протагору". Суть же этого течения, по мнению проф. Васильева, хорошо выразил Гете, когда сказал: „мы можем, как хотим, наблюдать природу, измерять, вычислять, взвешивать, но всегда остаются только наши впечатления, наш мир, всегда человек остается мерою вещей".

Вывод ясен. Если, стало быть, верить такому компетентному свидетелю, как проф. Васильев, основные философские положения теории Эйнштейна и выводы из нее суть не что иное, как идеалистические положения Беркли и Протагора, т.-е. чистейший солипсизм.

Ученому и книги в руки. Проф. Васильев весьма компетентный свидетель и знаток математических теорий, и, коль скоро он сам указывает на идеалистическую сущность учения Эйнштейна, к этому нужно отнестись внимательно.

В самом деле, в чем, между прочим, видит проф. Васильев заслугу Эйнштейна. Важнейшею стороною теории Эйнштейна проф. Васильев считает слияние геометрии с физикой, что стало возможно после уничтожения того особого положения, „которое со времени Платона и Демокрита занимало пространство"...

Критике этих господствовавших понятий пространства и времени и уделяет много места проф. Васильев. Критика понятий абсолютного пространства и времени составляет основную сущность Эйнштейновской теории относительности, а так как гносеологические предпосылки, на которых построена общая теория Эйнштейна, по словам такого компетентного ученого, как проф. Васильев, совпадают с идеями Маха, то нам и следует обратиться к этим идеям. Но мы уже знаем, что взгляды Маха на физику и геометрию, в частности его взгляды по вопросу о том, что такое пространство и время, это в сущности взгляды Беркли. Этот же последний, как известно, категорически отвергал внешнюю реальность пространства и держался того мнения, что пространство является результатом ассоциации наших ощущений (зрительных, осязательных и двигательных).

Нет, думается, никакой нужды распространяться о том, что взгляды Беркли есть взгляды крайнего идеализма, и что Мах и Авенариус тоже являются чистейшими идеалистами. Для марксиста, признающего основные положения диалектического материализма, т.-е. признающего существование единой объективной реальности, движущейся материи, независимо от маховских или каких-либо иных комплексов ощущений, обязательно и неизбежно признание точно так же и объективной реальности пространства и времени. Энгельс по этому вопросу выражается в высшей степени ясно и определенно. „Основные формы всякого бытия,—говорит он в „Анти-Дюринге",—суть пространство и время"... По этому коренному вопросу Маркс и Энгельс коренным образом расходится и с Кантом, и со всеми идеалистами. Кант считает пространство и время не объективными реальностями, а только формами созерцания. „Пространство,—говорит он в первом отделе „Трансцендентальной эстетики" (отдел первый: О пространстве),—не есть понятие, извлекаемое нами из внешнего опыта... Пространство есть необходимое представление a priori, находящееся в основе всех внешних представлений" [1]... И пространство, и время, по Канту, суть чистые наглядные представления.

[1]) „Критика чистого разума", стр. 27. Перев. М. Владиславлева. Спб. 1867 г.

Разница, как видим, между взглядами Энгельса и Канта огромная. Целая пропасть по этому вопросу точно так же между взглядами Энгельса и идеалистами, вроде Маха и Беркли. Для Энгельса и всякого материалиста пространство и время—объективные реальности, и потому мыслить себе бытие вне времени и пространства есть величайший абсурд. Так, например, Фейербах—чистейший материалист в этих вопросах и смотрел, выражаясь очень определенно, именно в том смысле, что пространство и время—не чистые наглядные представления, не простые формы созерцания, не простые формы явлений, а основные, коренные условия бытия.

Стало быть, если Эйнштейн, сущность взглядов которого покоится на критике понятия пространства и времени, как объективных реальностей, если Эйнштейн в основном, строя свою теорию относительности, опирается или сходится во взглядах с Махом и Беркли, то он строит свою теорию на чисто-идеалистическом фундаменте.

Нам могут сказать: но, ведь, вы отвергаете развитие науки и в частности математики? Загляните в капитальные сочинения Лобачевского, Римана, Кантора и вы увидите, как эти мощные умы своими трудами доказали, что от того наивного представления о пространстве, которое всем нам хорошо знакомо, хотя бы по началам Евклида, не осталось камня на камне, и что самые понятия пространства и времени претерпели эволюцию вместе с эволюцией всей науки.

Мы, материалисты, никогда этого не думали отрицать. Нам очень хорошо известно, что представления людей о пространстве и времени относительны, что понятия времени и пространства изменяются, что, напр., математика вносила и вносит очень существенные изменения в эти понятия. Но, ведь, не в этом вопрос. Нас, материалистов, от идеалистов по этому вопросу разделяет не это, мы, признавая, что развитие науки, в частности развитие математики, вносит в понятия времени и пространства изменения (и часто очень полезные и важные),—мы, признавая это, спрашиваем идеалистов всех оттенков и направлений: а при всех признаваемых и нами изменениях понятий времени и пространства суть ли они, т.-е. время и пространство, реальны или идеальны, и являются ли все эти относительные изменяющиеся представления о пространстве и времени все бо́льшими и бо́льшими приближениями к объективно реальным формам бытия.

Нельзя замазывать этого коренного основного вопроса. Нельзя его замазывать в особенности теперь, когда находятся охотники, считающие себя марксистами и рекомендующие нам признать единственной научной философией нашего времени философию математики, в частности учение о многообразиях Кантора, как это усиленно рекомендует нам Боричевский.

Нисколько не отрицая огромного значения трудов таких математиков, как Лобачевский, Грасман, Риман, Кантор и Эйнштейн, мы,

тем не менее, должны сказать, что в своих философских предпосылках большинство из них были чистейшими идеалистами.

Лобачевский, высказывавший на-ряду с чисто-идеалистическими взглядами и в высшей степени интересные мысли по вопросу о происхождении основных геометрических понятий, в вопросе о пространстве был чистейшим идеалистом; он, как известно, держался того мнения, что „пространство само собой отдельно для нас не существует". По взгляду Римана, пространство есть частный случай более общего понятия о многообразии измерений совокупности элементов, каждый из которых определяется и числами.

Известно учение Кантора о многообразиях, — учение, по сути своей идеалистическое. Идеи этого мыслителя особенно интересны для нас, так как к учению о многообразиях отсылают нас некоторые „марксисты", и так как в логических построениях математиков, подобных построениям Грасмана и Кантора, видят они истинную подлинную философию нашего времени. Мы не будем здесь вдаваться в тонкости математических построений, а коснемся лишь основных философских предпосылок учения Г. Кантора о многообразиях.

„Под многообразием или множеством,—говорит Кантор, — я понимаю вообще всякое многое, которое можно мыслить как единое, т.-е. всякую совокупность определенных элементов, которая может быть связана в одно целое с помощью некоторого закона, и я думаю таким путем определить нечто, родственное платоновскому εἶδος ἰδέα, а также тому, что Платон в своем диалоге „Филеб, или высочайшее благо" называет μικτόν. Он противополагает его ἀπειρον'у, т.-е. безграничному, неопределенному, называемому мной несобственно бесконечным, равно как и πέρας'у, т.-е. границе, и называет его упорядоченной „смесью" обоих последних. Что понятия эти пифагорейского происхождения,—на это намекает сам Платон" [1]). Свои основные взгляды и предпосылки своего учения Кантор характеризует как идеалистические, и неудивительно после этого, что, и по его мнению, „время... это представление, для более ясного понимания которого необходимо предпослать независимое от него понятие непрерывности; даже основываясь на этом понятии, нельзя считать время ни объективным, как субстанция, ни субъективным, как необходимая априорная форма созерцания. Оно не что иное, как некоторое вспомогательное понятие, понятие отношения, благодаря которому устанавливается отношение между различными данными в природе и воспринимаемыми нами движениями". В таком же духе Кантор высказывается о понятии пространства.

Идеалистичность воззрений Кантора очевидна, да он и сам этого не замазывает и не скрывает и очень определенно высказывается в том смысле, что „познание может быть получено лишь с помощью понятий и идей; внешний опыт может, в лучшем случае, дать лишь толчок к созданию этих идей, по существу же они образуются путем внутренней индукции и дедукции, как нечто, что до известной степени лежало уже в нас и лишь было пробуждено и доведено до сознания" (примеч. к § 8 „Основ общего учения о многообразиях"). К каким необходимым логическим выводам приводят идеалистические предпосылки Г. Кантора,—видно из его учения о трансфинитном. Духовные авторитеты остались очень довольны этим учением и не усматривали в этом учении никакой опасности для религиозных истин. Да и сам Кантор нисколько не стесняется подтверждать свои философско-математические рассуждения и ссылками на священное писание, и признанием самого господа бога. Так, разъясняя свое учение о трансфинитном, Кантор, между прочим, пишет: „... выражения „Natura naturans" и „Natura naturata" я употребляю в том же самом значении, что и томисты, так что первое из них означает бога, как творца созданных им из ничего субстанций, стоящего вне их и сохраняющего их, второе же—сотворенный им мир. Соответственно с этим я различаю „Infinitum aeternum increatum sive absolutum, относящееся к богу и его аттрибутам, и Infinitum creatum sive transfinitum, о котором можно говорить там, где в Natura creata приходится констатировать актуально-бесконечное"...

Признание существования господа бога—вот основная предпосылка учения о многообразиях Кантора.

Плохую, стало быть, услугу оказывают те „марксисты" материализму, которые, подобно Боричевскому, превозносят самодовлеющие законы, открытые философами-математиками, вроде Кантора и Грасмана. Учение последнего тоже насквозь пропитано идеализмом. Грасман определяет чистую математику, как науку „о частном бытии, как таком бытии, которое образовалось, стало благодаря мышлению". „Частное бытие,—разъясняет Грасман, — понимаемое в этом смысле, мы называем формой мысли или просто формой. Поэтому чистая математика есть учение о формах" [1]).

Грасман смотрит на математику как на формальную науку, рассматривающую то частное, что полагается мышлением, в противоположность логике или диалектике, которая рассматривает общие законы мышления. Идеалистичность его взглядов особенно ярко выступает там, где он, определяя границы и содержание отдельных математических дисциплин, подходит к определению границ и содержания геометрии. Здесь ему приходится вплотную подойти к выяснению понятий времени и пространства.

Пространство, по его мнению, „является основным наглядным представлением, которое дано нам вместе с открытостью наших чувств для чувственного мира, и которое присуще нам так же изначально,

[1]) „Основы общего учения о многообразиях",—„Новые идеи в математике" № 6, Спб. 1914 года.

[1]) Г. Грасман. См. его Введение в „Die lineale Ausdehnungslehre",—„Нов. идеи в матем." об. I, 1917 г.

как тело душе". Подобные же мысли высказывает Грасман и о времени и о движении [1]).

Все эти цитаты и рассуждения мы привели для того, чтобы читатель убедился, что одно дело—те положительные и действительно замечательные завоевания естествознания и математики, а другое—те философские основания и выводы, каких придерживаются и к каким приходят даже величайшие мыслители, в том числе и математики, часто прокладывающие совершенно новые пути в науке. Будучи очень часто величайшими исследователями и новаторами в области естествознания, эти гениальные ученые являются в философии идеалистами, стоящими на совершенно ненаучной позиции. Никто не станет оспаривать огромной ценности теории относительности в области физики и математики, но вместе с тем всякому непредубежденному человеку видно, что философские основы, из которых исходит Эйнштейн, есть чистейший идеализм. Нет никакого сомнения, что и Грасман и Кантор внесли много нового и гениального в математику, но, как это показано выше, философские основания учения Кантора приводят к господу богу, а построения Грасмана переносят нас в мир какой-то самодовлеющей, движущейся независимо от законов бытия формальной логики.

Марксист, материалист не может признать такую независимую от законов бытия чистую науку о формах, ибо, с точки зрения материалиста, ведь, и логичность есть только одно из важнейших свойств, правда, особой материи, но все же материи, именно материи нашего мозга.

Гегель в своей „Логике" определяет идеализм следующим образом: „Положение, что конечное идеализовано, составляет идеализм. Философский идеализм состоит не в чем ином, как в том, что конечное не признается истинно сущим. Всякая философия есть по существу идеализм или имеет последний, по крайней мере, своим принципом, и вопрос состоит лишь в том, в какой мере последний действительно проведен...

„...Под идеализованным подразумевается обыкновенно форма представления, и идеализованным называется то, что вообще есть в моем представлении или понятии, или в идее, или в воображении и т. д., так что идеализованным вообще считается воображаемое,— представления, которые не только отличаются от реального, но по существу не должны быть реальным. Действительно, дух вообще есть по существу идеалист; в нем, уже когда он ощущает, представляет, еще более, когда он мыслит, понимает, содержание уже не есть так называемое реальное существование" [1])...

Вот таким же нереальным существованием отличаются те идеалистические основы, из которых очень многие естествоиспытатели делают свои философские выводы, вроде выводов Эйнштейна (напр., о внеопытном происхождении основных геометрических положений), Кантора, Грасмана и др.

Но учение Гегеля было пронизано его удивительным методом, диалектическим методом.

Этот диалектический метод, эта диалектика свойственна и естествознанию.

И как Маркс и Энгельс воспользовались этим методом Гегеля, так мы, марксисты, вообще должны пользоваться всем тем, что в современном естествознании, в его достижениях и выводах пропитано диалектикой, отбрасывая все то, что идет по пути идеализма, как бы подновлен и подкрашен он ни был, в какие бы внешне красивые логические формы он ни облекался. Ведь, только тогда та материя, которая мыслит, т.-е. мозг, мыслит не только логично, но и революционно, когда то, посредством чего эта материя мыслит, создается

[1]) К такому же определению математики пришел и Гильбер. И по его мнению, математика есть общее учение о формах. В его „Основаниях геометрии" (перев. проф. А. В. Васильева, Петр. 1923 г., изд. „Сеятель") отношения между точками, прямыми и плоскостями заменяются формальными отношениями между „вещами". „Мы мыслим,—говорит он,—три различные системы вещей: вещи первой системы мы называем точками...; вещи второй системы называем прямыми...; вещи третьей системы мы называем плоскостями"...

Гильбер высказывает об этих вещах некоторое количество аксиом и, отвлекаясь от их познавательного, коренящегося в опыте характера, рассматривает исключительно внутреннюю структуру системы понятий и связь между ними. Такого рода рассмотрение и есть вид аксиоматического исследования.

Устанавливая между своими вещами те или иные зависимости, Гильбер игнорирует тот смысл и значение, которое и мы все, да, вероятно, и он сам, вкладывает в эти свои „вещи" (точки, прямые и плоскости). Такое понимание аксиом обязывает Гильбера доказать, что они не содержат друг по отношению к другу противоречия. Задачу эту Гильбер разрешил блестяще. Но, несмотря на это, несмотря на поразительные математические достижения Гильбера, можно было бы показать идеалистические предпосылки его философских воззрений. Ведь, и в вопросе о значении аксиом дело идет не только о том, как изменялось понимание роли аксиом, а потом, опытный характер или нет носят эти немногие положения.

Интересно, что Лобачевский, который, как мы видели, становится на чисто-идеалистическую позицию по вопросу о том, что такое пространство и время, в сочинении „О началах геометрии" считает основным понятием геометрии понятие соприкосновения. Он говорит там: „Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу. Только они могут служить прочным и достаточным основанием учения. Такие понятия приобретаются чувствами; врожденным не должно верить... Между свойствами, общими всем телам, одно должно назваться геометрическим,—прикосновение. Словами нельзя передать совершенно того, что мы под этим разумеем: понятие приобретено чувствами, мы его постигаем. Прикосновение составляет отличительное свойство тел: ни в силах или времени и нигде в природе более его не находим. Отвлекая все прочие свойства, телу дают название геометрического" („Полное собрание сочинений по геометрии" Н. И. Лобачевского, изд. Имп. Каз. Унив., Казань 1883 г., стр. 2). Проф. А. В. Васильев называет общие философские воззрения Лобачевского чем-то похожим на сенсуализм Кондильяка. Это, быть может, и так, а если это так, то нет ничего удивительного в том, что, признавая опытный характер происхождения основных положений геометрии, Лобаческий в других отношениях являлся чистейшим идеалистом. Ведь, от сенсуализма близко пролегает и идеалистическая струя философии.

[1]) „Наука логики", русск. изд., стр. 81, ч. I.

революционной средой. Материя же, мозг, мыслит посредством идей, а идеи создаются не только из материалов, создаваемых в процессе жизни самим организмом человека, и в том числе самим мозгом, но еще и из материалов, какие он получает из окружающей социальной среды. Социальная же среда бывает разная. А та социальная среда, в которой доселе живут и развиваются даже величайшие ученые, есть среда буржуазная, не революционная, и, наоборот, сплошь и рядом контр-революционная, оправдывающая свою отсталость и контр-революционность не только идеализмом, но сплошь-и-рядом господом богом и его религией.

Любопытный пример того, какое огромное влияние оказывает эта отсталая не-революционная среда не только на рядовых, но даже на самых выдающихся ученых, может служить интересная книжечка известного биолога проф. Н. К. Кольцова „Улучшение человеческой породы".

Совершенно правильно указывая, что „в еще бо́льшей степени, чем война, революция является толчком к развитию, гранью между культурными эпохами", также совершенно правильно указывая, что и во время революции часто совершенно напрасно гибнут выдающиеся люди, почтенный профессор далее выражается так: „Особенно ясную картину в этом отношении дала великая французская революция. Один за другим поднялись на гильотину целыми группами самые выдающиеся деятели, цвет французской нации. Сменявшие одна другую партии, часто отличавшиеся друг от друга лишь оттенками политической мысли, посылали на эшафот своих предшественников, как контр-революционеров, для того, чтобы вскоре занять их места под топором гильотины. В пылу ожесточенной борьбы эти оттенки мысли, за которые боролись в то время, казались чрезвычайно важными. Но мы, оторванные от того периода одним с половиною веком, понимаем, что это были оттенки чисто-фенотипные, не имевшие никакого наследственного значения. С евгенической точки зрения все эти революционеры, попадавшие через короткое время в контр-революционеры, были более или менее однородны". Может быть, с евгенической точки зрения это и так; профессору Кольцову и книги в руки. Но с нашей, марксистской, революционно-научной точки зрения это не так. Почтенному прекраснодушному профессору кажется, что между жирондистами и якобинцами были оттенки во взглядах, а мы знаем, и это научно доказано, что совсем не так, и что целая пропасть лежала между этими двумя классовыми группировками. И именно потому, что между ними лежала целая пропасть, одна из этих групп погибла на эшафоте, как погибли на нем же Бабеф и его товарищи, ибо они выражали совершенно иные классовые интересы, чем те, кто послал на эшафот Дантона.

Почему же так плохо и ненаучно применяет свои в высшей степени совершенные приемы исследования естествознания проф. Кольцов в области общественных наук? Потому, что, применяя их

в чуждой ему области общественных отношений, он только отражает отсталость, ненаучность и даже реакционность тех социально-политических воззрений, какие господствуют в том классе, в котором жил и работал профессор. Мы не хотим сказать ничего дурного о самом профессоре Кольцове; он может быть плохим или хорошим человеком, отсталым или передовым, посредственным или выдающимся ученым, но, каков бы он ни был, коль скоро он принадлежит к определенной классовой группировке, он должен, вообще говоря, выражать интересы этой группировки.

Вот почему очень часто даже самые выдающиеся естествоиспытатели отстаивают самые отсталые и реакционные взгляды.

И вот почему, признавая огромное, прямо революционное значение современного естествознания, мы должны в высшей степени критически подходить к философским выводам ученых естественников.

Материализм должен опираться на естествознание, но если мы хотим двинуть дальше развитие и разработку диалектического материализма, опираясь на выводы естествознания, мы должны обратить самое серьезное внимание на немедленную подготовку из пролетариата не только практиков-техников, но и самых настоящих теоретиков, ученых-естествоиспытателей, — математиков, физиков, химиков, биологов и т. д., и т. п., людей, которым были бы одинаково доступны как самые отвлеченные вопросы философии материализма, так и самые головокружительные высоты естествознания.

Не один практицизм стоит перед нами. Необходимо побороть и наше теоретическое незнание в области точных наук. Delenda est Carthago! Эта твердыня невежества должна быть разрушена, и тогда пролетариату, во главе со своими вождями, политиками и учеными, теоретиками и практиками естествоиспытателями, нечего бояться. Тогда мы действительно завоюем не только всю землю, но и небо.

В. Невский.

„Чистая геометрия" и реальная действительность.

(По поводу книги проф. С. Богомолова „Основания геометрия". Госиздат 1923 г.)

I.

В книге проф. Богомолова излагается излюбленная тема математиков: „чистая" геометрия и ее обоснование. Указанная книга представляет собою учебник, излагающий общепринятые среди математиков взгляды,—те взгляды, которые считаются в настоящее время твердо установленными. Проф. Богомолов избегает слишком резких формулировок (напр., формулировки Рёсселя), кое-что смягчает из чисто-педагогических соображений, не желая отпугивать начинающих

парадоксами; но в то же время он вполне отчетливо излагает излюбленные математиками идеи, те идеи, которые делают современную математику как бы цитаделью идеалистического мышления. Перед нами развертывается картина „чистой" науки, основные постулаты которой „свободно" выбраны разумом; дальнейшее развитие основано на законах логики; полученная система знаний абсолютно достоверна и абсолютно независима от опыта и от всякой наглядности.

Проф. Богомолов признает и значение наглядного представления (интуиции); но последнему он отводит только вспомогательное значение,—значение лесов строящегося здания, которые убирают после того, как здание построено. Здесь также проф. Богомолов разделяет взгляд большинства математиков. Таким образом, рассматривая книгу проф. Богомолова, мы тем самым подвергаем рассмотрению современное идеалистическое направление в математике вообще.

Проблема математической достоверности поставлена в настоящее время совершенно иначе, нежели она была поставлена у Канта. Кант указывал, что основные посылки математики даны интуицией; вместе с тем он считал математические истины безусловными и необходимыми, не зависящими от опыта. В настоящее время математики признали, что математическая интуиция, или способность наглядного представления, есть не что иное, как видоизменение опыта. Одни из них думают, что в наглядном представлении мы созерцаем наиболее постоянные и привычные нам свойства твердых тел; другие считают способность наглядных представлений врожденным расовым свойством интеллекта, приобретенным в процессе эволюции, в результате многочисленных опытов, проделанных бесчисленными поколениями наших предков. Но так или иначе все они согласны с тем, что всякое обращение к интуиции вносит в геометрию эмпирический элемент. Таким образом, наглядная геометрия утратила свой прежний ореол абсолютно точного и достоверного знания и признается эмпирической наукой, зависящей от господствующих в природе отношений и от их отражения в представляющей способности интеллекта.

Но математики не мирятся с таким положением вещей; они желают создавать не эмпирическую, но рациональную, безусловно достоверную систему, которая была бы абсолютно независима от опыта. Наглядная геометрия не удовлетворяет указанным требованиям, и математики стремятся отрешиться от какой бы то ни было наглядности, стремятся по своему произволу устанавливать основные посылки в порядке условного соглашения.

Условные соглашения! Вот те краеугольные камни, на которых математики строят здание „чистой геометрии". Постулаты и аксиомы—это только условные соглашения, и, кроме условного смысла, никакого другого смысла они не имеют; определения—также условные соглашения относительно значения имени; все остальные предложения выводятся логически из постулатов, аксиом и определений. Основные понятия также не имеют никакого наглядного смысла: они служат только носителями соотношений, условно принятых в аксиомах. Все вместе взятое представляет собою свободное построение разума, в котором опыт и интуиция ничего решительно не могут изменить. Однако такую систему можно интерпретировать, по словам математиков, также в наглядном смысле; тогда она превращается в прикладную геометрию, имеющую многочисленные применения, к естествознанию и технике.

Но, представляя себе дело подобным образом, математики не указывают, где лежит источник получаемых знаний, каким образом

посредством установления условных соглашений относительно значения произвольно взятых терминов можно построить плодотворную отрасль знания. Математики не только не задают себе подобных вопросов, но, наоборот, как бы стараются блеснуть построением целого мира из ничего.

Нет сомнения, что математики рано или поздно более трезвыми глазами взглянут на метод своей науки, потому что односторонняя идеалистическая точка зрения неизбежно приводит к многим ошибкам, особенно бьющим в глаза на фоне тонких и строгих логических рассуждений.

II.

Одною из таких ошибок является учение об определении. Определение, согласно утверждению проф. Богомолова и других математиков, носит чисто-номинальный характер. Определение представляет собою как бы уравнение между новым термином, с одной стороны, и некоторой комбинацией ранее принятых терминов или понятий—с другой. Определение имеет чисто-аналитическую природу и служит исключительно для упрощения речи. Но здесь математики, очевидно, не отдают себе отчета в смысле употребляемого ими метода. В таком объяснении определения предполагается, что комбинация известных терминов сама по себе может иметь какое-либо значение. Но это нелепо: простая постановка рядом или соединение в одно целое нескольких слов или знаков не создает никакого понятия и вообще не имеет никакого смысла. Несколько известных терминов в определении не просто соединены тем. что поставлены рядом, но представляют собою описание некоторого построения или же результата построения. Номинальное определение не выражает поэтому смысла математических определений; действительный смысл определения может быть выражен так: производится некоторое построение; результат указанного построения получает такое-то наименование. Таким образом значение нового термина необходимо связано с построением. По большей части математики, определяя новый термин, приравнивают его соединению уже известных терминов и более ни о чем не заботятся, предоставляя на долю интуиции решать, возможно ли постановление, намеченное соединением терминов, и каким образом его выполнить. В строго-логической системе указанное построение должно быть дедукцией из принятых аксиом; следовательно, единственно правильный способ определения—это определение посредством дедукции. При этом определение по своему смыслу является, в сущности, равносильным условию теоремы.

Проф. Богомолов, чувствуя, что дело не вполне ладно, говорит, что определение должно сопровождаться доказательством существования определяемого понятия. Но, так как проф. Богомолов, согласно Пуанкаре, толкует понятие „существующий", как „не приводящий к противоречию", то его мысль лишается всякой определенности. Далее мы увидим, как следует понимать „существование" в математике. Проф. Богомолов вынужден каждое определение снабжать непосредственно следующей за ним теоремой; но он не замечает, что при этом, в качестве определения, он просто выделяет условие теоремы.

Между тем, вопрос об определениях очень важен. Именно при помощи номинальных определений математики поражают профанов эффектом построения систем из ничего. Возьмем для примера вопрос о природе арифметических истин. Пуанкаре, Кутюра и другие математики в один голос утверждают, что арифметические истины имеют аналитическую природу, что они являются определениями чисел и,

следовательно, условными соглашениями или же выводами из них. Но мы теперь уже знаем, что определения являются построениями и, следовательно, могут быть синтетическими суждениями. Рассматривая такие суждения, как 1+1=2, 2+1=3 и т. д., мы можем констатировать, что они являются описаниями того, что мы находим в наглядном представлении: существует единица сверх данной, та и другая могут быть соединены в целое, которое мы называем два, и т. д.—Это все простые описания мысленных экспериментов и, следовательно, синтетические суждения; произвольного или условного в них только начертание цифр.

Таким образом в большинстве случаев математики называют условными соглашениями то, что в действительности является описанием мысленных экспериментов. Но когда математики действительно начинают строить систему в порядке условного соглашения, то они впадают в другую ошибку: понятия, построенные без участия наглядных представлений, они считают применимыми к последним, а это приводит к противоречиям. Место не позволяет заняться рассмотрением этого вопроса; ограничимся поэтому одним характерным примером. В логическом исчислении или в логистике, которая изложена в другой книге проф. Богомолова [1]), основным понятием является понятие „включения в класс" или „принадлежности к множеству". Указанное понятие двусмысленно; в самом деле, по существу оно должно означать произвольное включение в класс, включение в силу произвольно установленного соответствия между вещью, называемой „класс", и вещами, которые к нему соотнесены. Но такое понимание строго не выдерживается; фактически это понятие охватывает собою также „включение", независимое от условного соглашения, в силу объективных качеств, присущих вещам. Подобная двусмысленность важнейшего термина приводит к противоречиям, которые никак не удается обойти логистике. Эта двусмысленность (а вовсе не различная интерпретация), в сущности, совершенно обесценивает многочисленные томы исследований, написанных „на пеанийском языке", по выражению Пуанкаре. Со стороны, как говорится, виднее. Но рано или поздно и сами математики вынуждены будут признать это.

III.

Проф. Богомолов упрекает Евклида в том, что его определения и аксиомы являются описаниями наглядных представлений. Следуя работам Гильберта и Вайляти, проф. Богомолов формулирует все положения геометрии в весьма абстрактной форме. Такая строгая и отвлеченная формулировка в данном случае вполне целесообразна, так как допускает множественное истолкование полученных теорем, допускает многочисленные конкретные истолкования всякой отвлеченной теоремы и, следовательно, делает каждую теорему равносильной множеству теорем. Такая возможность представляет крупное завоевание современной геометрии.

Но вопрос все-таки в том, является ли геометрическая система, изложенная проф. Богомоловым, тою „чистой", „свободно созданной разумом" геометрией, за которую ее выдает наш автор.

Абстрактные аксиомы толкуют о точках, прямых, плоскостях, углах и т. п., и все они изложены так, что их можно точно так же принять за простые описания наглядных представлений. Проф. Богомолов говорит, что с понятиями „точка", „прямая", „между", „предшествовать" и т. д. не связаны никакие наглядные представления, что они просто являются элементами или же классами, носителями некоторых отвлеченных соотношений. Но то же самое в известном смысле можно сказать и о понятиях Евклида. Мы не можем наглядно представить Евклидовой прямой или треугольника вообще, но можем представить только ту или иную конкретную прямую, тот или иной индивидуальный треугольник. Таким образом как наглядные аксиомы Евклида, так и абстрактные аксиомы Гильберта и Вайляти одинаково являются обобщенными описаниями наглядных образов, и разница между ними в степени общности, т.-е. в той сфере наглядных образов, которую они обнимают.

[1]) „Вопросы обоснования геометрии", Москва 1913 г.

Далее проф. Богомолов говорит: „В выборе аксиом мы свободны; но, помимо обще-логических требований, мы должны удовлетворить и требованиям целесообразности: только та система заслуживает изучения, которая представляет или практический, или теоретический интерес" (36 стр.). Но легко видеть, что этим самым проф. Богомолов сводит на-нет пресловутую „свободу выбора" аксиом. Какие системы имеют „практический или теоретический интерес"? Очевидно, те, которые имеют наглядные интерпретации. Математическая система, замкнувшаяся в себе, не знающая и не желающая знать никаких приложений к эмпирической действительности, просто фикция. Но подобное превращение математики в фикцию есть, в свою очередь, только фикция. Ни один математик не согласится заниматься подобной изолированной системой.

— А неевклидовы геометрии?—возразит проф. Богомолов.

Но, ведь, конкретные истолкования неевклидовых геометрий интересны именно тем, что они противоречат интуиции. Кроме того, неевклидовы геометрии выступают в качестве гипотез, в качестве претендентов на выражение истинных свойств реального пространства, оспаривая монополию Евклидовой геометрии, и в этом их главное значение.

Таким образом абстрактные аксиомы „чистой" геометрии представляют собою все-таки не что иное, как отражение свойств эмпирической действительности.

IV.

Теперь рассмотрим метод математики, как он выражен в работах новейших геометров, и, следовательно, как он изложен в книге проф. Богомолова. Рассматривая аксиомы, приводимые проф. Богомоловым, мы замечаем, что все они представляют собою отношения сосуществования между двумя понятиями. Так как аксиомы абстрактны, то не следует видеть в них сосуществования в пространстве или во времени, но логическое отношение сосуществования. „А сосуществует с В", это значит, что если дано А, то дано также и В, при чем В может быть и в отсутствие А. Но если В не дано, то возможность А тем самым исключается. В кратких словах эти соотношения можно выразить так: А дано под условием В. Логическое отношение сосуществования не симметрично, т.-е. если А дано под условием В, то это еще не значит, что и В дано под условием А, хотя возможность последнего не исключается. Возьмем для примера из книги Богомолова первую из „аксиом сочегания" (I_1): „Две различные точки определяют одну, и только одну, проходящую через них прямую" (стр. 45). Здесь две различные точки даются под условием единственной прямой, через них проходящей. Прямая также дается под условием существования на ней, по крайней мере, двух различных точек. Но это обратное отношение сосуществования не

содержится в первой аксиоме (I_1), но составляет содержание второй аксиомы (I_2).

Кроме отношений сосуществования, в основании геометрии могут лежать постулаты существования понятий. Проф. Богомолов говорит, что „существует" в математике значит только „не приводит к противоречию". Но с этим нельзя согласиться. Суждение „X существует" в отвлеченной системе значит, что понятие X дано в качестве посылки или же может быть выведено. Пусть X не приводит к противоречию, но если эта посылка не дана, то в принятой системе посылки X „не существует".

Итак, отношения сосуществования и постулаты существования—вот что представляют собою предпосылки абстрактной геометрии. Математики согласны с тем, что геометрические истины представляют собой идеализацию наглядных представлений. Теперь мы можем указать, в чем заключается эта идеализация: от наглядного представления или от эмпирического факта отвлекается отношение сосуществования и выражается в виде абстрактной предпосылки. Для чего же математики так поступают?

Дело в том, что из данных отношений сосуществования возможно выводить новые отношения сосуществования без обращения к интуиции, на основании только формально-логического закона противоречия. Пусть мы имеем два отношения сосуществования: „A дано под условием B" и „B дано под условием C". Отсюда можно чисто-логически вывести, что „A дано под условием C". В самом деле, допустим, что A существует, но C не существует. Но B дано под условием C; это значит, что и B не существует; но A дано под условием B; следовательно, A также не существует, и мы приходим к противоречию. Мы не можем отвергать вывода, не отвергая которой-нибудь из посылок. Таким образом новое отношение сосуществования между A и C также является **необходимым условием**, при наличности которого могут быть справедливы первые два отношения. Между посылками и выводом также имеет место отношение сосуществования. Следовательно, дедуктивный метод математики, в сущности, сводится к **разысканию новых условий**, под которыми даны первоначальные аксиомы, и это надо запомнить.

Теперь допустим, что нам даны отношения a b и b c. Здесь вывести отношение a c нельзя, без обращения к интуиции. Чтобы избежать подобного обращения к интуиции, математика сводит отношения неравенства к отношению сосуществования и принимает в качестве аксиомы, что совокупность отношений a b и b c дана под условием отношения a c. Значит, если нам встретятся теперь отношения $x > y$ и $y > z$, то мы можем сослаться на аксиому, как на логическую посылку, и без обращения к интуиции получить вывод $x > z$.

Таким образом в строго-дедуктивной геометрической системе все, что зависит от интуиции и опыта, должно быть выражено в аксиомах в виде отношений сосуществования, и если список аксиом полон, то все дальнейшие выводы можно получить, применяя единственную интуицию—формальный закон противоречия. Применение закона противоречия к отношениям сосуществования—вот к чему сводится в конечном счете метод математики.

Теперь мы можем указать, как построить действительно „чистую" геометрию. Для этого надо взять m терминов, не имеющих определенного смысла и принять n постулатов существования и r отношений сосуществования между ними. При этом отношения сосуществования выразить так, чтобы можно было, применяя закон противоречия, без конца дедуцировать все новые и новые условия основных посылок. Это была бы действительно „свободно выбранная" система, абсолютно независимая от интуиции и опыта! Только вряд ли кто из математиков захочет тратить время на занятия таким абсолютно бесполезным спортом.

Проф. Богомолов много говорит о безупречности математических доказательств. Именно доказательства в отвлеченной геометрии, по его словам, абсолютно достоверны и абсолютно независимы от опыта и интуиции. Но можно ли вообще в данном случае говорить о доказательствах в действительном, а не условном смысле этого слова? Математика логически выводит одни суждения из других; она приводит весь материал в порядок, в строго-логическую дедуктивную систему; но может ли дедукция рассматриваться как действительное доказательство? Припомним, что дедукция сводится к применению закона противоречия, и что найденные таким образом следствия являются по существу только новыми условиями своих посылок. Например, из постулатов Евклида выводится, что сумма углов во всяком треугольнике равна двум прямым углам. Можно ли считать предложение об углах треугольника тем самым доказанным? Отнюдь нет. Доказано только следующее: посылки Евклида могут быть справедливы только при том условии, если сумма углов в треугольнике равна двум прямым углам. Что же может действительно доказать последнее предложение? Только опыт! И так как опыт не может быть произведен с абсолютной точностью, то мы и не знаем с полной достоверностью, Евклидова или неевклидова геометрия выражает вполне точно свойства реального пространства.

Но раз математические рассуждения не могут давать действительных доказательств, это значит, что формально-логический метод математики имеет не всеобщее, а частное и ограниченное значение и при исследовании реальной природы должен быть дополнен методом диалектическим. В общей системе научных знаний роль математики, хотя и весьма важная и необходимая, но вспомогательная по отношению к естествознанию и технике.

Поскольку математики считают свою науку „чистой" и вытекающей из разума; поскольку они отстаивают не относительное, но всеобщее значение математического метода,—постольку их рассуждения представляют собою идеалистическую метафизику.

И. Орлов.

Штурм неба в эпоху гражданской войны в древнем Риме.

Гражданская война в Риме II и I в.в. до Р. Х. оставила глубокий след не только в области социально-экономической, политической и бытовой, словом, в сфере матерьяльной; не менее была взрыхлена почва и в сфере идеологической, т.-е. в области понятий, верований, религиозных представлений и т. д.

Распад общественно-политических форм всего старого и традицией освещенного быта с логической необходимостью и психологической закономерностью, между прочим, приводил к критике и пересмотру старых религиозных принципов и воззрений. В римском обществе, а до известной степени и по всей линии средиземноморских государств, в рассматриваемый период шли два параллельных процесса—процесса реабилитации и идеализации старого быта, старых верований, отживших понятий и привычек и в то же самое время шумел могучий поток разрушения и осмеяния всего старого и традиционного, уже отжившего, или еще отживавшего.

Радикализм в сфере теологической, ссбственно, без особых усилий могла принять значительная часть тогдашней интеллигенции, ибо римская религия при ее формализме и малой популярности только косвенно служила защитой материальных интересов высшей аристократической группы, этим и надо объяснить, почему к критике религиозной догмы, ритуальных формальностей и обрядов все в Риме относились более или менее равнодушно и снисходительно, а иногда даже и прямо сочувственно. Недаром же Лукреций посвятил свою поэму-трактат знатному, радикально настроенному и просвещенному претору 55 года Меммию. С каждым днем все увеличивавшийся наплыв греческих философско-этических систем, восточных суеверий, культов, приезд богов и богинь и пр. со своей стороны тоже не в малой дозе способствовали подрыву авторитета и понижению популярности национальной религии. Таким образом все говорит за то, что почва для появления „Сущности мира“ [1]) была уже хорошо

[1]) Обычный перевод латинского „De rerum natura“ („О природе вещей“) заменен другим переводом „Сущность мира“, выражением, по мнению автора, более координирующим с содержанием поэмы в целом и при том более согласным с латинской грамматикой.

подготовлена. Лукреций только синтезировал и более ярко и в систематизированной форме выразил то, что уже было известно, понятно и, главное, приемлемо для интеллигентной части римской публики. Условия общественной жизни, т.-е. эпоха политических переворотов и революций, демонстрируя на практике непрочность общественных форм и политических образований, невольно толкали пытливую мысль на путь критики, а потом и на действительный штурм неба.

Действительно, настоящий штурм неба,—лучшего выражения трудно и подобрать,—открывает естественно-научный трактат „Сущность мира“, написанный в форме поэмы и обладающий всеми качествами художественного произведения Лукреция Кара, современника Цицерона и Цезаря. В первых же словах своей поэмы Лукреций дает систематическую и по тому времени прямо уничтожающую критику религии, как таковой, и с полной откровенностью вскрывает губительную для человечества практику жрецов. Подобно тому, как спустя два с половиной века поэт сатирик Лукиан обнажил всю внутреннюю пустоту и ничтожество ученых, философов и схоластов, так точно и современник Цицерона красиво и просто рассказал о религии и о ее представителях.

Наибольшей помехой, задерживающей человека по пути к самопознанию и к разумному созерцанию судеб, по мнению Лукреция, является тяготеющий над человеческим сознанием страх, отказавшись от религии, вступить на путь грешного миросозерцания разума. Вот этот то страх перед богами как раз чаще всего и порождал поступки, нарушающие право, оскорбляющие богов и разрушающие естественные чувства людей. Ведь, под давлением религиозного кошмара лучшие вожди данайцев совершили отвратительное дело, пролив над алтарем богини Дианы невинную кровь девы Ифианасы „и ей, несчастной, в такую страшную минуту не могло помочь даже и то, что она, самая благородная из девиц, называла царя своим отцом“. Под влиянием страшных рассказов жрецов,—продолжает Лукреций,—люди молчаливо сторонятся всего разумного. Самое же главное и опасное то, что люди верят в загробную жизнь, убежденные в том, что смерть несет за собою отчет в прожитых на земле днях и страх вечных мук и наказаний. Было бы совсем не то, если бы люди осознали, что смерть в то же время есть и полный конец всех их бедствий и страданий. Непреходящая заслуга великого грека Эпикура в том и состоит, что он с гордо поднятой головой вместо того, чтобы пресмыкаться на земле под прессом религии, первый из смертных взглянул в упор на небо и на бога. Ему первому из смертных захотелось сломать крепкие запоры природы, и его, убежденного в правоте своей идеи, не могли запугать и остановить ни всеобщее почитание богов, ни молнии, ни грозный грохот неба.

В главном следуя Эпикуру, Лукреций Кар бил в самое чувствительное место религии, разрушая на вид стройную и законченную картину вселенной, создаваемую теологическим миросозерца-

нием. Картина мира, его происхождение, развитие, дальнейшие судьбы, по его мнению, вполне удовлетворительно объясняются, и без наличности и помощи богов, простой игрой случайности. Мировой порядок, каким мы его знаем,—не раз подчеркивает Лукреций,—менее всего дело творческого акта разумного существа, но скорее всего естественное следствие механического сцепления бездушных атомов. Движимые собственной тяжестью и гонимые толчками атомы, бесконечное число раз сталкиваясь друг с другом и отталкиваясь и, таким образом, приспособляясь один к другому, образовали замкнутые и пространственно ограниченные тела. В дальнейшей эволюции эти путем механического сцепления образовавшиеся тельца или атомы сами послужили основной причиной образования моря, земли, небесного свода и всякого рода живых существ; короче говоря, первичные атомы создали настоящий космос multa modis multis mutata.

При подобной концепции мира, само собой очевидно, не остается места в природе вещей ни богу, как творцу или разумнейшему существу, ни вообще какой-либо теологической точке зрения. Происхождение человека наравне с прочими живыми существами также дело простой случайности, многочисленнейших взаимотрений атомов и эфирных толчков. Глаз,—рассуждает Лукреций,—не потому глаз, что он видит, но, наоборот, он видит потому, что он глаз; точно также ухо создано раньше, чем появились звуки, речь образовалась в результате развития речевых органов и пр.; и нелепа та теория, по которой выходит, что вселенная сотворена ради человека: „Разве посмел бы я утверждать по строению неба, что природа мира, в которой так много погрешностей, создана божественным промыслом и для наших потребностей"!

Отправная точка Лукреция Кара, устранявшая из системы мира бога и всякую разумность, заменяя их принципом целесообразности и механичности, ставила перед автором трудную, но в высокой степени важную и интересную проблему объяснить современное состояние мира с материалистической точки зрения, не вводя никакой потусторонней разумной или сверхразумной силы. Пятая книга научно-поэтического трактата „Сущности мира", исходя из основного принципа строго-материалистического миропонимания, дает в поэтической форме грандиозную картину истории всего мира. Без особого преувеличения можно сказать, что пятая книга естественно-научного трактата римского раба в главных чертах содержит в себе последующую теорию естественно-научного миропонимания, достаточно последовательно и убедительно проводя принцип эволюции и принцип борьбы за существование. Вначале наша земля была покрыта густою зеленью,—„краской зеленою повсюду луга цветущие блистали",—затем потянулись в воздух деревья, соперничая друг с другом из-за света и пространства, у птиц, наподобие волос появились перья, а у четвероногих—щетина; первоначально мало дифференцированная

жизнь земли впоследствии по разным причинам стала сильно развиваться и усложняться: на земле появилось множество самых разнообразных пород живых существ, до человека включительно; творческая сила земли, хотя и в очень ослабленной степени, продолжает творить и до настоящего времени: на земле постоянно возникают „из лучистого солнца и влаги дождевой" всевозможные породы и виды животных, вплоть до самых крупнейших зверей и безобразных чудовищ—гермафродитов.

Подобно тому, как между бездушными атомами идет беспрерывная, непрекращающаяся, борьба за первенство, так точно и между живыми существами происходит бесконечная борьба за существование, и как из столкновения и взаимотрения атомных эфирных молекул рождаются все новые и новые материальные комбинации, аналогичным образом и в мире живых существ в каждый момент наблюдается отмирание одних и нарождение других видов; одним словом, повсюду торжествует принцип борьбы за существование, принцип приспособления и выживания лучше и целесообразнее организованных видов. В течение своей долгой истории земля,—говорит Лукреций Кар,—произвела много безобразных и к жизни мало приспособленных существ—безногих, безруких, лишенных рта, со слепою головой, гермафродитов, или с телом, в котором все члены срослись настолько, что эти существа не могли сдвинуться с места, убежать от преследований и достать себе пищу. „Много диковин и чудищ земля создала в этом роде, но понапрасну. Большинству из них природа преградила путь, у них не хватило сил к существованию, и потому они должны были погибнуть, не выдержав тяжелой борьбы за существование".

Природа развитие им преградила.
Сил не хватило у них, чтобы зрелости полной достигнуть,
Чтобы достать себе корм и сходиться для дела Венеры.

В жестокой и злой борьбе за существование выживали лишь те породы и виды, которые были снабжены сильным и приспособленным к условиям данной обстановки орудием борьбы за существование: так хищные животные, как, напр., львы, предохраняют себя от вымирания присущей им необыкновенной силой и свирепостью, лисицы—лукавством, олени—бегством, собаки, шерстоносные овцы, рогатый скот и вьючные животные—своей верностью, преданностью и пользой, приносимой им своему повелителю и, вместе с тем, защитнику и покровителю-человеку.

Но были звери еще, коим не дано было уменья
Жизнь защищать свою собственной силой и не дано свойства
Чем-либо быть нам полезным, ради чего мы б старались
Нашей защитой их племя питать и им дать безопасность.
Звери такие добычей и жертвой других становились
И попадали в оковы злосчастного рока, покуда
Все поколение их, наконец, не исчезло в природе.

В последующих главах с огромным творческим подъемом и неподражаемой простотой и художественно-поэтическим колоритом изображается история материяльной и духовной культуры, как одно из средств борьбы все за то же самое существование на земле. Первобытный человек даже не умел обращаться с огнем, ни укрывать свое тело звериной шкурой и жил в лесах, рощах или в горных пещерах, добывая себе пропитание охотой с помощью огромной дубины или камней. При таком бродячем образе жизни не было ни социальной организации, в собственном смысле слова, ни моногамической семьи, ни брака, ни законов, ни морали. Брак, семья, закон, мораль и организованное общежитие—все это продукт дальнейшей эволюции и более сложных и комбинированных способов борьбы за существование. С усилением и обострением борьбы за существование и с усложнением форм социального общения развивается вместо первобытного лепета, крика, мимики и жеста более тонкий и верный способ выражения своих мыслей во вне и общения между людьми—языка, а потом и связная речь. Дальнейшие изменения в орудиях труда повлекли за собою и новые усовершенствования в сфере человеческого общежития, вместе с тем вызвали уже явления психического порядка: разные виды искусства—пение, танцы, игра на инструментах и науки, одним словом, материяльную и духовную культуру.

Высшие формы социального бытия и культуры однако не только не прекратили, но еще более усилили и обострили борьбу за существование,—этот основной рычаг человеческой культуры и всего прогресса. С появлением металлических орудий, металлического вооружения и земледельческих орудий из металла, повысилась интенсификация труда, увеличилось число добываемых продуктов, но зато параллельно с техническим прогрессом умножились и человеческие потребности, запросы и капризы. В культурном и психически развитом обществе элементарные виды борьбы за существование, носившие неорганизованный характер, теперь заменились организованной дракой, войной. Война, таким образом, по теории римского философа-естествоиспытателя, по своему происхождению является одним из видов или этапов в борьбе за существование, только уже не между отдельными индивидами, а между целыми племенами и народами; таким образом война, по мысли Лукреция, отнюдь не есть безусловно и принципиально незыблемая форма всякого рода общественных отношений и любого социального строя: напротив, из общей концепции Лукреция с большей логической последовательностью вытекает прямопротивоположная точка зрения. В самом деле, если война—один из необходимых этапов эволюции вселенной и человеческого общества, то логически из этого признания следует, что с дальнейшим прогрессом и усовершенствованием социальных форм и при еще большем подъеме материяльной и духовной культуры и соответственно этому с усложнением и утончением человеческой психики выработается и новая, пока еще неизвестная форма борьбы за существование. Коротко говоря, если основную мысль Лукреция довести до конца, то войну, как один из видов борьбы за существование, безусловно и последовательно придется признать только временным и преходящим явлением общественной жизни и жизни природы.

Мысль о прекращении и исчезновении войны из системы общественных отношений, однако, не только не развита Лукрецием Каром, но, наоборот, как будто вечность войны освящена его трактатом. Произошло это потому, что Лукреций, сильный своей разрушительной идеей, направленной против всего божественного, сверхразумного и сверхъестественного, не мог не поддаться общему пессимистическому настроению своего времени.

Как часто наблюдалось в истории, римляне современники, даже в лице самых передовых и радикально настроенных людей, в развертывавшихся тогда гражданских войнах ничего не замечали кроме разрушения, ужасных всеобщих бедствий или просто замены одной политической формы другой, или—еще проще—одного политического авантюриста другим. Им даже и не мерещились те огромные перспективы смены одряхлевших форм и принципов старой национальной латинской культуры более новыми и широкими видами культуры интернациональной, греко-римской или эллинистической, шедшей на смену старому быту.

При таком положении вещей с психологической необходимостью пессимизм, конечно, должен был стать господствующим настроением того времени. Побеждавшая же и вытеснявшая со своих традиционных позиций рядовую аристократию сенаторов демократия (т.-е., фактически, представители финансового капитала), как показал пример Цезаря, в своих стремлениях далеко не была революционна и радикальна и охотно пошла бы и даже изыскивала приемлемые формы компромисса с прежней аристократией.

В отношении идеологии римскую родовую аристократию только в известных пределах можно противопоставлять плутократии всадников, потому что и в социально-экономическом отношении между этими группами не всегда удается провести четкую грань. Сплошь и рядом землевладельческая аристократия под разными предлогами занималась коммерческими и финансовыми операциями, и, наоборот, финансисты, откупщики, ростовщики и т. п. спешили поместить деньги в землю. В культурном же отношении античная буржуазия старалась равняться по линии аристократии. Идеология общественных низов, т.-е. доподлинной демократии, вообще с трудом поддается изучению по состоянию материала.

Если же события, стихийно развиваясь, шли значительно дальше желаний римских радикалов и демократов, то причиной того были не демократы и радикалы, а сами события. Весьма показательно и то обстоятельство, что именно в той части, где демократическая цезарианская партия была более всего радикальна и революционна, т.-е. в утверждении своих юридических прав или прав на власть, там

оказывалась особенно смелой и ее идеология, примером чего служат литературные композиции и письма историка Саллюстия. В общем же, приблизительно около времени смерти Цезаря, общественное настроение в Риме было чрезвычайно подавленное, если даже и иметь в виду, что главными источниками нашего знания социальной психологии того времени являются консервативно настроенный Цицерон и отодвинутый от жизни историк-публицист Саллюстий.

Общей участи, выпавшей на долю римской интеллигенции, как сказано, не сумел избежать и автор поэмы-трактата „Сущность мира" Лукреций Кар. Широкой волной разлившийся пессимизм и черная меланхолия захватили и гениального творца бессмертной поэмы. Подобно тому, как человек, совершивший революцию в социально-политических отношениях и подчинивший римскому оружию галльскую и германскую народности, в конце концов не выдержал и, ослабев духом, пораженный кинжалами классовых и личных врагов, в самый разгар всеобщего кризиса сошел с исторической сцены, так точно и другой великий разрушитель и революционер, совершив революцию в понятиях и верованиях, ослабленный, разбитый и разочарованный, трагически сошел с жизненного пути, по преданию повесившись в 44 году, т.-е. в самый год трагической же кончины Цезаря. Кроме причин общего характера, имеющих корни в общественной психологии того времени, на психику Лукреция Кара крайне неблагоприятно действовали также слабость и болезненность его психо-физической организации. Страдая нервной неуравновешенностью, выражавшейся, между прочим, в частых нервных (эпилептических) припадках, продолжительной работой и мозговым переутомлением Лукреций окончательно разрушил свое хрупкое здоровье и уже на почве психо-биологической окончательно впал в пессимизм и меланхолию. Таким образом сгущенность общей атмосферы, нервность и неустойчивость общественной психологии, соединившись с факторами индивидуального порядка, довели замечательного философа, поэта и, одновременно с тем, крупного ученого до трагической развязки с жизнью [1]).

Пессимизм Лукреция как-то особенно не хочется связывать с его научным миропониманием, по которому лишаются права на существование все идеалистические и метафизические теории, пытающиеся усилиями чистого разума разрешить онтологические проблемы мира, загробная жизнь объявляется выдумкой жрецов, спекулирующих на глупости и невежестве людей, смерть рассматривается, как естественное состояние, не внушающее страха и т. д. и т. д. И тем не менее, вне всякого сомнения, Лукреций Кар—страшный и последовательный пессимист, ибо по его теории выходит, что некогда плодоносная земля теперь потеряла свою производительную

[1]) Дальнейшим соображениям на этот счет, между прочим, мешает полное отсутствие сведений из биографии Лукреция Кара, ибо кроме двух трех анекдотов от него ничего не сохранилось.

силу, да и вообще творческая энергия мира исчезает, а жизнь людей, ввиду все повышающейся борьбы за самую жизнь, с каждым днем становится все более бесцельной, пустой и, следовательно, ненужной. И вот, как бы в подтверждение своей теории приспособляемости и выживания, Лукреций на собственном примере демонстрировал, что такая хрупкая и наделенная необыкновенно тонкой психической тканью человеческая природа, которой обладал ученый поэт, не могла выдержать напора быстро несущегося потока жизни в междоусобную войну и потому должна была уступить место более просто и крепко организованным натурам.

При таком положении вещей и при пониженном субъективном настроении, для автора „Сущности мира" действительно оставался один единственный выход, который он и предпочел, насильственно за один раз покончив все счеты с жизнью. Как ни неприятно пессимистический тонус всего мироощущения Лукреция связывает с его возвышенной теорией, тем не менее все же при ближайшем рассмотрении приходится признать, что именно пессимизм составляет сущность всей научно-поэтической концепции мира Лукреция Кара. Придавленный тяжестью условий общественной и личной жизни и одновременно с этим пронизанный общим пессимистическим настроением своих друзей и покровителей из аристократии, Лукреций, по существу дела, в своих теоретических построениях приходит к весьма неутешительному выводу, что выживает, господствует и торжествует не самый лучший и добродетельный вид живых существ, но самый цепкий и наиболее приспособляющийся именно к условиям данного исторического момента. Во всей истории, таким образом, необходимо признать железный детерминизм, калечащий и направляющий всякое живое существо не в сторону его индивидуального счастья и благополучия, но по какому-то предначертанному и мало кому ведомому пути. Взятая в этой плоскости концепция Лукреция только и могла привести к такой роковой развязке с жизнью, которую избрал гениальный раб, автор „Сущности мира".

Возникшая в эпоху ломки старого строя и мучительного рождения нового поэма Лукреция, как и всякая другая научно-философская система и концепция мира, прежде всего должна была указать тот опорный социально-биологический центр, отправляясь от которого человек мог бы ориентироваться, действовать и жить среди новых условий общественной жизни, но, к сожалению, она не выполнила своего назначения. История человечества показывает, что, по понятным причинам, искание такого опорного пункта особенно болезненный характер принимает именно в эпохи больших социальных сдвигов, подобных кризису римской республики изучаемого периода. Найти же опорный идеологический центр—значит уже наполовину одержать победу; наблюдения над фактами мировой истории, кроме того, показывают, что крепкими духом, если не всегда, то, по крайней мере, чаще всего оказываются молодые, т.-е. еще только что подымающиеся и завоевы-

вающие свои права, общественные группы. Обратная картина наблюдается в лагере старых и отмирающих общественных групп. В изучаемый же период римской истории, опять-таки по весьма понятным причинам, в идеологии, т.-е. в науке, искусстве и религии, тон задавали представители уже поблекшей и увядавшей аристократии, своим предсмертным дыханием омрачавшей настроение современных писателей и поэтов.

Насколько велика была путаница в понятиях тогдашней интеллигенции или римских передовых людей, лучше всего можно судить по тем религиозно-философским спорам, которые велись в то время и отчасти дошли до нас в сочинениях древних писателей. Утверждение такой грандиозной схемы, как концепция Лукреция, само собою очевидно, потребовало от автора огромных диалектических способностей в смысле анализа и опровержения параллельных систем других авторов. И, в самом деле, вся поэма Лукреция в значительной части представляет из себя полемический трактат на богословско-философскую тему, написанный очень образованным, опытным в полемике и острым от природы человеком.

Отношение Лукреция к отвергаемым им системам и точкам зрения большей частью резко отрицательное, а временами даже прямо грубое. „Учить подобно Гераклиту,—напр., заявляет Лукреций,—что все явления состоят из огненной стихии, и что из всех явлений видимого мира только огонь соответствует реальной основе вселенной, по моему мнению, дело в высшей степени абсурдное. Вообще учение греческого пантеиста римскому философу-поэту представляется полной беспринципностью и противоречием самому себе. „Почему кроме всего,—спрашивает Лукреций,—с большим основанием можно отвергать субстанциональность всего, оставляя ее только за одним огненным элементом, а не наоборот—отрицать субстанциональность огня и признавать ее за чем угодно другим. Очевидно, что то и другое—одинаковый абсурд".

Не меньшую путаницу в сознание вносят учения и так называемых гилозоистов, принимавших за субстанцию мира воздух, воду или землю: вывод автора тот, что все они, как и Гераклит, очень далеко уклоняются от того, что соответствует действительности. Не удовлетворяет автора „Сущности мира" и плюралистическая теория, клавшая в основу четыре стихии—огонь, воздух, землю и воду. Несмотря на все величие, помпу и „чудные песни" представителей названной плюралистической теории, в особенности Эмпедокла акрагантского, „родившегося на берегах трехконечного острова, обтекаемого широким морем и омываемого соленою влагой его лазоревых волн" и провозглашавшего свои истины, „как бог из недоступных святилищ своего сердца" и т. д.,—все же эти гордые, самоуверенные и напыщенные пророки сумели только подорвать старую веру, но не сумели создать выдерживающей критику позитивной схемы.

Не лучше обстоит дело с учением Анаксагора и с космогонией

стоиков. Как одна, так и другая теория, по мнению Лукреция, не сводит концов с концами, рушится в собственных противоречиях, а при ближайшем и углубленном рассмотрении сплошь и рядом просто вызывает смех. Если в самом деле всерьез принимать, напр., теорию Анаксагора, что видимые явления, доступные нашим чувствам, возникают потому, что первичные элементы обладают теми же свойствами, что и воспринимаемые органами внешних чувств видимые явления мира, тогда придется допустить, что эти первичные элементы должны заливаться сердечным смехом, проливать горячие слезы и т. д.; не менее фантастична и противоречива также и система стоиков, поучающих, что одни тела тяготеют, а другие, наоборот, отталкиваются от центра, как легкое дыхание воздуха или огненная теплота, или, далее, фантазирующих, что вселенную опоясывает небо для того, чтобы стены мира не разнеслись по великому пространству пустоты и чтобы вследствие этого не разлетелось и все остальное, и пр. Вывод же из всего обзора соперничающих между собой философских систем таков, что все это результат ошибок надменного ума глупцов, не понимающих основных законов и путей развития природы.

Не менее яркую и выразительную картину хаотического состояния умов и напряженных исканий римской интеллигенции в области идеологии представляют и сочинения Цицерона, самого типичного и, может быть, самого яркого римского интеллигента искателя. В этом отношении особенно ценен и важен трактат Цицерона: „Природа богов", уже своим заглавием указывающий, в какую сторону пошел интерес Цицерона и его круга в последние годы римской республики. В названном сочинении с большим литературно-художественным мастерством, как это умел делать только Цицерон, выведены представители трех главнейших популярных философских систем—эпикурейцев, стоиков и академиков; притом Цицерону удалось не только передать самые доводы спорящих сторон, но и сохранить весь психологический колорит беседы, приводя способы и приемы аргументации собеседников. Любопытна в этом столь важном и так сильно волновавшем умы современников вопросе позиция, занимаемая самим Цицероном. Воспитанный в условиях римского форума и привыкший ценить значение всякой отвлеченной теории лишь постольку, поскольку из нее можно было вывести практические следствия, важные прежде всего с общественно-политической точки зрения, Цицерон к отвлеченным теориям самим по себе, т.-е. спору для спора, всегда относился как-то скептически-равнодушно, чтобы не сказать прямо пренебрежительно.

Для историка культуры изучение богословско-философских взглядов Цицерона представляет интерес потому, что Цицерон на своем собственном примере показывает, как часто в истории человеческого общества в моменты особо напряженной социальной борьбы даже скептики и принципиальные рационалисты стремились использовать арсенал религии и метафизики для защиты определенных классовых

интересов. Кроме того, как уже было сказано, сомнения Цицерона представляют богатейшую иллюстрацию тех оживленных и ожесточенных споров о боге, о мире, о человеке и т. д., которые тревожили римское общество в эпоху разложения родовой республиканской олигархии и замены национальной латинской культуры культурой интернациональной, римско-эллинистической. На фоне насквозь рационалистической поэмы Лукреция разбор философских и религиозных трактатов „отца отечества" приобретает важность еще и потому, что он показывает, во-первых, насколько сравнительно легко путем логических построений и исторических справок прийти к упразднению всякой религии, а, с другой стороны, из этих же самых диалогов явствует, как соблазнительно для политика-рационалиста использовать религиозную догму и теософические фантазии в своих интересах.

В одном из „Тускуланских размышлений", написанном в последние годы жизни, Цицерон мотивирует, почему он стал заниматься философией. Основной мотив, сообщает Цицерон, побудивший его заняться отвлеченными философскими вопросами тот, что он, теперь свободный от политической и адвокатской деятельности, не желает и на досуге оставаться бесполезным для своих сограждан; его истинная обязанность и досугом своим приносить пользу согражданам, как прежде он им служил своею общественной деятельностью. В частности, философией он стал заниматься потому, что на ней, по его мнению, держатся все науки, относящиеся к правильной жизни; иными словами, философия оправдывается приносимой ей практической пользой, и, главным образом, в сфере политики.

Еще прямолинейнее та же самая мысль выражена в „Природе богов", где Цицерон, опять оправдываясь в своих занятиях философией, заявляет, что „меня утомила бездеятельность, а положение государства было таково, что, по необходимости, им должен был управлять ум и попечение одного человека. Поэтому я решил прежде всего, ради самого государства, изложить философию на пользу своим соотечественникам, полагая, что для чести и славы государства весьма важно, чтобы и в латинской литературе заключались столь важные и прекрасные вещи".

К соображениям общественной пользы и патриотизма, кроме того, присоединялись и мотивы личной жизни и личного настроения: „Обратиться к этим занятиям побудила меня также душевная скорбь вследствие великого и тяжкого удара судьбы, и если бы я мог найти какое-нибудь большее облегчение в этом несчастии, то не прибегнул бы преимущественно к настоящему. Но и этим самым средством я никоим образом не мог воспользоваться лучше, как отдавшись не только чтению книг, но также и обработке всей философии".

Лейтмотив всех научно-философских воззрений Цицерона выражен им в предисловии к диалогу „Природа богов": „Мнения ученых столь разнообразны и столь противоречивы, что это должно служить сильным доказательством того, что причина и источник философии есть

„незнание", и что академики поступали благоразумно, не давая своего заключения в спорных предметах".

Даже такой ясный и простой постулат, по мнению Цицерона, подсказываемый нам природой, как существование богов, до бесконечности осложнен и запутан противоречивыми и легкомысленными суждениями ученых и философов. В самом деле, например, Протагор только сомневается в существовании богов, а Диагор и Феодор уже категорически утверждают, что боги вообще не существуют; затем не так легко согласовать и мнения философов, в общем сходящихся на принципе бытия бога; существует бесконечное число гипотез, мнений, предположений и суждений о внешнем виде богов, об их местожительстве, об их деятельности и пр.; особенно же велико разногласие о самой сущности вопроса, т. е. о том, пребывают ли богив вечном покое, нисколько не заботясь и не руководя миром, или же, наоборот, они находятся в вечном движении, всем управляя и все приводя в движение.

Более же всего пугает и отталкивает Цицерона гипотеза, по которой боги не имеют совершенно никакого попечения о человеческих делах. Если это мнение в самом деле справедливо,—спрашивает он,—то какое же может быть благочестие, какая набожность, какое почитание богов? „Ведь все это тогда лишь должно воздавать богам чистым сердцем и с благоговением, если это ими примечается и если бессмертные боги уделяют что нибудь человеческому роду. А если боги и помочь нам не могут или не хотят и, вообще, не заботятся и не замечают, что мы делаем и ничего от них не может произойти, то какое же нам основание воздавать бессмертным богам почитание, приносить жертвы, или воссылать молитвы?"

Но опаснее всего то, что если признать эту гипотезу правильной, то по необходимости вместе с богами тотчас же падут набожность и религия, а за их уничтожением должно последовать смятение в человеческой жизни и великое неустройство. Утилитарная точка зрения, отыскивающая во всякой отвлеченной системе что-либо полезное для блага людей, предопределила и позицию автора диалога „Природа богов" в таком для того времени остром и важном богословско-философском вопросе. „Мы не из тех,—решительно заявляет Цицерон, которые полагают, что ничего нет истинного, но из тех, которые утверждают, что со всякой истиной соединяется нечто ложное и с таким подобием правды, что нет никакого надежного критерия для составления окончательного решения".

При таком настроении умов совсем не удивительно, что Цицерон склонялся в сторону неокадемиков, т. е. такой философской системы, которая, по ироническому замечанию ее противников, отнимает истинный свет, застилая вещи словно ночною тьмою, но зато оставляет бо́льшую свободу человеческому фантазии, допуская существование в мире иррационального начала, непостигаемого умом, но, однако, руководящего жизнью мудрого человека и „имеющего некоторый ясный, блестящий и привлекательный вид".

Найдя таким образом, по крайней мере для себя, некоторую внутреннюю точку опоры, предоставляющую удобный выход из хаоса противоречивых суждений и бесконечных споров, Цицерон сумел подняться над спорящими сторонами и посмотреть на них с презрительно-скептической точки зрения, помня про себя, что principium philosophiae esse iuscitiam, т.-е. полное незнание. Перед сознанием читателя диалога в последовательном порядке проходят представители виднейших философских школ, показывая и рекомендуя читателю каждый свою систему, но, с другой стороны, приводимые ими pro и contra аргументы, настолько в сущности равноценны и равноубедительны, что у читателя в конце концов получается только один неоспоримый вывод, что действительно scientia est nihil scire. Богословско-философский диспут открывает эпикуреец Веллей, гордо и самоуверенно подвергая жесточайшей и злой критике философскую систему Платона и стоиков: „Теперь слушайте,—сказал он,—не фантастические мнения о художнике и строителе мира платоновом боге от Тимея и не рассуждения о вещей старухе стоиков, да и не о том, что вселенная, будто бы одаренная душой и чувствами, является круглым, светящимся и кружащимся телом; все это, господа, кажется мне божественно-диковинными вымыслами бредящих, а не здраво и основательно рассуждающих философов. В самом деле, какими духовными очами ваш великий Платон мог созерцать мастерство столь великого дела, когда бог, как он доказывает, составлял и устраивал весь мир? Какое усилие он употребил при этом, какие железные орудия, какие рычаги, какие помощники были при таком великом сооружении? И каким образом, наконец, воздух, огонь, вода и земля могли слушаться и повиноваться воле зодчего?“.

Что же касается тех мудрецов, утверждавших, что вселенная воодушевлена и мудра, то они и сами не уразумели и другим не сказали, „в какой вид может воплотиться разум и природа духа“? Но об этом, заявляет оратор, я скажу немного позже, а пока что только выражу свое удивление тупости тех людей, которые утверждают, что „существо одушевленное, бессмертное и блаженное“— кругло только по одному тому, что великий де Платон где-то и когда-то сказал, что нет более красивой и совершенной формы, чем круг или шар.

После Платона и стоиков Веллей переходит к критике ранних греческих философов, выискивая в каждой системе наиболее слабые и уязвимые пункты: „Вот, любезный Луцилий, ваш взгляд, а каковы другие, я изложу, начав с самого первого из прежних философов. Именно, Фалес из Милета, первый, делавший исследования, об этих предметах, утверждал, что вода есть начало всего, а бог есть тот разум, который образовал все из воды. Но если согласимся, что боги могут быть без разума и без чувства, то возникает вопрос, зачем же творец мира соединил с водою разум или зачем к разуму он присоединил воду, когда разум может существовать и без какой бы то ни было материи?“. Так же, как и другие, несостоятельно и мнение Анаксимандра, что боги имеют начало, в определенное время рождаясь и умирая, равно как и его утверждение, что боги суть бесчисленные миры и т. п. „Как на самом деле,— спрашивает эпикуреец,—мы можем представить себе бога, который не вечен?“

В конце концов очередь доходит и до испытания учения самих эпикурейцев.

Против положительной части учения эпикурейцев с сильной критикой выступает академик Котта, предупреждая, что он легче умеет обнаруживать ложность мысли, нежели находить истину и что, собственно, он вполне согласен с афоризмом великого Симонида, говорившего, что вопрос о божестве кажется все темнее, чем больше над ним размышляешь. Все доказательства, приведенные Веллеем, по мнению Котты, не убедительны ни в каком отношении: так учение об атомах не выдерживает критики, ссылка на всеобщую веру в богов неважна, как доказательство, да, кроме того, это не согласно и с действительностью, совсем так же неудовлетворительно и все сказанное о природе богов; ибо утверждение Веллея, что боги имеют не тело, но „как бы тело“—просто бессмыслица, которую, очевидно, не понимает ни сам Эпикур, ни его последователи; учение же эпикурейцев об образах, принадлежащих исключительно нашему воображению, но как-то таинственно истекающих на наши души и создающих представление о вечной и блаженной природе богов—справедливо считают бредом и вздором, а всю теорию эпикурейцев — пустой болтовней. Так же как учение эпикурейцев, по мнению неоакадемика Котты, несостоятельна и теория стоиков, поддерживаемая и развитая в диалоге Бальбом. Убежденный в том, что религия дело веры по преимуществу и никоим образом не должна и не может быть предметом науки, Котта развивает последовательную аргументацию против стоиков, пытавшихся обосновать религию доводами разума и науки. Бальб впал в противоречие и запутался уже в самом начале, с одной стороны, утверждая, что бытие бога не нуждается ни в каких логических и научных доводах, а, с другой, в то же время стараясь обосновать это положение логическими доводами, чем в конце концов только еще более усилил сомнение. Не убедительна ссылка Бальба и на веру народов, с которой он и сам едва соглашается, равносильна ценность и приводимых им примеров мнимого явления богов и проявлений божественной воли посредством дивинаций, затем непосредственных впечатлений, получаемых от величайших и грозных явлений и сил природы, правильности и закономерности движения небесных светил и т.п. Вызывают сомнение, наконец, и рассуждения Бальба о самой природе богов. В самом деле, если, по его мнению, вселенная есть бог, потому что нет ничего совершеннее ее, то, если даже это и правда, все-таки из совершенства мира еще никак не следует его одушевленность, разумность и божественность, ибо не менее правильности наблюдается в наступлении приливов и отливов или в приступах перемежающейся

лихорадки; заключение же Хризиппа, что если вселенная не могла быть создана человеческим разумом, то должны быть какие-то высшие существа, т.-е. боги—произвольно и основано на грубом смешении разума и сил природы. При допущении положения стоиков, что вселенная есть бог, логически уже никак нельзя примириться со множеством богов, т.-е. с политеизмом, наконец, и разум, который стоики объявляют высшим даром божества, и к которому они постоянно апеллируют, с точки зрения Котты, является благом весьма сомнительного качества, ввиду постоянной возможности злоупотребления—разум для людей скорее вреден, чем полезен; и вместо награждения людей разумом, боги, если бы они действительно заботились о людях, прежде всего позаботились бы о благополучии добрых и мудрых людей; на деле же этого никогда не бывает, и опыт не указывает на особую справедливость богов. Если бы только жизнью человека не руководила совесть, то сами боги послужили бы причиной многих дурных поступков, а отсюда прямой вывод, что боги не имеют особой заботливости о людях. В заключение своего длинного монолога, к тому же и дошедшего до нас далеко не в полном виде, Котта присовокупляет, что хотя и он не намерен отрицать существование богов, но он особенно подчеркивает трудность самого вопроса и вообще слабость научной аргументации в вопросах высшего божественного порядка.

Богословско-философские диалоги Цицерона, равно как и поэма Лукреция, для историка культуры и социолога имеют значение, само собою разумеется, не по своему внутреннему содержанию и развиваемой в них аргументации стоиков, эпикурейцев или неоакадемиков. Значение всех этих трактатов чисто симптоматическое, как ярких показателей и непосредственных отображений общественного настроения определенной исторической эпохи и определенной фазы человеческой культуры. Самое замечательное во всем этом то, что идейный кризис последних десятилетий римской республики, повидимому, был настолько велик и глубок, что общему настроению не могли не поддаться даже такие полные жизни и настоящие энтузиасты практической работы, как Гай Цезарь или Марк Туллий Цицерон. Поистине есть что-то трагическое в том, что политик, общественный деятель и адвокат, кипевший полной жизнью форума, Цицерон садится за составление богословско-религиозных компиляций! На фоне общего распада и гражданской войны общественному деятелю, в силу сцепления неблагоприятных обстоятельств отодвинутому от практической работы, для того, чтобы забыться и уйти от острой действительности, в самом деле не оставалось ничего другого, как только погрузиться в темную и бездонную пучину церковно богословских вопросов и метафизически-философских проблем. Хотя в то время на практике все важные дела и решались кровью и железом, но тем не менее большое значение имела и борьба на идеологическом фронте. И Цицерон, первоклассный политик своего времени, выторговавший в политической игре для своего класса все, что можно было тогда выторговать, отлично понимал, что можно извлечь для практического политика из хотя бы невольного занятия самыми отвлеченными и метафизическими проблемами. Богословско-философские сочинения Цицерона, кроме всего прочего, представляют знаменательный образчик того, как, даже не веря ни в какую метафизику и в глубине души будучи настоящим атеистом, можно использовать самые отвлеченные проблемы в грубо-классовых практических интересах. Изучение Цицерона таким образом еще и еще раз убеждает, что любая религия и всякая метафизика, сколь отвлеченной и оторванной от земли она и ни казалась бы, при ближайшем ознакомлении и более точном анализе всегда может быть сведена к очень грубым и прозрачным мотивам.

Возвращаясь к самому Цицерону, не лишнее указать еще и на тот факт, что, конечно, нельзя признать чисто случайным совпадением, что большинство философских трактатов Цицерона относятся к 45 или 44 годам, т.-е., другими словами, все они были задуманы и составлены под непосредственным впечатлением всеобщего кризиса, охватившего римское общество в последние годы цезаристского режима и затем в первые годы второго триумвирата, этим обстоятельством правильнее всего и надо объяснить пессимистический колорит философских произведений Цицерона.

Уже самый беглый обзор цицероновских трактатов указывает, в какую сторону была направлена мысль автора, и чего он хотел достичь своими отвлеченно-философскими сочинениями. Непосредственным толчком к занятию философией послужила смерть любимой дочери Цицерона Туллии, памяти которой и было посвящено одно из ранних, если только не самое ранее, из его философских сочинений, озаглавленное „Утешение", начала 45 года, написанное с целью забыться и отвлеченными вопросами заглушить горе, вызванное утратой дорогого человека. В следующем произведении „Гортензий", приходящемся также на 45 год, Цицерон особенно старается мотивировать свое новое увлечение философией и путем логических рассуждений убедить других и прежде всего, конечно, самого себя в необходимости заниматься отвлеченными вопросами. К вопросу о важности философских занятий Цицерон, как было указано выше, неоднократно возвращается и в других произведениях того же рода и в частности, в „Тускуланских размышлениях". В том же самом сорок пятом году появляются и „Академические беседы", в которых подвергается систематическому разбору самый больной вопрос того времени, именно, гносеологическая проблема, или проблема познания. В результате длинного и сильно написанного диалога выдающихся представителей Новой Академии Филона и Антиоха, сам автор определенно склоняется в сторону Филона, отрицающего всякую возможность познания вообще. Точка зрения Филона, т.-е. точка зрения агностиков, твердо засела в сознание, повидимому, далеко не одного составителя „Академических бесед", но и многих других интеллигентных римлян, живших

в переходную эпоху и болезненно метавшихся от одной философской концепции к другой и, наконец, успокаивавшихся на признании, что все на свете vanitas vanitatum и что в самом деле правы скептики, объявлявшие, что scientia est nihil scire.

После названных вступительных диалогов Цицерон опять-таки все в том же сравнительно бедном и глухом в политическом, но богатом и шумном в литературном отношении 45 году переходит уже непосредственно к трактовке самых проблем, начиная с критико-аналитического разбора учения о высшем благе и о высшем зле эпикурейцев, стоиков, академиков и перипатетиков. В диалоге, озаглавленном „Границы добра и зла", и, затем, в „Тускуланских размышлениях" Цицерон подробно занимается анализом понятия счастливой жизни, трактует о презрении к смерти, проповедует стойкость при телесных страданиях, говорит о средствах облегчить душевные страдания, заканчивая диалог горячим призывом к добродетельной жизни и с особенной силой подчеркивая, что virtutem ad beate vivendum se ipsa esse contentam. Наиболее интересный для нас диалог „Природа богов", собственно говоря, заканчивает длинную серию богословско-философских композиций Цицерона, рассуждение же о предугадывании воли богов, опубликованное вскоре после смерти Цезаря, служит органическим продолжением предшествующего сочинения и в то же время как бы уже постулирует диалог „Судьба", относящийся тоже к 44 году. Четыре остальных диалога „Старость", „Дружба", „Гражданские обязанности" и „Добродетели", все приходящиеся на 44 год, в подробностях развивают отдельные вопросы, уже содержащиеся или же непосредственно вытекающие из предшествующих.

Если теперь внимательно вдуматься в ход мыслей Цицерона, то легко обнаружить, что солидная философская работа была им проделана с одной определенной, может быть, даже скрытой и для него самого целью, найти некий внутренний устой или опорный пункт для самого себя, и подвести некую идеологическую базу под строящиеся здания практической политики и политической философии. Именно для Цицерона по многим причинам отыскать надежную идеологическую базу было делом особенно трудным, но необходимым, с этой целью ему пришлось тряхнуть всей греческой мудростью и пустить в ход всю огромную силу своей изумительной диалектики, весь ослепительный блеск своего красноречия и чарующий пафос своей стилистики, и все это надо было проделать для того, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами и хоть кого-либо убедить в правоте своих политических построений и правильности своих практических поступков.

Главная причина того, почему именно Цицерону надо было с таким большим трудом и напряжением защищать занятую им политическую позицию, заключается в его своеобразном социальном положении.

Все дело в том, что поднявшийся из рядов среднего сословия, т.-е. из промежуточного социального состояния, но благодаря исключительным дарованиям и большому образованию втянувшийся в вопросы внешней политики, Цицерон с самого же начала своей политической карьеры, живя в эпоху гражданской войны, пошел по скользкому среднему пути, дипломатически лавируя между родовою аристократией и на нее наседавшей демократией; к этому присоединилось еще и то обстоятельство, что индивидуальные особенности характера Цицерона мешали ему в нужный момент подняться до революционного сознания и предпочесть открытый образ действия ораторским выступлениям на общественной трибуне и хитрым дипломатическим махинациям. С точки зрения современной политической терминологии, Цицерона следует признать настоящим оппортунистом, либералом, парламентером, принципиальным защитником политических свобод и таким же принципиальным отрицателем всякого рода революционных или насильственных действий. По своим источникам дохода соприкасавшийся с высшими классами, а по своему образованию и талантам высоко поднимавшийся даже в рядах передовой и наиболее просвещенной части столичной интеллигенции, но по своему скромному происхождению и размерам своих доходов совсем близко стоявший к средней буржуазии Цицерон, как бы по воле рока, все время принужден был занимать какое-то своеобразное промежуточное положение между аристократией и демократией, в сущности никогда не будучи ни чистым аристократом, ни последовательным демократом; и если опять воспользоваться современной терминологией, то Цицерона вернее всего придется поместить в рубрику идеологов, вынужденных своим классовым бытием постоянно балансировать между родовой (феодальной) аристократией и чистой демократией, т.-е. мелкой буржуазией, ремесленниками и отчасти даже рабами.

Кидающиеся в глаза при первом ознакомлении с практической политикой и социально-политической идеологией Цицерона противоречия в значительной степени смягчаются и легко объясняются тем своеобразным местом в социальной структуре древнего Рима, которое занимали всадники, т.-е. верхний слой буржуазии, одним концом упиравшийся в демократию, а другим постоянно тянувший, а по временам и прямо сливавшийся с родовой олигархией. Вся ломаная линия политического поведения Цицерона как раз и является прямым отображением такой же изогнутой полосы социально-политического движения средних промежуточных слоев римского общества эпохи гражданской войны. Начав с относительно скромных требований уравнения в юридических правах и некоторого ограничения произвола небольшой кучи командовавшей олигархии, римская демократия в процессе стихийного роста и развития событий очутилась перед страшной возможностью катастрофической гибели всего римского государства, всего, как тогда выражались, rei populi romani. Действительно, с каждым годом положение республики становилось все более сложным и опасным. Самое же плохое было то, что так часто бывает в подобных случаях, что даже при всей искренности и чистоте стремлений

сплошь и рядом трудно было понять, на чью сторону становиться, какой ориентации и какого вождя придерживаться, а нередко замечавшееся равнодушие борющихся сторон еще более осложняло и без того уже чрезвычайно сложное положение вещей. Частые группировки и перегруппировки, сложение и распадение партий, блоки и их разрывы и т. д. в течение последних лет римской республики как бы органически вошли в обычную практику римской жизни. Ферреро путем детального, подчас прямо скрупулезного анализа, прослеживая события год за годом, обнаружил всю сложность социально-политического механизма римской республики в последний период ее существования. И вот при такой-то политической ситуации запутавшиеся в сложных социально-политических пертурбациях промежуточные группы, особенно уже начинавшая предчувствовать и бояться гибели всего „дела римского народа" финансовая знать, приводимая в ужас наседавшими на нее, с одной стороны, столичной беднотой и бунтовавшими рабами, а, с другой, возможностью освобождения от ига римского форума провинций и муниципий, готовы были пойти на самые широкие компромиссы с родовой аристократией, лишь бы только тем или иным способом задержать полный развал римской державы. Всю шаткость и переменчивость поведения промежуточных групп как раз и передает поведение Марка Цицерона, все же, несомненно, одного из крупнейших людей того времени. Ознакомление с политической деятельностью Цицерона таким образом оказывается необходимым и для понимания его отношения к религии и религиозным проблемам.

Не один раз восхвалив в своих речах всеми похвалами представителей спекулятивно-ростовщического капитала и выразив свое неудовольствие родовой аристократией за то, что она злоупотребляет правом происхождения и тем самым задерживает продвижение по своим дарованиям достойным быть на верху общественной лестницы, новым людям, Цицерон при первых же угрозах Цезаря осадить Рим, пишет резкое письмо, в котором категорически порицает поведение Цезаря. „Какая наша участь,—восклицает он,—неужели и в самом деле придется уступить бесстыдным требованиям, видна ли была когда-нибудь более бесстыдная дерзость; в продолжение десяти лет Цезарь занимает провинцию без всякого на то согласия сената исключительно с помощью козней и насилий". Узурпация Цезаря сначала переводит Цицерона в лагерь Помпея и с этого момента дело Помпея становится для него делом права и справедливости, долгом всех честных людей и принципом свободы. Но, однако, вскоре он сильно разочаровался в гордом и надменном патриции, называет его Суллой в малом масштабе, мечтающем о проскрипциях и новых конфискациях, и, убедившись, что вся эта вражда в большей своей части имеет в основе regnandi contentio, т.-е. является спором честолюбия и страстей, снова переходит к Цезарю. Тем более, что и раньше был момент, когда Гай Цезарь в глазах Цицерона являлся истинным защитником общественного порядка и даже

восстановителем гражданской свободы. Происходивший между ними приблизительно около 55—54 г.г. горячий обмен любезностями и комплиментами говорил об их взаимном понимании и взаимном доверии.

И все же, несмотря на все личные симпатии и дружбу с Цезарем, через несколько лет Цицерон принужден был вторично отшатнуться от победоносного и прославленного галльского завоевателя, как только заметил, что по временам над головою Цезаря появляется блеск царской короны. Царская же корона в глазах Цицерона и большинства римлян того времени, включая сюда и всю всадническую знать, означала не что иное, как гибель всей республиканской свободы, другими словами, грозила лишением всех прав и привилегий столичной знати в управлении и эксплоатации государства. Само собой понятно, что на такой компромисс добровольно не могли пойти ни олигархия, ни плутократия и ни ее идейный вождь Цицерон.

Бывали времена, что социальная неустойчивость и слабость материальной опоры доводили великого римского писателя прямо до самоунижения. Соперничавшие друг с другом и интриговавшие вожди партий, опиравшиеся не только на одну силу литературного стиля и личного опыта, но имевшие за собою и реальную базу в виде полных кошельков и солдатских дротиков, по мере надобности пользовались талантом Цицерона, принудительно и бесцеремонно сгибая его то в одну, то в другую сторону. Так, например, еще не успел Цицерон опомниться от принудительной дружбы с Крассом, как его уже заставили вновь разорвать только что было наладившиеся дружеские отношения с первым богачем Рима, затем впутали в процесс Ватиния, потом против воли навязали ему дело вернувшегося из Египта Габиния, любезно, но внушительно пригласив защищать того, кого он сам только что собирался обвинять, и многое-многое другое в этом же роде. Письма Цицерона к своим друзьям с недопускающей сомнения авторитетностью свидетельствуют, что их автору очень нередко, под давлением обстоятельств жизни, приходилось итти на компромиссы со своей совестью. В конце концов, у него даже сложилась своего рода философия, согласно которой выходило, что менять свои убеждения соответственно духу времени не только не дурно, но даже и очень почтенно. Политик, рассуждает Цицерон, должен принять за правило, что нельзя желать того, чего не хотят граждане, а с изменением внешней обстановки необходимо сейчас же меняться, искусно приспособляясь к дующему ветру, дабы не разбиться о подводную скалу. Да, кроме того, ведь, под различными знаменами можно в сущности стремиться к одной и той же цели, и разве, спрашивает он, не все знают, что надо часто менять направление паруса, желая дойти до тихой пристани, т.-е. до желанного otium cum dignitate.

На-ряду с прочими мотивами и побуждениями к такого рода упрощенной и любительской философии великого оратора не в малой мере склоняли также и его затруднительные материальные дела. Подарки богатых друзей и гонорар клиентов, так строго запрещавшийся

специальным законам (lex Cicinia de donis et muneribus), в значительной мере стесняли свободное движение совести Цицерона. Была, наконец, и еще одна причина, в сильной степени нарушавшая душевный покой римского общественного деятеля,—речь идет о той невыносимой и гнетущей нравственной атмосфере, которая с каждым днем все сильнее и темнее заволакивала римский форум. Конкурировавшие между собою политики и политиканы, защищавшие, смотря по обстоятельствам, то интересы народа, то интересы аристократии, то выгоды плутократии, притом вечно нуждавшиеся в деньгах для поднятия собственного престижа в глазах публики и во мнении своих клиентов или покровителей, сплошь и рядом прибегали к самым отвратительным способам интеллигентской борьбы за существование—к очернению, высмеиванию недостатков и промахов, а иногда и просто к клевете и брани по адресу своих соперников и противников. Среди ватиканских палимпсестов сочинений Саллюстия, между прочим, сохранились две преинтереснейшие инвективы, т.-е. две бранных речи, будто бы произнесенные в стенах сената, одна речь Саллюстия против Цицерона, а вторая—обратно, речь Цицерона против Саллюстия. Содержание этих инвектов — достаточное свидетельство того, насколько тяжела была нравственная атмосфера, в которой приходилось вращаться римскому политику; и, конечно, не может быть никакого сомнения, насколько растлевающе действовала подобная нравственная атмосфера на всю массу столичного населения и на ее политических вождей. К сожалению, названные инвективы далеко не были исключением из противоположного обычного правила. Для примера достаточно указать на знаменитые речи того же Цицерона против Катилины, речь против Верреса, речи против Марка Антония, так называемые филиппики, и, обратно, на длинную и до последней степени резкую и оскорбительную речь в сенате некоего Фурия, защитника Антония против Цицерона и много других. Ни одна даже самая острая и тонкая критика не в состоянии определить, что в этих речах является правдой, а что клеветой, и далее, что с точки зрения общественно-политической этики надо признать допустимым и что безусловно недопустимым.

Если теперь связать в одно целое все вышесказанное об общей обстановке гражданской войны, о психологии промежуточных общественных групп римского общества и, наконец, об индивидуальных особенностях Марка Туллия Цицерона, то станут ясными и понятными все специфические особенности, а иногда и прямо странности социально-политической философии знаменитого государственного мужа древности.

Воспитанный в грозе и буре, Цицерон все-таки никогда не был революционером и даже боевым человеком в собственном смысле. Тон и пафос его речей, направленных против крайностей аристократической олигархии или произнесенных за утверждение спекулятивно-ростовщического капитала, правда, как будто и говорят о революционном настроении оратора, но оценка тотчас же изменится, как только примешь в соображение, что сила крупного спекулятивно-ростовщического капитала и, следовательно, общественное положение буржуазии в то время были настолько уже прочны и общепризнаны, что восхвалять доблесть „славных и почтеннейших граждан“ означало не что иное, как с ораторской трибуны вторить общественному мнению. С этой точки зрения Цицерон является великим защитником фактического положения буржуазии и борцом за ее юридические и политические права перед сенатом и народным собранием. Но картина резко меняется, коль скоро к Цицерону предъявляются требования, как к политическому новатору, который через ломающиеся старые социально-бытовые рамы уже провидит и ощущает будущее, и с ответственно с этим берет новую ориентацию и вырабатывает новую тактику. Взятый в такой плоскости, Цицерон окажется не более, как чистокровным парламентарием и либералом, повторяющим зады и играющим на-руку обывателю.

Как, действительно, слаб и жалок великий римский муж во все время сложных и запутанных отношений эпохи Цезаря и обоих триумвиратов! Никакой определенной программы и никакой продуманной тактики! Лишь одно раскаяние, лишь один истерический призыв к прошлому, т.-е. к защите так называемой республиканской свободы, и затем, наконец, тревожные поиски Спасителя и Избавителя мира. В этом пункте Цицерон, между прочим, имеет нечто общее с Гракхами, на которых он, кстати сказать, в течение всей своей жизни никак не мог выработать более или менее твердого взгляда.

При таком положении дел и при таком объективном настроении нет ничего удивительного, что политическому деятелю типа Цицерона, взявшемуся за теоретическую обработку и систематизацию своих социально-политических идей, при наличности все шире разливавшихся политического абсентеизма и общей индифферентности к вопросам общественного характера, в первую же голову пришлось убеждать себя и своих сограждан в необходимости заниматься общественной деятельностью. В главном его сочинении политического характера „Государство“, складывавшемся под шум, гром и треск галльской авантюры, т.-е. в период крупной биржевой игры и всеобщей спекулятивной горячки, Цицерон уделяет очень большое внимание именно оправданию и восхвалению общественно-политической деятельности перед всеми другими видами занятий. Начиная по своей обычной манере с критики противоположных взглядов, Цицерон мнения всех противников необходимости для благоразумного человека участвовать в государственных делах делит на две категории: одни, которые стараются доказать, что благоразумный человек вообще должен держаться в стороне от политической деятельности, и другие которые говорят, что должно помогать государству только в затруднительных случаях. Аргументация первых сводится к указанию—на труды и траты сил, сопряженные с политической работой, во-

вторых—на опасности, которым почти всегда подвергается общественно-политический деятель, в-третьих—на черную неблагодарность сограждан, послужившую причиной несчастий многих славных людей, и в-четвертых—на трудность борьбы с неистовствами черни, и с противодействиями злонамеренных людей. Ни один из приведенных доводов, по мнению Цицерона, не выдерживает критики. Так труды и затраты энергии присущи всякой серьезной работе, а не только связаны специально с общественно-политической деятельностью, то же самое относится и к остальным аргументам, ибо если принципиальные противники политической жизни, побуждаемые, например, страстью к научным занятиям, не боятся переплывать моря, то можно ли останавливаться перед всеми подобными невзгодами, да и при том еще с излишком компенсируемыми сознанием пользы, приносимой отечеству? Что же касается, в частности, безрассудства черни и происков злонамеренных людей, то эти обстоятельства скорее должны побуждать, нежели отвращать от политической деятельности благоразумных людей, ибо не может быть причины, которая могла бы более побудить мудреца приняться за политическую работу, чем страх быть в повиновении у бесчестных людей и дозволить им терзать государство. Не менее легко опрокидываются и доводы второй группы противников государственно-политической деятельности, занимающих золотую середину между безусловным одобрением и категорическим отрицанием смысла и пользы общественного служения. Уже одно очень простое соображение, по мнению Цицерона, рушит всю логику их аргументации: дело в том, чтобы быть в состоянии помочь государству в минуты бедствий и катастроф, необходимо иметь известный авторитет, силу и опыт, а всего этого достичь невозможно, не умея управлять государством в спокойное время.

К деятельности на политическом поприще, заканчивает свою мысль Цицерон, благоразумных граждан прежде всего должно побуждать сознание пользы, приносимой своей работой отечеству, „ибо отечество, родившее и воспитавшее нас, доставляющее нам всевозможные жизненные удобства, имеет право в свою очередь требовать от нас в вознаграждение большей части наших способностей, оставляя нам в собственное пользование лишь то, что окажется излишним для него“, затем сама добродетель,—ибо существенная черта добродетели и деятельности, суть слава и почет, справедливо воздаваемые гражданами за добродетель; в случае же неблагодарности народа или зависти массы наградой будет служить сознание собственного достоинства и, наконец, кроме того, остается еще высшая награда для людей добродетельных и посвятивших себя служению государству; эта высшая награда именуется бессмертием.

Вот теперь-то и открывается, для чего Цицерону, светскому человеку и настоящему здоровому римлянину, понадобилось углубиться в церковно-богословскую науку и философию греков. Богословие и философия оказались ему необходимыми, как база, на которой воздвигалось в общем само по себе достаточно непрочное здание его социально-политических идей. При слабости положительной аргументации и при отсутствии живого понимания развертывавшихся событий пришлось апеллировать к трансцендентальной силе сверхчувственной и сверхпонимаемой и, таким образом, то, чего не могла дать человеческая логика и непосредственное жизнеощущение, должны были восполнить богословие, метафизика, философия и религия. Одним словом, с Цицероном произошло то, что нередко наблюдалось в истории человеческой мысли, во время больших общественных кризисов, когда старые нормы жизни уже достаточно обветшали и потеряли свой кредит, но когда еще не создалась или не окрепла новая идеология, то в обществе начинается ожесточеннейшая борьба идей, при чем сплошь и рядом в оборот пускаются идеи, выросшие на совершенно иной почве и сложившиеся в совсем другой социальной среде. В таких случаях, т.-е. при всеобщем распаде и брожении умов, общественному деятелю и руководителю необходимо прежде всего преодолеть все чужеродные элементы, не имеющие глубоких корней в данной социальной среде, а лишь скользящих по ее поверхности, и уже затем создать новый символ веры или новую идеологию в соответствии с изменившимися условиями жизни. Трудность же создания общественной идеологии состоит в том, что между идеей и производственной базой нет непосредственной филиации и зависимости; этим собственно и объясняется появление и существование в обществе теорий, форм и верований, по своему внутреннему содержанию явно являющихся пережитком далекого прошлого; не следует при этом также преуменьшать и значения прямой идейной агитации и пропаганды лиц и целых корпораций, для которых перебор и проповедь старых систем является предметом и средством существования.

Перед Цицероном как раз и стояла аналогичная проблема очищения и выбора идей, пригодных для его практической цели политика. Из целого моря всевозможных философских систем и положений он должен был выбрать только то, что имело самое ближайшее отношение к его современности. Для этой цели он и испытывает в своих диалогах крепость наиболее популярных и авторитетных греко-эллинистических философских систем. Скепсис по отношению к науке и презрительно-пренебрежительное отношение к философам облегчили работу римского политика, позволив ему с легкой совестью отбросить то, что не соответствовало его целям и удержать лишь самое важное и необходимое с точки зрения его социально-политической системы. Однако, как Цицерон ни сомневался в науке и как он ни острил по отношению к философии, заявляя, напр., через мудреца Лелия, что философией можно заниматься только в юности в видах упражнения и смешно на это дело тратить время в зрелом возрасте, он тем не менее для подтверждения своих доводов всегда обращается именно к философии и религии. Философия и религия Цицерону понадобились особенно в последние годы его жизни, т.-е. в тот период, когда он с особенным усердием и увлечением занимался выработкой своей социально политической идеологии. Пре-

красно знакомый с греческой наукой фанатичный апологет ростовщического капитала из богатого арсенала эллинской мудрости сумел выбрать все наиболее подходящее и ценное с практической точки зрения. При этом знаменитый pater patriae совершил над самим собой огромное усилие, стараясь убедить других в том, что ему самому казалось и недоказуемым и сомнительным, а, главное, ненужным.

Отдавая себе ясный отчет в том, каким тяжелым кошмаром традиции мертвых тяготеют над сознанием живых людей, Цицерон для увенчания своей некрепкой социально политической системы как раз и обращается к самой таинственной и мистической части эллинской философии,—именно, к учению о бессмертии души и о вознаграждении за земные добродетели.

При диалектических способностях и литературном таланте идеологу промежуточных социальных групп сравнительно не так уже было трудно вплести в свои рационалистические рассуждения мистико-религиозные мотивы и тем самым окончательно дискредитировать своих врагов и укрепить собственную систему. Души людей, по Цицерону, во многом по этому вопросу соприкасающемуся с Платоном, вечны и подобны частичкам божественной субстанции, разлитой в небесных телах; человеческая душа по отношению к телу играет ту же роль, какую бог занимает относительно мира,—другими словами, она живет, чувствует, помнит, предвидит, управляет телом и приводит его в движение, подобно тому, как бог сообщает движение миру; поэтому человек по своей внутренней природе может быть назван божеством, а, следовательно, душа человека, по аналогии с богом, должна быть признана также вечною. Продолжительность земной жизни предопределена богом и потому сократить ее не в силах ни одно живое существо. Земная жизнь, кроме того, для человека является испытанием, от которого никто не может отказаться. Что же касается состояния души после смерти, то оно неодинаково для душ людей добродетельных и порочных. Между тем, как души добродетельных и благоразумных людей сразу же достигают вечного блаженства, своего рода otium cum dignitate, к которому так стремился Цицерон, душам же порочных людей, всю жизнь посвящавших своим страстям и преданных удовольствиям, придется предварительно перетерпеть период долгого скитания или блуждания по земле. Но так как раньше уже упоминалось, что высшая из всех добродетелей есть служение отечеству, то, следовательно, благоразумные политические деятели и государственные мужи, вернее и раньше других унаследуют блаженство на небеси и жизнь вечную! Таким образом логические концы сошлись, и социально-политическая философия и практическая политика получили высшую санкцию и внутреннее оправдание.

В. Сергеев.

Русские экономисты за границей.

(Журн. „Экономический Вестник" за 1923 г., № 1).

В текущем году в Берлине находящаяся до сих пор „не у дел" белогвардейская ученая публика начала издавать журнал „Экономический Вестник". Этот вестник выходит под редакцией известного С. Н. Прокоповича и при ближайшем участии таких „светил", как Бернацкий, Бруцкус, Струве, А. А. Чупров, Каминка и др.

Во вступительной статье редакция журнала, опечаленная тем, что „в процессе революции сотни тысяч русских людей оказались оторванными от своей (?) страны и народа", стремится раскрыть, разъяснить им те „глубокие изменения", какие произошли в русском хозяйстве, и снабдить их библиографическими указаниями о выходящей русской литературе.

Однако редакция не может ограничиться этой научной и педагогической задачей. „Мы жаждем (пишет она) возрождения русского национального хозяйства, подъема его производительных сил и народного дохода". И „для того, чтобы принять активное участие в восстановлении ее (т.-е. национальной России) производительных сил, необходимо уже сейчас объединить всех работников в области экономических вопросов и приступить к собиранию материалов, необходимых для разработки конкретных планов восстановления сельского хозяйства, учитывая при этом и сложную международную обстановку".

Откуда же редакция „Экономического Вестника" черпает надежды на то, что скоро им придется „принять активное участие в восстановлении народного хозяйства России"? В этом отношении чрезвычайно характерны статьи: 1) С. Прокоповича „Новая экономическая политика" и 2) Б. Бруцкуса „Об эволюции земельной политики Советской власти". Промышленность, разваливающаяся, по их мнению, при коммунистическом руководстве, и крестьянство, „поголовно недовольное советским режимом",—вот те две силы, которые спасут белогвардейских ученых и снова вернут их на свою родину.

„Новая экономическая политика" (пишет С. Прокопович) оказалась бессильной возродить наше народное хозяйство. Хозяйственная предприимчивость продолжает при ней подавляться административ-

ным руководством. Поэтому она держит наше народное хозяйство в состоянии какого-то анабиоза, остановила его падение, но не дала ему сил для необходимого подъема.

„Производительные силы страны обнаруживают весьма слабый, сомнительный подъем. Промышленность переживает кризис сбыта. Финансовое положение государства не улучшается. Недовольство крестьян и рабочих не выражается в форме бунтов, но оно не только не исчезло, но продолжает расти".

А во вступительной статье от редакции прямо указывается, что Россия, „похоронившая миллионы людей в районах голода", снова стоит „перед новым голодом в этом году" (т.-е. в 1923 г.).

„Словом (продолжает уверять Прокопович), новая экономическая политика не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий. К началу 1923 г. она так же себя изжила, как была изжита коммунистическая политика к началу 1921 г.". Следует обратить внимание, что новая экономическая политика уже к началу текущего года себя изжила, в течение всего этого года коммунистическая партия была у власти, очевидно, по недоразумению, по причине того, что редакция журнала „Экономический Вестник" не успела еще выработать программы спасения и возрождения России.

Где же выход? „Нужен полный и последовательный отказ от коммунистических начал, полное освобождение частно-хозяйственной инициативы от связывающих ее пут и установление частной собственности" (курсив мой).

„Чтобы разбудить хозяйственную энергию русского народа, ему нужно, вместо тех гомеопатических „птичьих" прав на результаты его хозяйственной деятельности, которые принесла ему новая экономическая политика, дать настоящие права собственности". Этого же, оказывается, требуют „дымящие до Геркулесовых столбов, топливный, продовольственный, транспортный, финансовый и др. кризисы". На каждом шагу и в каждой области кризис, в деревне голод и недовольство, а большевики проявляют упорство и власти советов сдавать не хотят.

„Но здесь экономика упирается в политику", — справедливо признается С. Прокопович. — „Меньше всего (сокрушается он) можно было бы рассчитывать на медленную эволюцию существующей власти. До сих пор она упорно и настойчиво повторяет коммунистические заклинания". „Ларчик" открывается просто—восстанови частную собственность, дай возможность буржуазии „стричь купоны" с народного дохода—и возрождение наступит немедленно, а Советская власть этого понять не хочет и „упорно и настойчиво повторяет коммунистические заклинания".

Остается надежда на концессии. „Быть может, именно иностранному капиталу и иностранной хозяйственной инициативе, а не внутреннему политическому освобождению, суждено сыграть роль той живой воды, которая вдохнет жизнь в русское народное хозяйство и разбудит его производительные силы".

Но, увы, и здесь С. Прокоповича ждет разочарование, ибо иностранные капиталы „боятся невозможности вести успешно промышленные предприятия при нынешнем характере экономической политики Советской власти и росте национальной ненависти к иностранцам, получающим от власти широкие экономические привилегии". Оказывается, что иностранцы не хотят брать в России концессии, между прочим, и потому, что эти концессии слишком для них выгодны (?). Бедные капиталисты — им приходится даже отказываться от барышей, которые дает им Советская власть.

Однако тут наш экономический публицист впадает в такое лицемерие, что совершенно запутался и не сводит концы с концами. С одной стороны, „иностранцы уверовали, что Советская власть взяла в свои руки, с помощью новой экономической политики, дальнейшее развитие народно-хозяйственной жизни", а с другой, после Генуи обнаружилось, что среди них „увяла вера в успех новой экономической политики Советской власти". С одной стороны, надежда на целебную силу иностранного капитала, а с другой—признание гибельности политики этого привлечения.

Но дело; оказывается, и тут обстоит довольно просто, и С. Прокопович недвусмысленно проговаривается о том, чьи интересы стоят за его спиной и из каких источников он черпает свое экономическое вдохновение.

„Несомненно, право на свободный труд и предпринимательскую деятельность, право собственности и судебной защиты заключенных договоров необходимы для того, чтобы хозяйственная деятельность иностранцев была плодотворна. Но не менее необходимы эти права и для русских, для развития производительных сил и хозяйственной жизни русского народа" (т.-е. прежних русских капиталистов).

„Правильная линия в концессионном деле (поучает он далее), вполне отвечающая и интересам России и интересам иностранных предпринимателей и капиталистов, состоит в том, чтобы каждый предприниматель брал концессию на принадлежащие ему предприятия".

„Такая постановка концессионного дела до известной степени исключает опасность распродажи России иностранцам и, во всяком случае, делает самих иностранцев менее неприемлемыми с национальной точки зрения. Ничто, быть может, не подчеркивало так резко антинациональный характер Советской власти, как это страстное и настойчивое желание вырвать предприятия из рук русских владельцев, чтобы передать их иностранцам".

Итак, дело простое и ясное: откройте широко двери спасительному иностранному капиталу, но пусть он берет лишь принадлежавшие ему ранее предприятия, и верните старым русским капиталистам их прежние предприятия. Тогда наступит „развитие производительных сил и хозяйственной жизни русского народа", который только ждет, как бы поскорее снова попасть в ярмо прежних русских капиталистов.

Придется все же огорчить нашего экономиста: он долго не увидит этого „счастливого“ времени.

Касаясь дальше торговли Сов. России с заграницей, С. Прокопович утверждает, что в России еще до сих пор „большой статьей привоза являются жизненные припасы“. „Очевидно, Россия будет служить рынком, пока у нее есть золото для покрытия платежей по дефицитному торговому балансу, но она не может быть поставщиком хлеба и сырья для капиталистических стран. Напротив, она просит хлеба у своих западных соседей“.

Для всякого, кто хоть мало-мальски знаком с характером и результатами нашей внешней торговли, — очевидна вздорность этого утверждения. Правда, в голодный год Советская Россия вынуждена была закупить небольшое количество за границей „жизненных припасов“, но уже весной 1923 года она начала, и довольно успешно, экспорт хлеба за границу.

Выводы, к которым приходит С. Прокопович, мало утешительны: у него гаснет и последняя искра надежды на возрождение капитализма в России. „Вообще, до возврата к здоровым принципам экономической политики и полного отказа от коммунизма, иностранной предприимчивости и иностранному капиталу нет поля деятельности в России“ — таков заключительный аккорд его экономических изысканий.

Бедная Россия и несчастный „русский народ“, не хочет он своего спасения и благополучия, остается глух и нем к тем рецептам, которые приготовили для него заграничные „благодетели“.

К таким же мало утешительным выводам приходит и другой экономист Б. Бруцкус, делая оценку земельной политики Советской власти. Говоря о земельной политике минувшего периода, он отмечает: „В тех сферах жизни, где эта программа соответствовала настроениям возбужденных революцией масс, Советская власть не только сумела написать соответствующие декреты, но и воплотить их в жизнь“. „Когда программа коммунистической партии не находила опоры в стихийных устремлениях масс, подходящие декреты писать еще удавалось, но уже не удавалось воплотить их в жизнь. Наконец, там, где речь шла о жгучих интересах крестьянства, коммунистическая партия редко была хозяином положения. Декреты приходилось писать под диктовку возбужденных масс, и содержание их оказывалось в полном противоречии с коммунистической программой. Русская революция есть русская революция, и большевики далеко не были ее хозяевами“.

Издавая первый декрет о земле, большевики „мирились с народнической программой решения земельного вопроса, ибо она была санкционирована бесчисленными крестьянскими наказами и, следовательно, наилучшим образом выражала настроения революционного крестьянства“. Что правда, то правда: большевики всегда чутко прислушивались к интересам и нуждам беднейшего и среднего крестьянства. Правда и то, что „этот закон, написанный под диктовку революционного крестьянства, не остался мертвой буквой,—его основные положения были восприняты жизнью“.

Но плоды этой реформы, по мнению Б. Бруцкуса, были плачевны. Хотя она „обозначает уничтожение экономической базы прежней дворянской России и является началом „истории новой России“, но все же „экономические результаты“ черного передела „были для крестьянства, взятого в целом, отрицательными“. „Черный передел“ явился одним из важнейших факторов распада русского народного хозяйства“, он же оказывается вместе с войной (внешней и гражданской) и „опытами коммунизма“ послужил причиной засухи, неурожая и голода 1921 года.

Однако, утешает себя Бруцкус, „коммунисты никогда не были заражены народническими иллюзиями“ и, „изжив свои коммунистические болезни, они могли уже выйти на путь здоровой крестьянской политики в аграрном вопросе“, сначала в законе о трудовом землепользовании, изданном в мае 1922 г., а затем Земельном Кодексе.

Самый термин „кодекс“ (разъясняет Б. Бруцкус) показывает, что Советская власть, сделав много уступок НЭП'у, хотела бы во что бы то ни стало остановиться в своем отступлении, создать себе прочную законодательную базу, и на ней, что называется, „окопаться“. Но его утешает то, что „жизнь еще сильно потреплет этот „кодекс“, ибо „окончательно остановить движение НЭП'а нельзя, но тормозить его можно“ и подобно тому, „как закон о социализации земли есть знаменательнейший документ восходящей фазы русской революции, так Земельный Кодекс является важнейшим документом его нисходящей фазы“.

Как же расценивает Земельный Кодекс Б. Бруцкус?

Примирившись с ликвидацией крупной земельной собственности („факт бесповоротный“), он никак не может примириться с полной отменой частной собственности на землю и наибольшее неудовольствие у него вызывает ст. 27 Земельного Кодекса, по которой земля изъемлется из товарного оборота.

В свое время, делая оценку книги Б. Бруцкуса „Аграрный вопрос и аграрная политика“ („Под Знаменем Марксизма“ № 2), я уже указывал, что необходимость частной собственности на землю он мотивировал даже интересами рабочих, которым обещались всякие выгоды от продажи земли при уходе из деревни. Теперь время изменилось и вся его надежда—на собственнические устремления крестьянства.

Он делает вид, что не помнит слов, сказанных им в начале своей статьи о том, что свой первый земельный закон, полностью отменяющий частную собственность на землю, большевики провели, подчиняясь требованиям самого крестьянства. Он пробует уверить нас, что крестьянство говорит не то, о чем мечтает и к чему стремится. По его мнению, крестьянин, желая утвердить и упрочить свою собствен-

ность на землю, требует полной ее отмены. Несчастный русский крестьянин—он хочет быть деликатным, говорит иносказательно, „обиняками", а грубые большевики не имеют „тонкого понятия" и принимают его требования и пожелания „за чистую монету". Вот если бы был Бруцкус или помещики—они сумели бы понять его по настоящему, так как для них совершенно ясно, что „социализация и национализация земли" это лишь только „революционные леса, которые давно требуют „снятия" в интересах производства".

Наибольшее неудовольствие у него вызывают также коммуны и совхозы. „От социализма—говорит он—в кодексе имеется в сущности очень немного. Правда, там довольно пространно говорится о товарищеском землепользовании коммун и артелей. Но мертвое начинание не станет, конечно, живым, если его записать в кодекс" (курсив мой). Напротив, все его симпатии на стороне столыпинского землеустройства, которое, „несмотря на некоторую полицейскую грубость его приемов, шло в направлении здорового развития народного хозяйства", вызывало „сильное движение в крестьянстве" и „увлекало как раз хозяйственно-творческие элементы в его среде".

„Наоборот, коммуны были созданиями совершенно искусственными, в коммуны направлялись самые бесхозяйственные элементы крестьянства или бежавшие из города пролетарии с единственной целью поживиться за счет государства". Итак, крепкий мужичек, сидящий на земле по праву собственности,—вот к чему сводится весь идеал Б. Бруцкуса.

Однако, „если социалистические устремления получили в кодексе свое выражение преимущественно в бессодержательных декларациях, то более реальное выражение в нем получили некоторые народнические устремления": 1) „раздел кодекса об осуществлении знаменитого принципа народнических программ—права на землю" (а Бруцкусу хотелось бы это заменить правом собственности), 2) „в народническом духе нормировано понятие двора", как „трудового союза, члены коего равноправны" (а Бруцкус хотел бы видеть осуществление Столыпинского „единоличного владения"), 3) „трудовая форма пользования землей" и т. д.

Не имея возможности остановиться здесь подробно на том, в чем выражается социалистический дух Земельного Кодекса и как расценивать отмеченные выше, якобы „народнические устремления" в нем, я отсылал читателей к вышедшей на-днях моей книге „Аграрная политика в России" (издательство студентов Петровской Сел.-Хоз. Экономии), где мною даны ответы на затронутые выше вопросы. Да и сам Б. Бруцкус вынужден признать, что Земельный Кодекс, „в отличие от народнических программ, считается с интересами производства" и „не останавливается почтительно перед порогом самоуправляющейся общины,—это для него не „святая святых", как для народников".

Будучи недоволен целым рядом статей и разделов Земельного Кодекса, стремясь его опорочить ссылкой на народническую его окраску, признавая с прискорбием, что „кодекс правильно намечает" путь к подъему сельского хозяйства, Б. Бруцкус утешает себя и представителей „оторванной от родины интеллигенции" тем, что „в условиях быстрого развития народного хозяйства, положения кодекса окажутся во многих существенных частях неудовлетворительными и потребуют дальнейших исправлений".

Конечно, коммунистическая партия отнюдь не намерена связывать себе рук в важнейшем земельном вопросе. „Если новый Земельный Кодекс окажется в тех или иных отношениях заслуживающим поправок, мы без всякого затруднения эти дальнейшие поправки, эти дальнейшие улучшения будем принимать",—говорил тов. Ленин после утверждения ВЦИК'ом Зем. Кодекса, и его слова останутся лучшим для нас заветом. Но этот пересмотр, конечно, пойдет далеко-далеко не в том направлении, о котором мечтают буржуазные экономисты, „крепостники", помещики и разного рода белогвардейцы. Их песенка спета—„облетели цветы", и не дождаться им возврата частной собственности на землю в Советской России.

„Все дороги в Рим ведут"—старинная поговорка, и все чаяния и устремления заграничной интеллигенции упорно возвращаются к заграничному капиталу. В нем же видит спасение и Б. Бруцкус, указывая, что без „активного участия иностранного капитала" задача „экономического восстановления России" неразрешима. Итак, частная собственность и иностранный капитал—вот две цитадели возрождения народного хозяйства России.

Другие статьи „Экономического Вестника" (Л. Пумпянского—Организация и работа советских трестов и А. Маркова—Значение натурального налога в финансовом хозяйстве Советской власти на Украине) в общем повторяют доводы Бруцкуса и Прокоповича.

Характерная деталь: довольно невинная и совершенно бесполезная статья П. Струве под заглавием: „Научная картина экономического мира и понятие „равновесия",—статья, которой открывается „Экономический Вестник", в отличие от всех других напечатана по старой орфографии. Очевидно, когда не хватает белогвардейского пороху, тогда „камни возопиют": когда нечем возражать, пусть хоть старая орфография послужит протестом против варварства большевиков.

Заслуживает быть отмеченным, что в библиографическом отделе, в задачи которого входит ознакомление заграничных экономистов с новой русской литературой в области экономии и статистики, с удовлетворением отмечается терпимость редакции журнала „Сельское и Лесное Хозяйство".

„Должно приветствовать (говорится в рецензии) решимость официального издательства привлечь в состав своих сотрудников,

помимо коммунистов, всех, кто работает в сфере русского сельского хозяйства, не спрашивая их: како веруеши?". „Даже водворение какого-либо сотрудника в советскую тюрьму, вещь по современным русским условиям столь обычная, не служит препятствием к появлению его статьи в журнале". Оказывается, не так уже плохо в России и в отношении свободы слова: чтобы печататься, отнюдь не надо быть коммунистом, можно даже из тюрьмы посылать рукописи для печати. И как же должна возрасти „тоска по родине" заграничного экономиста после таких „медовых сообщений"?

Итак, беглое рассмотрение важнейших статей „Экономического Вестника" довольно ясно обнаруживает перед нами всю слабость и шаткость позиции белогвардейской „ученой" публики, проживающей за границей. „От хорошей жизни не полетишь"—только с отчаянья можно броситься в объятия иностранного капитала и безнадежно мечтать о восстановлении частной собственности на землю.

П. Месяцев.

К проблеме общественно-необходимого рабочего времени.

I-я часть.

„Весь спор (в дискуссии между сторонниками „технической" и „экономической" версий трактовки проблемы общественно необходимого рабочего времени. *И. К.*) идет из-за того, вводить ли, или нет в понятие технической необходимости коррективов от общественной потребности",—пишет тов. Мендельсон во второй статье (№ 4—5 „Под Знам. Марксизма" за 1923 год, стр. 244).

Думаю, что с точки зрения всей системы Маркса самый этот вопрос является недопустимым, не должен и возникать. В самом деле: разве не обязательно для нас (если мы хотим рассуждать в духе системы Маркса) рассматривать экономические явления с точки зрения процесса общественного воспроизводства? И разве не предполагает этот процесс количественную определенность потребности общества в каждый данный момент в товаре данного рода? То, что потребность общества в каждый данный момент может быть выражена количественно, отнюдь не противоречит, конечно, тому, что эта потребность эластична и текуча). А если это так, то позволительно ли упускать этот количественный момент при определении рабочего времени, технически общественно-необходимого для производства штуки товара данного рода в данной конкретной обстановке, при данном состоянии процесса общественного воспроизводства и состоянии общественной техники?! Ведь если мы упустим из виду эту количественную определенность общественной потребности с точки зрения воспроизводства в целом в данного рода товаре, то самые наши рассуждения об общественно-необходимом в среднем рабочем времени приобретут совершенно беспредметный, оторванный от общества характер (определение общественной необходимости в отвлечении от общества!). Для того, чтобы технически определить, сколько

рабочего времени общественно-необходимо затратить в среднем, надо знать, сколько товара всего надо произвести и сколько общество по необходимости технически вынуждено затрачивать на производство отдельных партий его на разных предприятиях с различной высотой технического оборудования. Не зная потребного количества товаров, как же можно узнать сумму рабочего времени, которое необходимо затратить на их производство; а не зная того и другого, как можно определить время, общественно-необходимое для производства единицы товара? И не ясно ли, что каждая из величин, посредством которых определяется искомое среднее, влияет на размеры этой последней; как же можно после этого игнорировать величину общественной потребности в товаре данного рода, общественно-необходимое рабочее время на производство которого хотят определить?

Я сомневаюсь даже, нуждается ли столь ясное положение в иллюстрациях. Поэтому, приводя их, я воспользуюсь ими преимущественно для того, чтобы дальше развивать свою мысль.

Возьмем простейший пример и отвлечемся при этом пока от категории цен производства, предположив, что цены товара непосредственно „тяготеют" к стоимостям.

I-й пример. Допустим, что при нормальном течении процесса общественного воспроизводства, обществу необходимо ежегодно 900 штук товара данного рода. Предположим при этом, что эти 900 штук товара производятся в различных предприятиях, которые по техническому признаку можно разбить на три группы:

1. Предприятия с новейшей техникой, производящие 300 штук товара в течение 200 часов. Необходимое в данной группе рабочее время на производство штуки товара=40 минутам.

2. Предприятия средней группы, производящие 300 штук товара в течение 300 часов. Необходимое для данной группы рабочее время на производство штуки товара равно одному часу.

3. Наконец отсталые предприятия, производящие 300 штук товара в 400 часов. Для них время, технически необходимое для производства штуки товара, равно одному часу 20 минутам.

При такой конкретной обстановке, ясно, что время технически общественно-необходимое для производства штуки товара, совпадает со временем второй группы и равно одному часу:

300 штук	по	40 минут	равно 200 ч.
300 „	„	1 часу	„ 300 ч.
300 „	„	1 ч. 20 м.	„ 400 ч.
Итого 900 штук			900 ч.

900 : 900=1 часу.

Возьмем другой пример. Допустим, что по тем или иным причинам $^1/_3$ товаров рассматриваемого нами рода совершенно вытесняется из процесса потребления, и для нормального течения процесса общественного воспроизводства теперь требуется всего лишь 600 штук рассматриваемого нами товара в год, произведено же его 900 штук. Что при этом происходит со стоимостью товара? Какое время является теперь общественно-необходимым?

Раз процесс воспроизводства требует теперь всего лишь 600 штук ежегодно, то ясно, что одна из трех производственных групп оказывается излишней. Какая же?—Разумеется, низшая, та, в которой затрачивается наибольшее время на производство 300 шт. товара, т.-е. группа, затрачивающая на это дело 400 часов. Временем, технически общественно-необходимым на производство штуки товара, теперь будет

200 часов (1-я группа)+300 часов (2-я гр.). Итого 500 часов на 600 штук, т.-е. 50 минут на 1 штуку.

Под влиянием изменений количества товара, потребного для нормального течения процесса воспроизводства, изменилось определение рабочего времени, технически общественно-необходимого для производства единицы товара, изменилась ее стоимость. Сами эти изменения количественных пропорций процесса воспроизводства явились результатом предшествовавшего течения процесса.

Однако мы оставили пока в стороне наши 300 штук перепроизведенного товара. Как влияют они на рассматриваемые нами экономические явления? Прежде всего они вызывают, конечно, отклонение цен от стоимостей, что наблюдается до тех пор, пока не „рассосется" перепроизведенный запас, пока не восстановится нормальное течение процесса воспроизводства. Что же происходит при этом с самой стоимостью?

Здесь, как это правильно отмечает и тов. Мендельсон, мыслимы два случая.

1-й, когда свойство товаров не позволяет им „рассасываться" (т.-е. поступать в потребление) быстрее нормального хода процесса воспроизводства даже по пониженным ценам. Тогда все 300 штук товара должны будут поступить в потребление лишь на следующий год. Если при этом рассматривать наш процесс схематически упрощенно, то общественная потребность в воспроизводстве этого рода товара выразится в этом году (следующем после года перепроизводства на 300 штук) в 300-х штуках. (Годовая потребность=600; 300 шт. осталось от прошлого года,—300 надо воспроизвести). А если это так, то временем, общественно-необходимым для производства товара, теперь будет время, затрачиваемое в первой группе (технически наиболее совершенной), т.-е. 200 ч. на 300 шт., или 40 минут на штуку товара. Этим временем (40 мин. на штуку) и будет определяться стоимость как запаса в 300 штук, так и вновь воспроизводимого товара. В следующем за тем году (продолжаем тоже схематическое рассмотрение) общественный процесс воспроизводства предъявил бы требование уже на 600 штук. При этом вновь приступила бы к работе 2-я группа предприятий, ибо она оказалась бы теперь технически общественно-необходимой, и трудовая стоимость штуки товара теперь снова повысилась бы до $\frac{200+300}{600}$ часов, т.-е. до 50 минут.

Или, если, допустим, за время перерыва в работе 2-й группы и вследствие обнаруживавшегося после того недостатка товара была оборудована 2-я группа с такой же техникой, как и у первой, тогда стоимость товара осталась бы на прежней высоте: 40 мин. за штуку.

Но возможен и иной случай:

300 штук перепроизведенного товара подвергаются рассасыванию по пониженным ценам, т.-е. поступают в потребление не только на те цели и теми лицами, на которые и которым товар шел при нормальном ходе процесса воспроизводства, но и на некоторые другие цели, на которые он не был бы употреблен в другое время по причине невыгодности такого его применения. В этом случае общественная потребность для нормального хода воспроизводства в следующем же году, после года перепроизводства может выразиться уже не в 300-х штуках, а приблизиться к 600, ну, скажем, будет выражаться в 500 штуках. (Если 200 шт. уже рассосалось и остаток на новый год равен 100, а нормальная общественная потребность равна 600, то воспроизвести надо 500 шт.). Тогда и трудовая стоимость товара будет определяться соответственно:

300 шт. по 40 мин.	200 ч.
200 „ „ 1 ч.	200 ч.
Итого 500 шт.	400 ч.

400 : 500=48 мин.

Таким образом оба варианта, и тот, когда род товара делает невозможным ускоренное рассасывание по пониженным ценам, и тот, когда такое рассасывание происходит, не представляют затруднений для объяснения.

3-й пример. Возьмем для достижения наибольшей ясности и полноты анализа третий, гиперболический случай.

Допустим, что диспропорциональность в процессе воспроизводства зашла так далеко, на производство данного рода товара было брошено так много капиталов, что в данный момент на-лицо запас товара, превышающий втрое годичную потребность нормального процесса воспроизводства, равную скажем 300. У нас в-ходу все три группы предприятий, производящие ежегодно 900 штук товара. Сейчас уже произведено товара 600 штук, т.-е. ровно столько, что два года процесс воспроизводства их вовсе не нужен. Цена стремительно падает; фабрики закрываются. Чем определяется теперь стоимость товара?

Конечно, это момент тягчайшего кризиса, когда падение цен заходит невероятно далеко, когда товары продаются за бесценок, или даже совсем не продаются, как будто они совсем потеряли ценность. И однако мы, подходя к явлению с точки зрения общественного процесса воспроизводства, должны будем сказать, что на воспроизводство штуки такого товара, даже при самых благоприятных условиях, общество не может затратить при данном уровне техники и интенсивности труда и обученности рабочего—менее 40 минут, поэтому общественно-трудовая стоимость штуки этого, так низко сейчас расцениваемого на рынке в бурю кризиса товара, все же равна 40 минутам труда. Быстро ли при этом будет происходить рассасывание, или медленно, допускает ли товар иное применение, чем в обычных нормальных условиях, или нет—его стоимость измеряется 40 минутами.

В дальнейшем, когда процесс рассасывания заходит уже далеко и обнаруживается недостаток в товаре, начинают производство предприятия первой группы (с высоким техническим оборудованием) и если за это время не произошло изменений в общественном процессе воспроизводства, то 300 штук товара, производимых в 1-ой группе, будут вполне удовлетворять общественную потребность; трудовая стоимость товара будет равна 40 минутам за штуку.

Но, обычно, под влиянием повышения цен к концу рассасывания старых запасов товара имеют возможность начать производство и предприятия сначала 2-й группы, а при очень большом повышении цен и отсталые (3-я группа). Тогда наблюдается, примерно, такая картина:

1-ая группа производит	300 штук	за 200 ч.
часть 2-й группы	100 „	„ 100 ч.
часть отсталых	75 „	„ 100 ч.
Итого	475 шт.	за 400 ч.

Но общественно-необходимой здесь является работа лишь 1-й группы; технически общественно-необходимым на производство штуки товара временем является 40 минут. И это обстоятельство не замедлит вскоре больно ударить отсталые предприятия и фабрикантов 2-й группы: цены резко упадут (ниже 30 мин. за штуку товара, если позволи-

тельно выразить цену в рабочем времени) и их предприятия вынуждены будут, потерпев убытки, закрыться.

4-й пример. Наконец, рассмотрим еще 4-й случай—товарный голод. Допустим, что общественный процесс воспроизводства потребовал 2.000 шт. товара ежегодно, а наши три группы предприятий могут дать всего лишь 900. Цены взвинчены; предприятия растут, как грибы. Но чтобы вновь построить и оборудовать по последнему слову техники фабрику, требуется длительное время. Гораздо легче пустить в дело вытесненные ранее из-за перепроизводства отсталые предприятия. И вот, допустим, мы имеем к концу года следующие результаты:

1-я группа (новейшие)	450 шт. за	. . . .	300 час.
2-я „ (средние)	500 „ „	. . . .	500 „
3-я „ (отсталые)	750 „ „	. . . .	1000 „
Итого	1700 шт. за	. . . .	1800 ч.

Теперь все предприятия выполняют общественно-необходимую работу, необходимы даже отсталые, и даже их не хватает. Общественно-средняя трудовая стоимость единицы товара, обусловленная технически, равна теперь 1800 : 1700 = 1 1/17 часа.

Я думаю, что этих основных примеров совершенно достаточно.

Какое же определение понятия общественно-необходимого рабочего времени должны мы дать после всего сказанного? Думаю, что оно должно быть следующим: общественно-необходимым рабочим временем следует считать то время, которое, при данном состоянии развития производительных сил и данном уровне интенсивности труда и обученности рабочего, технически необходимо обществу затратить в среднем для воспроизводства единицы товара, принимая во внимание то количество этого товара, которое при данном конкретном состоянии процесса общественного воспроизводства обществу необходимо произвести, чтобы процесс этот мог продолжаться нормально. При таком определении общественно-необходимого рабочего времени улавливается самая суть закона стоимости: производитель за свой товар должен получить ровно такое количество ценностей, которое обеспечивает ему и обществу в данной конкретной обстановке нормальное течение и нормальные размеры процесса общественного воспроизводства.

Такого уточнения в определениях общественно-необходимого рабочего времени мы у Маркса не встречаем. Ясно, что наличие его устранило бы возможность всяких „версий“ в трактовке проблемы. Однако в определениях Маркса чувствуется, что автор „Капитала“ вовсе не упускал из виду количественных размеров потребности общественного воспроизводства. Уж на шестой странице I-го тома, в I-ой же главе (русское изд. 1920 года), в определение общественно-необходимого рабочего времени Маркс вводит признак „наличные общественно-нормальные условия производства“. Будет ли, спрашиваем мы, общественно нормальным производить товара втрое больше, чем то требуется для нормального хода процесса воспроизводства? Конечно, нет. Количественный момент здесь можно считать молчаливо учтенным. А II-й том даже для скептиков в этом деле не может оставить каких бы то ни было сомнений в том, что количественные размеры потребностей общественного воспроизводства Марксом учитывались.

Такое понимание категории общественно-необходимого рабочего времени (с учетом количественного момента в воспроизводстве) исключает возможность „версий“—как „технической“, так и „экономической“, ибо в монистически выдержанном синтезе оно объединяет то,

что есть действительно верного в обоих, и отбрасывает в сторону как ту схематическую неподвижность, статичность, которой дышит чисто техническая версия, так и то вульгарное смешение стоимости и цены, отождествление их, которым грешат „экономисты“ [1]).

Однако мы не закончили еще нашего анализа. Мы вели его в предположении, что цены товаров „тяготеют“ к стоимостям. Теперь нам предстоит рассмотреть, как же происходит дело в капиталистической действительности, где центром колебания цен являются цены производства.

Как здесь учитываются размеры общественной потребности? Какое отражение найдет здесь в изображении процессов производства и распределения прибавочной ценности, установления цен производства и средней нормы прибыли, наше понимание категории общественно-необходимого рабочего времени? Рассмотрим это на наших конкретных примерах.

Предположим, что в нашем примере мы имеем дело с отраслью производства, органический состав капитала которой в среднем равен 80c + 20v; при чем с этим средним строением совпадает строение капитала в предприятиях 2-й (средней) группы нашей отрасли. Предположим также, что норма эксплоатации в нашем обществе в данное время в среднем равна 100% в каждой отрасли, и что средний органический состав всего общественного капитала всех отраслей выражается отношением 78c к 22v и, стало быть, средняя норма прибыли в нашем обществе равна 22% [2]).

В нашем 1-м примере (те же конкретные условия процесса воспроизводства, что и в рассмотренном нами выше при исследовании колебаний стоимости первом случае) мы берем момент „равновесия“ всей системы, момент пропорциональности всех частей производства. Наша отрасль производства при этом представляет собой следующую картину:

Капитал.	Прибав. ст.	Перенесенный постоянный кап.	Стоимость товара.	Изд. произв.	Ср. норма прибыли.	Цена производства.
80c + 20v	20	50	90 [3])	70	22%	92

В этом случае равновесие всей системы возможно лишь при цене на товары равной 92. Закон равной нормы прибыли требует, чтобы в обмен за свой товар наши три группы предпринимателей получали стоимость, измеряющуюся не 900 часами, а 920 часами общественно-необходимого рабочего времени, а за каждую штуку товара, общественная стоимость которой равна часу—„эквивалент“ в 1,0(2) часа общественно-необходимого рабочего времени. Только при этом условии уравниваются прибыли в различных отраслях и нормальное течение

[1]) Не остался неповинен в этом грехе смешения и тов. Мендельсон, несмотря на то, что его точку врения, конечно, нельзя назвать вульгарной.

[2]) Наша отрасль промышленности (мы намеренно построили пример таким образом) представляет собою 1-ю группу предприятий из иллюстрации Маркса к 9-й главе 1-й части III тома „Капитала“ (иллюстрация процесса распределения прибавочной стоимости в капиталистическом обществе). Все остальные условия мы тоже намеренно берем те же, что и в его таблицах Маркса.

[3]) Один час нашего примера выражается в 10 ценностных единицах примера Маркса.

процесса воспроизводства может продолжаться. При этом внутри самой нашей отрасли производства процесс распределения прибавочной стоимости между предприятиями с новейшей техникой с одной стороны, средней группой с другой стороны и отсталой с 3-й (см. первый случай нашего примера) происходит следующим образом в соответствии с строением их капиталов [1]):

Органический состав в %	Капиталы	Штук товара	Часов	Стоимость	Перенесено „с"	Издерж. произв.	Прибавочн. стоим.	Норма эксп.	Норма прибыли	Среди. для всего об-ва норма прибыли	Цена произв. для всей 1 отрасли	Прибыль при продаже по цене произв.	То же прибыль в %
1. 90c+10v.	30c + 3⅓v	300	200	30	16⅔	20	10	300%	30%	22%	30⅔	10⅓	32
2. 80c+20v.	26⅔c+ 6⅔v	300	300	30	16⅔	23⅓	6⅔	100%	20%	„	30⅔	7⅓	22
3. 70c+30v.	23⅓c+10v	300	400	30	16⅓	26⅔	3⅓	33⅓%	10%	„	30⅔	4	12
Итого . .	80c +20v	900	900	90	50	70	20	—	—	—	92	22	—
В средн. .	—	—	—	—	—	—	—	100% [2])	20%	—	—	—	22

Т.-е. при окончательном распределении прибыли (при продаже по цене производства, устанавливающейся для всей отрасли из расчета 22% прибыли на весь вложенный в этой отрасли капитал) 1-я группа получает 32% прибыли, 2-я 22%, а 3-я лишь 12%.

Ясно, что в результате такого „равновесия", как в этом нашем примере, капиталы устремятся в нашу отрасль с тем, чтобы организовать здесь предприятия с таким же, или еще более высоким, техническим оборудованием, как в 1-й группе (90c + 10v) в надежде получать 32% или еще большую прибыль. Вначале, пока цены не успели понизиться, они эту повышенную прибыль действительно будут получать, но потом картина резко изменится.

Рассмотрим уже изменившуюся картину. Допустим, теперь у нас удвоилось число предприятий 1-й группы, так, что 1-я группа производит теперь 600 штук товара, по-прежнему с затратой 40 минут на штуку, т.-е. 400 часов на всю партию в 600 штук. Все остальные условия воспроизводства пусть остаются прежними. В таком случае мы будем иметь пример, аналогичный второму случаю в нашем исследовании изменений стоимости, где мы имели перепроизводство товара на 300 штук; хотя оно там и было вызвано другими причинами, однако это сути дела в данном случае не меняет. Резкое падение цен даст почувствовать теперь низшей группе, что она стала общественно излишней. Потребность воспроизводства теперь удовлетворяют:

1 гр. (удвоенная)	600 шт. по ⅔ часа	400 час.
2 гр	300 „ „ 1 „	300 „
	Итого 900 шт.	700 час.

[1]) В приведенной таблице размеры капиталов, количество товаров, их стоимости, размеры перенесения постоянного капитала и средняя для всего общества норма прибыли взяты как величины данные; все остальные из них вытекают.

[2]) Средняя норма прибавочной стоимости исчисляется здесь следующим образом:

$$\frac{300\% \cdot 3\frac{1}{3} + 100\% \cdot 6\frac{2}{3} + 33\frac{1}{3}\% \cdot 10}{3\frac{1}{3} + 6\frac{2}{3} + 10} = 100\%.$$

700 : 900 = 7/9 часа = 46⅔ мин.—вот теперь каково время, технически общественно-необходимое для производства штуки товара, вместо одного часа в предыдущем случае.

Какова теперь будет картина общественного производства и распределения в целом? Воспользуемся все теми же схемами Маркса [1]), беря их сразу в сведенном виде. В момент равновесия, до начала устремления капиталов в первую отрасль под влиянием 32% прибыли, мы имели:

Капиталы	Прибавочн. стоимость	Перенес. часть „с"	Стоимость товара	Издерж. произв.	Ср. норма прибыли	Цены произв.	Укон. цен от ст.
I. [2]) 80c + 20v .	20	50	90	70	22%	92	+ 2
II. 70c + 30v .	30	51	111	81	„	103	— 8
III. 60c + 40v .	40	51	131	91	„	113	—18
IV. 85c + 15v .	15	40	70	55	„	77	+ 7
V. 95c + 5v .	5	10	20	15	„	37	+17
Ит. 390c + 110v .	110	—	422	—	22%	422	± 0

В результате же устремления капитала в первую отрасль мы имеем увеличение ее в нашем примере на ⅓, т.-е. на 33⅓ единицы ценности [3]).

Допустим, что этот капитал, равный 33⅓, „перекочевал" из III-й отрасли, в которой, однако, органический состав не изменился, так как все предприятия ее (допустим это для простоты) имеют однородный состав.

Прежде всего посмотрим, что будет происходить внутри I-й отрасли производства. Это может быть выражено следующей таблицей:

Капиталы	Штук товара	Рабоч. часов	Стоимость	Перенесено „с"	Изд. произв.	Прибав. ст.	Норма эксп.	Норма прибыли	
1. 30c+3⅓v . .	300	200	23⅓	16⅔	20	3⅓	100%	10%	Общественно-необходимые предприятия
30c+3⅓v . .	300	200	23⅓	16⅔	20	3⅓	100%	10%	
2. 26⅔c+6⅔v . .	300	300	23⅓	16⅔	23⅓	0	0%	0%	
Ит. 86⅔c+13⅓v.	900	700	70	50	63⅓	6⅔	50% [4])	6⅔%	
3. 23⅓c+10v. . .	300	400	23⅓	16⅔	26⅔	— 3⅓ [5])	— 33⅓%	— 10%	Излишние предприят.
Всего 110c+23⅓v	1.200	1.100	93⅓						

[1]) III-й том, ч. 1-я, гл. 9.

[2]) Наша отрасль производства.

[3]) Вслед за Марксом мы принимаем, что в нашей последней таблице цифры под рубрикой „Капиталы" показывают не только органический состав капиталов, но и величину их в некоторых единицах ценности (единица равна 10-ти часам нашего первого примера), при чем капитал каждой из пяти отраслей равен 100 таких единиц.

[4]) Средняя норма эксплоатации по первым двум обществ.-необх. группам равна

$$\frac{100\% \cdot 3\frac{1}{3} + 100\% \cdot 3\frac{1}{3} + 0\% \cdot 6\frac{2}{3}}{3\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3} + 6\frac{2}{3}} = 50\%.$$

[5]) Не только не создается прибавочная стоимость, но, наоборот, производство ведется с растратой 3⅓ единиц ранее созданной обществом стоимости.

Временем, технически общественно-необходимым для производства 900 шт. товара, теперь являются 700 часов, а стоимость всей массы в 1.200 шт. равна $93^1/_3$. Третья группа, технически наиболее отсталая, оказывается теперь технически излишней. Она не оказывает поэтому влияния на высоту стоимости [1]), она не принимает и участия в разделе прибыли. Как высота стоимости, так и норма прибыли ($6^2/_3$%), с которой вся отрасль входит в процесс общественного распределения прибавочной стоимости, определяются лишь по общественно-необходимым группам — удвоенной первой и второй.

(Утверждение, что норма прибыли устанавливается, не считаясь с общественно-излишними предприятиями, может показаться произвольным. Однако это бесспорно так. Для наибольшей наглядности доказательства я воспользуюсь случаем перепроизводства втрое, иллюстрацию к которому я даю в третьем примере. Там бесспорность этого утверждения обнаруживается с исключительной выпуклостью.)

Весь процесс распределения прибавочной стоимости в общественном масштабе принимает следующий вид:

Капиталы.	Общест. стоимость.	Перенесено „с".	Изд. произв.	Прибав. стоимость.	Норма эксплоатац.	Норма прибыли.	Средняя норма прибыли.	Цены произв.	Уклонение от ст.
I. $86^2/_3c + 13^1/_3v$ [2]) .	70	50	$63^1/_3$	$6^2/_3$	50%	$6^2/_3$%	$17^6/_7$%	$81^4/_{21}$	$+11^4/_{21}$
II. $70c + 30v$	111	51	81	30	100%	30%	„	$98^6/_7$	$-12^1/_7$
III. $40c + 26^2/_3v$ . . .	$87^1/_3$	34	$60^2/_3$	$26^2/_3$	„	40%	„	$72^{12}/_{21}$ [3])	$-14^{16}/_{21}$
IV. $85c + 15v$	70	40	55	15	„	15%	„	$72^5/_7$	$+2^6/_7$
V. $95c + 5v$.	20	10	15	5	„	5%	„	$32^6/_7$	$+12^6/_7$
Ит. $376^2/_3c + 90v$ . .	$358^1/_3$	—	275	$83^1/_3$	—	— [4])	—	$358^1/_3$	± 0
В средн. $80^5/_7c + 19^2/_7v$	—	—	—	$17^6/_7$	$92^{16}/_{27}$% [3])	$17^6/_7$%	—	—	—

[1]) Строго говоря, она влияние оказывает—тем самым, что увеличивает перепроизводство, изменяя таким образом масштаб необходимого воспроизводства в будущем цикле, вместе с чем может измениться и стоимость.

[2]) Третья группа 1-й отрасли—общественно излишняя — не влияет непосредственно на установление средней нормы прибыли и в этом смысле в деле же капиталистической добычи не участвует.

[3]) Средняя норма эксплоатации равна:

$$\frac{50\% \cdot 13^1/_3 + 100\% \cdot 30 + 100\% \cdot 26^2/_3 + 100\% \cdot 15 + 100\% \cdot 5}{13^1/_3 + 30 + 26^2/_3 + 15 + 5} = 92^{16}/_{27}\%.$$

[4]) Средняя норма прибыли исчисляется здесь по тому же методу, как и средняя норма эксплоатации; она равна:

$$\frac{6^2/_3\% \cdot 100 + 30\% \cdot 100 + 40\% \cdot 66^2/_3 + 15\% \cdot 100 + 5\% \cdot 100}{100 + 100 + 66^2/_3 + 100 + 100} = 17^6/_7\%.$$

[5]) $60^2/_3 + 11^{13}/_{21}$.

Таким образом новая средняя норма прибыли на капитал устанавливается в $17^6/_7$%. Посмотрим, что даст эта новая норма прибыли в нашем обществе для предприятий I-й отрасли. Издержки производства в первых двух общественно-необходимых группах I-й отрасли (удвоенной первой и второй) равны $63^1/_3$ (см. таблицу); прибавив к этому $17^6/_7$%-ную прибыль, получим $81^4/_{21}$ за 900 штук, или $81^4/_{21} : 3 = 27^4/_{63}$ за 300 шт. товара—цену производства, которая теперь регулирует рыночную цену товаров первой отрасли. Таким образом при продаже по ценам производства предприятия нашей отрасли получат:

1-я группа за каждые 300 шт. товара $27^4/_{63}$ ед. ценности при изд. производства равных 20 (см. предпоследнюю табл., стр. 259), т.-е. $7^4/_{63}$ ед. ценности прибыли на капитал в $33^1/_3$, что составляет $21^4/_{21}$%.

2-я группа, бывшая ранее технически средней, за свои 300 шт. товара получит также $27^4/_{63}$, но ее издержки равны $23^1/_3$, и прибыль ее равна лишь $3^{46}/_{63}$, т.-е. $11^4/_{21}$%.

Наконец, 3-я группа, общественно-излишняя, со своими издержками производства в $26^2/_3$ при нашей цене произв. равной $27^4/_{63}$ за 300 шт., получит прибыль лишь в $^{25}/_{63}$, т.-е. всего лишь $1^4/_{21}$%.

Это если предположить, что товар будет продан по цене производства. На деле же рыночная цена на наш товар будет стоять гораздо ниже выведенной нами цены производства, ибо мы рассматриваем случай перепроизводства. 3-я группа предприятий вынуждена закрываться. 2-я группа тоже близка к прекращению работы, ибо на деле, благодаря кризису сбыта, она получит гораздо меньше $11^4/_{21}$% прибыли. И это прекращение работы второй группой теперь вполне целесообразно с общественной точки зрения, так как перепроизводство зашло уже так далеко (300 штук), что в течение целого производственного цикла потребность воспроизводства может нормально обслужить одна лишь удвоенная первая группа с капиталом в $66^2/_3$ единиц ценности. Бывшая средняя группа теперь становится общественно-излишней. Определять высоту стоимости и цену производства для всей 1-й отрасли теперь начинает техника 1-й группы. Общественно-необходимым технически рабочим временем для производства штуки товара теперь становится $^2/_3$ часа. Средняя норма прибыли в обществе начинает уравниваться, считаясь лишь с высшей технической группой из всей нашей 1-й отрасли.

3-й пример. Рассмотрим теперь 3-й, гиперболический случай: случай чреамерного перепроизводства—втрое по сравнению с нормальной общественной потребностью. Он представляет собой, в сущности, доведенный до преувеличения второй случай. Допустим, что годовая потребность общества по-прежнему равна 900. Но, благодаря наплыву капитала, в нашей отрасли обнаружилось колоссальное перепроизводство: произведено 2.700 единиц товара в трех группах предприятий с капиталами, равными 100 в каждой. (Органический состав этих трех групп предположим прежний). Произведено:

в 1-й группе	900 штук за	600 ч.
„ 2-й „	900 „ „	900 ч.
„ 3-й „	900 „ „	1.200 ч.
Итого..	2.700 штук за	2.700 ч.

Однако, так как общественно-необходимое количество товаров на год равно 900 шт., то технически необходимое рабочее время на производство штуки товара равно не 1 часу, а всего лишь 40 минутам. Рыночная стоимость товара измеряется 40 минутами.

Процесс производства прибавочной стоимости внутри нашей отрасли принимает теперь следующий вид:

	Капиталы.	Шт. товара.	Рабоч. час.	Обществ. стоимость товара.	Перенесено „с".	Изд. произв.	Прибав. стоимость.	Норма эксплоат.	Норма прибыли.	Примечан.
I отрасль.	1. 90c + 10v . . .	900	600	60	45	55	5	50%	5%	Обществ. необход. группа.
	2. 80c + 20v . . .	900	900	60	50	70	—10	—50%	—10%	Общественно излишние.
	3. 70c + 30v . . .	900	1.200	60	55	85	—25	—83⅓%	—25%	
Итого..	240c + 60v . . .	2.700	2.700	180	—	—	—30	—	—	—
В средн.	80c + 20v . . .	900	900	—	—	—	—	—50% [1]	—10%	—

[Смысл отрицательных чисел в нашей таблице таков: несмотря на то, что рабочий работает столько же времени, сколько и рабочие других предприятий, труд его не только не создает прибавочной стоимости, но даже является непроизводительной растратой рабочей силы. Так, во 2-й группе в итоге рассмотренного нами процесса имеется 900 штук товара, стоимость которого равна 60. На производство же его израсходовано: постоянного капитала 50 и рабочей силы—20, итого 70 единиц ценности. Т.-е. не только не произведена прибавочная стоимость, но даже стоимость рабочей силы не воспроизведена полностью, а лишь наполовину. В 3 й же группе — еще хуже того: стоимость рабочей силы воспроизведена лишь на одну шестую, а на пять шестых она растрачена попусту.

Если бы мы взяли еще бо́льшую разницу в производительности труда между новейшими и отсталыми предприятиями, — не 40 и 80 минут штука товара, а скажем 30 и 90, то получили бы еще более яркие результаты: в этом случае производство на общественно-излишних предприятиях велось бы не только без прибыли, но даже с растратой всего переменного и даже некоторой части постоянного капитала. (С точки зрения отдельного капиталиста, а не общества, как хозяйственного целого, растрата капитала в последнем счете, конечно, зависит от действительной цены, по которой будет продан товар; однако с этой точки зрения растрата в нашем примере будет еще больше, ибо цены при пер производстве стоят ниже стоимости)].

В капиталистическом обществе товары продаются не по стоимостям, а по ценам производства. Однако „то, что сказано здесь о рыночной стоимости, приложимо и к цене производства, раз последняя заступает место рыночной стоимости". (Маркс, „Капитал", том III-й, гл. 10-я, стр. 157—158, изд. 1922 года). Только первая группа нашей отрасли является в этом производственном процессе общественно-необходимой; только ей и может капиталистическое общество обеспечить приличествующую капиталу среднюю прибыль. Остальные—общественно-излишни; их удел—разорение.

[1]) Средняя норма эксплоатации равна $\frac{50\% \cdot 10 - 50\% \cdot 20 - 83\frac{1}{3}\% \cdot 30}{10 + 20 + 30} = -50\%$.

Если, чтобы избежать ненужного усложнения нашего примера, мы предположим, что в остальных четырех отраслях промышленности все идет по-старому, то всю картину распределения в целом мы должны будем изобразить так:

Капиталы.	Стоимость товара.	Перенесено „с".	Изд. произв.	Прибав. стоимость.	Норма эксплоат.	Норма прибыли.	Средняя норма прибыли.	Цены произв.	Укон. цен произв. от стоим.
I. . . . 90c + 10v. . . .	60	45	55	5	50%	5%	19%	74	+14
II. . . . 70c + 30v. . . .	111	51	81	30	100%	30%	„	100	—11
III. . . . 60c + 40v. . . .	131	51	91	40	„	40%	„	110	—21
IV. . . . 85c + 15v. . . .	70	40	55	15	„	15%	„	74	+ 4
V. . . . 95c + 5v. . . .	20	10	15	5	„	5%	„	34	+14
Итого . . 400c + 100v	392	—	—	95	—	—	—	392	± 0
В среднем 80c + 20v. . . .	—	—	—	19	95%	19%	—	—	—

Если бы в распределении общественной прибавочной стоимости приняла участие не только первая, общественно-необходимая группа I-й отрасли, а все три группы, то было бы следующее:

Капиталы.	Стоимость товара.	Перенес. ст. пост. капит.	Изд. произв.	Прибав. стоимости.	Норма прибыли.	Средняя норма прибыли.	Цены произв.	Укономерение цен произв. от стоим.
I. 240c + 60v	180	150	210	—30	—10%	8⅓%	235⅝	+55⅝
II. 70c + 30v	111	51	81	30	30%	„	—	—
III. 60c + 40v	131	51	91	40	40%	„	—	—
IV. 85c + 15v	70	40	55	15	15%	„	—	—
V. 95c + 5v	20	10	15	5	5%	„	—	—
Ит. 550c + 150v.	512	—	—	60	—	—	—	—
В среднем на сотню.	—	—	—	8⅓	3⅓%	—	—	—

Становится совершенно ясна вся нелепость предположения, что общественно-излишние предприятия могут участвовать в дележе прибавочной стоимости наравне с общественно-необходимыми предприятиями: во-первых, это было бы наперекор фактам действительности: чтобы это произошло, требуется, чтобы в обстановке нашего примера

(перепроизводства втрое), цена товара (через которую только и происходит фактическое распределение) стояла на высоте $235^3/_7$ за 2.700 шт., в то время как она неминуемо упадет настолько, что едва будет покрывать издержки производства в I-й группе (технически наиболее совершенной и общественно-необходимой) а, может быть, и ниже того, т.-е. будет около 165 за 2.700 штук товара, или даже ниже того.

Во вторых, это означало бы, что капиталы других отраслей, где производство пропорционально общественным потребностям, получают невероятно низкую прибыль ($8^1/_7\%$). в то время как общественно-излишняя группа 2-ая (1-й отрасли) получает такую же прибыль [1]), а единственно общественно-необходимая из 3-х работающих групп I-й отрасли группа I-ая пожинает (при перепроизводстве) сверхприбыль в $23^1/_7\%$ [2]).

Вывод ясен: в дележе капиталистической добычи (общественной прибавочной стоимости) участвуют только общественно-необходимые предприятия каждой отрасли. В разделе добычи принимает участие наравне с другими четырьмя отраслями только 1-ая группа нашей (первой) отрасли. Участь других решается без их участия—ценой производства, которая устанавливается теперь для всей I отрасли в соответствии с жизненными потребностями 1-й группы. Цена эта, как мы видели, равна 74 за 900 штук товара (см. предпоследнюю таблицу). Для общественно-необходимой 1-й группы она обеспечивает 19%-ную среднюю в данном обществе прибыль, а для двух других групп она знаменует: для 2-ой недостаточную, 4%-ную прибыль, а для 3-ей—11% убытка. Но эта цена производства будет лишь нормой, от которой цены роковым образом отклоняться вниз, усугубляя и без того тяжелое положение потерпевших предприятий. 2-ая и 3-ья группы разоряются. Вынуждена приостановить свою работу и 1-ая группа в ожидании, пока процесс рассасывания сделает свое дело и обнаружится через повышение цен общественная потребность в возобновлении воспроизводства. (Допускает ли род товара расширение потребности, или нет, в нашем случае это безразлично и на высоте стоимости не отражается. Скажется это только на темпе „рассасывания" и только тогда, когда это рассасывание станет приходить к концу и обнаружится оживление спроса, и в производство станут втягиваться предприятия с иным техническим составом,—только тогда станет изменяться величина стоимости. Только таким образом и может оказать здесь на стоимость влияние то обстоятельство, что спрос на товар данного рода поддается расширению.)

4-й пример. Наконец—наш 4-й пример, когда расширившееся воспроизводство предъявляет на данный товар спрос, далеко превышающий технические возможности его удовлетворения в данный момент. Тогда совершенно ясно, что все предприятия нашей отрасли являются технически общественно-необходимыми, и все, так сказать, принимают активное участие в дележе прибавочной стоимости (в установлении средней нормы прибыли). Этот случай прост до прозрачности и более детального рассмотрения после всего сказанного не требует.

---

[1]) $\frac{235^5/_7}{3} = 78^1/_7$ — вот цена производства девятисот штук товара I-й отрасли в этом случае. Издержки производства во второй группе равны 70; следовательно, прибыль равна $8^1/_7$.

[2]) $78^1/_7 - 55$ (издержки производства в I-й группе) $= 23^1/_7$.

Итак, распространив наш анализ на производство прибавочной стоимости и распределение ее между различными отраслями, мы обнаружили: во первых, что средние цены производства устанавливаются, считаясь только с общественно-необходимыми предприятиями, с общественно-излишними меновое общество не считается, интересы их игнорирует. Доля их, если им вообще удается продать товар, нормируется потребностями общественного воспроизводства, т.-е. условиями воспроизводства на предприятиях, общественно-необходимых в данной отрасли.

Регулирующее действие закона стоимости выступает здесь со всей своей силой: в обмен на произведенный товар производители получают ровно столько, сколько необходимо, чтобы воспроизводство продолжалось в нужном для общества масштабе. (При чем капиталистическая необходимость предполагает для производителя процент прибыли такой же, как и для всех прочих капиталистов,—среднюю для данного общества прибыль.)

Во-вторых, что касается производства общественной прибавочной стоимости, то мы обнаружили следующее. Положение, что предприятия с низким органическим составом создают большую прибавочную стоимость, чем предприятия с высоким органическим составом, имеет силу лишь по отношению к разным отраслям производства, при чем для получения типичных результатов надо брать предприятия со средним для каждой данной отрасли органическим составом. Внутри же каждой отрасли производства имеет место как раз обратное: так как общественная стоимость единицы товара данной отрасли в каждый данный момент есть величина одинаковая для всех предприятий, а издержки производства в предприятиях с новейшим оборудованием меньше на единицу товара, чем в отсталых, то совершенно ясно, что предприятия с более высоким органическим составом создают больше прибавочной стоимости, чем предприятия той же отрасли с низшим органическим составом.

Предприятия с низким органическим составом создают большую прибавочную стоимость, когда этот органический состав является общественно-нормальным для данной отрасли. Чем больше он отклоняется вниз от среднего для данной отрасли, тем меньше прибавочной стоимости предприятие создает, и, наконец, за некоторой гранью (когда издержки производства начинают превышать общественную стоимость создаваемого товара) предприятие с низким органическим составом не только не создает прибавочной стоимости, но начинает растрачивать уже созданные ранее стоимости, приносит обществу абсолютный убыток.

То, что мы сейчас рассмотрели, есть в сущности процесс влияния общественной потребности на распределение капиталов между различными отраслями общественного производства, осуществляемый посредством колебаний прибыли; или, если учесть то обстоятельство, что состояние потребностей есть лишь выражение предшествовавшего процесса воспроизводства,—процесс „автоматического" регулирования производства. Этот процесс пропорционального распределения труда между различными отраслями в зависимости от размеров общественной потребности и предполагал повидимому детально исследовать Маркс, ставя для себя в 37 гл. III-го тома в скобах рабочую пометку: „(Остановиться на этом пункте в связи с распределением капитала между различными сферами производства)".

Мы рассмотрели процесс схематически, беря отдельные моменты. В действительности регулирование происходит непрерывно. Не говоря уж о непрерывном движении цен—изменение самой стоимости про-

исходит параллельно с течением процесса производства. Чем больше перепроизводится товаров, тем меньшее количество предприятий становится общественно-необходимыми, отсталые предприятия одно за другим становятся общественно-излишними, ибо потребное количество товаров может на ближайшее время воспроизводиться все на меньшем количестве фабрик, все более технически совершенных. Время, технически общественно-необходимое на производство штуки товара, таким образом все уменьшается, а с ним понижается и стоимость единицы товара. При недопроизводстве с вовлечением отсталых предприятий происходит непрерывно обратный процесс: стоимость повышается пока не достигнута будет пропорциональность производства и общественной потребности.

В каждый данный момент теоретически величина стоимости могла бы быть определена, если бы возможно было учесть: 1) количество товара уже произведенное и ищущее сбыта на рынке, 2) количество его, потребное для данного производственного цикла, и 3) технический состав предприятий, которые должны работать для изготовления недостающего на данный цикл количества товара. Рабочее время, необходимое в среднем для производства единицы товара на этих предприятиях, и было бы тем технически общественно-необходимым временем, которым определяется в данный момент общественная стоимость товара.

Само собою разумеется, что если весь состав предприятий данной отрасли технически совершенно однороден, то никаких колебаний стоимость во время расширения или сужения производства, во время кризиса, как и во время процветания,—совершенно не испытывает, ибо технически необходимое время на производство единицы товара здесь не изменяется. Действительность, однако, не знает таких технически совершенно однородных отраслей.

Однако перечисленные нами факторы, определяющие стоимость, настолько неуловимы, текучи и эластичны [это в особенности относится к количественным пропорциям воспроизводства (количественные размеры потребностей общества)], что всякая попытка действительного определения величины стоимости товара представляет собой чистейшую утопию, в свое время по достоинству осмеянную Марксом („Нищета философии“).

Таким образом наше уточнение в определении общественно-необходимого рабочего времени имеет в этом смысле лишь теоретико-познавательное, но отнюдь не прикладное, практическое значение.

Прежде чем перейти к дальнейшему, я считаю совершенно необходимым остановиться на понятии „рыночной стоимости“.

Почему в 10-й главе III-го тома Маркс вдруг заговорил о рыночной стоимости (Marktwerth)?

В самом термине „рыночный“, как это, может быть, ни покажется странно на первый взгляд, уже имеется указание на количественную сторону дела: общественное воспроизводство предъявляет свой спрос на потребное количество товара через рынок. (Рынок здесь Маркс понимает в самом широком общественном смысле этого слова.) Рынок, так сказать, отвечает на вопрос, как бы поставленный производителями: какое количество товара нужно для нормального функционирования всей системы. Как мы уже видели, общественно необходимую высоту технических затрат (исчисляемых в рабочем времени) в среднем—только и можно определить, учтя количество товара, требующееся к воспроизводству, только учтя количественно общественную потребность. И вот на этот вопрос, поставленный техникой,—о количестве товара, потребного к воспроизводству,—может дать ответ только рынок, ибо только на нем проявляются и становятся ясными для производителя размеры общественной потребности. И, стало-быть, только теперь определяется окончательно на данный момент высота общественно-трудовой стоимости единицы товара, ее техническая средняя.

Нет рынка,—нет обмена, нет сравнения производств, нет менового общества, как целого,—нет и стоимости; стоимость, как общественное отношение, проявляется, ее высота координируется только в этом целом, которое завершается рынком.

Вот почему, на мой взгляд, Маркс и оттенил здесь категорию стоимости, как „рыночную“, т.-е. общественную категорию, а не „чисто“, не абстрактно (не беспредметно) техническую в расплывчатом, количественно-неопределенном понимании.

В прочем, надо заметить, что вопрос о категории „рыночной стоимости“ требует более детального специального рассмотрения. В понимании этой категории нет единодушия среди марксистов. Происходит это по той простой причине, что 10-я глава III го тома, в которой по преимуществу употребляется этот термин, представляет собой одну из наименее обработанных глав в труде Маркса. Не получив не только окончательной, но даже предварительной обработки от руки своего автора, являясь беглым черновым наброском, изображающим к тому же процесс чрезвычайной сложности, глава эта нередко страдает неясностью выражений, что и породило сомнения по вопросу о содержании понятия „рыночная стоимость“. Сомнения сводятся к спору о том, является ли термин „рыночная стоимость“ лишь другим названием, которое здесь и в некоторых других местах употребил Маркс вместо привычного для всех термина „стоимость“ (Werth), или рыночная стоимость есть категория, отличная от категории стоимости.

Разрешение этого вопроса должно пойти двумя путями: 1) путем ответа на вопрос, имеет ли какой-либо смысл и значение в системе Маркса установление особой категории „рыночной стоимости“, отличной от категории стоимости, и 2) те, кто работает или будет работать над рукописями Маркса, должны взять на себя труд найти в них ответ на вопрос: в каком смысле сам Маркс употреблял этот термин. И это в особенности становится необходимо проделать теперь, после того, как тов. Рязановым обнаружено далеко не полное использование литературного наследия Маркса.

* * *

Обратимся теперь к дискуссии об общественно-необходимом рабочем времени, развернувшейся на страницах журнала „Под Знаменем Марксизма“.

Тов. Гольденберг, конечно, совершенно прав, утверждая (заметка в № 4—5 „Под Зн. М.“ за 1923 год), что спор между сторонниками технической и экономической версий разрешается не количеством цитат из Маркса, а тем, какая версия согласуется со всей системой в целом. При этом он полагает, что согласуется с целым концепции Маркса техническая версия, экономическая же ей противоречит.

Со второй частью этого утверждения мы согласны. Экономическая версия в чистом виде (вариант Шрама, Франка, Каутского и др.) действительно находится в резком противоречии со всей систе-

мой, начиная от ее методологических оснований и кончая отдельными „деталями".

Тов. Дволайцкий (статья в № 5—6 „Под Зн. М." за 1922 год) показал, в чем экономическая версия противоречит марксистской методологии. Нет необходимости повторять его аргументацию. Экономическую бессодержательность и познавательную бесплодность экономической версии показал еще Богданов („Курс политической экономии", том II-й, вып. 4-й, стр. 92—93): фактическое смешение экономической версией категорий цены и стоимости приводят к тому, что... „всякая возможность дальнейшего анализа исчезает, и дело сводится к бессодержательной формуле товар „стоит" именно столько, сколько общество, представленное рынком, находит „необходимым" за него давать".

В „частности" в чрезвычайно „неприятное" положение, как это справедливо заметил тов. Гольденберг в той же заметке, попадает с экономической версией Марксова теория распределения общественной прибавочной стоимости: смешение цены и ценности, отожествление этих категорий, делает невозможным марксистское объяснение уравнения прибылей.

Ввиду всего этого экономическую версию в ее чистом виде мы должны отвергнуть.

Как бы ни возражал против этого тов. Мендельсон, сказанное об экономической версии, в ее чистом виде, относится и к защищаемому им варианту. В самом деле, что представляет собою версия тов. Мендельсона?—Один из трех случаев „чистой" экономической версии. Тов. Мендельсон отрицает влияние потребности на величину стоимости товара в случаях недопроизводства и равновесия и утверждает наличие этого влияния в случае перепроизводства при поддающейся расширению общественной потребности. Разница между экономической версией и версией тов. Мендельсона не качественная, а чисто количественная. „Неудобства", причиняемые чисто-экономической версией, будут ощущаться во всех трех случаях, а „неудобства", причиняемые версией тов. Мендельсона,—в одном из трех. Получает ли система три смертельных раны, или только одну—это не делает разницы: смерть остается смертью. Жить экономическая система Маркса может и будет лишь без экономической версии.

Но здесь нас могут спросить: а как же быть с самим Марксом, у которого не один раз можно встретить экономическую версию. На этот вопрос мы можем ответить только предположением, что если бы работа Маркса не была прервана его смертью и вся система в целом получила бы окончательную и детальную обработку от руки самого автора—противоречащий всему духу системы вариант, встречающийся несколько раз в его работах, был бы конечно им устранен.

Но и техническая версия в ее чистом виде кажется нам недостаточной с точки зрения всей системы в целом.

Тов. Дволайцкий в своей статье в № 5—6 „Под. Зн. М." за 1922 год высказывает удивление по поводу того, что „целый ряд авторов, среди которых есть люди, настроенные к Марксу весьма дружелюбно", ищут иного решения проблемы, чем то, которое дает техническая версия. Этот факт представляется нам весьма существенным показателем недостаточности технической версии. И недостаточность ее заключается как раз в том, что она отворачивается от момента потребностей при определении стоимости, не учитывает его обратное влияние на технический фактор определения стоимости.

I том „Капитала" посвящен исследованию меновой системы в состоянии равновесия, когда производство пропорционально потребностям и когда поэтому о потребностях можно не говорить, ибо этот момент уже учтен. III том исследует всю систему в движении, когда диспропорциональность производства и потребностей выступает постоянно, и когда этот момент должен быть учитываем особо. Определения I тома, чистая техническая версия, вполне отвечают моменту равновесия. Для того, чтобы исчерпать и момент нарушенного равновесия, эти определения должны учитывать и состояние потребностей, количественные пропорции процесса воспроизводства,—результат предшествующих производственных циклов.

Мы не можем, подобно Бем-Баверку, упереться в I том и заявлять, что считаем себя обязанными „...несмотря на существование III тома, считать учение I тома выражением настоящих и постоянных взглядов Маркса" („Капитал и прибыль", стр. 463, рус. изд. 1909 г). Наоборот, в III томе и в других работах Маркса мы видим завершение всей системы и, в частности, ищем ответа на вопрос: как должен быть учтен момент потребностей и какое место должно быть отведено ему во всей системе?

Прежде всего мы подчеркиваем, что потребность есть момент производный (см. „Введение к критике" Маркса); и когда мы говорим о влиянии общественной потребности, мы, в сущности, говорим о течении производственного процесса, о цепной зависимости различных отраслей хозяйства между собой, о зависимости между производством и потреблением. Учитывать момент потребности при определении стоимости, это значит учитывать состояние производственного процесса, его количественную слаженность, или разлаженность,—пропорциональность, или диспропорциональность частей хозяйственного целого.

Техническая версия вовсе не учитывает этого при определении стоимости. Эта общественная категория поэтому в технической версии в значительной степени приобретает статический характер. Экономическая же версия отводит исключительную роль моменту потребностей, преувеличивает его значение, отрывается от производственного момента, и заявляет, что величина стоимости всего запаса товара зависит не от количества труда, общественно-необходимого на воспроизводство единицы товара в данной обстановке, а от размеров общественной потребности, выраженных в рабочем времени. А так как пропорциональности в производстве в капиталистическом обществе, строго говоря, никогда нет, то отсюда следует, что эта зависимость имеет место всегда.—С экономической версией идет на смарку вся система Маркса.

Единственно правильная теоретическая линия заключается в том, чтобы, оставаясь на правильной методологической основе технической версии, уловить динамику процесса, учесть количественные колебания, количественные отношения частей процесса. Из этого вовсе не следует, что всякое колебание количественных отношений будет отражаться на высоте стоимости. Такое отражение будет иметь место лишь в том случае, когда количественные изменения приводят к качественным изменениям, затрогивают технику.

Показать эти процессы я и пытался в приведенных мною выше иллюстрациях.

* * *

В заключение первой части нашей статьи—несколько слов о „двух смыслах" понятия общественно-необходимого рабочего времени.

„Один и тот же термин „общественно-необходимый труд",—пишет

Т. Григоровичи („Теория стоимости у Маркса и Лассаля", изд. „Моск. Раб." 1923 г., стр. 158, перевод тов. Вайсберга и Михалевского),—имеет у Маркса два различных значения. Выражение „общественно-необходимый труд" по Марксу обозначает: во-первых, время, технически-необходимое для производства товаров, и во-вторых—количество рабочего времени, которое общество должно затратить на производство определенного рода продуктов в размерах, необходимых для удовлетворения его потребностей в этих продуктах. Это не два различных определения одного и того же понятия, как многие склонны думать, а наоборот, один и тот же термин для двух различных понятий. Сам Маркс проводит резкую грань между этими двумя видами (курсив мой. *Н. К.*) общественно-необходимого труда".

После всего изложенного для нас становится очевидным, что Т. Григоровичи не только не вносит ясности, а, наоборот, затуманивает действительное отношение этих понятий. Действительное же отношение их таково: первое из них (время технически-необходимое для воспроизводства единицы товара) нельзя определить без второго (времени технически-необходимого для воспроизводства всего общественно-необходимого количества товара) [1]). Между ними арифметическая зависимость: первое есть частное от деления второго на число единиц товара, выражающее общественно-необходимое его количество.

Разница между ними лишь количественная, а не качественная; понятия однородны. Больше того: в сущности это одно и то же понятие в применении к различным количествам товара—рабочее время, общественно-необходимое на воспроизводство единицы товара, и рабочее время, общественно-необходимое для воспроизводства всей общественно-необходимой массы товара.

Стоит ли, после сказанного, останавливаться на утверждении Т. Григоровичи, что „... общественно-необходимый труд во втором смысле,—в смысле пропорционального распределения по отдельным отраслям производства всей совокупности рабочего времени, которым располагает общество, соответственно количеству общественных потребностей—не имеет никакого влияния на величину стоимости товаров"?!

Еще одно замечание о Т. Григоровичи. Заканчивая анализ понятия общественно-необходимого рабочего времени у Маркса, она пишет:

„Резюмируем:

1. По Марксу общественно-необходимое рабочее время, определяющее стоимость, есть то рабочее время, которое технически-необходимо для того, чтобы при определенных условиях производства изготовить какой-либо товар; следовательно, момент потребностей, как фактор, определяющий стоимость, в понятии общественно-необходимого времени не содержится".

Однако что такое „определенные условия производства"?—Это такие конкретные условия, при которых для общества требуется воспроизводство определенного количества товара. Так в этом требовании воспроизводства определенного количества товара момент количественно-определенной общественной потребности не содержится?!

---

[1]) Не могу не обратить внимания на нелепое подчеркивание в тексте (см. приведен. цитату) в первом определении—слова „технически"-необходимое время, а во втором—количество рабочего времени. И в том и в другом случае речь идет о количестве рабочего времени, и в том и в другом случае это количество обусловлено технически. Подчеркивания бьют мимо цели.

II-я часть.

Экономическая версия придает совершенно исключительное значение влиянию изменений потребительной ценности на стоимость. При перепроизводстве товары становятся общественно-излишними, теряют свою потребительную ценность, а потому и стоимость,—говорит она.

Для того, чтобы ответить на вопрос, так это, или нет, надо прежде всего разобраться в содержании понятия потребительной ценности и в его оттенках в особенности.

Начиная свое исследование капиталистического общества анализом товара, Маркс прежде всего останавливается на его натуральной форме, его потребительной ценности.

„Товар есть прежде всего внешний предмет,—вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-либо человеческую потребность. При этом совершенно безразлично, какова именно рода этой потребности,—порождается ли, например, последняя желудком, или фантазией" („Капитал", I том, гл. I).

Эту (взятую, конечно, в ковычках) „способность" вещи удовлетворять человеческим потребностям, или, другими словами, возможность использования человеком физических свойств вещи, или ее общественных свойств, Маркс в согласии со Смитом и Рикардо называет потребительной ценностью, или полезностью вещи. Р. Гильфердинг, посколько об этом можно судить по его примечанию к своей статье в „Neue Zeit"—„Постановка проблемы политической экономии у Маркса" (В русском изд. см. сборник „Основные проблемы полит. экон.", под ред. Дволайцкого и Рубина, изд. 1922 г., стр. 120),—приписывает себе определение потребительной стоимости, как индивидуального отношения между вещью и человеком. Он говорит там: „...в противоположность высказанному мною взгляду, который вообще сам собою понятен и психологическою школою не только никогда не оспаривался, но постоянно подчеркивался, что потребительная стоимость есть индивидуальное отношение между вещью и человеком, он (речь идет о Бернштейне) видит в „потребительной стоимости... вполне социальную категорию".

Оставляя в стороне Бернштейна, мы должны, однако, отметить, что взгляд, якобы высказанный Гильфердингом, был известен и разделялся Марксом уже в период написания им „Нищеты философии". Там, полемизируя с Прудоном, Маркс вполне сочувственно излагает взгляд Шторха, высказанный последним еще в 1823 г. в „Курсе политической экономии". Он говорит: „...полезность вещей, выражающая только отношение этих вещей к нашим потребностям... может изменяться".

Итак, потребительная ценность, полезность, есть отношение между вещью и человеком. Отношение по преимуществу естественное, в которое однако общественные отношения вносят исторически свои коррективы. И это вполне понятно, так как прежде всего первый член этого отношения—человек—не представляет собою величины исторически-постоянной, он существенно меняется с изменением социально-экономических отношений. То же самое до известной степени относится и ко второму члену отношения—вещи.

Таким образом потребительная ценность вещи, являясь категорией логической (если употреблять терминологию Родбертуса), исторически не остается однако неизменной. Изменяются человеческие потребности, изменяются вместе с тем и объективные возможности использования одной и той же вещи человеком, т.-е. изменяется ее потребительная ценность.

Свойства, скажем, одной и той же породы камня, как физического тела, мы можем принять постоянными за известный исторический период. Но объективная возможность его использования, его потребительная ценность, полезность, меняется весьма существенно за этот период на протяжении, скажем, от каменного века до мостовых, шоссе, железобетонных сооружений капиталистического города.

Маркс неоднократно отмечает (во II т., во „ведении к критике" и в др. местах), что расширение производства создает новые потребности, а стало быть и новые возможности применения одних и тех же физических свойств вещи, т.-е. новые потребительные ценности.

Какому-нибудь дикарю, нашедшему золотой самородок и приспособившему его в качестве серьги, и в голову не могло прийти, что из этого золота будут чеканить монету, делать домашнюю утварь, отливать истуканов, что это золото может быть изъято из церквей РСФСР для спасения голодающих, что в XX веке из него будут делать зубы и пр. и пр. А первый кузнец при всем напряжении своей фантазии не смог бы представить себе все „чудеса", а стало быть и потребительные ценности, созданные современной металлообрабатывающей промышленностью.

„Открыть... различные стороны, а следовательно и многообразные способы употребления вещей,—говорит Маркс на 1-й стр. I-го тома,—есть дело исторического развития".

А в чрезвычайно глубоко продуманном „Введении к критике политической экономии" он показывает и механизм этого исторического процесса: „Производство... создает потребление, во первых, создавая для него материал, 2) определяя способ потребления, 3) возбуждая в потребителе потребность, предметом которой является созданный им продукт. Оно порождает поэтому предмет потребления, способ потребления и импульс потребления" (Стр. 17, абз. 3, изд. „Моск. Рабоч." 1922 г.). Однако одна и та же вещь остается сама собой независимо от общественно-экономических форм. Для алмаза безразлично, говорит Маркс, является ли он предметом потребления, украшением на груди лоретки, или товаром в руках торговца.

„Потребительная ценность в этом своем безразличии к экономическим формам своего существования... находится вне круга исследования политической экономии".

„Потребительные ценности товаров (то-есть сами товарные тела. *Н.К*) составляют предмет особой, самостоятельной дисциплины—товароведения" (т. I, гл. 1). Однако даже родовая потребительная ценность товаров, поскольку она является условием превращения вещи в товар—во-первых, и поскольку она изменяется под влиянием производственных отношений—во-вторых, входит в поле зрения политической экономии и подлежит нашему анализу.

Марксово понимание потребительной ценности носит двухсторонний характер. В одних случаях он употребляет это понятие в родовом, как выше, смысле более объективном,—в других придает ему характер чисто индивидуального отношения человека к вещи.

Так, в I м томе он говорит: „Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая по своим свойствам способна удовлетворить какую-либо человеческую потребность". Ясно, что здесь имеется в виду не чья-либо конкретная оценка, речь идет о способности удовлетворить человеческую потребность—безотносительно, будет ли это потребность Петра, или Ивана. Потребительная ценность вещи здесь понимается в родовом смысле, как родовая полезность данного рода вещей.

Проиллюстрируем это еще несколькими примерами: „Капитал", т. I, стр. 7—„Вещь может быть потребительной стоимостью, не будучи стоимостью... Таковы: воздух, девственная почва, естественные луга, дикорастущий лес и т. д."; т. I. стр. 9: „В потребительной стоимости каждого товара содержится определенная, целесообразно направленная, производительная деятельность, или полезный труд"; т. I, стр. 14: „Товары рождаются на свет в форме потребительных стоимостей, или товарных тел, каковы железо, холст, пшеница и т. д.".

Во всех этих случаях потребительная ценность употребляется в родовом смысле, понимается собирательно, если так можно выразиться, как нечто до известной степени объективное, независящее от оценки Петра или Ивана. Это одно значение. Но Маркс употребляет термин потребительная ценность также и в прямо противоположном, субъективном, индивидуальном смысле.

„Полезность предлагаемого продукта не безусловна. Она определяется потребителем". „Нищ. фил.", стр. 10, изд. 1906 г. Или знаменитый пример с ткачем: „Если даже труд данного производителя товаров, например нашего ткача, есть патентованное звено в системе общественного разделения труда, то это отнюдь еще не гарантирует, что как раз его 20 аршин холста будут иметь потребительную стоимость" (Т. I, стр. 76, внизу). Вспомним, что по Марксу потребительная ценность может определяться фантазией и прочими, весьма индивидуальными, мотивами. Это потребительная ценность в ее чисто индивидуальном, субъективном смысле.

Оба эти оттенка дополняют друг друга и, больше того, у Маркса ими объясняются различные экономические явления.

Вещь не может быть товаром, не имея потребительной ценности. Все товары рождаются на свет в форме потребительных ценностей. В основе этого экономического явления лежит возможность использования человеком свойств вещи, ее, так сказать, объективная [1]) потребительная ценность, ее родовая полезность.

Но товар может рассчитывать на акт обмена лишь в том случае, если он приобретает субъективную, конкретную потребительную ценность в глазах данного конкретного потребителя. Без этого он будет лежать на складе, несмотря на то, что он не хуже других и имеет вполне законное товарное происхождение, т.-е. появился на свет в форме потребительной ценности и эту родовую потребительную ценность продолжает сохранять.

Родовая потребительная ценность вещи есть, в сущности, лишь потребительная ценность в потенции, потребительная ценность, до некоторой степени in abstracto, как некая субстанция (пригодность вещи для удовлетворения тех или иных человеческих потребностей, „способность" вещи к их удовлетворению).

„Субъективная" же, „индивидуальная" потребительная ценность есть лишь modus, в котором проявляется эта потенция,—конкретное отношение данного индивида к данной вещи, конкретная потребность его в приложении определенных полезных свойств вещи.

„Та же самая потребительная ценность может быть употреблена различным образом. Однако совокупность всех возможных ее применений ограничена сущностью ее, как вещи с определенными свойствами". (Маркс. „К критике политической экономии", гл. I. стр. 41, изд. „Моск. Рабоч." 1922 г.)

Родовая потребительная ценность, родовая полезность вещи есть предпосылка бытия вещи как товара, предпосылка стоимости.

[1]) Термин „объективная" потребительная ценность, употребляется здесь мною в весьма относительном значении.

„Бытие товара, как потребительной ценности, и его природная, осязаемая сущность совпадают" (Там же).

Конкретная же модальность потребительной ценности, конкретная потребность данного индивида в данном товаре есть лишь предпосылка обмена, а не стоимости и не бытия вещи как товара. Родовая потребительная ценность вещи остается независимо от того, есть ли на-лицо конкретная модальность потребительной ценности, или нет. Сахар полезен вовсе не потому, что его хочет купить Иван. Его полезность определяется физиологией человеческого организма и химическими свойствами сахара. Иван не купил сахара потому, что у него не возникла конкретная модальность потребительной ценности, но потребительная ценность сахара от этого не исчезла.

Для того, чтобы вещь, произведенная на свет как товар, оставалась таковым, достаточно, чтобы такие вещи употреблялись в обществе. Этого достаточно, чтобы считать такого рода вещь полезной вещью, т.-е. потребительной ценностью. Раз вещь является предметом потребления,—за ней признается ее родовая потребительная ценность.

Продукт за удовлетворением потребности может быть совсем не нужен на ближайшее время, скажем, на целый производственный цикл, и все же его родовая полезность на-лицо, его не выбрасывают на мостовую, а хранят на складах иногда много лет. И лишь физическая порча товара, или его „моральная" порча лишают его принадлежавшей ему родовой потребительной ценности.

В первом случае „бытие товара как потребительной ценности, и его природная, осязаемая сущность совпадают" (Маркс, „К критике п. эк.", гл. I). Во втором,—техническая революция или иная причина, несмотря на физическую неповрежденность товара, превращает его из предмета потребления в ненужную, нелепую вещь, годную разве что в качестве материала.

Потребительная ценность есть отношение между вещью и человеком; отношение по преимуществу естественного порядка; в какой мере оно общественно-обусловлено, мы видели выше. Маркс в своих работах неоднократно употребляет понятие „общественной потребительной ценности". Содержание этого понятия вовсе не идентично с понятием потребительной ценности. Понятие общественной потребительной ценности у Маркса соответствует платежеспособному спросу. Т.-е. это, в конце концов, лишь сумма конкретных модальностей потребительной ценности, соответствующая сумме потребностей, которые могут быть удовлетворены при данном состоянии процесса воспроизводства. За бортом остается вся остальная сумма конкретных модальностей потребительной ценности, соответствующих платежеспособному спросу.

С точки зрения капиталистического воспроизводства общественная потребность есть лишь платежеспособная потребность, а потому и „общественная потребительная ценность" есть категория соотносительная платежеспособной потребности.

Так понимаемая категория „общественной потребительной ценности" есть прежде всего социальная категория. Содержание ее меняется вместе с формой народного хозяйства: в плановом хозяйстве содержание понятия „общественной потребительной ценности" уже совсем не то, что в меновом—оно гораздо шире,—здесь (в плановом хозяйстве) учитывается и неплатежеспособная потребность, если выражаться неподходящим здесь термином, взятым из капиталистической действительности.

Относительность категории „общественной потребительной ценности" станет яснее, когда мы подойдем к делу с точки зрения по-

следующих воспроизводственных циклов: то, что не нужно сейчас, понадобится в следующем цикле. Бесполезная с точки зрения одного цикла вещь оказывается общественной потребительной ценностью, если взглянуть на нее с точки зрения последующих циклов И грамотницы здесь вовсе не уловимы. Капиталистическое государство, например, заботится об охране лесов вовсе не потому, что они нужны в одном, или нескольких ближайших воспроизводственных циклах, их общественная потребительная ценность распространяется и на отдаленное будущее. Здесь категория общественной потребительной ценности как-будто стремится, как к своему пределу, к родовой полезности вещи. И это потому, что здесь в меновые отношения вклинивается плановое начало. Содержание понятия меняется с изменением точки зрения.

Сказанное о категории потребительной ценности говорит о том, с какой осторожностью приходится подходить к содержанию этого понятия в каждом конкретном случае, следя за тем, чтобы это содержание не подменивалось.

Посмотрим теперь, что же говорит о категории потребительной ценности в связи с проблемой общественно-необходимого труда так называемая экономическая версия.

Когда в 37 гл. III т. Маркс говорит о влиянии потребительной ценности на размеры воспроизводства,—он имеет в виду общественную потребительную ценность, соответствующую платежеспособной потребности общества. „Общественная потребность, т.-е. потребительная ценность в общественном масштабе,- вот что определяет здесь количества всего общественного рабочего времени, приходящиеся на различные особые сферы производства" („Капитал", т. III, гл. 37).

Выше я пытался показать, как протекает это регулирование, как именно количественные размеры общественной потребности (в указанном здесь смысле) выступают как один из определяющих факторов при регулировании процесса воспроизводства, оставаясь при этом обусловленными предшествовавшим ходом процесса воспроизводства. Общественная потребность при этом в плотную подходит к определениям стоимости, так как техническое оборудование, которое будет пущено в ход, при данном состоянии техники зависит уже от количества товара, которое необходимо в этот цикл воспроизвести. Однако действие общественной потребности на производство здесь есть лишь отраженное действие предшествующих циклов воспроизводства. Прежде чем воздействовать на воспроизводство, общественная потребность сама воспроизведена предшествующими производственными циклами, размеры ее, как и ее оттенки, т. е. количественная ее сторона, как и качественная, порождена состоянием развития производительных сил. Человек, его физиология даже для очень продолжительных периодов—величина данная. Но его психика, его вкусы и привычки, его быт, его потребности и способы их удовлетворения, словом, его спрос,—производная развития производительных сил, на которое и сама эта производная в свою очередь оказывает обратное влияние Однако подчиненная роль как самой этой производной (спроса, общественной потребности), так и ее влияния, совершенно бесспорна. На величину стоимости потребность может влиять только через размеры воспроизводства, т.-е. только через технический фактор.

Примат производства над потреблением—методологическое основание всей системы—остается стоять как гранитная скала.

Итак, все то количество товара, которое отвечает размерам платежеспособной общественной потребности, представляет собою обще-

ственную потребительную ценность в указанном смысле. В этом смысле общественная потребительная ценность есть лишь сумма конкретных модальностей потребительной ценности, соответствующих платежеспособному спросу. Остальной товар частью может иметь конкретную модальность потребительной ценности (неплатежеспособный спрос), частью вовсе не иметь ее. Однако он остается товаром и ценностью, ибо, как мы видели выше, предпосылкой бытия вещи, как товара и стоимости, является ее родовая потребительная ценность, родовая полезность, а вовсе не конкретная модальность потребительной ценности, проявится ли она в платежеспособном или неплатежеспособном спросе—безразлично. Конкретная модальность потребительной ценности есть лишь необходимое условие для акта обмена, условие достаточное, если ей соответствует платежеспособный спрос,—недостаточное, если спрос неплатежеспособен.

Экономическая версия не различает этих оттенков категории потребительной ценности, и не видит их различной экономической роли и это приводит ее к ложным выводам.

Возьмем хотя бы пример т. Мендельсона с лампочками (№ 7—8 „Под Зн. М." за 1922 г., стр. 158). „Основным условием,—пишет т. Мендельсон,—предпосылкой стоимости, согласно теории Маркса, является полезность-способность удовлетворять какую-либо общественную потребность". — Правильно. Дальше: „Если потребность общества вполне удовлетворяется миллионом штук, то, очевидно, каждая лампочка сверх миллиона никакой потребности не удовлетворяет (в настоящее время не удовлетворяет, т.-е. отсутствует конкретная модальность потребительной ценности — предпосылка продажи. *Н. К.*), следовательно, лишена предпосылки, основного условия стоимости-полезности (?), а потому и стоимости".

Путаница на-лицо. Конкретная модальность потребительной ценности, спрос, другими словами, объявляется здесь предпосылкой стоимости, в то время как парою строк выше за предпосылку стоимости совершенно правильно принималась родовая полезность вещи. В конце же фразы т. Мендельсон отказывает несчастным лампочкам уже и в родовой полезности. Однако это не так. Даже если общественная потребность (платежеспособный спрос) не поддается расширению, и в данном производственном цикле обществу понадобится лишь 1 миллион лампочек,—второй миллион не потеряет своей родовой полезности, не перестанет быть товаром и стоимостью. Доказательством тому служит то обстоятельство, что он не будет выброшен на свалку, а будет бережно сохранен на складе и поступит в продажу в следующем производственном цикле.

Если же платежеспособная потребность общества поддается расширению с понижением цен, наступающим в результате перепроизводства—то, стало быть, еще некоторое количество ламночек сверх миллиона, которым ранее соответствовала неплатежеспособная потребность, увидит перед собою платежеспособный спрос и будет продано, остальное же количество, сохраняя свою родовую потребительную ценность, останется в качестве запаса до следующего цикла.

На основе изложенного, полагаем, становится совершенно ясно: утверждение сторонников экономической версии, а также и т. Мендельсона, что при перепроизводстве товары теряют стоимость, ибо они теряют потребительную ценность,—покоится на ложном основании, на непонимании различной экономической роли оттенков категории потребительной ценности.

Категория потребительной ценности также не может служить убежищем для сторонников экономической версии.

Н. Ковалевский.

ТРИБУНА.

Наши „замвридплехановы".

(*К дискуссии об идеологиях*).

I.

Я имею честь принадлежать к той партии, которая никогда не боялась сознаваться в своих политических или теоретических ошибках. И если бы тов. Румий, на основании изучения конкретного материала, доказал мне неправильность моей позиции, то никакое огорченное самолюбие, ни даже все его полемические бестактности не помешали бы мне с ним целиком согласиться. К сожалению, боюсь, что тов. Румий не только не понимает задач направляющей критики, но и совершенно на таковую не способен.

В самом деле, чем объясняется его „органическая ненависть ко всему, что носит на себе печать школьного, академического"? Ведь, эта „ненависть" не мешает редакции „Под знаменем марксизма" печатать длиннейшие академические статьи (о Демокрите, французских материалистах и т. п.), в которых ссылок, цитат, сопоставлений текстов хоть отбавляй. Да просто тем, что для правильного разрешения поставленного тов. Адоратским и мною вопроса недостаточно одних общих разговоров о „социологии", но необходимо также тщательное (правда, очень неприятное и кропотливое, да что же поделаешь!), сравнительное изучение подлинных Марксовых текстов. А так как эти тексты говорят противоположное тому, что думает тов. Румий, то гораздо выгоднее для него ограничиться одним отрывком из предисловия „К критике", растекаться критической мыслью по древу и преподносить доверчивому читателю теоретический „лабарданс"...

Обратимся к деталям критики тов. Румия, к тому, что и в наскольно осмысленном виде извлек он из нашей статьи.

Я писал о происходящем сейчас „генеральном пересмотре малоизвестной и неприступной доселе области психологии", которая должна заняться и проблемой образования идеологий. Это дает повод тов. Румию заподозрить меня в „психологизме" и авторитетно заявить, что область психологии „была ему известна и доступна" и „как кому давалась". Приходится на-слово верить тов. Румию: едва ли назовет он мне много марксистских теоретиков, которые прежде—до самого последнего времени—занимались бы специально психологией. Что же понимает под хорошо известной ему психологией тов. Румий? Оказывается, что ее предметом является „возникновение, образование и развитие понятий и представлений каждого индивидуума в отдельности... Другое дело класс... психология менее всего имеет отношения к обсуждаемому вопросу". Иными словами, в таком разграничении, всезнающий тов. Румий невольно застревает на точке зрения

той самой старой индивидуалистической психологии, с которой борется и кот рую „пересматривает“ сейчас марксизм,— в то время, как марксизм пытается сейчас поставить в зависимости от социологии и психологию индивида, исходя в изучении ее от общественной психологии. Впрочем, из других слов тов. Румия явствует, что он сам недалек от такой точки зрения. Но он совершенно неправильно в методологическом отношении резко отграничивает область психологии от социологии. Социология есть прежде всего, в основе своей, методология общественного познания, и не переносить в область социологии должны мы все явления человеческого сознания, но, наоборот, проводить социологический метод, метод исторического материализма в экономии, в психологии и др. специальных областях познания. Дело социологии— наметить общие законы развития сознания в связи с другими элементами общества. Конкретным же изучением идеологических форм сознания должна заняться уже социальная психология, а исходя из нее и вслед за нею и психология индивида, поскольку таким индивидом является идеолог. Что общественная точка зрения на индивида у меня всюду строго проведена, легко обнаружит внимательное чтение: и в этом то и заключается основное наше расхождение с тов. Адоратским. Но выражения „социология“, „социологический процесс“ до того понравились тов. Румию, что он чуть ли не на всех страницах выкрикивает эти элементарные для каждого марксиста истины.

„Изобличив“ меня в незнании одной из аксиом марксизма, он с тем же до смешного победоносным видом открывает незнание мной другой такой же аксиомы. О таковившись на моей мысли, что „теоретизирующий идеолог приводит в систему классовые представления и понятия“, тов. Румий недоумевает. „Откуда же взялся этот идеолог?“ Почему-то, для пущей иронии, очень хочется тов Румию представить этого злосчастного идеолога в виде „беспаспортного, неизвестного чина и звания, проходимца, который вдруг с неба падает и сознательно приводит в систему“. А потом открыть у меня, якобы, противоречие: свалившийся с неба идеолог, оказывается, бессознательно отражает классовое мышление. Что идеолог не „беспаспортный“, а сын своего времени, отражающий настроение определенного класса—эта мысль проведена в моей статье от начала до конца, от изложения взгляда Маркса на „идеологов“ Наполеоновской эпохи. Представители класса, а в это число входят и все идеологически мыслящие представители, представляют, конечно, класс, а не просто одно абстрактное мышление, но представляют его сознание в абстрактных и своеобразных формах. Или тов. Румию нужно, чтобы в специальной статье черным по белому писались вещи, ныне известные чуть ли не каждому комсомольцу?! И, разумеется, не сознательно идеолог в своей системе затушевывает материальные противоречия. О „субъективной искренности“ идеологов тов. Румий опять-таки может прочесть в нашей статье: в противном случае, идеолог был бы не идеологом, но сикофантом или апологетом. Сознательное затушевывание материальных противоречий общества и составляет отличительный признак апологетов или сикофантов.

Именно об этом идет речь в том абзаце моей статьи, который тов. Румий истолковывает таким образом, что всякий литературный или политический представитель класса, сознающий действительные исторические отношения, является, якобы апологетом или сикофантом. При таком толковании не трудно, конечно, всех мыслителей разделить на „идеологов“ и „сикофантов“ и даже самого Ленина произвести в „сикофанты“! Правда та, что в данном абзаце имеются кое-какие

стилистические неточности (я не имел времени просмотреть даже корректуру!). Но, ведь, совершенно ясно говорится у меня, что именно идеолог, а отнюдь не реалистический мыслитель, превращается в такого сикофанта, поскольку внешне он продолжает исходить из „принципов“, но внутренне руководствуется уже более низменными побуждениями.

И когда тов. Румий задает метафизический вопрос: идеолог или сикофант Пуанкаре, то приходится ответить: в полной мере ни то, ни другое. Он не идеолог, ибо самостоятельно не приводит в систему классовое мышление буржуазии, а исходит из „принципов“, задолго до него провозглашенных другими идеологами; при чем самые принципы, как это понимает и тов. Румий, могут иметь прежнюю форму, но новое содержание. Он и не сикофант, ибо не обращает сознательно теорию для лицемерной защиты классовых интересов. И все же, равным образом, мы вправе сказать, что в Пуанкаре имеется и некоторая доля „идеологизма“, и некоторая доля „сикофантства“: так должен рассуждать и тов. Румий, если он „не желает рассматривать явления метафизически“.

Вся остальная часть „критики“ в таком же роде. Тов. Румий, напр., не понимает, как это поэт будущего может петь „очи возлюбленной“ и в то же время сознавать свою связь с действительными отношениями и материальным производством. А разве тов. Румию не ведомо, что различные формы общественного сознания заставляют по разному петь и „очи возлюбленной“? Разве такое понимание своей социальной позиции не сквозит в лирике, скажем, наших молодых, пролетарских поэтов. И сознание этой связи вовсе не есть „невозможное занятие“, но дает себя чувствовать в самых возвышенных стихах... Или тов. Румий недоумевает: откуда взялось „мифическое реалистическое мировоззрение“? Протрите глаза, тов. Румий: да из „Критики Готской программы“, ни откуда больше! Или вам некогда было за критической деятельностью заниматься „талмудическим“ изучением подлинных текстов Маркса (что, кстати, и значит: изучать Маркса „в его непосредственности“)?

К слову, скажу о „талмудизме“. Где его только не бывает! [1]) Разве проницательный читатель не усмотрит такого же талмудизма в пространных выписках из Плеханова, коими пестрят все статьи тов. Румия. „Заниматься выискиванием отдельных примечаний и вскользь брошенных фраз, выдергиванием отдельных мест из живого текста и т. д.—это ли не талмудизм?“ Оставим в стороне то обстоятельство, что любое примечание Маркса и даже „вскользь брошенная фраза имеют больше значения для марксистской теории, чем вся критическая деятельности некоторых „замвридов“. Ну, а вы сами, тов. Румий, разве не проявляете аналогичный „талмудизм“ (простите façon de parler) в области критики?!

Впрочем, тут вспоминается одно обстоятельство из истории развития марксизма. Когда в борьбе с чистыми марксистами „ревизионисты“ и „критики“ бросили им презрительную кличку „ортодоксов“, настоящие марксисты не постеснялись поднять перчатку и принять это неприятное прозвище. С „талмудизмом“, конечно, дело обстоит несколько сложнее: уж больно специфический душок носит это по-

[1]) Можно, разумеется, считать, что ларчик всегда открывается „методом“ и что сравнительное историческое изучение развития основных социологических понятий не необходимо. Тогда к „талмудистам“ придется отнести и Маркса с его детальным анализом „товара“, „стоимости“, „денег“ у своих предшественников и даже Ленина (в его „Государстве и Революции“).

нятие. Но очень боюсь, что в один прекрасный день кой-кому из марксистов, изучающих подлинного Маркса, придется назвать себя как угодно, хотя бы и „талмудистами“, лишь бы только как-нибудь отмежеваться от „критиков“ и „социологов“ типа тов. Румия!

II.

В заключение несколько слов „об основных методологических вопросах, к которым надлежит свести весь спор“. (Сколько торжественности и выспренной мудрости!) И здесь, по мнению тов. Румия, Разумовский кое чего не понимает и что-то искажает.

Вопрос первый: ведомо или неведомо Марксу деление на идеологию и непосредственное классовое мышление, отличает ли он общие воззрения класса от их идеологического выражения? Если бы тов. Румий потрудился внимательнее прочесть не говорю уже Маркса, а хотя бы критикуемую им статью, то нашел бы, что Марксу сие ведомо: Штирнер, напр., „дает идеологическое высокопарное выражение самому тривиальному мировоззрению мелких буржуа“ (Св. Макс). Является ли, напр., „право непосредственным классовым мышлением“? Все зависит от того, как понимать „право“: как непосредственные волевые переживания класса или как отвлеченную правовую „систему“. Впрочем, и тов. Румий, в противоречии с самим собой, как-будто склонен различать „идеи“ и их „классовую сердцевину“: „борьба классов всегда отражается в сознании людей, как борьба идей, и лишь революции обнажают самую голую классовую сердцевину“ (?!). А в другом месте у тов. Румия сказано, что именно в революционные эпохи сознание „переоценивает значение принципов и учений“ (!). Вот уж у кого „одна страница не ведает, что несет на себе другая“!

Ну, а что сказано в том единственном отрывке из Маркса, который „ведом“ даже тов. Румию? Да то, напр., что материальный переворот в экономических условиях „можно определить с естественно-научной точностью“, а идеологические формы, в которых обычно воспринимается конфликт, этого конфликта с такой точностью не сознают. А, ведь, с точки зрения тов. Румия, Маркс и Ленин—идеологи пролетариата: стало быть, и они не определяют переворота с соответствующей точностью, но исходят из „принципов“!!! Как будто и тов. Румий недалек от этой мысли, когда говорит, что „самым субъективным является сознание революции“ и о переоценивании принципов в революционные эпохи. Точно так же и в другом месте тов. Румий соглашается с нашей точкой зрения, что идеологическое воззрение есть „идеализм в методах исследования“. А как же „идеологи“ Маркс и Ленин? Или они тоже, выходит, попали в идеалисты? Да это, пожалуй, не лучше, чем оставаться им в „сикофантах“. Каюсь, грешен я, быть может, в противоречиях, но вот в этих-то противоречиях сам чорт ногу сломит!

Второй вопрос: если точка зрения одного, скажем, господствующего класса была идеологической, значит ли другая точка зрения (противоположного класса)—реалистическая? Здесь тов. Румий несовсем не прав, когда говорит, что оба класса могут иметь отвлеченные, искаженные представления о действительности. Но все дело-то в том, что процесс развития классовой борьбы нужно мыслить диалектически, а не метафизически. Воззрения угнетенного класса, по крайней мере, на первых порах, несомненно, в большей степени носят реалистическую окраску, чем воззрения класса господствующего. Это не

значит, однако, что рано или поздно здесь не создается отвлеченная идеология и что воззрения эти от начала до конца строго реалистичны. Целый ряд материальных противоречий не с одним только ныне господствующим, но и с другими, б. м. еще более приниженными классами, приводит все классы (кроме пролетариата) к затушевыванию при помощи идеологического построения вышеназванных противоречий. И, разумеется, имею в „классовая ситуация“, а не что другое, приводит идеологов к тем или иным идеологическим системам.

Все это святые истины и когда тов. Румий долго и убедительно читает „по шпаргалке“ из Плеханова о „консерватизме формы“, о том, что она „консервативнее содержания“, то остается только недоумевать, кого и для чего он всем этим вещам поучает. Одно дело—„отличать“ форму от содержания, а другое дело—при изучении идеологии обращать внимание только на содержание, не относясь внимательно к своеобразию формы,—а ведь в этом последнем отличительная, характерная черта идеологии. Обусловливается ли это своеобразие формы самим экономическим и классовым ее содержанием? В значительной мере обусловливается. Ведь, те принципы, от которых отправляются идеологи, не произвольно ими создаются, но обычно представляют из себя становящееся все более абстрактным с течением времени отражение гораздо более реалистических требований класса на первых стадиях его борьбы. И те же самые общественные условия и классовые интересы, которые вызывают к жизни эти „принципы“, способствуют тому, чтобы в дальнейшем их выражение становилось затушеванным, идеологическим.

Впрочем, все эти пространные и, по существу, полезные, но имеющие отдаленное отношение к обсуждаемому вопросу размышления понадобились тов. Румию только для того, чтобы, утомив ими внимание читателей, сделать неожиданный вывод: „Энгельс и Плеханов по этим вопросам против Разумовского“. После такого „критического“ выпада остается только пожать плечами. Где, как, почему—против: объяснитесь конкретнее, тов. Румий?!

Дело в том, что мои собственные положения (точнее, изложение моей взглядов Маркса и Энгельса) занимают отнюдь не 50 страниц, а гораздо меньше; и гораздо меньше тов. Румия злоупотребляя я лично терпением читателей. Еще короче эти положения сводятся к следующему:

1) Идеология не должна быть отождествляема с надстройкой и мировоззрением, но представляет собой определенную разновидность той и другого. Отвлеченно выражая интересы того или иного класса, каждая идеология представляет из себя отправляющуюся от принципов, более или менее замкнутую систему.

2) Идеологическая точка зрения совпадает с методологическим „идеализмом“ (специфическое проявление идеализма, который вообще является более объемлющим понятием). Методологический идеализм или априоризм состоит в том, что построение отправляется от каких-либо „принципов“ (иногда и материалистических!), а не от опытного изучения реальных отношений.

3) Идеолог—не всякий литературный или политический представитель класса и не всегда. Идеологом он становится постольку, постольку определенные классовые интересы бессознательно для него самого приводят его к созданию отвлеченной, от принципов отправляющейся системы, затушевывающей классовые интересы и противоречия. Основное мое расхождение с общепринятой точкой зрения заключается вовсе не в моем „психологизме“ и не в „беспаспортности“ идеолога, а в том, что для меня—идеология, идеолог более узкие и

специальные понятия, по сравнению с „мировоззрением" и „литературным представителем" класса... Все остальные упомянутые „страницы" моей статьи заняты вполне конкретным материалом из произведений Маркса и Энгельса, подтверждающим перечисленные положения. Пусть, оставив все „социологические" разговоры, попробует опровергнуть и то и другое тов. Румий, если он стремится к настоящей, деловой критике!

И. Разумовский.

Ответ на ответ.

Куда деваться мне от них!

А. С. Грибоедов.

Самообладание и выдержка в споре—великое дело: оно обезоруживает врага, подкупает читателя, а,—что особенно важно,—только оно и обеспечивает выяснение истины.

Если это верно, а это несомненно верно, то Разумовский, ответ которого мне продиктован исключительно напряженным гневом, явно создает атмосферу, очень плохо способствующую выяснению истины. Возьмите для иллюстрации моих слов хотя бы, скажем, заголовок статьи. Помилуйте, какое имеет отношение к нашему спору выдуманное им заглавие? Это и неуклюже, и некрасиво, и очень неостроумно. „Замвридплехановы"! Как это только рука его вывела такое чиновническое словцо—уму непостижимо. Единственно разумное объяснение этому далеко не разумному началу спора я могу искать только в невероятной запальчивости автора.

Но это бы полбеды. Гораздо больше затруднений сейчас у нас в том, что своим ответом тов. Разумовский не только не исправляет ошибок, проделанных им в таком изобилии в статье, но он их только усугубляет и умножает их число, ставя меня таким образом в положение не из очень приятных, когда я вынужден набраться совершенно несвойственного мне терпения, чтобы не бросить с ним дискуссию, как занятие безнадежное.

Но, ведь, давно известно, что журналист—не господин своей головы; положение обязывает, и я вынужден заниматься распутыванием того, что так беспросветно путает тов. Разумовский.

Он выписывает из моей статьи (с ничем не оправдываемыми сокращениями) место, где я говорю: „Возникновение, образование и развитие понятий и представлений каждого индивидуума в отдельности есть действительно предмет изучения психо-физиологии. Другое дело—класс. Процесс образования и развития понятий и представлений этой суммы людей, и не простой суммы, а составляющей целое единством экономических интересов, есть процесс социологический. Это то, что не понимает Разумовский". И выписывает не без умысла,—с целью приписать мне утверждение, которое действительно поставило бы меня в затруднительное положение, если бы оно было... верно!

Разумовский глубокомысленно комментирует меня: „Иными словами, в таком разграничении всезнающий тов. Румий невольно застревает на точке зрения той самой старой индивидуалистической психологии, с которой борется и которую „пересматривает" сейчас марксизм,—в то время как марксизм пытается сейчас поставить в зависимость от социологии и психологию индивида, исходя в изучении ее от общественной психологии". Я не хочу обращать внимание читателя на феноменальную не...ловкость Разумовского в споре; я совершенно уверен, что читатель, даже неблагосклонный ко мне, заметил, что Разумовский перепутал самым ребяческим образом индивидуалистическую психологию с психологией индивидуума. Это две вещи разные! И хотя тов. Разумовский „сам с усами" и не любит наставлений, однако не могу воздержаться от напоминания некоторых основ, безнадежно отсутствующих у него, быть может, безвозвратно забытых им.

Оспаривая меня, он пишет: „Дело социологии—наметить общие законы развития, сознания в связи с другими элементами общества. Конкретным же изучением идеологических форм сознания должна заняться уже социальная психология, а исходя из нее и вслед за нею и психология индивида, поскольку таким индивидом является идеолог".

Помилуйте, ведь, речь как раз о том и идет,—следует ли вопрос о происхождении идеологии свести к вопросу о процессе возникновения неправильных либо искаженных понятий и представлений у индивидуума.

Я утверждаю, что в этом не только нет нужды, но что это делает невозможным решение проблемы и сводит социологический вопрос, т.-е. вопрос о происхождении общественных представлений и понятий, к вопросу психологическому, т.-е. к вопросу о том, какую у каждого данного конкретного лица форму принимает общественное сознание, что и означает не что иное, как замену объективно-общественной точки зрения марксизма „новым" на первый взгляд, но давно открытым буржуазными учеными, психологизмом (выражение неловкое, но хочу быть понятым Разумовским!).

Занятие праздное и бесполезное, ибо нас, марксистов, интересует не Иванов и Петров, как таковые, как лица, а оные, как члены целого класса, и только постольку они нас и интересуют, поскольку их личное есть отражение их классового.

Психология индивида тут положительно не при чем, она только помеха. Следовательно, вопрос не в том, смотрит ли исследователь на индивидуума с общественной точки зрения, или нет. Вопрос в том, нужно ли искать и можно ли найти что-либо для разрешения проблемы в психологии индивидуума. А на этот вопрос каждый марксист, ни одной минуты не колеблясь, дает ответ, аналогичный тому, что

был дан мною: ничего! И полагаю, надлежит искать разрешение проблемы не там, не в этих „новых" (вероятно, поэтому так плохо изученных т. Разумовским) областях следует искать решения вопроса, который уже давно решен, и решение которого наши учителя искали в социологии.

Когда тов. Разумовский этой простой истины не знает и повторяет свои ошибки еще и еще раз в своем ответе, что прикажете делать, как не изобличать его в незнании одной из аксиом марксизма? Я это делаю, и вызываю неслыханный гнев и брань со стороны Разумовского. Не лучший ли это аргумент в мою пользу? Если верить старой латинской пословице,—да!

Или возьмите его деление „представителей класса" на „идеологов, сикофантов и апологетов", с одной стороны, и на реалистически мыслящих—с другой.

Все это, конечно, чепуха и к марксизму никакого отношения не имеет. „Сознательное затушевывание материальных противоречий общества и составляет отличительный признак апологетов и сикофантов". Или: „Идеолог, а отнюдь не реалистический мыслитель, превращается в такого сикофанта, поскольку внешне он продолжает исходить из принципов, но внутренно руководствуется уже более низменными побуждениями". Во всем этом такая бездна самого безнадежного ребячества, что не знаю, стоит ли мне вообще останавливать внимание читателей на них. Ведь, даже гимназисту ясно, что для того, чтобы сознательно искажать отношение между бытием и идеологией, необходимо (необходимо!!) иметь самому совершенно ясное об этих отношениях и соответствующие действительности представления. А иметь такие представления значит не быть идеологом, а быть „реалистически мыслящим"! Поди разбирайся, у кого есть время и охота, в этих непролазных противоречиях!

„И когда т. Румий задает метафизический вопрос: идеолог или сикофант Пуанкаре, то приходится ответить: в полной мере ни то, ни другое. Он не идеолог, ибо самостоятельно не приводит в систему классовое мышление буржуазии, а исходит из „принципов", задолго до него провозглашенных другими идеологами; при чем самые принципы, как это понимает и тов. Румий, могут иметь прежнюю форму, но новое содержание. Он и не сикофант, ибо не обращает сознательно теорию для лицемерной защиты классовых интересов. И все же, равным образом, мы вправе сказать, что в Пуанкаре имеется и некоторая доля „идеологизма", и некоторая доля „сикофантства": так должен рассуждать и тов. Румий, если он „не желает рассматривать явления метафизически".

Я очень благодарен тов. Разумовскому за совет, но последовать оному не могу. Я лучше постараюсь разрешить некоторые сомнения, вызванные у меня его неожиданной откровенностью.

Никогда еще не случалось в истории, чтобы кто-либо создавал сумму принципов, из которых он исходит,—всегда эти принципы задолго до него провозглашены другими, говоря проще, каждый данный мыслитель имеет определенную сумму принципов, унаследованных от других, до него существовавших мыслителей. Больше того. Ни один мыслитель сам один никогда не приводит „в систему классовое мышление" какого бы то ни было класса,—система получается в результате работы всего данного класса, всей интеллектуальной силы его, всей его интеллигенции, общими усилиями идеологов данного класса.

Совершенно понятно, что это неожиданное разъяснение льет воду на нашу мельницу. На самом деле, если Пуанкаре не идеолог и не сикофант, то значит оных идеологов вообще трудно себе представить, тем более сикофантов. Но если он хочет ограничить число идеологов числом тех гениальных представителей класса, которые создают системы, приводят в систему понятия и представления своего класса, то и тогда число их будет столь малое (на столетие—два-три, не более), что можем их просто не принять в расчет—за ничтожным их числом.

На самом деле, Пуанкаре, несомненно, идеалист. А мы знаем от тов. Разумовского, что „идеологическая точка зрения совпадает с методологическим „идеализмом" (специфическое проявление идеализма, который вообще является более объемлющим понятием). Методологический идеализм, или априоризм, состоит в том, что построение отправляется от каких-либо „принципов" (иногда и материалистических!), а не от опытного изучения реальных отношений". Принципы—на-лицо (хотя и старые), идеализм на-лицо, априоризм на-лицо, а все-таки не идеолог. Мудрый Эдип, разреши!

А мудрый Эдип, вместо того, чтобы разрешать все эти противоречия, вызывающие самые законные недоумения, продолжает плести противоречия, попутно ругая тов. Румия.

В чем дело? В очень простом: у тов. Разумовского полнейшая путаница в голове по этому вопросу—не больше, но и не меньше. И не простая путаница—оная произошла от того, что тов. Разумовский вздумал создавать собственную систему из случайно выдернутых из самых разнообразных трудов Маркса и Энгельса фраз и отдельных выражений.

Все его путаное построение коренится в этом простом обстоятельстве. Это обстоятельство и есть, между прочим, то, что дало мне основание назвать его талмудистом, что его ничуть не обескуражило. Наоборот! Он даже готов сделать из этого своего несчастия добродетель. Забыл он, что талмудистом его и ему подобных называют не потому, что у них имеется излишнее пристрастие к толкованиям текста,—что они называют исследованием,—горе старых и новых талмудистов заключается отнюдь не в этом, а в том, что они живой организм единого текста разбивали на отдельные слова и выражения и за ними не видели смысла и мысли.

Новые талмудисты, подобные Разумовскому, хорошо знают, сколько раз и где Маркс и Энгельс употребляют слово идеолог, но

что—к чему, они не знают, за этим словом они забыли грандиозную систему Маркса. На самом деле, вот для образца еще одно путаное мудрствование. Я указывал ему в своей статье на то обстоятельство, что не только точка зрения господствующего класса, но в истории бывало много случаев, когда и угнетенный класс, идущий на свержение господствующего, революционный класс имел идеалистический взгляд на общественные явления. Я поставил ему вопрос: означает ли это, что точка зрения господствующего класса идеологическая, а угнетенного—реалистическая, несмотря на их одинаковый, ошибочный, неверный взгляд на отношение их идей и представлений к действительности?

„Здесь тов. Румий не совсем не прав, когда говорит, что оба класса могут иметь отвлеченные, искаженные представления о действительности,—глубокомысленно умозаключает он.—Но все дело-то в том, что процесс развития классовой борьбы нужно мыслить диалектически, а не метафизически (sic! *В. Р.*). Воззрения угнетенного класса, по крайней мере (!—*В. Р.*), на первых порах, несомненно, в большей степени носят реалистическую окраску, чем воззрения класса господствующего". Совершенно несомненно, что Разумовский не сводит концы с концами. Рассудим диалектически! Французские материалисты, как я указывал уже раз, несомненно, идеалисты в вопросах общественных.

В этих последних вопросах разницы между ними и представителями феодализма буквально лупой не определить; больше того, по отношению к ним последующие идеалисты, которые тоже были идеологами буржуазии, но позднейшей эпохи, когда буржуазия победила,—эти идеалисты, вопреки утверждению тов. Разумовского, сделав много шагов назад по вопросам гносеологии, явились самыми передовыми носителями самых прогрессивных идей, создателями идей развития, диалектики. Так что же идеология, и что реалистическое воззрение? Где больше реализма („по крайней мере, на первых порах"!) у французских материалистов или, скажем, у Гегеля? Мудрый Эдип!

Следовательно, и тут чепуха сама несомненная.

Утверждать, что больше непосредственного классового сознания у французских материалистов, чем у идеалистов начала XIX века, значит говорить, не ведая что, и вкладывать в слова содержание, им (словам) не свойственное. Мудрый Эдип, и тут глубокомысленно напутав дело, отходит в сторону и молча переходит к другому вопросу, чтобы и там накуралесить, чтобы и там наворотить кучу противоречий.

Но мы за ним не последуем. „Мочи нет!"—сказал бы Чацкий на нашем месте.

Это же не дискуссия, это не обсуждение вопроса! И что за нравы пошли у нас в публицистике, что за стиль, что за ужасающее пренебрежение к благозвучному! „Замвридплехановы"—непостижимо!

В. Румий.

БИБЛИОГРАФИЯ

Новые книги по историческому материализму.

А. Тюменев.. „Теория исторического материализма". Изд. III. Птг. „Прибой". 1923. Стр. 40.

С. Ю. Семковский. „Конспект лекций по историческому материализму". Изд. второе, исправленное и дополненное. Гос. Издат. Украины. 1923. Стр. 135.

„Исторический материализм". Отрывки из произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Составили В. В. Адоратский и А. Д. Удальцов. „Новая Москва". 1924. Стр. 436.

Современное оживление в России литературы по историческому материализму является лишь ответом на широкие запросы читательской массы, ее различных кругов различной квалификации. Желание возможно ближе подойти со своей книгой к той или иной группе читателей наряду с индивидуальными особенностями, складом мышления и накопленным опытом авторов обусловливает различные схемы построения, подход и метод изложения в книгах, написанных, казалось бы, на одну тему. В таком разнообразии нельзя видеть отрицательные стороны, скорее, обратно, оно свидетельствует о положительной работе мысли, о нащупывании координации между результатами научного исследования и преподавательского опыта, с одной стороны, и потребностями и запросами читателей—с другой.

Подлежащие нашему суммарному обзору четыре недавно вышедших работы [1]) представляют собою как раз четыре внешне возможных типа построения книги, посвященной изложению и разработке проблем исторического материализма. Связанные единством темы, они обращаются к различным читателям; разъединенные практически-педагогическими убеждениями авторов и их специальными задачами, эти книги преследуют одну общую цель—представить и разъяснить материалистическое понимание истории.

А. Тюменев, рассматривающий исторический материализм, как теорию истории, представляет в своей брошюре основные взгляды Маркса-Энгельса на производство и производственные отношения, как социальный базис, и дает самостоятельную попытку выяснения зависимости различных сторон идеологии, как надстройки. Доступно написанная брошюра обращается к мало-подготовленному читателю и способна выяснить ему в общих чертах воззрения основоположников марксизма. Связное, популярное и добросовестное изложение исторического материализма вытекает, таким образом, из задачи, поставленной себе автором.

Иную по форме цель преследует С. Семковский. Его книжка—конспект университетских лекций; она предназначается в равной мере для студентов и преподавателей высших учебных заведений. Конспект „стре-

[1]) См. нижеследующую рецензию на книгу проф. Энгеля.

мится дать лишь общую ориентировку в самой схематической форме" и не претендует на замену прослушания факультетского курса,—курса, следовало бы добавить, самого и только автора книжки.

Подобно Семковскому, В. Адоратский и А. Удальцов рассматривают исторический материализм прежде всего как метод, „введение к изучению", однако материал их сборника формально иной. Это—более или менее длинные и законченные образцы и фрагменты из произведений Маркса и Энгельса. Научные взгляды и педагогические соображения авторов выявляются лишь в предисловии к сборнику и в самом подборе и порядке расположения отрывков. Очевидно, что основную массу читателей сборник должен найти среди слушателей вузов и совпартшкол.

К не менее квалифицированной аудитории обращается и проф. Е. Энгель. Он тщательно избегает термина „исторический материализм", а если и пользуется им, то неизменно заключая его в ковычки. Для него марксизм—материалистическая социология; его „подход к разрешению некоторых из основных проблем марксизма" „несколько иной, чем общепринятый"; его очерки разработаны в форме систематического учебника для высшей школы. Таковы внешние облики рассматриваемых нами книг. Более подробное ознакомление с ними вскроет их внутреннее достоинство.

Как мы уже сказали, первая часть брошюры А. Тюменева представляет весьма добросовестное и тщательное изложение взглядов Маркса-Энгельса на производство и производственные отношения. Перед читателем проходят известные моменты исторического материализма: целесообразная деятельность, как отличие человека от животного; производство, как активное отношение человека к природе; труд, как „источник богатства" наряду с природой, доставляющей ему материал; специфическое влияние естественной среды; общественные производственные отношения; конечная зависимость обмена от производства; обусловливание в конечном счете способом производства и обмена всего общественного строя; борьба классов, как форма диалектического процесса исторического развития; рост производительных сил и их конфликты с производственными отношениями; взаимоотношения базиса и надстройки и т. д., и т. п. Все это обильно подкреплено цитатами из основных работ,—прием, отнюдь не неуместный в популярной брошюре.

Вторая часть работы посвящена истолкованию идеологических надстроек. Здесь наряду с изложением взглядов Маркса-Энгельса ведется полемика, не загромождающая, правда, текста, с критиками марксизма (Масарик, П Барт). Автор на конкретных исторических примерах показывает обусловленность философии, этики, искусства, религии от социального базиса. Эти примеры, как и вообще все содержание брошюры Тюменева, не требуют от читателя эрудиции; вот почему она, являясь одной из лучших кратких и популярных работ по историческому материализму, может быть по праву и настойчиво рекомендована всякому начинающему изучать марксизм.

Этого, конечно, нельзя сказать про конспект С. Семковского. С другой стороны, трудно решить, для кого объективно подходит,—мы уж не говорим, кому следует рекомендовать,—эта работа. Очевидно, она ничего не даст мало-мальски самостоятельному преподавателю вуза. Подходит ли и нужна ли она студенту? Сильно сомневаемся. Правда, в дореволюционное время, снисходя к „непосильному бремени" не желающих утруждать себя студентов, ловкие люди, принимая во внимание могущие воспоследовать доходы, забрасывали книжный рынок университетских городов всякого рода конспектами, в которых объемистый курс в несколько сот страниц легко умещался на 60—80 маленьких страничках; но позволительно думать, что нужда в подобного рода конспектах по историческому материализму не ощущается новой студенческой массой.

В предисловии значится, что первое издание „разошлось тотчас же по выходе в пределах одного Харькова". Смеем думать, что этим профессор автор конспекта сослужил далеко не полезную службу студенческой молодежи.

Собственно говоря, у Семковского даже не конспект, а оглавление его лекций. Ни одно принципиальное положение Маркса, Энгельса, Плеханова не ускользнуло от конспекта, но все они представлены в таком отрывочном, калейдоскопическом виде, что связь абсолютно отсутствует. Это—программа для экзамена, не больше. Вот образец формы изложения: „Учение Дарвина о „естественном отборе". Злостная критика и действительные слабости дарвинизма. Признание самого Дарвина: „По моему мнению, я сделал большую ошибку в том, что не признал достаточного влияния прямого воздействия среды, т.-е. пищи, климата и проч., независимо от естественного отбора" (из письма к Морицу Вагнеру от 1876 г.). Мутационная теория де-Фриза (скачкообразное образование новых форм); отрицательное отношение Тимирязева и др. к этой теории. Но независимо от правильности теории де-Фриза, во всяком случае..." и т. д.

Такой метод изложения уместен единственно в тех заметках, которые лектор заготавливает лично для себя, чтобы мысль его на лекции не сбивалась в сторону, и, пожалуй, таково именно происхождение харьковского конспекта, изданного, однако, в назидание преподавателям и пособие студентам.

Мы говорим, что ни одно слово Маркса-Энгельса не упало мимо конспекта, но зато по существу исторического материализма, кроме слов основоположников марксизма, да, пожалуй, Плеханова, ничего нет. Камень преткновения всех современных нам курсов, учебников, книг и брошюр, — диалектика,—осталась камнем преткновения, видимо, и в курсе Семковского. Все те же элементы и обрывки ее, которые ad hoc подчеркивали и о которых черным по белому писали Маркс-Энгельс: конкретность истины, изменчивость явлений, всеобщая связь, переход количества в качество, отрицание отрицания и т. д. Но те моменты диалектики, истинные блестки диалектического мышления, которые всюду разбросаны у Маркса, в „Капитале" ли или в исторических работах, над очерчиванием которых, обобщением и заострением в диалектические формулы нужно поработать,—все они ускользнули от автора и продолжают ускользать от взоров многих других авторов.

Справедливое мнение Энгельса о том, что самой важной частью гегелевской „Науки логики" является ее вторая часть, „учение о сущности",—мнение, известное С. Семковскому, поскольку среди приложений к конспекту дан отрывок письма Энгельса к К. Шмидту от 1 ноября 1891 г., должно было обратить на себя внимание. Маркс широко пользовался диалектикой вещи и ее свойств, целого и частей, внешнего и внутреннего, а его понимание производительных сил все исполнено диалектикой силы и ее обнаружения. Между тем, мы пока вовсе не имеем в марксистской литературе развития или хотя бы подчеркивания этих моментов у Маркса, но пробавляемся „количеством" и „качеством" I части, где, с точки зрения самого Гегеля, еще нет диалектического развития, а есть только голые переходы.

К конспекту лекций приложен тоже „конспект" марксистской хрестоматии С. Семковского, т.-е. ряд отрывков из Маркса-Энгельса и некоторых ортодоксальных марксистов. Что же можно иметь против этих фрагментов? Лишний раз прочесть классические места—одна польза. И, конечно, лучше было бы, если бы им не предшествовали страницы конспекта лекций.

Эти отрывки удачно подобраны и хорошо расположены, они могут сами по себе дать многое читателю, лишенному возможности располагать произведениями Маркса и др. в целом. Несколько нарушает единство принципа отбора отрывков предисловие К. Белоха к его „Греческой истории", но и в этом мы не видим большой беды.

Однако приходится обратить внимание на один ляпсус С. Семковского и в этой части книжки, как бы он ни казался со стороны мелким. На этот промах следует указать, ибо он в 1923 году благополучно справляет уже пятнадцатилетний юбилей и при некритических и невнимательных перепечатках хотя бы и в „исправленных" изданиях грозит расплодиться свыше меры. Мы имеем в виду перевод С. Семковского предисловия Энгельса к английскому изданию „Развития социализма".

Там Энгельс, критикуя агностиков, говорит, что, воздействуя на вещь, употребляя ее сообразно воспринимаемым нами свойствам, мы подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий. „The proof of the pudding is in the eating",—говорит Энгельс, а Плеханов называет эти слова „главным доводом, воздвигаемым Энгельсом против учения Канта и против агностицизма".

„The proof of the pudding is in the eating"—д о к а з а т е л ь с т в о пудинга в его поглощении,—таков буквальный перевод этого афоризма. Его смысл: существование пудинга познается нами путем практического воздействия на него; абстрактно-логические, „критические" рассуждения о непознаваемости „вещи в себе" разбиваются практической деятельностью человека. На основании данных внешних чувств мы даем вещи сообразное ее природе применение.

В 1908 г. С. Семковский перевел эту фразу так: „В к у с пудинга узнается во время еды". Положение совершенно бесспорное, но имеющее к теоретико-познавательному тезису Энгельса отношение не более близкое, чем правило, по которому „аппетит приходит во время еды". Из сборника С. Семковского „Исторический материализм" (изд. 1908 г.) этот оригинальный перевод перекочевал во второе издание 1919 г., затем в первое и далее во второе, исправленное, издание конспекта. Больше того,—этот же перевод красуется и на стр. 358 сборника В. А д о р а т с к о г о и А. У д а л ь ц о в а. Небрежное отношение к мысли Ф. Энгельса, конечно, должно быть устранено, хотя бы на шестнадцатом году.

Гораздо более внимательное и бережное отношение к наследию Маркса и Энгельса мы встречаем в указанном сборнике Адоратского и Удальцова. Мысль собрать в одной книге места из работ основоположников материалистического взгляда на историю, места, имеющие ближайшее отношение к диалектическому методу, сама по себе должна быть признана удачной и продуктивной. Такой сборник является незаменимым пособием для учащихся и всех желающих ознакомиться с методом марксизма; такой сборник значительно ценнее любого систематического „учебника" по историческому материализму. Все дело только в соответствующем задачам сборника подборе и расположении материала.

Составители не включили в свой сборник мест, „где говорится о чисто-философской стороне", они „ввели отрывки, относящиеся только к исторической теории". Конечно, право каждого автора или редактора включать в свои книги только тот материал, который они признают необходимым и достаточным, но при этом не следует забывать об интересах самой работы. Поскольку сборник сосредоточивается на теоретико-исторической стороне учения Маркса, ясно, что экскурсы последнего в область истории философии или полемика Энгельса, скажем, с агностиками могли быть отпущены, но тогда нужно постараться провести точную границу между „чисто-философской стороной" и теми местами, где она переходит в м е т о д о л о г и ч е с к у ю сторону, благо, сами составители рассматривают, как сказано, марксизм прежде всего как метод. А в этом случае необходимо, конечно, было бы включить в сборник и много „чисто-философских" мест.

В одном месте Энгельс пишет: „Разработку метода, лежащего в основе критики политической экономии Маркса, мы считаем результатом, который едва ли уступает по своему значению материалистическому основному

взгляду". Если Энгельс диалектический метод ставит в смысле значения на один уровень с „основным материалистическим взглядом", а иначе и быть не может, то, значит, следовало не экономить место, а дать несколько страниц на обрисовку этого метода.

В своих примечаниях составители сборника неоднократно указывают, что в такой-то работе Маркс дал блестящий образец приложения метода д и а л е к т и ч е с к о г о материализма к конкретному историческому материалу; далее они приводят отрывки, описывающие, так сказать, выход Маркса из Гегеля в отношении метода, но тех блестящих страниц из „Анти-Дюринга" (I. Общие положения), где говорится о диалектике, напрасно будут искать в сборнике. Из главы „Отрицание отрицания" дан один из конкретных примеров, но подытоживающего абзаца, в котором, кстати сказать, дано определение диалектики, в сборнике нет.

Изгнание во что бы то ни стало „чистой философии", которая у Маркса-Энгельса как раз совпадает с диалектикой, изгнание элементов метода сильно повредило книге. К счастью, составители не всегда оказывались последовательными, и сохранили нам несколько „чисто-философских" мест, напр., отрывок с пресловутым пуддингом, отрывок из предисловия ко 2-му изд. I тома „Капитала", несколько страниц о Гегеле из Энгельсовой рецензии на „К критике политич. экономии" и др. При последовательном проведении ненавистной философии и эти места должны были бы исчезнуть из сборника.

В противовес философии весьма много страниц уделено „чисто-экономическим" местам. Однако нужно сказать, что если они и подлежат в дальнейших изданиях сокращению в пользу м е т о д о л о г и и, то лишь в незначительном объеме: так много, действительно, разбросано, напр., в „Капитале" блестящих мест, освещающих целый ряд социологических и теоретико-исторических проблем и понятий!

Кроме указанного принципиального разногласия в смысле п о д б о р а материала, мы не можем сделать составителям ни одного возражения. Не так обстоит дело с р а с п о л о ж е н и е м материала. Сборник предназначается в первую голову учащимся; далее сборник является вообще пособием при изучении исторического материализма. Следовательно, сборник должен располагать материал в возможно более доступной для обозрения форме. Хронологический порядок следования отрывков из произведений в данном случае является внешним, формальным, делающим книгу „слепой".

Как указывают и составители, в книгу включены места из тех произведений, в которых историко-материалистические взгляды авторов уже вполне оформились. Ясно, что из того, что Энгельс в своих письмах эпохи 90-х годов особенно подчеркивал обратное влияние надстроек на базис, вовсе не следует, что этот взгляд был чужд Марксу, скажем, в 60-х годах. Было бы поэтому гораздо более целесообразно расположить материал в систематическом порядке по „отделам", даже в тематическом порядке. Опасаться особой фрагментарности не приходится, ибо она на-лицо и при хронологическом расположении; так, на 60 страницах, уделенных I тому „Капитала", размещено 57 фрагментов. Между тем, материал предстоял бы перед читателем в гораздо более яркой, отчетливой и удобной для пользования форме. Несколько облегчающий сейчас пользование книгой предметный указатель должен был бы быть сохранен для перекрестных ссылок. При тематическом расположении отрывков часть их, быть может, выпала бы, зато книга выиграла бы в том отношении, что ее можно было бы читать под-ряд и с большим полезным эффектом.

Эти и некоторые другие недостатки книги (изложение рукописи „Немецкие идеологи" по книге Г. Майера) могут быть при желании составителей исправлены в повторных изданиях, которых сборник дождется, несомненно, в ближайшее же время.

И. Л.

Проф. Е. А. Энгель. „Очерки материалистической социологии". Изд. Л. Френкель. М.—Птг. 1923. Стр. 142.

Совершенно иной тип работы представляет книга проф. Е. Энгеля. Она сложилась, видимо, в процессе лекций и во всяком случае является завершением длительной самостоятельной работы автора. Некоторые части книги в несколько иной форме уже появлялись в печати. Скромная задача книги, как ее формулирует автор, заключается в том, чтобы „ознакомить с попыткой несколько иного, чем общепринятый, подход к разрешению некоторых из основных проблем марксизма".

Подобные попытки „несколько иного подхода" делались уже, как известно, неоднократно, но нужно сказать, что добра от таких попыток мы видели мало. Хорошо еще, когда автор прямо заявлял, что „некоторые из основных проблем марксизма" устарели, требуют пересмотра и т. п. Сложнее обстоит дело, когда автор хочет как-будто оставаться ортодоксальным марксистом, когда он расшаркивается перед положениями Маркса-Энгельса и лихо разбивает „буржуазные теоретические пустоцветы". Если при этом вся работа облечена в густую сугубо-научную терминологию и фразеологию, то нелегко бывает вскрыть „рациональное зерно под мистической оболочкой".

Именно такова работа проф. Энгеля. Материалистическая социология и есть собственно марксизм с иным к нему подходом. Но овладение какой-либо теорией с целью ее дальнейшего развития предполагает прежде всего овладение методом этой теории. У Е. Энгеля отсутствует диалектический метод, и поэтому марксизм остается для него чуждым. Формальный, мы бы сказали—юридический, метод мышления пробивается на каждой странице. От конкретного, выражаясь словами Маркса, автор переходит ко все более и более тощим абстракциям, пока не достигает простейших определений. Вместо того, чтобы принять гегель-марксовский метод от абстрактного к конкретному или чтобы вновь синтезировать свои простейшие определения, автор останавливается на „тощих абстракциях", которые не имеют ни познавательной, ни методологической ценности.

Так, напр., автор пишет: „С точки зрения социальных форм окружающую среду обыкновенно делят на географическую, или внешнюю, и социальную, или внутреннюю. Первую подразделяют на неорганическую и органическую. Таким образом по отношению к социальной форме... можно говорить о шести видах приспособления: о пассивном и активном приспособлении в отношении среды неорганической, о пассивном и активном приспособлении в отношении среды органической и, наконец, о пассивном и активном приспособлении в отношении среды социальной. Что касается соответствующих видов активного приспособления, то: а)..., далее следует б), затем в) и параграф благополучно заканчивается. Такими примерами рассудочного, абстрактно-аналитического метода пестрит вся книга.

Она полна образцов, как сказал бы Гегель, разрушительной, расчленяющей деятельности рассудка, полна примерами метафизического метода мышления. О том, чтобы собрать эти абстракции, синтезировать их, в чем и состоит диалектика, нет и речи, ибо автор не поднялся до сферы разума, воссоздающего из различий и противоположностей конкретное единство,—не поднялся, словом, до диалектического метода мышления.

Казалось бы, что понятие „производственных отношений" относится к числу наиболее бесспорных и твердо установленных в литературе; что понятие „имущественные отношения" есть лишь, говоря словами Маркса, юридическое выражение тех же производственных отношений; что, наконец, эти имущественные отношения в буржуазном обществе принимают форму и закрепляются в правовых отношениях; что, на языке диалектики, принимающей и торжество их, и различие, имущественные отношения являются истиной правовых отношений, а производственные отношения—истиной отношений имущественных. Но вот приходит рассудочный формалист и быстро рассекает производственные отношения на: 1) технические отношения производства, 2) трудовые правоотношения производства, 3) имущественные отношения производства. Анализ закончен, каждый из трех тупиков получает ярлычек и далее... страница книги переворачивается. А если любопытства ради захочешь узнать, что же это такое за правоотношения производства, то ответ таков: „правоотношения производства—такие отношения между более или менее самостоятельными частями производственного механизма, которые определяются и регулируются правилами, устанавливаемыми органами управления производства. Блестящий образец того, что Гегель называл „пустым тождесловием".

С рассудочного мышления начинается, как известно, научное знание, но завершается оно только в сфере мышления диалектического, а этого как раз нет в книге Энгеля. Впрочем, однажды автор „пококетничал триадой". Если стремление каждого вида к безграничному размножению рассматривать как тезу, то ограничение этого стремления данными условиями существования будет антитезой, а переживание лишь наиболее приспособленных будет синтезой цикла диалектического развития". Вся беда в если; не всегда там, где применяются слова теза, антитеза и синтеза, бывает диалектика. Такое представление насквозь пропитано механизмом, а не диалектикой, а механистическими категориями и аналогиями книга Энгеля грешит неоднократно.

Кроме механизма, книга грешит и излишним биологизмом. Правда, автор пытается провести границы между биологией и социологией, но это ему, при его общей точке зрения и отсутствии диалектики, далеко не всегда удается. Говоря о борьбе „внутри человеческого вида", автор ставит на равную ногу: 1) борьбу между противостоящими друг другу обществами, 2) борьбу внутри общества между составляющими его группами (классами) и 3) борьбу между членами групп. Что это, как не биологизм в социальных вопросах? Классовая борьба подменяется борьбой за условия существования, которая „оказывается ближайшим образом борьбою за средства производства, за их обладание". Биологический отбор оказывается выше социального.

Чтобы не растягивать наш обзор, укажем еще на несколько мест, в которых автор обнаруживает не только иной подход, но и рвет с марксизмом, быть может, сам того не желая. Свой анализ общества и общественных явлений он начинает не с производительных сил, а с „конструктивно-идеологических элементов социальной организации: задач, норм и права". Здесь мы узнаем, что идеологической основой, на которой возникает и развивается моральное сознание, является социальное сознание, или сознание общности интересов, присущее группе индивидов, находящихся в одинаковых условиях существования, а, следовательно, в одинаковых условиях деятельности и поведения"; это не производственная, а потребительная точка зрения и, во всяком случае, не марксистская.

В главе о производительных силах при марксистской терминологии метафизическое содержание. Производительные силы сразу рассекаются на материальные (средства производства) и общественные (рабочая сила), между которыми в лучшем случае можно поставить знак плюса. Диалектика производительных сил у Маркса вовсе ускользнула от внимания Энгеля. Производительная сила у Маркса всегда имеет значение производительной силы труда, производительной способности, так сказать производительности вообще (см. гл. 51 т. III „Капитала"). „Рост средств производства является как предпосылкой, так и следствием развития общественной производительной силы труда говорит Маркс.

Если вспомнить диалектику силы и ее обнаружения у Гегеля, то понятие производительных сил у Маркса будет осмыслено всяким. Производительная сила обнаруживает себя в средствах производства, с одной стороны, с другой же—„каждая сила существует только через другую".

„силы существуют только в соприкосновении друг с другом", каждая сила есть и возбуждающая и возбужденная. Только при свете гегелевой „игры сил" можно понять, что средства производства и рабочая сила—моменты диалектического единства производительных сил. Вместо всего этого Энгель, упрекнув марксистов в „смешении" материальных и общественных сил, быстро разрушает диалектику и, гипостазируя силы, застывает в метафизических тупиках. Поэтому у него и получается, что „материальные производительные силы противостоят в лице класса собственников рабочему классу.

Заканчивая наш чрезвычайно беглый обзор книги Энгеля, приведем его определение общества: общество—„независимая, территориально отграниченная совокупность индивидов, связанных определенной системой общественных отношений". Понятно и по-марксистски. Но все таки, а что такое общественное отношение? Это—„такое отношение между людьми, которому присущи два основных признака или момента: целевой и нормативный". Понятно и по-марксистски... На тему о книге проф. Е. Энгеля можно было бы еще много говорить, но марксизма и исторического материализма много оттуда не почерпнешь.

И. Л—л.

А. Шрейдер. „Очерки философии народничества". Изд. „Скифы". Берлин 1923 г. Стр. 157.

Когда будущий историк, роясь в сорном ящике идеологического хлама последних десятилетий, будет разыскивать эпигонов некогда могучего народнического движения, он, несомненно, обратит внимание и на эту книжку.

Не потому, чтобы ее содержание было особенно глубоко или оригинально, не как на пример издательской ловкости, ухитряющейся на 10 листов разогнать книгу таким образом, что в одном начале ее 14 (!) стр. посвящается эпиграфам и заголовкам. Его интерес будет направляться другим. Принципиальное значение книга будет для него именно в силу своей беспринципности, глубокое—именно в силу своей поверхностности общественное—именно потому, что обществу, „массе" она противопоставляет личность.

Г. Шрейдер собирается дать миру понимание „общего духа" народничества (15 стр.). Что это значит? Что значит изучить „дух" какого-нибудь учения? Изучение какой-нибудь системы предполагает точное изучение ее принципов и соподчинения частей. „Дух", наоборот, есть что-то неуловимое, всегда субъективно окрашиваемое, туманное и бедное, как все абстракции. Если бы кто-либо сказал, что для понимания марксизма достаточно изучить „дух" его, то это означало бы лишь, что утверждающий это в марксизме ничего не смыслит. Заподозрить в незнании народничества г. Шрейдера нельзя. Что же означает тогда его утверждение? Только то, что народничество есть такая система, где достаточно познать этот „общий дух", чтобы открылось все, что за ним скрывается. Это—свидетельство о бедности самого учения.

В пояснение понятия „общего духа" мировоззрения г. Шрейдер приводит слова Герцена о том, что для ознакомления со „всей историей" не следует штудировать „без толку сколоченные" факты всемирной истории, а заняться изучением какого-нибудь одного периода. Мы не знаем, как изучать какой-нибудь исторический период без предварительного изучения и какой бы то ни было связи с другими, но для нас проясняется при этом смысл аналогии Шрейдера. Его метод изучения, очевидно, применим лишь к „без толку сколоченному" материалу. Не все мировоззрения претендуют на подобную организацию своих идей. Но в отношении народничества мы готовы согласиться с его идеологом. И да будет поэтому нам позволено и в отношении книги г. Шрейдера, как совокупности „без толку сколоченных вопро-

сов", действовать по его же методу—выбирать то, что нам кажется симптоматичнейшим и „центральным".

По Шрейдеру, „самые центральные и основные моменты всякого мировоззрения"—это ответы на Пилатовский вопрос: „Что есть истина?" и на вопрос: „Что есть справедливость?" (15).

* * *

Что есть истина?

Дело, очевидно, идет не о содержании, а о форме истинного, его логической структуре. Истинное, как целое, есть абсолютное знание, которое, очевидно, не может быть одним ударом схвачено не только ни одним из творцов всех степеней высокопарных фраз, но и всем человечеством. Человечество возвышается до него, отыскивая все более и более истинные методы познания. Тогда истина выступает пред нами как форма знания. Она есть, как говорил Гегель, соответствие понятия предмету. Ее отличие есть объективность и общезначимость. „Моя" истина есть contradictio in adjecto. Даже учитель Шрейдера Вильгельм Шуппе понимает это, определяя истину как суждение, „имеющее своим содержанием действительно сущее". Вопрос другой, как понимается это действительное сущее, но объективная значимость истины вне сомнений.

Но для г. Шрейдера „все наоборот". Следуя Михайловскому, он не желает истины с большой буквы (будто кто-нибудь еще, кроме кричащих это, ее так пишет) и с феодальными титулами (трепещите, язычы, революционности г. Шрейдера!) (см. стр. 16). Он утверждает, что „истина обязательна для меня, она—создание и воплощение моего „я"... Наша истина имеет лишь субъективную обязанность" (25).

Г. Шрейдеру не важно, что тем самым уничтожается понятие истинного. Его исчезновение г. Шрейдер сам демонстрирует всем дальнейшим своим изложением, в котором трудно отличить, как и в приводимом им примере Свидригайлова,—бред от яви.

Г. Шрейдер поскользнулся сразу в двух плоскостях. Вполне понятно, сколь уродливо после этого было его падение в написанной им книге.

Эти плоскости—идея личности и феноменализм в теории познания.

Ранее несколько слов об идее личности, к которой мы еще вернемся впоследствии. Г. Шрейдер спит и помнит об интересах „реальной" человеческой личности", хотя нечеловеческие личности до сих пор нам были известны не среди „лиц", а только среди „литераторов". Истина есть фетиш, которому поклоняются. Она вечна и будет даже тогда, когда погибнет человеческий род. Это возмущает г. Шрейдера. Вдруг и после него будет нечто еще существовать. И он провозглашает, что „подобный фетишизм в основе чужд тому мировоззрению, которое во главу своих построений ставит не абстрактные принципы, а интересы реальной человеческой личности" (18). Но из тирады г. Шрейдера можно, по рекомендованному еще Гегелем способу, вывести лишь одно,—что, очевидно, дело г. Шрейдера и дело объективной истины нашего времени расходятся. В этом корень всей страстности борьбы г. Шрейдера с истиной. Ибо истина нашего времени есть пролетариат и марксизм. В него метят все стрелы г. Шрейдера. Но магнетическая сила времени сама поворачивает их назад и поражает ими своего творца, выдавая его истинную сущность.

Г. Шрейдер противопоставляет реальную личность абстрактным принципам. Но принципы есть дело личности. Это противопоставление, таким образом, свидетельствует только о беспринципности делающей его личности или о безличности ее принципов.

* * *

Как я говорил уже выше, г. Шрейдер споткнулся и на феноменализме в теории познания.

Дело начинается с приводимого В. Ивановым сравнения человеческого познания с искривленным зеркалом, сообразно своей природе представляющим предметы в измененном виде. Беззаботному г. Шрейдеру нет дела до того, что сравнению этому по меньшей мере 300 лет, так как его приводил еще Ф. Бекон. Но если у Бекона это сравнение должно было служить лишь тому, чтобы *выпрямлять* истинную картину мира от субъективных примесей, то здесь сравнение должно послужить иным целям.

Предметы изменяются, „перевоплощаются" в сознании. Значительная часть их качеств—субъективна. Но тогда вообще есть ли что-либо вне сознания? „Возможно ли вообще существование *для меня*, мыслящего, познающего—некоих данностей вне моего сознания?" (21). Слова „для меня" здесь, очевидно, лишние. Ибо, если я ставлю вопрос о каких-либо „данностях" вне моего сознания, и если я их признаю для кого бы то ни было,—тем самым я их признаю и для себя. И, наоборот, признанная *для меня* реальность вне моего сознания, очевидно, при соответствующих условиях всегда может быть и *для другого*.

И вот г. Шредер, подойдя к обрыву идеологической теории познания, как и подобает всякому метафизику, падает в него. Проводником его на этом славном пути является Шуппе со своей имманентной философией.

„Все качества предмета — суть качества мыслимые", — заявляет он (22).

Тем самым действительность сводится к содержанию мышления, и реальный мир—к содержанию сознания.

Родоначальниками имманентной философии являются, по свидетельству одного из ее столпов, Шуберт-Зольдерна, Кант и Беркли [1]). Сверх-революционер Шрейдер и епископ Беркли... Les beaux esprits se rencontrent!

Однако г. Шрейдер „критическая личность". Он не просто ученик,— в качестве критически-мыслящей личности он имеет сказать и свое слово. В чем же оно?

Имманентная школа исходит, по его словам, из непосредственно данного.

Таким непосредственно данным для нас, якобы, является содержание нашего сознания. Но в сознании нам даны не только образы предметов, а и сами предметы. Содержание сознания и есть объективная действительность. „Содержание сознания есть ощущаемое содержание, точь-в-точь такое, каким оно себя заявляет, в своей настоящей осязаемой—наполняющей пространство—действительности, а не преображенное или утонченное до степени лишь призрака, лишь субъективного ощущения". „Весь реальный мир, солнце, луна, звезды и эта земля с ее горными породами и животным миром, с ее огнедышащими горами и т. п., все это есть содержание сознание" [2]).

В сущности говоря, весь фокус заключается только в том, что содержание сознания, как таковое, отрывается от индивидуального „я" и объективируется. Таким образом получается, с одной стороны, „действительное" содержание сознания, „сознание вообще" и—с другой—индивидуальные „я", охватывающие некоторую определенную часть сознания вообще. Реальное „я" есть простой пункт единства определенного содержания сознания, в абстракции своей тождественный у всех единичных „я".

[1]) См. статью Ш. З. в сборнике № 15 „Новых идей в философии" о „бессознательном", стр. 127.

[2]) „Новые идеи в философии", сб. № 3. Статья Н. Лосского об имманентной философии В. Шуппе, стр. 8.

Его „я" не есть деятельное начало, через посредство органов своего тела, в единстве с ними воспринимающее и перерабатывающее объекты материального мира, перерабатывая тем самым и самого себя. Это—бездеятельное, абстрактное, безличное „я", все различия которого от другого „я" состоят в количестве и содержании прочитанных им книг. Его мир есть мир отраженной в книгах действительности. Он существует лишь, пока существует сам г. профессор и его знание. На всем творении печать профессии его творцов. И вместе с тем это отражение буржуазного общества, в котором личность поистине оказывается не чем иным, как точкой пересечения независимо от ее воли перемещающихся общественных связей и богатств, воспринимающая их как данное и непреложное. При этом все общественное производство оказывается тем, что, подавляя и растворяя в себе все индивидуальное, само по себе не есть единое организованное целое и как таковое—лишь абстракция.

* * *

Но вернемся к г. Шрейдеру. Он—не профессор философии. И он решительно не согласен с Шуппе.

Он, как мы уже знаем,—за „реальную человеческую личность". Но непосредственно для меня данной такой личностью являюсь лишь я сам.

„Мир и я—для меня гармонически слитое целое. Со мной умрет земля и померкнет солнце",—возглашает г. Шрейдер (23).

И хотя автору такой фразы нельзя приписать большого ума, но в непоследовательности обвинять его в данном случае было бы грех. Истина—мираж,—возглашает Шрейдер вслед за Юмом. „Нам близок скептицизм. и мы против него бессильны, так же, как он безоружен против нас" (25). Что г. Шрейдер против скептицизма бессилен,—есть абсолютная истина. Но истина есть действительно мираж тоже лишь для него. Ибо его истины есть иллюзии, и его жизнь сама в царстве теней. Они и ему близкие—тени былых дней и былой славы.

И в полном соответствии со своей исходной точкой зрения Шрейдер отрицает „родовое сознание" имманентной школы. Он вполне основательно видит в нем боязнь сказать себе правду (27). С последовательностью, достойной лучшей участи, он приводит своего учителя к абсурду. Весь тонкий и хитросплетенный клубок доводов Шуппе против извечно-грозящего идеализму солипсизма безжалостно рвется и отбрасывается.

Чем ближе человек к труду, эксперименту и действительной науке, тем труднее ему стать на почву полного отрицания материи и коллектива. Лево-эс-эровские идеологи наших дней одинаково далеки от всех трех вышеупомянутых областей. Отсюда их завидная храбрость и последовательность в развитии нелепостей.

„Сознание-бытие" их ограничивается их „тесным я", „моим". „Ощущения других познающих нам не даны, и им не даны мои ощущения",—совершенно резонно заключает Шрейдер (35). И если он кое-где декларирует о „ты", то это „ты" есть тоже лишь *мое* произведение. И если он говорит, что благодаря его построению „мир—не деспотия, стонущая под ярмом самодержавной „истины"; мир—республика идей" (32), то эта республика в том самом человеке, о котором говорят, что у него нет царя в голове.

И когда г. Шрейдер в заключение пророчествует, что и эта его истина когда-нибудь сделается каменным идолом для людей, и тогда он уйдет от них,—мы можем его уверить, что ему нечего ждать этого времени, и можно уходить уже сейчас, ибо не только эта истина не может рассчитывать на последователей, но сама она умирает вместе с породившим ее извращенным миром.

Так стирается г. Шрейдером грань между иллюзией и действительностью (36). Но, ведь, поистине его иллюзии есть действительность, и его действительность есть иллюзии. И вся его книга подобна бреду вспоминаемого им Свидригайлова. Это бред интеллигента, выбитого из производственной колеи жизни.

* * *

Книга Шрейдера — тысяча первая книга, направленная против марксизма.

Марксизму, как философии будущего, он противопоставляет (что далеко не ново) народничество, как философию настоящего. К сожалению, все утверждающие это не дают себе труда доказать, что марксизм во главу угла ставит это будущее и как-то противополагает ему настоящее. Марксизм, наоборот, есть первая подлинная философия настоящего, не отрывающая его абстрактно от будущего (что и невозможно, так как будущее реализуется), а в нем отыскивающая корни будущего. Шрейдер—за настоящее, так как он разуверился в будущем. Это не что иное, как следствие невозможности найти свое в прогрессе. Выступая во имя этого абстрактного настоящего, Шрейдер ищет покоя в прогрессе, но не находит его, в то время как мы ищем прогресса в покое, ибо прогресс осуществляет наше дело.

Вслед за сим сейчас же выясняется и конкретное содержание этих абстракций. Видите ли, движение вперед, обнаружение в жизни какого-то объективно-обязательного плана есть религия (72). Ergo, марксизм есть религия. Враг посрамлен. Бедный г. Шрейдер! Он знает, что религия умирает. Он чувствует, что он близок ей (недаром в своем философствовании он исходит во многом из бл. Августина). Избавиться от этого, мучающего его больную совесть призрака он хочет, наклеив ярлык религии на марксизм. Пустое занятие! Чорт крепко держит его душу. Ибо на 97—99 стр. тот же самый Шрейдер, который объективизм связывает с религией и противопоставляет субъективизму, должен признать, что, исходя из последнего, человеку, который утверждает, что „чувствует" бога, нельзя доказать его неверие. И нет просто ничего глупее, как энгельсовскую формулировку внутренней законосообразности прогресса жизни признать за отличительную особенность религиозного мышления. В итоге—марксизм есть религия истории. Действительно, у г. Шрейдера ума палата, особенно когда он тут же ссылается на Маркса, историческая теория которого окончательно и вскрыла историческую сущность религии, ее зависимость от земных общественных форм.

Все объективно обязательное для г. Шрейдера есть догмат, противопоставляемый им философии „я". Но само „я", как изолированная от внешнего и социального мира единица, есть догма, которая давно уже была уничтожена философской критикой.

* * *

Г. Шрейдер дает и моральную критику марксизма, как подобает всякому мелкому буржуа.

Прежде два слова о его замечаниях насчет признания марксизмом исторической прогрессивности рабства. Мы просим г. Шрейдера ответить, несмотря на всю его явную неспособность к пониманию исторической диалектики, на один вопрос: с точки зрения его морали каннибализм предпочтительнее рабства или нет? Мы не хотим при этом отягчать его ум соображениями еще другого порядка о значении для роста производительных сил использования рабского труда взамен физического уничтожения пленников на низшей ступени развития.

Одними из самых пошлых страниц книги являются страницы, посвященные так называемому этическому оправданию жизни и мира. Старая волынка о слезинке, запрещающей всему человечеству вход в социализм. Для индивидуалиста в будущем нет его доли борьбы, он жаждет лишь для себя счастья. Он противопоставляет индивид и его борьбу—коллективу. Для коллективиста же будущее—не чье-то будущее, а его будущее, будущее его класса. В будущем бессмертна часть каждого из борцов за него—их труд. Каждое поколение осуществляет свое дело, тем самым осуществляя и дело всего человечества.

Трагедия Шрейдера есть трагедия оторванного от религиозной почвы и не возвысившегося до коллектива сознания. Его жизнь есть его собственность. Его страдание для него не может быть искуплено благом других. Он требует себе грош за грош. Эта трагедия есть трагедия изолированной интеллигентской личности, как бы она ни прикрывалась маской борьбы за всех. И напрасно в конце книги указывается, что автор писал книгу в Бутырках, ибо он всегда живет в Бутырках своего собственного сознания.

* * *

Много еще несообразного наговорил г. Шрейдер о марксизме, но стоит ли труда перечислять все это?

Так, он приписывает марксизму признание объективной целесообразности, кем-то в исторический процесс вложенной! Кому не известно, что в этом именно Маркс разошелся с Гегелем?

В то время, как у Гегеля история есть раскрытие духа, развертывание абсолютной идеи, осуждающее тем самым людей на степень простого средства, для Маркса история не осуществляет извне ей вложенной целесообразности. В ней осуществляются субъективные цели, ставящиеся различными классами в их классовой борьбе.

Но что г. Шрейдеру до истины? Для него, ведь, существует только его истина, и спор с ним бесполезен.

* * *

Г. Шрейдер проповедует „отчуждение ищущего". Но ищущий лишь тогда отчуждается, когда идет по отчужденному историей пути. Прежде народничество искало объективных формул прогресса. Оно было утопическим. Но оно чувствовало за собою массы. Оно играло известную исторически-прогрессивную роль.

Современные эпигоны лишь тени былой славы. Почва, которая некогда в Германии питала философов самосознания „критическую критику", исчезла и в России. Разыгрывавшие оппозицию интеллигенты оказались выброшенными историей на мель, оказались не у дел. Круг их деятельности ограничивается ими самими. Крайний индивидуализм и субъективизм есть их философия. С ними она и умирает.

Они—последние в их династии.

Ник. Карев.

Струминский В. Я. Психология. Опыт систематического изложения основных вопросов научной психологии с точки зрения диалектического материализма. Выпуск 1. Введение к изучению психологии. Киргизское Государственное издательство. Оренбург 1923 г. VIII + 412/80 стр. Тираж 2.000.

У диалектического материализма совсем недавно было много врагов и очень мало друзей. Сейчас у него не меньше врагов, но очень много дру-

зей. Но бывают друзья, услуга которых оказывается больше „святой", чем нужной. Что это так,—в том порукой факты. И вот один из них. Разве не умилительно, что в Оренбурге,—не в „Евразии", а просто в Азии,—нашелся ревнитель материалистической философии, который, сил не щадя, засел и сочиняет трехтомный „Опыт систематического изложения основных вопросов научной психологии с точки зрения диалектического материализма". И когда Москва удосужилась прошлой зимой сделать всего лишь вылазку („рекогносцировку", по выражению одного из участников этой вылазки) в области психологии, сей решительный человек успел написать целый том, объемом в 412 страниц большого формата. Написать том в 412 страниц—дело не шуточное (попробуйте хотя бы прочитать его!): оно способно растрогать хоть кого, особенно, если принять во внимание, что производилось-то оно с хорошей целью—приблизить наше сознание к решению великой проблемы построения марксистского миросозерцания (VIII стр.). Что и говорить, акт исключительно дружелюбный по отношению к диалектическому материализму, но нужный ли, полезный ли для него,—вот вопрос. Мне представляется, что ответ дать нетрудно, если обратиться к самой книге.

Как я уже сказал, автор успел выпустить лишь первый том, носящий несколько вычурное название: „Психология. Выпуск первый. Принципиальное методологическое введение к изучению психологии". Выполнял эту работу автор, конечно, „прежде всего для себя" (невольно хочется спросить, почему автор не довел подражания до конца и не предоставил свой труд „грызущей критике мышей"). Но понятно, что этими построениями (построениями психологии. *А. Тр.*), по неизбежным законам социального исследования, и поныне еще питается сознание народных масс и обывательской среды (VII стр.). Он не удержался от искушения избавить сознание народных масс от столь скверного питания—и работу напечатал.

Какие же задачи ставит перед собой наш болеющий за „народную массу и обывательскую среду" автор? Так рассказывает он в своем „вместо заключения": „Методологическое введение к изучению психологии имело своей главной (разрядка всюду моя. *А. Тр.*) задачей выяснить принципиальные предпосылки, основные контуры и упоры новой психологии"... (359 стр.) и страницей дальше:... „работа его (автора. *А. Тр.*), посвященная систематическому пересмотру основных положений психологии с точки зрения диалектического материализма, была бы небесполезной в качестве первой попытки дать систематическую сводку этим (новым. *А. Тр.*) построениям и обрисовать в целом контуры новой психологии"... (360 стр.) Стало-быть, две задачи ставит себе автор: пересмотр бывшей до него психологии и установление принципов, „упоров" новой, начинающейся с ним психологии. Нельзя не сознаться, что задачи почтенны, а, главное, гораздо более трудны, чем это представляется нашему автору. Ну, как, скажем, произвести пересмотр основных положений психологии, когда в современной психологии таких основных положений ровно столько, сколько психологических школ, когда, как выражается Н. Ланге, „психолог наших дней (относится к текущим десятилетиям. *А. Тр.*) подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои". Мужественному автору представляется это дело весьма простым; он даже мнит себя счастливым, с одного запала убивающим двух зайцев,—пересмотр „старой" психологии сам собой стал зарисовкой „новой". „Значительную часть работы пришлось при этом посвятить разбору той довольно сложной и запутанной аргументации, которая наслоилась вокруг и в защиту основных положений старой психологии... Вместе с тем, постепенно выяснялись основные точки зрения и основные положения новой психологии" (359 стр.). В этих словах автора больше своего рода мужества авторского, чем правды. В подтверждение своих слов я познакомлю читателя и с „систематическим пересмотром" и с „выяснением упоров". Чтобы судить о характере пересмотров, достаточно поглядеть на

оглавление. Как ни жаль мне внимания читателя, и как ни почтителен я к редакторскому карандашу, я не могу не привести этого оглавления целиком.

Автор считает нужным поставить следующие темы: 1. Научная психология в условиях социалистического строительства настоящего времени (1—50 стр.). 2. Необходимость систематического пересмотра и перестройки идеологического наследства в области психологии (51—102). 3. Историческая роль психологических идей в общественном процессе производства (102—132). 4. Состав и происхождение современных психологических идей и основные психологические проблемы современности (132—205). 5. Психо-физическая проблема в психологии (205—246). 6. Социологическая проблема в психологии (246—303). 7. Современные научные понятия о психике (303—326). 8. Психология в семье других наук (326—341). 9. Методы изучения душевной жизни (341—354). Остальные страницы заполнены авторским „вместо заключения", тезисами и примечаниями. Ну, какая здесь, с позволения сказать, система. Не больше вы найдете и в самом ходе „Нового направления психологического исследования", как последнее изображено в тексте. Всюду поражает небрежность мысли, вечные повторения одного и того же, кокетничание вычурностью выражений, неопределенностью терминов и т. д. Вот случайный пример со стр. 4. „И хотя со времени Маркса мы все хорошо знаем, что нельзя „судить об отдельном человеке на основании того, что он сам о себе думает" (вишь ты, какие открытия за Марксом числятся!), однакоже бесспорно, что по условиям нашей общественной жизни (!) наши индивидуально-психические переживания, наше сознание о себе и об окружающем нас мире—самый близкий и непосредственно наиболее знакомый нам жизненный факт. Неудивительно, что на них впервые сосредоточивается, а часто и навсегда застревает наше внимание... В этом смысле обыватель с его неизменной склонностью перемывать чужие косточки и склонять во всех падежах и числах личные местоимения является, пожалуй, прирожденным „психологом". Возможно, что и мыслитель, не умеющий выпутаться из всякой тины личных переживаний и выйти на свет объективного мышления, является только повторным, под научной маркой, изданием того же обывательского способа отношения к действительности"... Стиль, разумеется, дело вкуса, но нельзя же доходить до тарабарщины в работе, претендующей быть „правильно организованным психологическим исследованием". Автор явно оригинальничает с языком, но это не проходит для него безнаказанно,—получаются красоты вроде: „принципиальное методологическое введение к изучению психологии", о смысле которых приходится гадать. Попробуйте разобраться, где у автора „старая" психология, где „современная" и где „новая".

Теперь по существу пересмотра. Психология нашего времени, „роковым образом" связавшись с резко обозначившимся вниманием к интимному миру личности, заняла позицию исключительного, почти гипнотического внимания (!) к проявлениям личности, мыслимой в качестве „средоточного центра бытия" (5 стр.). (Страницей выше личность определяется автором, как „определенные центры переживаний, как средоточные пункты действий".) Благодаря этому, психология обратилась в „простое средство удовлетворить обывательскому интересу к собственной личности и ее переживаниям", „склонности индивидуалистического мира к самолюбованию и к самоанализу" (5 стр.). Словом, психология нашего времени—это ответ на „повышенный, чисто-обывательский вкус к психологическим проблемам, который такой нездоровой волной разлился в конце прошлого и начале нынешнего столетия, и который на своей начальной ступени выражается в общедоступной форме обывательской сплетни, потом переходит в смакование излюбленных тем из области беллетристики и заканчивается философским апофеозом личности, как центра бытия, вечного

источника проблем и загадок" (5 стр.) До сих пор различно объясняли историю идей, но никто не думал, что источником их являются сплетницы прекрасного и не-прекрасного пола. Это ново, оригинально, но зачем думать, что это „пересмотр" психологии с точки зрения диалектического материализма, и скромно считать себя чем-то вроде наместника Маркса-Энгельса по части психологии. Конечно, так не всегда было,—вот у греков, так там еще с тех пор, как на Дельфийском храме написали „познай самого себя", психология рассматривалась как научная, объективно поставленная задача изучения душевной жизни. Там имелась „насыщенная жизнью и пафосом социальной борьбы постановка психологических задач" (27 стр.), и „первые зародыши психологической науки (новой. *А. Тр.*) появились у Сократа" „в муках размышления о наболевших проблемах социальной жизни" (27 стр.). Нетрудно будет понять, почему всходы этих зародышей дожлались прихода нашего автора, преблагополучно просуществовав времена „извращенной" жизни общества за период от Сократа и до наших дней: ведь, „нужно сказать, что в общественном смысле (!) эпоха Сократа была необыкновенно интересным временем, и что, самое характерное, временем, напоминавшим по многим признакам нашу собственную эпоху". Еще бы: „в своем роде это была империалистическая эпоха", эпоха „демократического империализма", „везде победил народ". Конечно, „греки не умели еще так блестяще формулировать тайну классовых отношений в обществе, как это сделали великие основоположники марксизма XIX ст." (25 стр.). Но... сам Луначарский, со слов скульптора Аронса, говорит о сходстве Ленина и Сократа, особливо в форме головы (377 стр., 19 прим.), а ученик Сократа Платон дал „одну из первых утопий социалистического общества" (26 стр.). После греков были, разумеется, психологи,—вот Христос—психолог средневековья, Декарт от буржуев, но это все извратители греческой постановки психологических проблем, насыщенных и т. д. Маркс, хотя он психологией не занимался, но он не может не оказаться четвертым, наряду с вышеперечисленными тремя, чтобы заключить линию „главных вех—Сократ, Христос, Декарт—на пути к формулировке задач психологии" (42 стр.). „По условиям своей работы, вожди марксизма психологией заниматься не могли, но дали руководящие указания, на основании которых их ученики не раз брались за нее, но все поголовно были извратителями чистоты греческой постановки"... „за все это время (от основоположников до нашего автора. *А. Тр.*) периодические, более или менее случайные попытки поднимать эти вопросы и высказываться по ним создали уже ряд дурных традиций в сфере марксистской идеологии... В самой общей форме традиции эти выражаются в том, что мыслитель-марксист или целиком сохраняет в своей системе мысли старые психологические положения, которые необходимо изжить, или делает поспешные обобщения, которые при ближайшем исследовании не выдерживают критики" (168 стр.). Все это вызывает истинное возмущение у автора. И в самом деле, как не возмущаться, когда у марксистов установилась „прочная традиция" предоставлять место для „дуализма духа и материи"... (69 стр.). Вот, скажем, взять Плеханова, Бухарина,—корифеи, можно сказать, а все грешны этим грехом. „Разумеется, заранее необходимо признать нелепостью какое бы то ни было подозрение насчет правильности марксистских взглядов столь видного идеолога современности, как Бухарин. Речь идет не о взглядах, а о формулировке их. И вот мы видим... что „когда эти предрассудки („предрассудки дуалистического мышления". *А. Тр.*) выдвигаются в качестве исходных пунктов построения идеологии марксизма", „что перед нами не только дуалистическая терминология, но и некоторая невыработанность и неустановленность монистической точки зрения" (7—73 стр.). В утверждении правильности взглядов т. Бухарина и „неустановленности" у него монистической точки зрения у автора чувствуется тоже „неустановленность монистической точки зрения" на Бухарина, явившаяся

у него, вероятно, вследствие эмоции, пережитой им при воспоминании „скучной дороги", по которой т. Бухарин бывает не прочь провести завравшихся оппонентов. Но этакая эмоция в связи с характеристикой Плеханова переживаться уже не может: Плеханов мертв, а потому каждому дураку вольно на него собак вешать, а нашему автору—иметь установленную „монистическую точку зрения" на него. Плеханов, видите ли, пытался закрепить в системе марксизма дуализм, как нормальное явление, и даже ссылаться на авторитет Маркса и Энгельса (73 стр.). И, главное, непокойный был этот Плеханов: ну, закрепил бы „прежде всего для себя", и ладно, а то, ведь, мешает другим, Богданову, Шулятикову и пр., попытаться „построить более органические теории единства" (76). И этого ему мало: „раз усвоив себе мировоззрение, монистическое только принципиально, фактически же сохранявшее двойственность принципиально объединяемых элементов, Плеханов противился всякой попытке усовершенствовать это мировоззрение в смысле устранения из него двойственности и э ергично защищал всех материалистов от покушения приписать им аналогичные попытки" (77 стр.). Автор сконфузился (я в самом начале говорил, что он—гуманный человек. *А. Тр.*) до проверки утверждений Плеханова и при ближайшей же обнаружил, что „эти решительные заявления и голословные ссылки Плеханова не оправдываются" (77 стр.). Разбирать основательность сих „решительных заявлений" значило ни за что, ни про что осквернять память человека, которого целое поколение не последних людей считает своим учителем. Но чтобы читатель знал, кто наводит эту критику на Плеханова, я укажу, как он проверяет Плеханова. Автор берет место из „Святого семейства", где Маркс ведет речь о французском материализме и, ограничив выписку строками, относящимися к Леруа, Бэкону и Гоббсу, патетически восклицает: „Разумеется, нужна особая ослепленность собственной идеологией, чтобы при наличии таких данных о материализме XVIII ст. (это—Леруа, Бэкон, Гоббс. *А. Тр.*) утверждать..." и т. д. (80 стр.). Нужны особые качества, чтобы с таким знанием вопроса опровергать Плеханова, да впутывать в столь почтенное занятие Маркса. Разумеется, после такой „ближайшей проверки" Плеханов сближается с „вульгарным марксизмом". Бедный т. Рязанов корпит над редактированием Плеханова, полагая, что делает дело „Института Маркса-Энгельса", а на поверку выходит—взлет вульгаризатора марксизма. Крепко ошибся рязановский Институт, да и один ли только? Сказывали, Советская Россия памятники Плеханову ставит.

Позволю себе на этом покончить с „пересмотром" и перейти к „выяснению" основных контуров и упоров новой психологии. Уверенности у автора здесь не меньше, чем при „пересмотре", успеха—столько же. В свидетели привлеку книгу. „Конечно, о такой роли психологии почти еще не говорят. Возможно, что автору впервые приходится поднимать речь об этой роли"... (47—48 стр.). Это по части характеристики собственного творчества. А вот сама „новая психология".

...„Новая психология должна быть мыслима как подлинное творчески-революционное, как организационное средство строящихся социальных отношений нового мира"... „Психология должна стать идеологией современности"... „Подлинно научная психология нового времени будет и еологическим порождением социалистической революции и вместе и организационным средством, как настоящая наука о природе явилась идеологическим выражением революции технической" (47 стр.). Эти образные определения психологии никакого представлении о ней не дают, и на основании их трудно представить себе, что и как будет изучать „новая психология". Несколько помогает в этом отношении детализация автором своей задачи: она сводится к желанию дать „принципиально (непременно „принципиально". *А. Тр.*) исчерпывающий ответ, какая реальность, какое бытие—та психика, которая нам у сознанию открывается как ряд мыслей, чувств, желаний и т. п." (58 стр.). Дело

очевидное, автор собирается заниматься так называемыми „душевными явлениями“, или, если удовлетворить его терминологическую щепетильность, „проявлениями психической активности“. Дело вовсе не новое, и, очевидно, ни за что разжаловал автор всю психологию, бывшую до него. Но может быть дело в подходе к изучению, в методах. Вот читаю: „Психология должна изучать не душу (разрядка автора. *А. Тр.*), как объект, обособленный от организма, но душу, как функцию организма... должна изучать психику не в форме личности, обособленной и оторванной от среды, но личность, как функцию общественного организма. Эти две идеи—души, как функции организма биологического, и личности, как функции организма общественного,—и должны явиться определяющими направление психологического исследования в настоящее время. Эти две идеи и составят то, что должно быть названо представлением о психике, нормально определяющим пути психологического исследования“ (305 стр.). Вот и все, к чему сводятся и „контуры“, и „упоры“. Спрашивается, что здесь нового, и что обязывает нас вести новое летосчисление психологии от книги Струминского. Стоит заглянуть в сводную работу по психологии проф. Ланге, чтобы и в ней найти эти „упоры“. На стр. 15 в изд. „Мир“ (том VIII) у Ланге написано: „Психическая жизнь должна быть рассматриваема как особое, своеобразное жизненное приспособление“...—вот вам один „упор“, а вот и второй: „Душа человеческой личности в 99% есть продукт истории и общественности“ (27 стр.). Установил же эти „упоры“ Ланге без шуму и даже не претендуя на новаторство, ибо эта претензия была бы непроходимой глупостью. А наш автор воображает, что он производит „реформу“ сознания, наговаривая массу всяких умных вещей, где истины столько же, сколько в его утверждении, что Эддингтон был американским психологом, а в Москве есть „Психологический институт имени Щукина, и что открыт он в 1911 г.“. По-моему, нет надобности больше останавливаться на мыслях нашего „революционера“ в психологии. Никто бы вообще не помешал его „революциям для себя“. Но, ведь, он берет для освещения своего действа знамя определенной школы, и по его книге будут составлять мнение об этой школе. Ведь, не всякий знающий психологию знает и диалектический материализм и не всякий, ведь, найдет нужным проверять автора в отношении правильности понимания им своих философских предпосылок. Психологии автор повредить не может, научиться по книге чему-нибудь трудно, но медвежью услугу диалектическому материализму он оказал. Лавры „метафизика“, которых ждал для психологии Джемс, расстроили „психическую активность“ Струминского, Марксова диалектика подвела. Он решил, что с точки зрения конкретности истины „не важно, кто берется за решение психологических проблем...: кто взялся, тот и психолог“ (119 стр.), и думал, что сделался революционером психологии, правда, не совсем по Джемсу,—Струминский мнил себя не метафизиком, а диалектиком. Вышло на деле и вправду не по Джемсу: получился метафизик в психологии, но не революционером психологии. Знаете почему? Потому, что, увлекаясь модернизацией Сократа, Струминский просмотрел, как настоящий Сократ обучал диалектике, что, между прочим, это есть „искусство освобождать человека от величайшего и худшего из всех родов невежества, а именно, от уверенности в знании того, чего не знаешь“. При несоблюдении этого условия диалектиком не будешь.

А. Троицкий.

Г. В. Плеханов. „От идеализма к материализму“. Изд. „Пролетарий“. Харьков 1923 г. Стр. 58.

Брошюра представляет собою перепечатку статьи того же названия из „Истории Западной литературы“. Нам уже несколько раз приходилось говорить об этой статье, о ее достоинствах и недостатках. Нам приходилось уже

отметить, что без специального предисловия ее нельзя теперь издать, ибо статья написана в эпоху войны и носит на себе отпечаток социал-патриотизма.

Издательство „Пролетарий“ не хочет считаться с указаниями наших библиографов; по мнению ее руководителей, библиограф пишет для кого-то другого, а не для издателя. Несчастные, они не знают, что библиографические заметки пишутся для невежественных издателей; их цель—дать необходимые сведения издателям об изданиях, которые, по недостатку знания, они выпускают так неудовлетворительно, как это сделано изд. „Пролетарий“ с настоящей брошюрой Плеханова. Но бывают случаи, когда никакая библиографическая заметка не оказывается в состоянии преодолеть издательское невежество, тогда нашему брату библиографу ничего не остается, как обратиться к читателю с предостережением: берегись, товарищ доверчивый читатель, тебе подсовывают негодное издание!

Мы были бы очень довольны, если бы могли довольствоваться просто вышеизложенным. Но ограничиться им нельзя.

С недавних пор в нашей издательской практике установился некий взгляд, который нельзя квалифицировать иначе, как самым резко отрицательным названием.

Открываете вы реферируемую брошюру и находите в виде заставки рисунок: „Гегель на кафедре. С рис. Ф. Куглера“. Дальше—больше: любезное издательство демонстрирует перед вами титульный лист I изд. „System der Wissenschaft“ Гегеля (факсимиле), титульный лист I-го изд. Энциклопедии, факсимиле письма Гегеля и т. д., и т. д. Вы удивлены, читатель, откуда все эти рисунки и факсимиле взяло издательство „Пролетарий“? Сомнительно, чтобы в Харькове имелось столько чрезвычайно редких изданий и гравюр.

Очень просто, оно взяло и перепечатало все рисунки, портреты и факсимиле из „Истории Зап. литературы“: не указав источника и не оговорив особым примечанием основание и цель такого заимствования.

Я не защищаю интересы книгоиздательства „Мир“,—я защищаю наши собственные нравы от растлевающего влияния нэп'а.

Все имеет предел: и издательские махинации, и наше читательское долготерпение.

Читатель.

В. Воровский. Литературные очерки. Издание „Новой Москвы“. 227 стр. 1923 г.

Товарищ В. В. Воровский известен широкой читающей публике прежде всего как партийный работник и советский дипломат, сраженный фашистской пулей на своем боевом посту. Меньше всего его знали как литературного критика, а он был серьезный, вдумчивый критик-марксист, принявший заветы В. Белинского и Н. Добролюбова. Статьи его читаются с глубоким интересом, и мы можем только пожалеть, что партийные обязанности не дали покойному достаточного времени и нужных условий для литературной работы, которая была для него одним из средств борьбы с буржуазией за пролетарскую идеологию, за марксистский метод. В силу последнего критика тов. Воровского временами переходит в публицистику; она лишена мелкой кропотливой исследовательской работы, но зато она ценна своими широкими общественно-психологическими обобщениями и психологическим анализом отдельных авторов и их героев, интересовавших его и современников.

„Очерки“ открываются статьей „Был ли Герцен социалистом“. Это одна из лучших статей о Герцене. Одни доказывали, что Герцен—народник, другие сближали его с меньшевиками, третьи,—с большевиками. Тов. Воровский со свойственным ему спокойствием—беспристрастием и убедительностью показал, что „мы имеем больше основания преклоняться перед Герценом-буржуазным социалистом революционером, чем перед Герценом-псевдо-

социалистом". Этим он ни в какой мере не хочет умалять значение Герцена.—наоборот, он сознает, что „социалист из него получился бы очень маленький, непоследовательный и путаный; как идеолог и провозвестник исторического переворота, пропсшедшего в России во второй половине XIX века, он является самым крупным, самым блестящим, самым замечательным деятелем эпохи".

Большой интерес представляет статья о Добролюбове. Видна большая любовь и идеологическая близость автора к рано погибшему критику и публицисту 60-х годов. Психологически это неизбежно и понятно. Оба жили в период общественной ломки. В этой статье нам хотелось бы остановиться на мыслях о литературе, на мыслях, не утративших своего значения и в наши дни. Замечательными писателями Добролюбов считает тех, чья „восприимчивость многообъемлюща, кому жизнь открывается не в отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, кто чутки не к одной только внешней стороне явлений (как постоянно бывает у наших „попутчиков". *В. П.*) но и к их внутренней связи и последовательности".

„Мерою достоинства писателя или отдельного произведения мы принимаем,—цитирует В. Воровский,—то, насколько служат они выражением естественных стремлений прежнего времени и народа". Как это поучительно для многих наших современников. Далее автор выясняет и развивает мысль Добролюбова, что „существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может", что „литература без критики не полна", а чисто эстетическая критика удел „барышень".

Словом, Добролюбов требовал от литературы не только верного отражения жизни, но, главное, проникновения в таинственный смысл ее. Без последнего произведение теряет свою цену. Наконец, автор выясняет, как неосновательны попытки народников присоединить славное имя Добролюбова к своему сонму.

Статья поучительна; несмотря на свою сжатость она четко и полно выявляет идеологическую сущность друга и ученика Чернышевского.

В статье о романе Арцыбашева „Санин" автор доказывает, что Санин „тип конструктивный", „который в таком виде в жизни не встречается". „Сумма же санинских черт означает отказ от полувековой традиции разночинской интеллигенции и прежде всего отказ от служения угнетенным классам—в общественной жизни, отказ от императива долга—в личной". Этот уход от трудящихся масс „неизбежно приводит в объятия классов господствующих, буржуазии".

Разбирая вещи Л. Андреева и Ф. Сологуба, автор доказывает, что они „плод одного и того же настроения", что „это своеобразная ликвидация революции" при том еще с мародерством. Начав с Базарова, Воровский переходит к Санину, затем к героям Андреева, к социал-демократам Сологуба, и как жаль, что он не успел дополнить галлерею этих лиц „женотделками" Пильняка, состоящими в самом кровном родстве с социал-демократами Сологуба. Оба последние „пытались революцию просолить порнографией, а порнографию пропитать революционным духом".

Нападает автор на буржуазную критику, когда она закричала, что Горький кончается. Это как раз совпало с поворотом в творчестве Горького от славословия индивидуалиста-босяка к выявлению психологии рабочего-революционера. Горькому автор посвятил три статьи.

Остальные статьи касаются Куприна, Бунина, Юшкевича и Аннунцио. Все они с убедительной ясностью служат доказательством того, какое сильное орудие в руках пролетариата литература и критика, и что это обязывает нас быть осмотрительными со всякими так называемыми идеологическими „попутчиками".

Книжка издана хорошо. В начале приложен прекрасно исполненный портрет автора. Встречаются ляпсусы. Статья „Факел под мерой" снабжена сноской, что „в следующей книге „Правды" редакция предполагает дать перевод последней трагедии Д'Аннунцио, разбираемый в этой книге". Это надо было вычеркнуть. Но это уже недосмотр технически-редакционный, но все-таки нежелательный.

Книжка должна быть в библиотеке каждого литературного кружка, как образец марксистской критики.

Она должна быть прочтена каждым, кому не чужды интересы литературы и жизни.

Валерьян Полянский.

М. С. Григорьев. Введение в поэтику. Часть 1-ая. Издание Думнова и Салаевых. Москва 1924 г. 89 стр.

Книжка написана, как рекламно значится на обложке, профессором Московского высшего литературно-художественного института. Предназначена она, очевидно, для учащейся молодежи и, несомненно, среди нее найдет своего читателя. Книжка содержит целый ряд бесспорных элементарных указаний, без знакомства с которыми нельзя подходить к литературно-художественному произведению. Интерес же к литературе и исскуству вообще в наши дни огромный, напряженный, ищущий.

Марксистских книг по давному вопросу покуда еще нет, а данный автор подкупает читателя тем, что с большой симпатией „обрисовывает деятельный характер искусства", „развиваемый экономическим материализмом". Автор ищет факторов, „способных с корнем уничтожить царство вражды" и „останавливается на уничтожении классового государства":

„Мысль экономического материализма, что искусство является идеологической надстройкой на фундаменте некоторых экономических отношений", он признает „методически очень ценной". Но он хочет эту мысль продолжить, развить,—он хочет показать, что „зафиксированный в материальных знаках жизненный опыт художника сам делается орудием жизни".

На этом месте автор спотыкается. Так бывает со многими, и эти случаи нередки. В западной Европе и у нас, в России, не раз пытались мысль экономического материализма „продолжить дальше". И каждый раз на этом месте спотыкались. Туган-Барановский, Струве, Бердяев и другие. Особенно часто спотыкаются и падают те, кто, не усвоивши сущности марксистского метода и мировоззрения, вдруг с жаром начинают повторять азбучные истины марксизма, попутно устанавливая свои истивы, ничего общего с марксизмом не имеющие.

Эти истины и „продолжения" марксизма, выросшие на почве идеализма, несмотря на марксистскую фразеологию, требуемую нашим временем, несут в умы неискушенного читателя одну только путаницу, с которой в будущем, несомненно, придется бороться.

У нас часто бывает так, что мы, ведя литературную борьбу на том или другом участке идеологического фронта, одновременно отдаем нашу молодежь в руки людей нам чуждых. Мы боремся с мистицизмом, а, например, в академии художественных наук, созданной пролетарской революцией, долгое время идеологически руководили Н. Бердяев и Степун, да и до сих пор она является центром всяких антимарксистских направлений. То же наблюдается и в наших высших учебных заведениях.

Книжка М. С. Григорьева не только „продолжение" идей экономического материализма,—она конспект курса, читанного в литературно-художественном институте; по ней будут сдавать зачеты, по ней будут учиться другие. Автор расшаркивается перед марксизмом, но надо сразу и твердо сказать, что марксистский метод изучения ему абсолютно чужд. И это надо повторить не один, не два, а много раз. Классовая точка зрения ему не понятна, и в этом направлении на всем протяжении книжки не видно ни одной серьезной попытки, хотя бы и неудачной.

Автор — чистейшей воды эклектик.

„Популяризируя" экономический материализм, он одновременно „опирается" на современную психологию и утверждает, что „всякое душевное явление стремится реализоваться в некоторое движение организма".

Что значит стремится реализоваться? Где тут причина и следствие? Мы в согласии с марксизмом и с материалистическим методом академика И. П. Павлова по изучению нервной деятельности утверждаем, что „душевное явление" складывается в результате „некоторого" движения организма, а не наоборот. Автор приводит примеры. Он указывает: „внимание и привычка совершенно немыслимы без соответствующих двигательных установок организма". Это верно. Но, ведь, этот пример не подтверждает, а разбивает выше выставленное автором общее положение. Ход явления на примере таков: сначала двигательная установка, потом внимание или привычка; по теории автора, ход явления иной: сначала внимание и привычка, а потом движение организма. Уж не богом ли даны нам внимание и привычка и не возникают ли они, вопреки законам механики „душевной" жизни, вне двигательных процессов?

Могут указать, что автор говорит о производных движениях организма. Человек сердится и сжимает кулаки. Не то профессор говорит о биении сердца, и мы утверждаем, что не страх усиливает биение сердца, а наоборот. В подтверждение своей мысли профессор указывает, что „эмоции, если из них вычесть органические состояния (терминология далеко несовременно-научная. *В. П.*), обратятся в бледные интеллектуальные представления". Ну, а разве „интеллектуальные представления" могут быть без „органического состояния", и разве они протекают без соответствующих двигательных процессов, хотя бы и ослабленных? И, наконец, разве они не составляют „душевное явление"?

Словом, в этих „теоретических" „установках"—или величайшее смешение точек зрения, или просто путаница.

В другом месте, говоря о слове, как о форме мысли, автор придает термину „форма" „лишь" кантовское значение. Вряд ли нужно в данной рецензии писать о том отрицательном отношении, какое марксизм и просто последовательный материализм проявили к кантовским формам рассудка и чувственности.

Так автор, побуждаемый вполне добрыми намерениями, „взрыхляет и углубляет" марксистское понимание искусства. Надо однако отметить, что целый ряд совершенно путаных, противоречивых и неверных суждений иногда кончается вполне верным заключением. Как это случается? Поскольку мы еще не овладели техникой психоанализа, дать на это ответ трудно.

Говоря о литературе, профессор без колебаний и сомнений утверждает, что всякое произведение искусства становится социальным благодаря материалу, из которого оно делается, а таким материалом в художественной литературе является слово.

Возникает ряд недоумений и вопросов. Как понимать утверждение—„становится социальным"? Можем ли мы говорить, что произведение утратило свой социальный характер? Всякое ли слово, особенно в наши дни, носит социальный характер? Наконец, оно ли или только ли оно является материалом? На все эти вопросы нет точных марксистских ответов, да и вообще никаких ответов нет.

Совершенно не мирится с марксизмом и та классификация, которую профессор применяет к представлениям и мышлению человека. „Представления человека,—по мнению М. Григорьева,—могут быть разбиты на три категории: индивидуальные, частные и общие,—мышление же может быть трех типов: поэтическое, прозаическое и мифологическое". В этой классификации нет единого научного принципа. Она антинаучна, сумбурна. Точно также совершенно произвольно толкование слов: поэтический, прозаический.

Неверно, что прозаическое мышление ограничивается только констатированием факта; абсурд, что оно отвлеченно и лишено конкретного содержания.

Мы могли бы привести много и других суждений автора, которые требуют или коренных исправлений, или некоторых поправок, особенно с марксистской точки зрения, но нам кажется, что для оценки данной книги и в особенности — оценки „продолжения" и „углубления" исторического материализма вполне достаточно указанного материала.

Эта книжка в 1920 году была издана Государственным Издательством. Автор признал то издание „для настоящего времени уже несколько устаревшим" и имевшим несколько фактических неправильностей.

Приходится констатировать, что книжка богата неточностями и в данном переработанном издании. Насколько она обновлена, мы не можем сказать, так как у нас нет под руками издания 1920 года; во всяком скучае и в данном виде она чужда марксизму и классовой точке зрения.

Если бы автор ограничился сообщением практических сведений, многим необходимых, книжка его имела бы больше значения и не вызывала бы нареканий марксистской критики. Поскольку же автор пытается философствовать, углублять марксизм и современную психологию, он попадает в трагическое положение, безнадежно путается сам и сбивает с толку других.

В. П.

Джордж-Говард Дарвин. Приливы и родственные им явления в солнечной системе. Перевод с английского В. В. Серафимова. 328 стр. Госиздат. 1923. Цена 1 р. 60 к.

Имя Дарвина (если его не путать с его отцом Чарльзом, основателем эволюционного учения и название его книги мало говорят рядовому читателю и вряд ли смогут вдохновить его на труд чтения книги в 328 стр. Но Дарвин представляет любопытный пример человека, всю жизнь занимавшегося одним вопросом и сумевшего отыскать связь этого, казалось бы, незначительного вопроса с интереснейшими космогоническими проблемами. Книга его распадается на три части (у автора, впрочем, такого деления нет): первые XV глав содержат изложение теории земных приливов, производимых луною и солнцем, способы их наблюдения и исследования, предсказания приливов и другие мелкие вопросы, связанные с земными приливами. Главы XVI и XVII посвящены вопросу о так-назыв. приливном трении и содержат результаты приложения выводов Д. о действии приливов к космогоническим вопросам [1]). Наконец, последние главы содержат рассмотрение некоторых космогонических вопросов, имеющих связь с вопросом о приливном трении, решение которых было дано не самим Д., а другими учеными.

Содержание XVI и XVII глав и некоторых отдельных мест последних глав представляет настолько большой интерес, что мы считаем возможным вкратце изложить их.

Д. начинает с того, что пытается восстановить историю системы земля-луна, принимая за главный фактор, действовавший во время этой истории, приливное трение. Большинство космогонических гипотез согласно между собою в том отношении, что вначале планеты находились в жидком состоянии. Поэтому в период юности планет приливные явления были несравненно грандиознее, ибо приливные волны состояли не из воды а из расплавленного вещества планет. Д. показывает, что результатом приливного трения будет увеличение времени обращения обеих планет вокруг осей, т.-е. удлинение лунных и земных суток, затем увеличение расстояния между планетой и

[1]) Эти главы напечатаны также в сборнике IX „Классиков Естествознания". Классические космогонические гипотезы. Госиздат. 1923 г.

спутником и, наконец, в связи с этим увеличение периода обращения спутника вокруг планеты, т.-е. удлинение месяца. Математическое исследование вопроса дает возможность определить также и соотношения между длиной суток и месяца в различные эпохи существования земли-луны. Вначале луна и земля вращались друг около друга в период, заключенный между 3 и 5 часами. Луна находилась чрезвычайно близко от земли, при чем период ее обращения был немного больше времени вращения земли, т.-е. земные сутки уже и тогда были короче месяца. Доказательством этого служит самое существование луны, ибо можно показать, что спутник, период обращения которого короче, чем период вращения планеты вокруг оси, должен приближаться постепенно к планете и в конце концов упасть на нее. В дальнейшем длина месяца и суток увеличивается благодаря приливному трению, при чем месяц удлиняется скорее суток, почему число суток в месяце возрастает. Этот процесс, оказывается, тоже не может итти дальше известного предела, который для нашей системы, земля-луна, равен 29 суткам; после чего сутки начинают увеличиваться быстрее месяца, и дело закончится тем, что длина суток и месяца будет одинакова и равна 55 современным суткам. Земля и луна будут обращены друг к другу одной и той же стороной и двигаться как бы соединенные твердым стержнем. Что касается образования луны, то Д. полагает, что некогда земля разорвалась вследствие чересчур быстрого вращения и колоссальных солнечных приливов. Впоследствии, по предположению Д., солнечные приливы сыграют обратную роль. Хотя положение, при котором длина суток и месяца равна 55 теперешним суткам, является устойчивым в отсутствии других факторов кроме притяжения между луной и землей, вращение земли все-таки замедлится благодаря действию солнечных приливов (если океаны еще будут существовать тогда), сутки станут короче месяца, луна начнет приближаться к земле и обрушится на нее. В солнечной системе мы как раз имеем спутника, период вращения которого короче периода обращения его планеты, и которому угрожает такая судьба. Это—Фобос, спутник Марса. Меркурий и Венера также представляют примеры замедляющего действия приливного трения на скорость вращения вокруг оси, так как ряд наблюдателей придерживается мнения, что длина года и суток на них одинакова.

В этой же главе Д. разбирает с точки зрения своей теории ряд других более мелких вопросов. Он пытается найти в геологических данных доказательство более быстрого вращения земли в отдаленные эпохи, так как бури тогда должны быть несравненно грандиознее. Береговые линии континентов также должны иметь определенное направление, впрочем, далеко не совпадающее с действительным. Наклон земной оси тоже оказывается зависимым от приливного трения так же как и отклонение лунной орбиты от формы круга, т.-е. то, что астрономы называют эксцентрисигетом.

Как известно, геологи и биологи запрашивают у астрономов и физиков колоссальнейшие сроки времени, необходимые им для образования различных напластований и эволюции жизненных форм. Долгое время физика не могла предоставить подобных промежутков времени; теперь на выручку явились радиоактивные элементы, увеличением содержания которых можно покрыть любые траты энергии солнца. Теория приливного трения в этом отношении находится в положении лучшем, чем другие: она может предоставить сроки времени, достаточные для геологов и биологов.

Рассматривая кольца Сатурна, Д. выясняет значение приливообразующих сил и для этого случая. Оказывается, что расстояние немного большее, чем край внешнего кольца, является критическим, и спутник, попавший ближе к Сатурну, по словам Д., „уже не может существовать, как таковой, под действием силы собственного тяготения, но должен быть приливообразующими силами планеты разорван на части“ (257 стр.). Для тел небольшого размера силы сцепления могут иметь большее значение, чем силы приливного трения, и опасность разрыва исчезает.

Для луны этот заколдованный круг находится на расстоянии 2,87 земных радиусов, следовательно, мы можем с уверенностью сказать, что луна никогда не была ближе к земле, чем это расстояние. Спутник Марса, Фобос, о котором мы уже говорили, вращается на расстоянии 2,75 радиусов планеты; так как радиус „заколдованного круга“ зависит от соотношения плотностей спутника и планеты, мы должны допустить, что для Марса и Фобоса это соотношение иное, чем для земли и луны.

Рассмотрение фигур равновесия вращающихся жидких тел приводит Д. к вопросу о происхождении двойных звезд. Д. разделяет различные типы движения на „семьи“. При наличности данных условий тип движения, определяющий и самую фигуру массы, принадлежит к определенной „семье“; движения, относящиеся к другим „семьям“, неустойчивы и поэтому существовать не могут. Постепенное изменение условий движения может сделать существовавший до сих пор тип движения неустойчивым и тогда достаточно совершенно ничтожной причины, чтобы это движение перешло в другое, принадлежащее уже к новой семье. Попутно Д. высказывает мысли, представляющие интересную попытку найти аналогию между явлениями общественной жизни и явлениями физическими. Когда Д. высказал в первый раз эти мысли в 1905 г. на съезде британской ассоциации, то они показались почтенным английским ученым „странными и фантастическими“; теперь, пожалуй, они нашли бы их более верными. Вот, что говорит он по этому поводу: „Государства и правительства являются организованными схемами взаимоотношений групп людей. Определенный тип правительства претерпевает медленные изменения по мере того, как меняются цивилизация и характер населения, по мере того, как преобразуются взаимоотношения нации к другим. На языке, которым мы только что пользовались, конкретная форма правительства принадлежит к известной семье, а по мере течения времени мы переходим мысленно от одного до другого члена такой семьи. Правительство, его форма, обладает известной степенью устойчивости,—конечно, трудно измеряемой числами,—и противостоит разлагающему влиянию войн, голодовок и внутренних распрей. Эта устойчивость постепенно увеличивается до максимума, а затем точно так же падает. Степень устойчивости в каждую данную эпоху жизни государства зависит от того, насколько способна какая-либо руководящая особенность формы правительства удовлетворять запросам медленно меняющихся обстоятельств. Наконец, приходит время, когда устойчивость исчезает, и малейший толчек свергает господствовавшую форму правительства. В этой стадии приходит на помощь какое-либо обстоятельство, казавшееся совершенно ничтожным и почти незамеченным раньше, но которое предотвратит государство от состояния анархии. Как бы оно ни казалось ничтожным, оно переведет форму правительства на новый путь к новой устойчивости, заставляя его войти сочленом в совершенно новую семью форм правительств. Обстоятельство это растет в своем значении и влиянии, форма правительства становится явно вполне другой, и его устойчивость увеличивается. Затем и это обстоятельство, в свою очередь, может замереть, исчезнуть, и мы вновь наткнемся на новый кризис, или на новую революцию“ (273 и 274 стр.).

Если фигура звезды перестает быть фигурой равновесия, то звезда разрывается и превращается в двойную. Принимая во внимание, что треть всех известных звезд—двойные, мы должны признать, что этот случай является далеко не редким. Для получившейся двойной звезды, особенно в первое время ее существования, приливные явления имеют огромное значение, и ход ее эволюции во многих отношениях определяется именно ими. „Трение приливов приносит с собой залог перемен в системе“, говорит Д. Но если эволюция звезды идет и более нормальным путем, то все же приливные явления играют в ней весьма значительную роль. Например, по мнению Д., трение солнечных приливов, уменьшавшее скорость вращения ближайших

к солнцу планет, замедляло или совершенно препятствовало образованию спутников. В самом деле, все далекие от солнца планеты имеют по несколько спутников; земля имеет одного, а Венера и Меркурий совсем не имеют.

Книга заканчивается критикой знаменитой гипотезы Канта-Лапласа и изложением так-назыв. планетозимальной гипотезы Чемберлена-Мультона. Объяснение происхождения планет по гипотезе Канта Лапласа сопряжено с большими натяжками. По их мнению, планеты образовались из туманных колец, некогда оторвавшихся от солнца, путем постепенного сгущения материи в одном месте кольца. Но если в системе действуют только силы всемирного тяготения (а существования других сил Кант и Лаплас не предполагали), то это сгущение материи кольца в один ком может произойти только в его центре тяжести, совпадающем с его геометрическим центром, в котором находится солнце. Правда, кольца можно предположить неравномерными, а, как выражается Д., „кривобокими" и тогда сгущение, ведущее к образованию планеты, должно начаться с места наибольшей „кривобокости". Но в теории Канта-Лапласа нет никаких указаний на возможность возникновения подобных „кривобоких" колец. Чемберлен пытается объяснить происхождение первичных сгущений тем, что некогда солнцу приходилось встречаться с другими небесными телами. Оба тела вызывали на поверхности друг друга приливы грандиозных размеров. Благодаря уменьшению сил тяготения огромные массы жидкой и газообразной, а может быть, даже и твердой материи вырывались из солнца и приблизившейся к нему звезды, при чём, как показывает Чемберлен, места, из которых выбрасываются эти массы, должны находиться на двух противоположных концах солнечного диаметра. Вот из этих-то масс и образуются те „планетозимали", которые дали название всей гипотезе. Часть их, конечно, будет захвачена звездой-гостьей. Двигаясь по самым разнообразным орбитам, планетозимали будут сталкиваться и таким образом давать начало более крупным образованиям, которые будут расти, поглощая мелкие планетозимали, проходящие вбли и них. Так пытаются авторы планетозимальной гипотезы объяснить возникновение планет. В солнечной системе мы имеем две других меньших системы, необыкновенно похожих на главную—это системы Юпитера и Сатурна. Принимая планетозимальную гипотезу, придется допустить, что и они когда-либо испытали встречу с какими-либо небесными „гостями", что уже похоже не столько на случай, сколько на привычку. Нужно сказать, что А. Пуанкаре, один из крупнейших авторитетов в области космогонии, не включил гипотезы Чемберлена и Мультона в свою книгу „Leçons sur hypothèses cosmogoniques", считая ее „не подходящей".

Книга Д., в особенности ее последние главы, можно рекомендовать всякому интересующемуся вопросом о происхождении и эволюции солнечной системы. От читателя не требуется ничего, кроме внимания и элементарных сведений по астрономии и физике. Элементарность изложения, как это часто встречается у английских авторов, соединяется со строгой научностью. Перевод прекрасно выполнен В. Серафимовым. Внешность издания, в особенности бумага и рисунки, заставляют желать лучшего.

В. Семенченко.

В. Оствальд „Великий Элексир". 78 стр. Изд. „Земля и Фабрика". Москва 1923.

Знаменитый германский химик Вильгельм Оствальд является также автором многих философских сочинений, излагающих „энергетическое мировоззрение". Однако эта вторая сторона его деятельности значительно менее почтенна, так как, выступая в качестве философа, Оствальд почти всегда обнаруживает незнакомство с предметом своих рассуждений, что не раз было отмечено его критиками.

В своей новой работе, изданной по-русски под заглавием „Великий Элексир", и представляющей обзор и классификацию различных наук, Оствальд остался верен себе и своей манере уверенно рассуждать о незнакомых вещах.

Вильгельм Оствальд старый противник материализма. С выступления против материализма и началась его философская деятельность; но так как все естествознание казалось ему зараженным материализмом, то он выступил, как провозвестник нового мировоззрения, резко критикуя методы естествознания. Он сразу же встретил суровую отповедь со стороны многих естествоиспытателей, но, с другой стороны, был поддержан Э. Махом и всей идеалистической философией, стремившейся подчинить своему влиянию естествознание.

Оствальд прежде всего нападает на гипотезы, к которым прибегает физика; он желает строго придерживаться фактов и строить „мировоззрение, свободное от гипотез". Однако на практике оказалось, что „обходиться без гипотез" попросту невозможно. Оствальд критикует гипотезы естествознания не как скептик, но вследствие горячего положительного убеждения в простоте природы, в простоте качеств и несводимости их друг на друга. Он отвергал, например, теорию атомов, механическую теорию тепла и проч. не потому, что считает их не достоверными и доказательства недостаточными, а потому что со своей точки зрения признает их ложными. Теплоту он считает простым качеством, не имеющим ничего общего с движением; вещество, по его мнению, имеет сплошное, но не зернистое, не атомистическое строение. Легко видеть, что таким образом получается только замена одних гипотез другими.

Все гипотезы можно разделить на два класса. Во-первых, гипотеза единства всех сил природы и бесконечной сложности вещества, а также все гипотезы, отсюда вытекающие — эти гипотезы всегда лежали в основе материалистического естествознания. Во-вторых, гипотеза простоты природы, гипотеза объективного существования простых, несводимых друг на друга качеств в природе, каковы свет, теплота, движение, давление, вес и т. под. Гипотезы первого рода решительно отвергаются, гипотезы второго рода не считаются гипотезами, но принимаются, как „свободное от гипотез естествознание"—вот выраженная в кратких словах сущность „энергетического мировоззрения" Оствальда.

Ярый противник атомистики, под влиянием новых открытий, Оствальд должен был признать существование атомов. Таким образом он имел прекрасный случай убедиться, что до тех пор и он придерживался „гипотезы" (сплошного строения вещества), оказавшейся к тому же ложной.

Из того же допущения простоты природы вытекает своеобразное понятие энергии Оствальда.

Энергией в физике называется способность производить работу, работа же есть преодоление сопротивлений или движение под действием сил. Преодоление сопротивлений возможно постольку, поскольку движущееся тело инертно, т.-е. поскольку оно обладает массой. Таким образом понятия энергии, движения, силы, массы оказываются тесно связанными между собою. Метафизическое же мышление Оствальда разрывает эту связь. Из понятия, неотделимым образом связанного со многими другими понятиями физики, Оствальд сделал особую, самостоятельную сущность. Он отбросил понятие вещества как бы для того, чтобы придать свойства вещества своим энергиям. Тепловая энергия, энергия движения, энергия формы, энергия объема, энергия положения и проч.—это все застывшие метафизические сущности, независимые друг от друга, хотя и взаимно превратимые. Та постоянная связь, единство и взаимное проникновение различных энергий, которое мы находим в природе, для Оствальда остается совершенно непонятной и рассматривается, как случайное явление.

„Энергетика“ Оствальда пользовалась успехом в научных кругах очень недолго: слишком ясно били в глаза ее недочеты. Естествоиспытатели стихийно тяготели к реалистическим приемам исследования, а философы-идеалисты нашли более утонченного выразителя своих идей в естествознании в лице Анри Пуанкаре. Пуанкаре предоставлял Оствальду горячиться по поводу того, что теплота не есть движение. Посылки механической теории тепла были для него „удобны“, и он принимал их, рассматривая их в то же время только как условные символы.

Однако Оствальду удалось образовать целую секту „энергетиков“, жадно ловивших каждое слово своего учителя. Оствальд и поклонники его философии применяли энергетику к самым различным областям, например, к этике, договариваясь временами до настоящих благоглупостей. К этике, например, они применяли систему абсолютных единиц и придумали величину „Гед“, равную одной марке в секунду, которою и измеряли все удовольствия жизни. Но здесь им не повезло даже в смысле устойчивости валюты.

В своей новой работе „Наукословие“, озаглавленной по русски „Великий Элексир“, Оствальд пытается применить свою энергетику, изгнанную из физики, ко всевозможным наукам: к науке об языке, к биологии, к психологии, к социологии, к этике и т. п. Все эти попытки не могут иметь успеха уже потому, что Оствальд не знаком с теми науками, о которых рассуждает. Например, в своих рассуждениях о социологии он производит впечатление не только несведущего человека, но прямо впечатление человека, свалившегося с луны. Таким образом читатель, думающий найти в „Наукословии“ какие-либо интересные мысли, жестоко разочаруется.

И. Орлов.

Г. В. Плеханов. „Русские рабочие в революционном движении“. (По личным воспоминаниям). Издательство „Більшовик“. Киев 1923 г.

Не можем в двух словах не остановиться на этом издании очень известной работы Плеханова. Не можем не отметить его потому, что тут мы имеем 1001 раз доказательство старой истины, что не тот глух, кто не слышит, а тот, кто не хочет слушать.

Безнадежную глухоту издателей прошибить у нас более не имеется ни сил, ни средств. Десятки раз и на все лады мы указывали на недопустимость, непозволительность, преступность воспроизведения подцензурных изданий, и, невзирая на это, киевское издательство воспроизводит „Русский рабочий“, как-будто никаких указаний не бывало.

Если еще Госиздат, имея некоторый резон (плохой, правда!), и оправдаться мог тем, что у него под руками не имелось заграничного издания, то, ведь, киевскому издательству и этого сказать никак нельзя!

III том собрания сочинений Г. В. Плеханова, где дан подлинный текст „Русск. рабочего“, исправленного и дополненного Плехановым во II издании—этот III том вышел почти в начале нынешнего года. Почему же, несмотря на это, все-таки киевский „Більшовик“ поступил так безобразно?

По весьма простой причине: по своему непроходимому невежеству и абсолютному неуважению к своим читателям.

Тов. читатели! У нас с вами теперь только осталось одно средство отучить издателей от подобного рода шарлатанства: не покупать такие недоброкачественные издания

Ни один уважающий себя читатель не должен, не может, имея перед собой неискаженный текст труда Плеханова, пользоваться подцензурным изданием.

Пусть киевские „більшовики“ научатся горьким опытом, что современный читатель—грамотный читатель и умеет, в отличие от современных издателей, разбирать, где подлинное и где цензурой исковерканное.

В. В.

Бюллетень института В. И. Ленина при ЦК РКП № 1. Изд. „Красная Новь“, Главполитпросвет, Москва 1923 г.

Вышел первый номер „Бюллетеня института В. И. Ленина“. Институт делает очень хорошо, что выпускает свои бюллетени. Первый номер содержит: обращение ЦК РКП об Институте В. И. Ленина; состав Совета Института; обращение Института к товарищам, выделенным губкомами для связи с Институтом; из доклада Совету Института; фотографический снимок письма В. И. Ленина; два письма Ленина 1895 г.; отчет Югвостбюро ЦК РКП о работе кружков „Ленинского цикла“; список товарищей, выделенных для связи с Институтом.

Как нетрудно судить товарищам по приведенному оглавлению, бюллетень ставит себе двоякую задачу: во-первых, держать в курсе всех распоряжений и циркуляров Института и об институте губернских „выделенных“, ячейки и семинарии, изучающие Ленина, а с другой стороны, повидимому, Институт намерен в своих бюллетенях опубликовывать неизданные письма и документы, как написанные самим В. И. Лениным, так и характеризующие его деятельность, как материал для семинариев и как исторически чрезвычайной ценности документы.

Повторяем, это можно лишь заключить из содержания, ибо редакция, к сожалению, не предпослала первому номеру никаких разъяснений насчет целей и задач бюллетеней.

Новыми и очень интересными в этом номере являются два письма В. И. Ленина, относящиеся к 1895 году и касающиеся подпольной деятельности Ленина, особенно интересно для биографии и характеристики подпольной революционной деятельности В. И. второе письмо.

Но опять-таки опубликовать письма так, как это сделано в первом номере, означает на $^3/_4$ ослабить их значение: ни предисловия, ни указаний насчет адресата писем, ни одного замечания, которое бы дало возможность читателю ориентироваться в обстановке эпохи. Так нельзя издавать документы высокой исторической важности.

Затем два письма на номер очень мало! Такие малые дозы приведут к тому, что каждая пара писем лишь вызовет благоговейное удивление, но целого, яркого впечатления у читателя не оставит, законченных знаний у читателя не будет.

Мы приветствуем появление бюллетеней, но считаем своим долгом к первому же номеру сделать свои замечания, надеясь этим посильно помочь редакции разрешить трудную задачу создания серьезных научных бюллетеней:

1) нужно выпускать их, может быть, реже, но богаче неопубликованными материалами;

2) положительно необходимо подробно комментировать документы;

3) необходимо не только печатать отчеты разных ячеек и семинариев, изучающих В. И. Ленина, но и по возможности руководить этими занятиями, направлять их указаниями и советами.

Мы надеемся, что редакция бюллетеней приложит все силы к тому, чтобы они стали на подлинную научную высоту, достойную Института имени В. И. Ленина.

Читатель.

В. П. Волгин.—Очерки по истории социализма, стр. 150. Госиздат. 1923 г.

Б. И. Горев. История социализма, т. I „Новая Москва“ стр. 403.

Любая из отраслей науки пролетарской России имеет в виду две задачи: дальнейшее углубление знания, марксистский пересмотр накопленных ценностей и распространения результатов науки в широчайших слоях народной массы. Популяризация не в смысле изготовления „литературы для

народа", а доступного изложения последних выводов науки должно быть руководящим указанием для наших пролетарских ученых. Правда, это очень и очень редко удается! Вот почему отмеченная в предисловии Б. Горевым задача „по возможности использовать новейший материал по истории социализма", избегая при этом „ученого аппарата", при чём излагать так, чтобы „язык книги был возможно простым и доступным", не может не встретить симпатий. Другое дело, в какой мере автору удалось выполнить эту двойную задачу.

Книга Б. Горева, по заявлению автора „не представляет собою обычного типа учебника истории социализма, не бесстрастный и бессистемный справочник имен и учений, а попытку охватить всю эту историю единой точкой зрения, точкой зрения революционного марксизма, т.-е. коммунизма". Автор хочет проследить на протяжении всего исторического процесса борьбу мирного и революционного течений в социализме, с точки зрения основной идеи последнего: диктатуры пролетариата; он хочет выяснить ход развития социалистических идей „как строго закономерный процесс, соответствующий в каждый данный момент определенным экономическим и социально-политическим условиям, и, кроме того, имеющий свою собственную, внутреннюю, диалектическую логику". Поэтому, по словам автора, он не гонится за обилием фактов, имея в виду раньше всего исторический процесс развития идей... С точки зрения методологической, конечно, нельзя желать ничего лучшего. Ведь, трудность изучения истории развития социалистических идей в том и состоит, что модернизация часто заменяет изучение их в конкретной социально-экономической среде. Здесь трудность вытекает из необходимости чрезвычайно осторожно проследить зависимость „надстройки от базиса", в необходимости выяснить генезис идей, как в отношении к накопленному в прошлом коллективному опыту, так и в отношении дальнейшей их трансформации. Что получено от прошлого, что дано для формирования мировоззрения будущего? Вот основная задача, стоящая перед историком социализма. И в то же время следует твердо помнить, что всякое мировоззрение, всякие „идеи", как бы дикими они не казались современникам, коренятся в социально-экономической обстановке данной исторической эпохи. Последнее особенно важно подчеркнуть. Мы не можем, правда, не согласиться с Б. Горевым, что при свете, „который отбрасывает назад великий опыт русской революции", легче понять борьбу идей в прошлом, но именно это обязывает нас умело пользоваться прожектором современности.

Центр тяжести методологической задачи при исследовании истории социализма,—это вопрос о генезисе идей. Не следует забывать и игнорировать в их возникновении наследство традиций, т.-е. „совокупности научных, философских, религиозных положений, составляющих как бы общее духовное наследство, доставшееся от предыдущих поколений, общий умственный багаж всех мыслителей эпохи", но, однако, не традиция, а жизнь „дает всякому общественному учению то, что в нем есть индивидуально-ценного; не общие черты традиции, но общие жизненные мотивы придают интерес и значение их группировке по эпохам" (В. Волгин) [1]. Как видим, оба автора марксистски правильно понимают свою задачу, но далеко не одинаково эту задачу разрешают.

Книга В. П. Волгина состоит из ряда отдельных очерков по истории социализма, собственно, XVIII в. Последний очерк о сен-симонизме, в

[1]) Как В. Волгин, так и Б. Горев не перестают отмечать и еще один чрезвычайно важный методологически момент при изучении социалистических идей. Необходимость иметь в виду два источника их происхождения и их взаимную связь; народное движение и теоретическую работу идеологов. Выяснить характер того и другого, а главное их взаимную связь, благодарная, но далеко не легкая задача для историка.

конце концов, имеет дело с идеологией, которая является последним звеном в цепи идей XVIII ст. Отдельные очерки печатались раньше (о Бабефе в „Вестнике Соц. Академии"; о сен-симонизме, как предисловие к „Изложению доктрины" и т. д.) и хотя не объединены общей вступительной статьей и в известном смысле собраны случайно (возможно не по вине автора, а Госиздата), однако они не лишены внутренней связи. Имея пред собою более узкую задачу, очерки тов. Волгина дают нам гораздо более углубленное исследование отдельных авторов XVIII в., чем книга Горева, которая охватывает период от Платона до наших дней. Мы увидим дальше, что марксистски исследовательский характер очерков В. П. Волгина во многом выгодно отличается от слишком часто поспешных и суммарных обобщений Б. Горева. При этом В. П. Волгин безусловно сохраняет необходимую популярность изложения. Если мы нашли возможным объединить в одной рецензии эти обе книги, то, гл. обр., потому, что нас интересует нестолько прикладная, практическая их полезность, сколько марксистская их ценность, в области истории социалистических идей.

Не будем останавливаться на первых главах книги Горева, начнем с IV главы, посвященной французскому коммунизму XVIII в. и эпохи революции. На 7—8 стр. автор пытается дать характеристику утопических систем, начиная от Варраса, Анже, Жана Мелье, просветительной философии XVIII ст. (энциклопедисты, Монтескье, Руссо), Бриссо, Морелли. И нужно сказать, что, если книга должна служить, по словам автора, для самостоятельного чтения, то две-три фразы, посвященные каждому из выше названных писателей, ему мало дадут. Совершенно недостаточна характеристика Руссо, как автора положения: „первый человек, который, огородив клочок земли, сказал: „это мое", был истинным основателем гражданского общества"... Эта характеристика недостаточна потому, что по отношению к XVIII в. важно установить сущность идей Руссо, как одного из уравнителей, борцов мелкой буржуазии против надвигающегося капитализма, т.-е. то, что сделало Руссо одновременно учителем Робеспьера—Сен-Жюста и Жозефа де-Местра. Недостаточна характеристика Мелье и Морелли, хотя бы потому, что не выявлено основное: „в то время, как для Мабли или для Морелли социализм—светлая мечта, осуществление которой возможно лишь в неопределенном будущем, а то и вовсе невозможно, для Мелье социализм—вопрос современности, борьба за социализм—задача непосредственной деятельности" (В. П. Волгин). Мелье—„единственный социалист-революционер дореволюционной Франции" и „один из самых ранних проповедников материализма в XVIII в.", оставлен в тени т. Горевым, хотя весьма старательно выяснена связь его коммунистических идей с сохранившимися еще пережитками средневековой общины. Мы не считаем также правильными и достаточными положения главы о „социальных стремлениях великой революции". Б. Горев приводит 31 проект декларации прав Робеспьера о „праве каждого гражданина пользоваться и располагать той долей благ, которую за ним обеспечивает закон", ссылается на слова ничего общего с коммунизмом не имеющего Дантона о борьбе против богачей и финансистов, отмечает утверждения Сен-Жюста и Билло-Варенна о том, что каждый должен пользоваться продуктами своего труда, чтобы не было „ни бедных, ни богатых", как на доказательство того, что среди левого крыла мелко-буржуазной интеллигенции фр. революции было сильно стремление к глубоким социальным реформам, глубоким переменам в отношениях собственности. Правда, по мнению Горева, во всех этих требованиях нет ничего социалистического, а скорее это мелко-буржуазные требования раздела имуществ, а не организации производства и потребления. Но подобные утверждения ни в какой мере не выявляют существа социальных требований якобинцев от Дантона до Марата. Ссылка на Дантона может только запутать дело. Дантонисты были, в конце концов, левым крылом жирондистов, и в вопросе соб-

ственности стояли вполне на их точке зрения. Когда 20 сентября 1792 г. Дантон предложил в Конвенте объявить, что „всякого рода владение должно на вечные времена оставаться неприкосновенным", он, конечно, гораздо более ярко выявил свою социальную сущность, чем в словах, приводимых т. Горевым. Отношение Робеспьера к собственности прекрасно выявлено в его речи от 24 апреля 1793 г. „Без сомнения вовсе не нужна была революция для того, чтобы поведать миру, что чрезвычайная несоразмерность в распределении богатств является источником многих зол и многих преступлений; но тем не менее это нисколько не разубеждает нас в том, что равенство имуществ есть только химера. Что касается меня, то я считаю это для счастья отдельного лица менее необходимым, чем для общественного благополучия. Дело идет гораздо больше о том, чтобы сделать бедность уважаемой, чем об уничтожении богатств"... Здесь нет речи о „разделе имуществ". Неудачна ссылка и на Сен-Жюста. Когда началась борьба вокруг вопроса о максимуме, Сен-Жюст в одной из своих речей подчеркнул, что он против законов, нарушающих свободу торговли, и для восстановления хозяйства предложил принять меры, чтобы изменить существующее положение дел во Франции, когда „у нас много ассигнаций и мало вещей". Но речь отнюдь не шла о коммунист. организации производства. Сен-Жюст подчеркивает всеисцеляющую роль хорошей конституции для восстановления хозяйства. Можно поэтому, конечно, сожалеть, что т. Горев, уделив значительное внимание социальным идеям указанных лиц, ограничился буквально несколькими строками для характеристики социальных стремлений Жака Ру, Варле, Доливье и др. „бешеных". Гораздо больше уделено внимания Бабефу. Его учению дана достаточная и сравнительно правильная оценка.

XVIII в. посвящена и книга В. П. Волгина. И нужно сказать, она дает нам достаточный материал для истории социалист. идей этого столетия. Автор устанавливает сл. группировку общественных теорий XVIII ст.: 1) идеологи буржуазного прогресса; 2) критики буржуазного прогресса — сторонники сословного строя; 3) критики буржуазного прогресса — сторонники демократии мелких собственников; 4) социалисты. В книге мы находим характеристику всех трех последних групп. При чем особенное внимание уделено последней группе. Заслуживает быть особо отмеченным очерк учения Мелье. Не мало интересного и в главе о Бабефе. Правда, учение последнего далеко не исчерпывающе изложено, но зато любопытно освещен вопрос об элементах реализма в учении Бабефа, как раз то, что несколько затушевано т. Горевым. Мы не можем здесь останавливаться подробно на разборе книги т. Волгина, отметим только два момента. В очерке, посвященном „уравнительным" мелко-буржуазным теориям, по нашему мнению, недостаточно выявлен генезис идеи отрицания собственности. Если у Руссо мы имеем борьбу всякого мелкого буржуа с надвигающимся расцветом капитализма, то у других (Бриссо) здесь, бесспорно, отраженная борьба с феодальной собственностью, которая в XVIII веке отнюдь не означала, что и отмечает В. П. Волгин, стремление практически уничтожить вообще собственность, как основу общества.

В очерке о Бабефе следовало бы больше оттенить связь элементов реализма в его учении не с коммунизмом „бабувизма", а с якобинской сущностью движения. Политическая борьба за конституцию 1793 года придавала Бабефу те элементы реализма, которых было мало в его социально-экономической программе. Вот почему нельзя не согласиться с ссылкой т. Горева на „Коммун. Манифест", где дана характеристика сочинений Бабефа, революц. литература первых движений, как проповеди аскетизма и грубой уравнительности. В области политической Бабеф внес новое в социалистическую мысль, он остается учеником идеологов XVIII в. соц.-эконом. области (см. очерк о Морелли у Волгина).

Большая часть книги Б. Горева посвящена XIX и XX стг. Попытаемся

в кратких чертах дать характеристику этой части книги. Говоря о первой половине XIX в., т. Горев отмечает славную троицу социалистов-утопистов: Р. Оуэн, Анри де-Сен-Симон и Фурье. Правда, в примечании он отмечает, что „Сен-Симон может быть лишь условно причислен к социалистам". Но в главе о Сен-Симоне он упорно представляет нам его, как социалиста-утописта и предшественника Маркса. На стр. 108 мы читаем: "... Великая революция, потрясавшая Францию в конце XVIII в., приведшая к диктатуре Бонапарта и наполеоновским войнам, естественно, вызвала именно во Франции у многих благородных и мыслящих людей особенно сильное разочарование в революции и ее способах разрешения общественных вопросов, недоверие к народным массам, страх перед их восстаниями и отвращение ко всякому насилию". Вряд ли подобную формулировку можно считать удачной в устах коммуниста-марксиста. Б. Горев утверждает, что Сен-Симон, как и Фурье, были против „спекулянтов, биржевиков и торговцев". Это неверно. Для Сен-Симона купец отнюдь не паразит, он управляет обществом. Для него банкиры естественный представитель промышленных классов. По Гореву, Сен-Симон „прекрасно видел темные, отрицательные стороны и явления капитализма"... Но он не приводит этому доказательств, а мы смеем утверждать, что для Сен-Симона темные стороны капитализма исключительно в тяготеющих над ним пережитках феодализма. Совершенно неправильно утверждение, что Сен-Симон „один из первых определил роль пролетариата, как совершенно особого общественного класса". Если в данном случае речь может итти об „индустриальном классе", то это понятие отнюдь не следует смешивать с пролетариатом, отдельные „пророческие" замечания Сен-Симона к концу его жизни не имеют в данном случае решающего значения. И, наконец, мы никак не можем согласиться, что Сен-Симон, как идеолог молодой буржуазной интеллигенции, предсказал замену буржуазно-капиталистического общества „обществом, основанном в духе ассоциации". Сен-Симон не предполагал реорганизовать капиталистическое общество и в этом его отличие от Фурье, хотя бы потому, что только последний имел в виду реформу распределения богатств и новую организацию производства. Резкое различие между ними проявляется особенно в отношении к индустриализму. То, что для Сен-Симона является основой основ, у Фурье получает такую формулировку: „Индустриализм — вот последняя наша научная химера... Вот оно — вновь воскресшее рабство" („Théorie des Quatre Mouvements", стр. 28—29). К сожалению, тов. Б. Горев недостаточно подчеркнул и своеобразие оуэновского социализма. На 5 стр., посвященных Оуэну, он изглагает его Нью-ланаркский опыт, но очень мало выявляет социальную сущность его учения: капиталистическое предприятие, как основа учения, противоречие интересов рабочего и предпринимателя в капиталист. обществе. А затем: при всей туманности идей оуэновского единого рабочего союза, следует не забывать, что этот союз принимал участие и руководил экономической борьбой рабочих в начале 30-х г.г. и выставлял лозунг 8 ч. рабочего дня.

Не можем не сделать несколько возражений и в связи с главой о чартизме Делать сопоставление вещь хорошая, но на чем основано уподобление чартистских конвентов „советам рабочих депутатов"? Мы считаем совершенно неправильным утверждение, что „когда для вождей рабочего движения (начала 30-х г.г.) выяснилось, что на непосредственный приступ против буржуазного общества рассчитывать не приходится, они задумали обходное движение, добиться власти для рабочих путем завоевания всеобщего избирательного права"... На чем основано подобное утверждение? Оно слишком серьезно, чтобы быть только постулированным. Неправильно, по нашему мнению, утверждение, что лозунг „физической силы" — был только лозунгом более решительной революц. части чартизма: применение „физической силы" в понимании О'Коннора, Джонса или Стифенса далеко не одно и то же.

Мы не можем, конечно, шаг за шагом проследить за работой Б. Горева. Стремясь к краткости, он дает далеко не исчерпывающую и часто неправильную характеристику идеологов социализма. Наиболее ценная часть книги, это главы, посвященные периоду 1848—1871 г.г. Очерки бланкизма, прудонизма, бакунизма, как и характеристике Маркса и его рев. тактики наилучшие в книге. Главы, посвященные эпохе империализма, конечно, по своему объему далеко не могут нас удовлетворить. Важно то, что Б. Горев дает в этих главах не только достаточно полные, хотя и краткие очерки, но и материал биографический о деятелях II Интернационала, столь существенный для нашего нового читателя. Но и в этих главах мы встречаем часто спорные и далеко не марксистские положения. Так на стр. 396 мы читаем: та самая война, которая разрушила грандиозные производительные силы Европы и сделала Европу данницей Америки—„эта самая война, ухудшив, благодаря всеобщему обеднению, материальные условия осуществления социализма, вместе с тем, своей внутренней диалектикой, создала социально-психологические предпосылки крушения капиталистического строя и ускорения пролетарской революции". Что означает подобное положение?

Как следует понимать противопоставление ухудшения материальных условий осуществления социализма улучшению его социально-психологических предпосылок? Последнее было следствием первого. Вне объединения, распада и разрушения хозяйства Европы немыслима соц. революция. Утверждение реформистов об осуществлении социализма в обстановке роста производительных сил капиталистического общества ложно. Революция связана с огромными издержками, она возможна лишь в обстановке капиталист. распада Европы. Если положение т. Горева означает противопоставление (хотя бы „диалектическое") „материального ухудшения" психологическим предпосылкам, тогда оно ложно, а иначе оно просто непонятно.

„Очерки по истории социализма" должны быть В. П. Волгиным превращены из сборника статей по истории социализма XVIII в. в единую книгу; „История социализма" Б. Горева требует не равно большей разработки отдельных глав, но и марксистского уточнения в ряде формулировок.

Ц. Фридлянд.

Ц. Фридлянд и А. Слуцкий. Хрестоматия по истории революционного движения Западной Европы (Англия, Франция, Германия) XIX и XX в.в. Из-во „Красная Новь". 1923 г. 468 стр.

Если сопоставить литературу по рабочему движению и другим вопросам, то прямо можно удивиться тому, как по сути дела ничтожен материал по первому вопросу. В то время, как такие предметы, как политическая экономия, исторический материализм, имеют ряд учебников, ценных сборников, прекрасных популяризаций, многотысячная аудитория ничего не имела систематического по истории социализма и рабочего движения. За последние месяцы появился ряд материалов, из которых настоящая хрестоматия выделяется эрудицией, знанием предмета. Хотя авторы и назвали ее скромно хрестоматией, но ценность книги выходит несомненно за пределы таковой. И причина этого кроется в построении. Обычно хрестоматии дают материал, органически несвязанный, в виде массы цитат, документов и т. д. Сцепления между последними нет. В лучшем же случае редакторы или авторы дадут предисловие, которое укажет свое место различным группам материала. Авторы настоящей хрестоматии пошли по другой, не по проторенной, но зато весьма плодотворной дороге. Каждая глава у них имеет соответствующее введение, пояснением отдельных моментов которого и служат приложенные документы и материалы. Эти введения, пожалуй, самое ценное в книге, и, уж во всяком случае, самое полезное, что найдет в ней читатель.

Но у хрестоматии в целом имеется и ряд недочетов. Самый главный из них—это неверная архитектура в материале различных эпох. Т. Скворцов-Степанов уже отметил в своем предисловии к мерингозской „Истории немецкой с.-д.", что и педагогически (и „исторически") очень плохо, когда более отдаленным эпохам уделяют больше внимания, чем более близким. Этот же недостаток красной нитью проходит через всю хрестоматию. В заглавии стоит „XIX и XX *век*", а одна треть книги посвящена восемнадцатому веку, XX-му же отведено не более пары десятков страниц. Конечно, промышленный переворот и франц. революция—крайне важные вехи, но все же II Интернационал и финансовый капитал для ознакомления с историей револ. движения гораздо более важны.

Конечно, для больших охотников, может быть, и интересны материалы о казни короля, речь Жака Ру и пр. и пр., но широкие массы студентов и рабфаковцев мы прежде и больше всего должны знакомить, ну, хотя бы с речами Жореса, Бебеля, с речами парижских коммунаров и т. д. Чувствуется, что французская революция и начало XIX века—это любимое дитятко авторов, эпоха же II Интернационала находится на положении „Золушки". Хрестоматия во многом выиграет, если архитектура будет обратно пропорциональна данной. Второй общий недостаток это не всегда (и далеко не всегда) удачный выбор документов и материалов.

Например, недостаточно использованы для французской революции 1848 г. работы Маркса, зато приведено много малополезных для читателя официальных документов и скучных выдержек из Луи Блана... Читатель узнает циркуляр Ледрю-Роллена и т. п., но за счет освещения принципиальной, общей оценки.

А между тем отдельные места из „18-го брюмера", где Маркс говорит о восходящей и нисходящей революции (так неудачно использованные Плехановым в 1917 г.), дает изумительно блестящую характеристику „Общества 10 декабря"—дали бы очень живой, интересный материал.

А такие выдержки, где Маркс рисует настроения буржуазии в 1849—1850 г.г. (лучше ужасный конец, чем ужасы без конца), вскрывают противоречивость обстановки („республика без республиканцев" и т. д.)—читались бы с громадным интересом широким читателем. Я взял для примера 1848 г. (зачем это нужно было приводить скучнейшую конституцию Германии?), но такая же тенденция наблюдается положительно во всех отделах (см. „I Интернационал" и т. д.).

Авторы отказались от старого шаблона в построении хрестоматии, нужно отказаться и от старого „обычая" приводить возможно больше сугубо скучных офиц. документов. Широкому читателю они ничего не дают. А между тем он страстно желает найти книгу, где был бы материал, дающий общее освещение, историч. характеристики и т. д.

Теперь пару слов о содержании. Книга состоит из *9 глав*, при чем посвящены времени *до* 1848 г. (заметьте!), 3 главы—1848 году, I Интернационалу и Парижской Коммуне и 1 (единственная!)—II Интернационалу.

Первые главы по ценности наилучшие. Материал составлен с большим знанием предмета.

Последующие же убавляются в своей ценности по мере приближения к современной эпохе.

В главе о 1848 г. существенным недостатком является отсутствие объяснения (и материалов) непосредственных причин французской революции 1848 г. (торговый кризис, неурожай и т. д.), и таковых же в отношении ее поражения.

Глава об „эпохе I Интернационала" грешит крайне слабым выявлением роли и тактики бланкистов в эпоху Второй Империи. В то время, как

о Прудоне сказано больше чем достаточно (соответственно размерам книги), о бланкизме авторы не нашли ничего лучшего сказать, как только то, что он проповедует заговор и т. п.

Между тем, в ту эпоху бланкизм был здоровой реакцией прудонистскому „экономизму". Нужно было выявить положительные моменты агитации бланкистов за политическую борьбу и т. д. Нельзя было пройти мимо и другой их исторической заслуги—это борьбы против той заразы легализма, приспособленчества, „конечной борьбы", которая вносилась прудонистами в рабочее движение.

Немного странно, что авторы подчеркивают больше стремления (кстати, очень слабые) прудонистов к полит-самостоятельности от буржуазии, не приведя то знаменитое место из манифеста „60-ти", где последние называют буржуазию „нашей старшей сестрой".

Не совсем важной, или, вернее, совсем неважной, является последняя глава о II Интернационале, которая, казалось, должна была быть наиболее проработанной. По ценности она далеко уступает первым главам, разработана недостаточно, я сказал бы—поверхностно.

Из общих проблем II Интернационала совсем не затронуты такие крупные вопросы, как взаимоотношение партии и класса (партия и ее отношение к профсоюзам, кооперативам и т. д.), отношение соц.-дем. ко всеобщей забастовке. Целый ряд других проблем освещен 5—10 строками.

Говоря об отношении Интернационала к вхождению социалистов в бурж. правительство, авторы делают ошибку, называя резолюцию Каутского на Парижском съезде (1900 г.) марксистской. Она была „центристской" и уже тогда критиковалась Плехановым слева на страницах „Зари". Жаль, что авторы не привели резолюции Гэда, которая и была единственно марксистской, и соответствующие места из плехановской статьи.

Хуже еще обстоит дело с материалом об отдельных странах. Это прежде всего относится к Германии, которая должна была быть особенно освещена. О таких центральных и жгучих проблемах немецкого движения, как голосование за бюджет, отношение к милитаризму, почти ни слова. А между тем, нельзя лучше иллюстрировать южно-германский реформизм, как показав его неуклонное голосование за бюджет вопреки постановлениям трех партейтагов. Нельзя лучше показать, как реформизм подготовлял социал-реформизм, а центризм готовился к измене,—как дав выдержки из брошюры Гильдебрандта, статей Каутского и др. о пацифизме, речей Бебеля, Гаазе о милитаризме.

В начале главы авторы дают обещание показать связь между реформизмом иесоциал-патриотизмом, но так и не дали.

Существеннейшим недостатком является отсутствие материалов, которые показали, бы как реформисты перед войной открыто проповедывали, что сейчас выполняет немецкая с.-д. Несколько выдержек из „Soz. Monatshefte, брошюры Бернштейна „Партия или секта" и т. д. дали бы любопытнейшие документы.

Подводя итоги предвоенному периоду развития немецкой с.-д., авторы делают сомнительной ценности вывод о том, что реформисты уже перед войной „заполнили партию целиком" и привели ее к 4-му августа 1914 года.

Такой вывод скрывает, по меньшей мере—умаляет, исторической важности факт измены центризма. Именно он изменил интер-социализму, а не реформизм, который проповедывал „4-е августа" задолго до войны. Именно, он, центризм, а не реформизм, был официальным большинством перед войной, и он совершил измену 4-го августа 1914 г., а не Давид и К° [1]), он привел с.-д. к позору, и он—главный виновник.

[1]) Между прочим, Шейдеман зачисляется авторами в довоенные ревизионисты. Это неверно: вплоть до войны Шейдеман был одним из вождей „центра" и поэтому ревизионистом быть не мог (еще на иенском партейтаге 1913 г. он выступал от официального большинства). С него хватит военных и послевоенных грехов. Зачем же взваливать на него несуществующие довоенные?

Затушевывание этого факта, хотя бы и малейшее, является безусловно вредным.

Из отдельных этапов партии не отмечены такие интересные моменты, как—1) выступление ликвидаторского „трехзвездия" в эпоху исключительного закона и отпор им Маркса-Энгельса, 2) оппозиция молодых (в известной мере, предшественников левых радикалов), 3) возрождение анархо-социализма в начале 900 г.г., как реакции против реформизма проф. союзн. деятелей, и 4) самое существенное—это идейная борьба левых радикалов в 1910—1914 г.г. и их роль, как предшественников союза Спартака и Г.К.П.

Принимая во внимание огромную ценность истории германской с.-д. и в области тактической и др., авторам следовало бы коренным образом переработать эту часть.

Параграфы о Франции и Англии более сносны, хотя и здесь есть ряд недочетов. Не выяснено, напр., историческое значение мильерановской эпопеи, не освещена ни одна крупная проблема английского рабочего движения, не отмечена даже независимая рабочая партия и т. д.

Упущением следует считать, что, хотя бы мимоходом, не было упомянуто основное о рабочем движении Америки, Балкан и т. д.

В заключении необходимо отметить, что в списках литературы упущены такие ценные (подчас классические) работы, как Меринг—„Маркс", Маркс—„Гражданская война", брошюры Р. Люксембург о Мильеране, всеобщей забастовке, „Путь к власти" и др. Каутского. Поскольку хрестоматия предназначена (повидимому) для широкого читателя, нужно было бы указывать в списках и соответствующие главы.

Вывод: в общем и целом хрестоматия весьма пригодится лектору, развитому студенту. Нужно сократить первые главы и расширить последние, увеличить материал из марксистских классиков за счет официальных сухих документов. Главу о II Интернационале нужно значительно переработать, памятуя, что здесь особенно беспомощным чувствует себя широкий читатель.

Н. Ленцнер.

Проф. Лев Любимов. Курс политической экономии. Том первый, выпуск первый. Государственное Издательство. 1923.

Марксистского курса политэкономии еще не существует, а нужда в нем огромна. Проф. Любимов предполагает своей книгой восполнить этот пробел. Проф. Любимов подчеркивает, что все в его труде „насквозь пропитано духом ортодоксального марксизма". Проф. Любимов обращает вниманье на то, что некоторые выводы формулируются им впервые. Такие утвержденья ко многому обязывают и автора, и сознательного читателя данной книги.

Первый выпуск первого тома содержит теорию стоимости, денег, прибавочной стоимости и цены производства, а также ряд экскурсов.

Проф. Любимов является сторонником того взгляда, что политическая экономия должна ограничиваться изучением только капиталистических отношений. Против этого, конечно, возражать не приходится. Но отсюда вовсе не следует того, что в курсе политической экономии можно опустить вопрос о генезисе капитализма, как это делает проф. Любимов. Такое историческое введение представляется совершенно необходимым, и его отсутствие—большой недостаток книги.

Излагая теорию стоимости, автор справедливо отмечает важность понятий абстрактного и конкретного труда, но первый выступает у него лишь как затрата мозга, мускулов и т. д.— иными словами, как физиологическая категория, и общественное содержание этого понятия исчезает. Такое толкованье, по меньшей мере, односторонне [1]). Но, вообще, подход проф. Любимова к проблеме стоимости невольно вызывает на возраженья.

Из таблицы умноженья не может быть исключений. Равным образом, „исключенья" из теории трудовой стоимости (если таковые найдутся) должны были бы ниспровергнуть эту теорию (стр. 85—86). Скажем, час кокотки оплачивается очень высоко. Проф. Любимову пришлось бы встать здесь перед дилеммой: или это губительное для теории исключенье, или труд кокотки—высоко квалифицированный труд.

Теория предельной полезности берется объяснить ценность любого хозяйственного блага. Проф. Любимов находит, что трудовой теории не след особенно далеко отставать в этом отношении от своей австрийской соперницы; трудовая теория не должна, например, изучать стоимость одних только свободно воспроизводимых товаров; иначе трудовая теория „оказалась бы теорией менее общей, менее широко применимой; чем теория предельной полезности. И, следовательно, последняя имела бы одно громадное преимущество над первой, так как всякая теория, при прочих равных условиях, тем выше, чем шире круг захватываемых ею явлений, чем большее количество фактов разъясняет она" (стр. 87).

Избавленья от этого страха нужно искать совсем не там, где его ищет проф. Любимов. Значенье трудовой теории вовсе не в том, что она, неподвижно стоя на первой ступени своего диалектического развития, может покрыть любой изолированный, статически взятый факт; наоборот, некоторые факты она может объяснить лишь в своем дальнейшем развитии, в своих специализованных применениях, некоторые же факты, ввиду их исключительности, не представляют для нее никакого интереса. Ее значение в том, что, диалектически развертываясь, она до конца вскрывает производственные отношенья капиталистического общества в их динамике и взаимной связанности. Для нее характерна, если можно так выразиться, не плоская статическая широта, а динамическая глубина. Тогда как теория предельной полезности, специально приспособленная к объяснению всяких экономических „чудовищ", становится втупик перед ценностью товара как такового.

Но проф. Любимов взялся доказать, что по части экономических „чудовищ" и марксисты не ударят в грязь лицом. Он подробно рассуждает о древних монетах и утвари, о Венере Милосской и тому подобных вещах. Вот несколько примеров, которые следует рассмотреть детально.

Чем определяется высокая цена замечательных произведений искусства?—спрашивает проф. Любимов и отвечает: высокой стоимостью их, как продуктов высоко-квалифицированного труда. И вот, что особенно важно: очень многие лица бросают свое художественное образование, другие не достигают требуемого совершенства. Труд, затраченный ими и на них, труд, бесплодно потерянный, сообщает высокую стоимость произведениям удачников. Ходячее объясненье, которое все сводит к таланту, „указывает, что талантливый художник получает много, но не объясняет, откуда появляется тот фонд, который служит для столь щедрой оплаты; ясно, ведь, что для того, чтобы дать одному чересчур много, надо забрать это от других...

[1]) См. „Очерки" Рубина. См. также Ф. Петри, Der soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie. „Der Begriff der abstract-allgemeinen Arbeit geht aber über diese nur natürliche Seite der Arbeit betreffenden Auffassung hinaus, denn dieser Begriff soll der gesellschaftlichen Analyse der Wirtschaft dienen" (S. 23). („Понятие абстрактного труда выходит за пределы этой концепции, охватывающей лишь естественную сторону труда, так как это понятие должно служить общественному анализу хозяйства"). Буржуазный экономист, ученик Карла Диля, очень верно подмечает некоторые черты Марксовой теории стоимости.

наше объясненье указывает, что такими являются именно те, которые, работая в той же области, бесплодно затратили свой труд, не создав никакой стоимости (или только относительно незначительную)" (стр. 73—74). Бедные неудачники, несчастные оболтусы. Не создавая никаких стоимостей, они ухитряются снабжать своих удачливых сотоварищей „фондом для щедрой оплаты".

Разберемся. Проф. Любимов ссылается на Маркса (Капитал, т. I, изд. 1920 г., стр. 182). Часть сырья может материально исчезнуть, но стоимость его все же перейдет на созданный продукт (распыл и очески в хлопчатобумажном производстве). Так говорит Маркс, и, значит, все марксисты должны принять объяснение проф. Любимова, так как „существенной разницы между обоими примерами нет". Но разница здесь есть, и разница очень существенная: Маркс говорит о производстве товаров, проф. Любимов о производстве рабочей силы. Если бы художники производились и продавались как обыкновенный товар, проф. Любимов был бы прав. Но художественные школы живут не тем, что продают художников. Они существуют на плату, вносимую самими учащимися. И потому оплата художественного труда и количество неудачников непосредственного интереса для содержателей школы не представляют. Удачники могут считаться только с трудом, затраченным ими и на них: равновесие здесь будет нарушаться только в том случае, когда удачники будут получать меньше того, что затратили они сами. Количество труда, потерянного неудачниками, труда, неовеществленного ни в каком продукте, никоим образом не может быть учтено в тех стихийных процессах, в которых вообще проявляется закон стоимости. Это количество можно определить как faux frais производства художников. Этот труд нельзя считать общественно-необходимым. Он был бы, пожалуй, таким, если бы причины удач или неудач лежали во внешней природе (такую роль в производстве золота играет большее или меньшее богатство россыпей) и если бы, для достижения определенного результата, требовались совокупные усилия множества людей. Но здесь условия удачи лежат в природе самого человека. Значенье этого естественного момента, отчасти аналогичного плодородию земли или богатству россыпей, проступает особенно ясно, если будем говорить, например, о певцах. Профессор Любимов думает, что если эти бесплодные затраты типичны для данного общества, то значит, они общественно-необходимы (стр. 73). Ничего подобного. Для капиталистического общества типичны многие совершенно непроизводительные затраты, однако никакой стоимости никакого продукта они увеличить не могут.

И с какими техническими предпосылками можно связать здесь понятье общественно-необходимого времени? А без такой связи это понятье теряет всю свою определенность.

Потом. Кто здесь собственно неудачники? Как мы полагаем, те, кто не произвел никакой потребительной стоимости. Но как проф. Любимов объяснит ту индивидуализацию, то огромное разнообразие оплаты, которое мы наблюдаем выше этого предела? Почему из „фонда", отобранного у неудачников, одни удачники получают больше, а другие меньше? Тут теория проф. Любимова терпит полный крах.

Наконец, у автора недостаточно разграничены понятия „затраты" и „оплаты". Бесплодно затраченные усилия, конечно, не могут составить „фонда для щедрой оплаты". Труд бездарной консерваторки не является источником доходов Аделины Патти [1]).

[1]) Мы так долго остановились на этом вопросе только для характеристики взглядов проф. Любимова, а вовсе не потому, чтобы проблема имела большой интерес. Мы думаем, что только массовые явленья в этой области интересны для экономиста. „Die originellschöpferische Arbeit des Genies steht doch ganz ausserhalb des Kreises der hier in Betracht gezogenen Erscheinungen, schon da solche Arbeit nie in den Fluss des Reproductionsprozesses eingehen kann; „den Meisselschlag eines Donatello zu berechnen" ist daher nicht nur eine unmögliche, sondern auch gänzlich unnötige Aufgabe" (Петри, цит. соч., стр. 26). („Значит,

Все это излагается в главе „Квалифицированный труд и стоимость", хотя, как мы видели, речь идет здесь, преимущественно, о переносе стоимости, а этот процесс не стоит в необходимой связи с квалификацией труда и с проблемой редукции.

Цены товаров, „не могущих быть воспроизведенными по нашему желанию" (например, старинных монет), также должны объясняться их трудовой стоимостью. „Предположим, например, что древняя утварь стала бы продаваться выше ее стоимости, т.-е. дороже того, что соответствует среднему количеству труда, затраченного на ее добывание (при раскопках) и хранение. Тогда, очевидно, количество таких раскопок возросло бы, возросло бы, следовательно, и количество древней утвари, и цена ее упала бы до ее стоимости (а временно даже и ниже)" (стр. 89). Намереваясь исследовать стоимость именно невоспроизводимых товаров, проф. Любимов тотчас же предполагает, что невоспроизводимые товары свободно воспроизводятся—и тогда все затрудненья устраняются с поразительной легкостью.

Проф. Любимов подробно рассуждает о высокой стоимости старого вина. Маркс, резко критикуя Джемса Милля (который по тому же поводу также говорит о стоимости), считает, что вопрос должен быть всецело перенесен в плоскость цен производства: „Es machen sich hier also Gesichtspunkte geltend, die mit der Wertbestimmung als solcher absolut nichts zu schaffen haben" („Следовательно, здесь приобретает значенье такая точка зрения, которая с определением ценности как таковым не имеет ровно ничего общего"). Маркс подчеркивает: „Der Widerspruch zwischen dem allgemeinen Gesetz und weiter entwickelten konkreten Verhältnisse soll hier nicht gelöst werden durch Auffindung der Mittelglieder, sondern durch direkte Subsumtion und unmittelbare Anpassung des konkreten an das Abstrakte" [1] („Противоречие между общим законом и далее развитыми конкретными отношениями должно (по Миллю. *К.*) разрешаться здесь не путем нахождения посредствующих членов, но путем прямого включения и непосредственного приспособления конкретного к абстрактному").

Эти слова Маркса о Милле могут служить превосходной характеристикой методологических приемов проф. Любимова. Мы неоднократно видели, какую роль эта direkte Subsumtion играет в его построениях. Кстати, к вопросу о старом вине автор снова возвращается в четвертом отделе и рассматривает этот вопрос уже в плоскости цен производства. Но неужели проф. Любимов не замечает, что тем самым все его рассужденья на ту же тему в отделе о стоимости становятся совершенно излишними, превращаются в пустую и плоскую теоретическую изысканность, и что этими рассужденьями только затемняется диалектическая связь категорий, которая так стройна и отчетлива у Маркса.

Подарив всяким экономическим монстрам множество страниц, проф. Любимов уделяет товарному фетишизму только две страницы и трактует этот вопрос—основу теории стоимости—очень поверхностно. Таким образом вся теория стоимости предстает перед читателем в искаженной перспективе. Произведения искусства, древние монеты, старое вино и т. д. выдвигаются на первый план, а основное и существенное пропадает.

В отделе о деньгах, проф. Любимов без всяких пояснений применяет термин „скорость обращения товаров", между тем неподготовленный читатель вряд ли догадается, что под этим нужно разуметь число актов купли-продажи, в которых участвует один экземпляр товара. Необходимость такого

оригинальный творческий труд гения всецело стоит вне круга тех явлений, которые здесь принимаются во внимание—уже по той причине, что подобный труд никогда не может войти в поток воспроизводственного процесса; „оценивать удар резца Донателло" есть, поэтому, не только невозможная, но и совершенно ненужная задача").

[1] Theorien über den Mehrwert, III Band, S. 96—99. Для Маркса здесь только частный случай медленно-оборачивающегося капитала.

понятия в данном случае сомнительна. Проф. Любимов приводит формулу необходимого количества средств обращения в следующем виде: масса обращающихся товаров, помноженная на средний уровень цен, помноженная на скорость обращения товаров, деленная на скорость обращения монеты. Но, как общее правило, цена товара, несколько раз переходящего из рук в руки, изменяется при этих повторных сделках—иначе они были бы бессмысленными. Так что, если бы „скорость обращения товаров" возросла вдвое, то количество средств обращения, при прочих равных условиях, должно было бы возрасти больше, чем вдвое. Трудности исчезают, если пользоваться Марксовой формулой, в числителе которой стоит просто сумма товарных цен. Сюда, очевидно, можно включить и все цены одного товара при последовательных перепродажах. Исправлять Маркса не следовало вот еще почему: Маркс говорит об уровне цен и о товарной массе, но в окончательную формулу этих понятий не вводит по той простой причине, что это арифметически невозможно: нельзя складывать пуды и аршины [1].

Проф. Любимов хорошо сделал, что остановился на Гильфердинговой теории денег. Но атаки проф. Любимова вряд ли убедительны. Он напирает на то, что нужно говорить не о стоимости, а о цене бумажных денег (если уж выдерживать терминологию, то о курсе или покупательной силе). Он не подчеркивает основной ошибки Гильфердинга, который забывает, что стоимости товаров должны сперва найти свое денежное выражение в золоте. Поэтому необходимость „окольного пути" (включения золота, как посредствующего звена) недостаточно доказана проф. Любимовым. Из работ Каутского можно было бы почерпнуть более убедительные аргументы.

Кнапп проф. Любимов именует „современным главой количественной школы", тогда как взгляды Кнапп очень далеки от количественной теории. Здесь следовало бы назвать Ирвинга Фишера.

Проф. Любимов напрасно перенес теорию заработной платы из отдела о прибавочной стоимости в предполагаемый четвертый выпуск своего труда, где речь будет итти, преимущественно, о концентрации производства. И вряд ли уместно в отделе о прибавочной стоимости рассказывать о доходе банкира читателю, который еще не знает, что такое банки. По тем же соображениям неуместен пространный (и сам по себе интересный) экскурс о природе прибыли кооперации (в конце книги; о кооперации автор намерен говорить в пятом выпуске).

Отдел о ценах производства, в общем, удачен. Как уже было отмечено в печати, отсутствуют соответствующие цифровые таблицы. Изложенье от этого отнюдь не выигрывает. И снова появляются монстры! Вот, например, как трактуется цена старинных монет: „... раз монета старинная, то, значит, должно пройти много времени, чтобы она могла поступить в оборот, т.-е., другими словами, мы имели здесь случай очень медленного оборота капитала..." (стр. 191). Это здорово! 2000 лет (если мы имеем в виду античные монеты)—это, действительно, очень, очень медленный оборот капитала. А египетские мумии еще медленнее оборачиваются. Комментарии, думается, излишни. В том же отделе находим оригинальное понятие нетрудового производства (стр. 190).

Экскурс о версиях понятия „общественно-необходимый труд" является наиболее удачным и полезным местом книги, хотя ничего существенно нового здесь нет. Проф. Любимов безоговорочно причисляет к сторонникам потребительской версии т. Мендельсона, который стоит, скорее, на промежуточной позиции.

Этим и другими удачными местами отнюдь не компенсируется основной недостаток книги—упрощенная трактовка экономической теории, граничащая порой с вульгаризацией.

[1] Впрочем, критика должна быть здесь адресована скорее И. А. Трахтенбергу, у которого проф. Любимов позаимствовал формулу.

В печати уже отмечалось, что в книге отсутствует материал из области описательной экономики [1]). Это, разумеется, огромный недостаток. Долго распространяться об этом не приходится, теперь каждому ясно, какое большое место должна описательная экономика занять в курсе политэкономии. И сколько интересных задач встанут перед составителем курса: подбор материала, компановка изложения, методологическая увязка абстрактного и онкретного... И этим проф. Любимов помог бы современному читателю гораздо больше, чем своими юмористическими упражненьями (см. ниже). Вместо этого он сообщает, например, такие полезные сведенья: на одну копейку можно было когда-то купить четыре баранки (стр. 80), выращиванье слонов требует продолжительного времени (стр. 85) и т. д. Правда, на стр. 58 приводится цены на различные товары в 1903 и 1913 г. г., на стр. 28—сведенья о производстве золота в России в 1910 г., но все это случайно, отрывочно, без внутренней связи с изложением.

Стиль выспренний, „высоко-литературный". Перенесемся мысленно в поле, где „выше пояса рожь зернистая дремлет колосом почти до земли"... Перейдем теперь с тихого поля на шумногрохочущую фабрику, где „колесо чугунное вертится"... и т. д. Полстраницы занято пересказом легенды Анатоля Франса, не имеющей к делу ровно никакого отношенья. Глубокомысленные сентенции, достойные отрывного календаря: „Влюбленный не проявляет своекорыстия, видя в обворожившей его самой обыкновенной девушке «перл создания»" (стр. 9). Тонкие остроты: „турки и итальянцы, как известно, народы «лирические» в том смысле, что в основании их денежной системы лежит «лира»" (стр. 119). Все это может нравиться или не нравиться—дело вкуса,—но если проф. Любимов полагает, что без этого нельзя подойти современной учащейся молодежи, то мы лично не такого плохого о ней ненья. И нужно также подумать о следующем: в 1-м выпуске 265 страниц. если остальные четыре будут такого же размера, то получится очень грозно и не особенно дешево.

Подчеркнув, что к учебнику, предназначенному для совпартшкол, рабфаков и университетов нужно относиться с особенной требовательностью, резюмируем. Нужда в марксистском курсе политэкономии нисколько не уменьшилась после выхода в свет книги проф. Любимова.

Келлер.

[1]) См. Кап. „К созданию марксистского учебника по политической экономии",—„Спутник коммуниста" № 23. Прекрасно отметив недостатки книги, рецензент дает, как нам кажется, слишком снисходительную общую оценку.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ

ышел II том Сочинений К. Маркса и Фр. Энгельса.

(Институт К. Маркса и Фр. Энгельса. Библиотека научного социализма под общей редакцией Д. Рязанова). Стр. 622.

Том II содержит статьи и корреспонденции Ф. Энгельса за 1839—1844 гг.
Том редактирован, снабжен предисловием и примечаниями Д. Рязановым.

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие редактора.

Фр. Энгельс. Статьи 1839—1844 гг.

Бременский период.

Письма из Вуппераля.
Немецкие народные книги.
Карл Бек.
Ретроградные знамения времени.
Платен.
Реквием для „Немецкой Дворянской Газеты".
Иоель Якоби.
Ландшафты.
Родина Зигфрида.
Эрнст Мориц Арндт.
Воспоминания Иммермана.

Берлинский период.

Шеллинг о Гегеле.
Шеллинг и откровение.
Шеллинг — философ во Христе или преображение мирской мудрости в мудрость божественную.
Северо- и южно-германский либерализм.
Рейнские празднества.
Дневник вольнослушателя.
Комментарии и заметки на полях к „Современным текстам".
Александр Юнг и „Молодая Германия".
Фридрих Вильгельм IV, король прусский.

Манчестерский период.

Письма из Англии в „Рейнскую Газету".
Письма из Лондона в газету „Швейцарский Республиканец" (1843).
Прогресс движения за социальную реформу на континенте.
Германия и Швейцария.
Континентальные дела.
„Таймс" о немецком коммунизме.
Очерки критики политической экономии.
Положение Англии.
Положение Англии. Восемнадцатый век.
Английская конституция.

Приложения.

Письма Фр. Энгельса к братьям Ф. и В. Греберам.
Библии чудесное избавление от дерзкого покушения.
К критике прусских законов о печати.

Примечания.

Бременский период.
Берлинский период.
Манчестерский период.
Указатель имен.

Содержание журнала „Под Знаменем Марксизма" за 1923 год.

Арк. А—н. — Страницы из пропаганды и деятельности Робера Оуэна (№ 8—9, стр. 187).
„ Реалистические элементы в воззрениях Роберта Оуэна (№ 10, стр. 163).
Гр. Баммель. — Источники изучения Демокрита, I (№ 6—7, стр. 182).
„ Источники изучения Демокрита, II (№ 8—9, стр. 120).
„ Демокрит, III. К вопросу о жизни и личности Демокрита (№ 11—12, стр. 133).
Н. Бор. — О строении атомов (№ 10, стр. 101).
Б. Быховский. — О методологических основаниях психо-аналитического учения Фрейда (№ 11—12, стр. 158).
В. Ваганян. — Искусство и народ (№ 1, стр. 132).
„ Г. В. Плеханов, I—От народничества к марксизму (№ 2—3, стр. 153).
„ Плеханов и Белинский (№ 6—7, стр. 59).
„ Г. В. Плеханов, II—Плеханов и группа „Освоб. Труда" (№ 8—9, стр. 21).
„ Г. В. Плеханов, III—Социализм и политическая борьба (№ 10, стр. 18).
„ Г. В. Плеханов, III—Социализм и политическая борьба, гл. 6, в и г (№ 11—12, стр. 31).
А. Варьяш. — Формальная и диалектическая логика (№ 6—7, стр. 207).
Э. Гольденберг. — Еще несколько слов об общественно-необходимом труде (№ 4—5, стр. 229).
Гольбах. — „Система природы". Главы: VI, VII, VIII и IX (№ 11—12, стр. 93).
А. Гольцман. — Наступление на материализм (№ 1, стр. 83).
Б. Горев. — Лавров и утопический социализм (№ 6—7, стр. 121).
А. Деборин. — Людвиг Фейербах (№ 1, стр. 5).
„ Вступительные замечания к статьям Дидро (№ 4—5, стр. 42).
„ Маркс и Гегель (№ 8—9, стр. 5).
„ Маркс и Гегель (№ 10, стр. 5).
„ Гольбах (№ 11—12, стр. 80).
Д. Дидро. — Статьи из энциклопедии:
I. Эпикуреизм (№ 4—5, стр. 44).
„ Статьи из энциклопедии:
II. Философия Гоббса.
III. Спиноза (№ 6—7, стр. 132, 159).
Н. Карев. — Анри Леруа—материалист XVII века (№ 8—9, стр. 97).
„ Философия дворянина нашего времени (№ 10, стр. 87).
Н. Ковалевский. — К проблеме общественно-необходимого рабочего времени (№ 11—12, стр. 252).

К. Корнилов.— Современная психология и марксизм (№ 1, стр. 41).
„ Современная психология и марксизм (№ 4—5, стр. 86).
Ст. Кривцов.—В. В. Воровский (№ 4—5, стр. 210).
„ Плеханов как социолог (№ 6—7, стр. 46).
„ А. Бебель (№ 8—9, стр. 210).
И. Ленин.— Статьи и фельетоны (№ 6—7, стр. 105).
И. Луппол.— Очерки философии Д. Дидро (№ 8—9, стр. 53).
„ Очерки философии Д. Дидро, гл. III и IV (№ 10, стр. 49).
А. Максимов.— Современное состояние дискуссии о принципе относительности Германии (№ 1, стр. 101).
„ Теория относительности и материализм (№ 4—5, стр. 140).
К. Маркс.— Подвиги Гогенцоллернов (№ 2—3, стр. 45).
„ Письмо к Кугельману о Лассале (№ 2—3, стр. 58).
„ Морализующая критика и критикующая мораль (К. Маркс и Ф. Энгельс.— Полемика с Карлом Гейнценом) (№ 4—5, стр. 21).
К. Маркс и Фр. Энгельс.— Процесс „Новой Рейнской газеты" (№ 2—3, стр. 29).
А. Мендельсон.— Средства обращения и капитал (№ 8—9, стр. 252).
„ К вопросу о различных версиях в трактовке понятия „общественно-необходимый труд" (№ 4—5, стр. 230).
Ф. Меринг.— Маркс и младогегельянцы (№ 2—3, стр. 63).
П. Месяцев.— Русские экономисты за границей. (№ 11—12, стр. 245).
В. Мотылев.— К вопросу об общественно-необходимом рабочем времени (№ 2—3, стр. 212).
„ Над могилой потребительской версии (№ 6—7, стр. 242).
В. Невский.— Современ. естествознание и материализм Маркса и Энгельса (№ 2—3, стр. 133).
„ Л. Мартов (№ 4—5, стр. 222).
„ Марксизм и естествознание (№ 11—12, стр. 204).
А. Неусыхин.— Социологическое исследование Макса Вебера о городе (№ 8—9, стр. 187).
И. Орлов.— Чистая геометрия и реальная действительность (№ 11—12, стр. 213).
М. Павлович.— Ленин, как разрушитель народничества (№ 4—5, стр. 157).
„ Ленин и эсэры (№ 10, стр. 143).
М. Планк.— Новые пути физического познания (№ 1, стр. 72).
„ Возникновение и постепенное развитие теории квант (№ 2—3, стр. 121).
Г. В. Плеханов.—Отрывок из письма Ленину (№ 6—7, стр. 77).
„ Отрывок из письма В. Засулич 1891 г. (№ 6—7, стр. 77).
„ Доклад Брюссельскому Конгрессу (№ 6—7, стр. 79).
„ Письмо в редакцию о русско-японской войне (№ 6—7, стр. 89).
„ Речи и реплики на II Съезде Лиги русской революционной социал-демократии (№ 6—7, стр. 95).
„ Три письма к А. М. Горькому (№ 6—7, стр. 109).
„ Письма к Фр. Энгельсу (№ 11—12, стр. 13).
„ Письма к Р. Фишеру (№ 11—12, стр. 28).
В. Поздняков.— Формула схемы простого воспроизводства (№ 4—5, стр. 245).
В. Полянский.— О „левом фронте" в искусстве (№ 4—5, стр. 197).
„ Плеханов о Толстом (№ 6—7, стр. 37).
„ Механика творчества и литературная критика (№ 10, стр. 227).

М. Покровский.— Ответ тов. Степанову (№ 1, стр. 142).
„ История религии на холостом ходу (№ 2—3, стр. 202).
„ О книге академика Лаппо-Данилевского (№ 4—5, стр. 190).
„ Плеханов, как историк России (№ 6—7, стр. 5).
Я. Пржеборовский.— Естествознание и диалектика (№ 8—9, стр. 161).
„ Естествознание и диалектика (№ 10, стр. 134).
П. Разумовский.— Понятие права у Маркса и Энгельса (№ 2—3, стр. 68).
Рутерфорд.— Электрическое строение материи (№ 11—12, стр. 180).
В. Румий.— Плеханов и террор (№ 6—7, стр. 19).
„ Ответ одному из талмудистов (№ 8—9, стр. 145).
Д. Рязанов.— Ответ тов. Стеклову (№ 1, стр. 186).
„ Вступительные замечания к статьям Маркса и Энгельса (№ 2—3, стр. 5).
„ Пояснительные замечания к статьям Маркса и Энгельса (№ 4—5, стр. 5).
„ Вступительные замечания к докладу Плеханова на Брюссельском Конгрессе (№ 6—7, стр. 78).
„ Вступительные замечания к письмам Г. В. Плеханова (№ 11—12, стр. 5).
В. Сергеев.— Штурм неба в эпоху гражданской войны древнем Риме (№ 11—12, стр. 220).
Ю. Стеклов.— Как иногда даются отзывы (№ 1, стр. 179).
Н. Степанов.— Смерть страха смерти, как итог моей полемики ов. Покровским (№ 2—3, стр. 192).
П. Стучка.— Материалистическое или идеалистическое понимание права (№ 1, стр. 160).
И. Стуков.— В плену у релятивизма (№ 4—5, стр. 132).
А. Тимирязев.— Теория „квант" и современная физика (№ 2—3, стр. 89).
„ Диалектика в естествознании (№ 4—5, стр. 115).
„ Несколько замечаний по поводу наступления на материализм тов. Гольцмана (№ 6—7, стр. 228).
„ По поводу статьи Эддингтона (№ 8—9, стр. 166).
„ Первое десятилетие теории строения атомов Нильса Бора (№ 10, стр. 97).
„ По поводу речи Э. Рутерфорда (№ 11—12, стр. 178).
Ц. Фридлянд.— Анри де Сэн-Симон (№ 10, стр. 196).
В. Фриче.— Опыт социологии художественных стилей (№ 1, стр. 120).
„ Лавров и чистое искусство (№ 6—7, стр. 112).
Б. Шеболдаев.— Бабувизм и рабочие Вел. Франц. Революции (№ 4—5, стр. 183).
Фр. Энгельс и К. Каутский.— Юридический социализм (№ 1, стр. 51).
Фр. Энгельс.— Похороны К. Маркса (№ 2—3, стр. 10).
„ Маркс и „Новая Рейнская газета" (1848-49) (№ 2—3, стр. 21).
„ О критике политической экономии К. Маркса (№ 2—3, стр. 48).
„ Коммунизм и К. Гейнцен (Маркс и Энгельс.—Полемика с Карлом Гейнценом) (№ 4—5, стр. 9).
А. Эддингтон.— Внутренность звезд (№ 8—9, стр. 169).
В. Юрицен.— Эдмунд Гуссерль (№ 4—5, стр. 61).

Трибуна.

Н. Бабахан.— В защиту ленинизма (№ 4—5, стр. 248).
Гр. Баммель.— Несколько ответных замечаний (№ 10, стр. 249).
В. Р.— Несколько замечаний в ответ тов. Гореву (№ 6—7, стр. 256).
Б. Горев.— Некоторые проблемы марксистской теории классов (№ 10, стр. 242).
„ К вопросу о револ. тактике и просветительстве Плеханова (№ 6—7, стр. 254).
В. Ивановский.— Ответ тов. Баммелю (№ 10, стр. 247).
Материалист. — Об академии наук РСФСР (№ 1, стр. 190).
„ Трусливый оппортунизм будущего профессора (№ 2—3, стр. 218).
„ Ответ тво. Бабахану (№ 4—5, стр. 257).
Ожидающий.— Мы весь ждем (№ 1, стр. 192).
Привет журналу „Под Знаменем Марксизма" (№ 1, стр. 196).
И. Разумовский.— Наши „замвридплехановы".
В. Румий.— Ответ на ответ.
Ин. Стуков.— В чем суть моих возражений (№ 6—7, стр. 249).
В. Тер-Оганесян.— О назревшем вопросе (№ 1, стр. 189).
А. Удальцов.— К теории общественных классов (№ 8—9, стр. 268).

Библиография.

Гр. Баммель.— Ф. Куклярский. Критика творческого сознания (№ 1, стр. 207).
„ Мюллер Фрейфельс. Иррационализм (№ 4—5, стр. 280).
„ В. Н. Ивановский. Методологическое введение в науку и философию (№ 6—7, стр. 270).
Б. Ш.— А. Фини-Енотаевский. Карл Маркс и новейший социализм (№ 2—3, стр. 242).
В. В.—Г. В. Плеханов. Очерки по истории материализма (№ 1, стр. 214).
„ Г. В. Плеханов. Наши разногласия (№ 1, стр. 222).
„ Б. Горев. Первый русский марксист—Г. В. Плеханов (№ 2—3, стр. 250).
„ Г. В. Плеханов. Русский рабочий в революционном движении (№ 11—12, стр. 314).
В. Ваганян.— Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (№ 6—7, стр. 263).
„ Дополнение к опыту библиографии Г. В. Плеханова (№ 6—7, стр. 267).
И. Вайнштейн.— Э. Енчмен. Теория новой биологии (4—5, стр. 285).
Б. Введенский.— Я. Френкель. Строение материи (№ 1, стр. 223).
В. П.— М. С. Григорьев. Введение в поэтику (№ 11—12, стр. 307).
В. Р.— К. Маркс — мыслитель, человек, революционер. Сб. ст. (№ 2—3, стр. 241).
К. Маркс. Сборник статей (№ 2—3, стр. 241).
В. С.— Н. Ленин. Государство и революция (№ 1, стр. 220).
В. С.— Новые идеи в физике; вып. 8 (№ 8—9, стр. 297).
В. В—ян.— Г. В. Плеханов. Искусство (№ 1, стр. 218).
„ М. Жаков. Справочная книжка по марксистскому самообразованию (№ 1, стр. 226).
„ Национальный вопрос и Р.К.П. (№ 4—5, стр. 268).

В. В—ян.— Фр. Энгельс. Людвиг Фейербах (№ 4—5, стр. 283).
„ Г. В. Плеханов. Очерки по истории русской общественной мысли XIX века (№ 10, стр. 268).
„ О I, II, III, IV и V съездах партии (№ 2—3, стр. 251).
Е. Грановский.— К постановке проблемы распределения у Маркса (№ 2—3, стр. 232).
Б. Горев.— Изложение учения Сен-Симона (№ 2—3, стр. 259).
И. Иванов.— А. Рязанова. Женский труд (№ 6—7, стр. 285).
И. Л.— А. Ефремин. Методологическое пособие по полит. грамоте (№ 4—5, стр. 296).
„ Роланд Гольст. Ж. Ж. Руссо (№ 10, стр. 271).
„ Новые книги по историческому материализму (№ 11—12, стр. 287).
Н. Карев.— А. Шрейдер. Очерки философии народничества (№ 11—12, стр. 294).
Келлер.— Проф. Л. Любимов. Курс политической экономии (№ 11—12, стр. 323).
Ст. Кривцов.— К библиографии К. Маркса (№ 2—3, стр. 243).
„ В. Ваганян. Опыт библиографии Г. В. Плеханова (№ 6—7, стр. 259).
„ М. Адлер. Марксизм, как пролетарское учение о жизни (№ 10, стр. 258).
„ М. Адлер. Марксизм, как пролетарское мировоззрение (№ 10, стр. 258).
Н. Ленцнер.— Р. Люксембург. Коалиционная политика или классовая борьба (№ 8—9, стр. 302).
„ Р. Люксембург. Письма к Карлу и Луизе Каутским (№ 10, стр. 273).
„ В. Фридлянд и А. Слуцкий. Хрестоматия по истории революционного движения в Западной Европе (№ 11—12, стр. 320).
И. Л—л.— Е. А. Энгель. Очерки материалистической социологии (№ 11—12, стр. 292).
Н. Л—р.— В. Астров. Экономисты — предтечи меньшевиков (№ 6—7, стр. 289).
И. Луппол.— С. Вольфсон. Диалектический материализм (№ 1, стр. 210).
„ В. Засулич. Ж.-Ж. Руссо (№ 2—3, стр. 255).
„ С. Вольфсон. Диалектический материализм, том III (№ 6—7, стр. 272).
„ Поль Лафарг. Детерминизм (№ 6—7, стр. 277).
Материалист.— Н. Ленин и Г. Плеханов. Против Богданова; три главы против Богданова (№ 8—9, стр. 285).
„ Л. М. Клейнборт, Н. И. Забер (№ 10, стр. 265).
В. Мотылев.— И. И. Рубин. Очерки по теории стоимости Маркса (№ 4—5, стр. 295).
Н. К.— София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии. Ник. Бердяев. Смысл истории (№ 8—9, стр. 276).
Новое о Л. Фейербахе (№ 1, стр. 218).
И. Орлов.— Э. Борель. Случай (№ 10, стр. 266).
И. Орлов.— В. Оствальд. Великий элексир (№ 11—12, стр. 312).
М. Павлович.— М. Рой. Новая Индия (№ 1, стр. 224).
Периодическая печать о юбилее Маркса (№ 2—3, стр. 247).
В. Полянский.— К 75-летию революции 48 года (№ 4—5, стр. 298).
„ В. В. Воровский. Литературные очерки (№ 11—12, стр. 305).
Н. Попов.— Проф. Рожицын. Первобытный коммунизм (№ 2—3, стр. 257).
В. Румий.— По провинциальным журналам (№ 1, стр. 203).
„ Фр. Энгельс. Происхождение семьи (№ 1, стр. 222).

В. Румий.— К. Диль. Социализм, коммунизм, анархизм (№ 4—5, стр. 284).
Вл. Семенченко.— О книге Штарка (№ 4—5, стр. 293).
„ Классики естествознания, вып. 4, 5, 7 и 8 (№ 8—9, стр. 289).
„ Н. Бор. Три статьи о спектрах и строении атомов (№ 10, стр. 264).
„ Дарвин. Приливы (№ 11—12, стр.).
А. Троицкий.— Марксизм и этика (№ 10, стр. 257).
„ В. Струминский. Психология (№ 11—12, стр.).
Теодорчик.— С. Т. Конобеевский. Строение веществ (№ 2—3, стр. 263).
Ц. Фридлянд.— А. К. Дживегелов. Революционная армия и ее вожди (№ 2—3, стр. 260).
„ А. Саймонс. Классовая борьба в истории Америки (№ 4—5, стр. 299).
„ Марат. Письма (№ 6—7, стр. 281).
„ Анналы, тт. I, II, III (№ 8—9, стр. 281).
„ Ф. Энгельс. Сила и экономика в образовании германской империи (№ 8—9, стр. 300).
„ История социализма (№ 11—12, стр.).
Читатель.— Г. В. Плеханов. От идеализма к материализму (№ 11—12, стр. 304).
„ Бюллетень института В. И. Ленина (№ 11—12, стр. 315).
М. Ширвинд.— Сарабьянов. Исторический материализм (№ 2—3, стр. 253).

Список рецензированных книг.

М. Адлер.— Марксизм, как пролетарское учение о жизни (№ 10).
„ Марксизм, как пролетарское мировоззрение (№ 10).
Анналы.— тт. I, II, III (№ 8—9).
В. Астров.— Экономисты—предтечи меньшевиков (№ 6—7).
Н. Бердяев.— Смысл истории (№ 8—9).
Э. Борель.— Случай (№ 10).
Н. Бор.— Три статьи о спектрах и строении атомов (№ 10).
В. Ваганян.— Опыт библиографии Г. В. Плеханова (№ 6—7).
В. Волгин.— Очерки по истории социализма (Ц. Фридлянд.— История социализма) (№ 11—12).
С. Вольфсон.— Диалектический материализм (№ 1).
„ Диалектический материализм, том III (№ 6—7).
В. В. Воровский.— Литературные очерки (№ 11—12).
„II Съезд Партии" (№ 2—3).
Р. Гольст.— Ж.-Ж. Руссо (№ 10).
Б. Горев.— Первый русский марксист—Г. В. Плеханов (№ 2—3).
„ История социализма (Ц. Фридлянд.— История социализма. № 11—12).
Дарвин.— Приливы (№ 11—12).
А. Дживелегов.— Революционная армия и ее вожди (№ 2—3).
К. Диль.— Социализм, коммунизм, анархизм (№ 4—5).
Е. Грановский.— К постановке проблемы распределения у Маркса (№ 2—3).
Дополнение к опыту библиографии Г. В. Плеханова (№ 6—7).
Э. Енчмен.— Теория новой биологии (№ 4—5).
А. Ефремин.— Методологическое пособие по политграмоте (№ 4—5).
М. Жаков.— Справочная книжка по марксистскому самообразованию (№ 1).

В. Засулич.— Ж.-Ж. Руссо (№ 2—3).
В. Ивановский.— Методологическое введение в науку (№ 6—7).
Изложение учения Сен-Симона (№ 2—3).
Классики естествознания. Вып. 4, 5, 7 и 8 (№ 8—9).
Л. Клейнборт.— Н. И. Зибер (№ 10).
С. Т. Конобеевский.— Строение веществ (№ 4—5).
К 75-летию революции 48 года. Сб. статей (№ 4—5).
Ф. Куклярский.— Критика творческого сознания (№ 1).
Поль Лафарг.— Детерминизм (№ 5—7).
Н. Ленин.— Государство и революция (№ 1).
Н. Ленин и Г. Плеханов.— Против Богданова (№ 8—9).
Проф. Л. Любимов.— Курс политической экономии (№ 11—12).
Р. Люксембург.— Коалиционная политика или классовая борьба (№ 8—9).
„ Письма к Карлу и Луизе Каутским (№ 10).
Марат.— Письма (№ 6—7).
К. Маркс.— Мыслитель, человек, революционер. Сб. статей (№ 2—3).
„ Сб. статей (№ 2—3).
Марксизм и национальный вопрос, сб. статей (В. В-ян—Национальный вопрос и Р.К.П., № 4—5).
Марксизм и национальная проблема, сб. статей (В. В-ян—Национальный вопрос и Р.К.П., № 4—5).
Марксизм и этика, сб. статей (№ 10).
Мюллер Фрайфельс.—Иррационализм (№ 4—5).
Новое о Фейербахе (перечень книг) (№ 1).
Новые идеи в физике, вып. 8 (№ 8—9).
В. Оствальд.— Великий элексир (№ 11—12).
I Съезд партии (№ 2—3).
Периодическая печать о юбилее К. Маркса (перечень) (№ 2—3).
По провинциальным журналам (обзор) (№ 1).
Портреты Маркса и Энгельса в периодической прессе (перечень) (№ 2—3).
Г. В. Плеханов.— Очерки по истории материализма (№ 1).
„ Наши разногласия (№ 1).
„ К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (№ 6—7).
„ Искусство (№ 6—7).
„ Очерки по истории русской общественной мысли XIX в. (№ 10).
„ Русский рабочий в революционном движении (№ 11—12).
„ От идеализма к материализму (№ 11—12).
V Съезд Партии (Лондонский) (№ 2—3).
Проф. Рожицын.— Первобытный коммунизм (№ 2—3).
М. Рой.—Новая Индия (№ 1).
И. И. Рубин.—Очерки по теории стоимости Маркса (№ 4—5).
В. Сарабьянов.—Исторический материализм (№ 2—3).
Г. Сафаров.—Национальный вопрос и пролетариат (В. В-ян—Национальный вопрос и Р. К. П. № 4—5).
А. Саймонс.—Классовая борьба в истории Америки (№ 4—5).
С. Ю. Семковский.—Конспект лекций по историческому материализму, изд. III (И. Л.—Новые книги по историческому материализму) (№ 11).
С. Солнцев.—Заработная плата, как проблема распределения (Е. Грановский.—К постановке проблемы распределения у Маркса) (№ 2—3).
София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии (№ 8—9).
В. Струминский.—Психология (№ 11—12).
III Съезд Партии (№ 2—3).
А. Тюменев.—Теория исторического материализма, изд. III (И. Л.—Новые книги по историческому материализму) (№ 11—12).

А. Финн-Енотаевский.—Карл Маркс и новейший социализм (№ 2—3).
Я. Френкель.—Строение материи (№ 1).
Ц. Фридлянд и А. Слуцкий.—Хрестоматия по истории революционного движения в Западной Европе (№ 11—12).
IV Объединительный Съезд Партии (№ 2—3).
I. Stark.—Die gegenwärtige Krisis in der Deutschen Phisik. (Вл. Семенченко—о книге Штарка № 4—5).
Б. С. Шнеерсон.—Опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса. (Ст. Кривцова.—К библиографии К. Маркса) (№ 2—3).
А. Шрейдер.—Очерки философии народничества (№ 11—12).
Е. А. Энгель.—Очерки материалистической социологии (№ 11—12).

От Редакции.

По вине выпускающего в статью А. Деборина „Гольбах" вкралась досадная ошибка. Конец III главы, на стр. 86, следует читать (строка 32): „Гобертисты—гольбахианцы потерпели поражение". И далее на строке 35: „...Гебер, Шомет и Клоотс были представителями левого крыла мелкой буржуазии. 24 марта 1794 г. гобертисты были казнены. Так расправилось правое крыло якобинства с левым, защитники деизма с идеологами атеизма".

Издатель: Кн-ство „Материалист". Отв. редактор: В. Тэр.

ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА.

ВЫШЛИ В СВЕТ:

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА

под общей редакцией Д. Б. РЯЗАНОВА.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения под ред. и с примечаниями Д. Рязанова.
Т. I. **К. Маркс.** Статьи и письма 1837—1844 гг. С иллюстрациями. Стр. XXXII+563. Ц. 2 р.
Т. II. **Ф. Энгельс.** Статьи и корреспонденции 1839—1844 гг. С иллюстрациями. Стр. 624.

Г. Плеханов. Сочинения под ред. Д. Рязанова.
Т. I. Статьи до 1883 г. Период народнический. Стр. 364. Ц. 1 р. 50 к.
Т. II. Статьи 1883—1888 гг. От основания группы „Освобождение Труда" до организации „Русского Социал-Демократического Союза". Страниц 404. Ц. 1 р. 50 к.
Т. III. 1888—1892 гг. На русские темы. Стр. 428. Ц. 1 р. 50 к.
Т. IV. На международные темы. 1887—1894 гг. Стр. 332. Ц. 1 р. 25 к.
Т. VII. Обоснование и защита марксизма. Часть первая. Стр. 331. Ц. 1 р. 50 к.
Т. VIII. Обоснование и защита марксизма. Часть вторая. Стр. 411. Ц. 1 р. 50 к.
Т. X. Литературно-критические статьи. Стр. 422. Ц. 1 р. 50 к.
Т. XI. Критика наших критиков. Стр. 397. Ц. 1 р. 50 к.

К. Каутский. Сочин. под ред. Д. Рязанова.
Т. X. Происхождение христианства. Стр. 443. Ц. 2 р. 10 к.
Т. XII. Размножение и развитие в природе и обществе. Стр. XVI+284. Ц. 1 р. 50 к.

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ.

1а. **К. Маркс и Ф. Энгельс.** Коммунистический Манифест 3-е доп. изд. с введением и примечаниями Д. Рязанова. Стр. 343.
1б. То же. Карманное издание. Стр. 338. Ц. 1 р. 50 к. в папке.
2. **Г. Плеханов.** Основные вопросы марксизма под редакцией и с примечаниями Д. Рязанова. Стр. 126. Ц. 35 к.
3. **Его же.** Очерки по истории материализма под ред. и с примечаниями Д. Рязанова. Стр. 288.

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛИЗМА.

Людвиг Фейербах. Сочинения.
Т. I. Избранные философские произведения. Вступительный очерк А. М. Деборина. Стр. 336. Ц. 1 р. 25 к.

А. Деборин. Людвиг Фейербах. Жизнь и деятельность. Изд. „Материалист". 1923 г. Стр. 354.

В. Ваганян. Опыт библиографии Г. В. Плеханова. С пред. Д. Рязанова. Стр. 118. Ц. 40 к.

Д. Рязанов. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при В. Ц. И. К. Изд. „Московский Рабочий". 1923 г. Стр. 63.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Томы: III, X и XI.
Г. Плеханов. Сочинения. Томы: V, VI, IX, и XII.
К. Каутский. Сочинения. Том I. Экономические работы.
Л. Фейербах. Сочинения. Том II. Лекции о сущности религии.
Ламеттри. Избранные сочинения.
Гольбах. Система природы.

Издательство „МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1924 ГОД.

„КНИГОНОША".

Еженедельная газета бюро партийных издательств „КНИГОНОША".

„КНИГОНОША" выходит в размере большого журнального формата от 12 до 16 страниц на хорошей глазированной бумаге, еженедельно.

„КНИГОНОША"—необходимое пособие для учащихся и для лиц, занимающихся самообразованием и систематическим чтением. В газете постоянные методические отделы: 1) Что и как читать по истории партии—**М. И. Лядова.** 2) Что и как читать по истории научного социализма—**Б. Горева.** 3) Что и как читать по диалектическому материализму—**В. Сарабьянова.** 4) Что и как читать по естествознанию—**Г. Боссэ.** 5) Что и как читать по профдвижению—**Бахметьева.** 6) Что и как читать по политграмоте—**П. Коваленко.** 7) Что и как читать по политической экономии—**Ф. Михалевского.**

„КНИГОНОША"—незаменимый справочник для библиотекарей и культработников. Специальный отдел библиотековедения дает возможность библиотекарям обмениться с товарищами опытом своей работы и техническую работу библиотекаря превратить в большое идейно осмысленное общественное дело.

„КНИГОНОША" дает рецензии на вновь вышедшие книги, принимая все меры к тому, чтобы сводки рецензий наиболее полно охватывали все, что выходит на книжном рынке в столице и в провинции.

„КНИГОНОША" ведет переписку по вопросам самообразования со своими подписчиками.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА „КНИГОНОШУ" НА 1924 год.

На 1 год	10 рубл. зол.	На 3 мес.	3 рубл. зол.
На ½ года	5 „ „	На 1 мес.	1 „ „

По примеру текущего года подписчикам „КНИГОНОШИ", наилучше выдержавшим испытание по политграмоте, будут выданы в премию библиотеки, по одной библиотеке не менее чем в десять населенных пунктов. Библиотеки будут состоять из изданий партийных издательств в количестве не менее 300 книг в каждой библиотеке.

„СПУТНИК КОММУНИСТА".

„СПУТНИК КОММУНИСТА"—ежемесячный орган Московского Комитета РКП, выходящий под редакцией С. Н. **Шевердина.**

„СПУТНИК КОММУНИСТА" выходит в размере от 12 до 20 печатных листов и посвящен теории и практике очередных политических кампаний Российской Коммунистической Партии.

„СПУТНИК КОММУНИСТА"—весьма ценное пособие для агитаторов, пропагандистов, полит- и партработников в их текущей работе.

„СПУТНИК КОММУНИСТА", являясь журналом передовой Московской организации РКП, необходим тем более работникам местных организаций, потому что все новое, что намечается в политической и организационной жизни партии, на страницах журнала находит свое выражение.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА „СПУТНИК КОММУНИСТА" НА 1924 год.

На 1 год	15 рубл. золот.
На 6 мес.	8 „ „
На 3 мес.	4 „ „

Цена отдельного номера от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. золотом.

ПОДПИСКА на все перечисленные издания принимается в издательстве „МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ". Деньги высылать по адресу: Москва, Б. Дмитровка, дом № 26, издательство „Московский Рабочий", точно указывая, какой именно журнал выписывается и на какой срок.

Издательство „МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ".

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1924 г. НА ЖУРНАЛЫ:

„ДЕЛЕГАТКА".

„ДЕЛЕГАТКА"—популярный ежемесячный иллюстрированный журнал сознательных работниц и крестьянок, посвященный их хозяйственным и домашним нуждам, а также политическому и культурному воспитанию и самообразованию.

„ДЕЛЕГАТКА", начав выходить летом текущего года, уже завоевала себе самые горячие симпатии и работниц и крестьянок Московской губернии.

„ДЕЛЕГАТКА" в настоящее время получает письма и статьи о положении работниц и крестьянок из провинции и освещает их быт в самых отдаленных уголках С.С.С.Р.

Сознательный рабочий и крестьянин, заботящийся о развитии сознания своей жены, сестры и дочери, должен выписать для них „Делегатку" из изд. „Московский Рабочий".

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА „ДЕЛЕГАТКУ":

На 1 год	2 р. 50 к. зол.	На 3 мес.	60 коп. зол.
На ½ года	1 руб. зол.		

В розничной продаже цена отдельного номера 25 коп. зол.

„РАБОТА".

„РАБОТА"—новый еженедельный иллюстрированный хозяйственно-бытовой журнал, выпускаемый издательством „Московский Рабочий" под редакцией А. Стоклицкого и И. Стукова.

„РАБОТА"—самый живой и самый дешевый хозяйственный журнал по производственным вопросам для рабочих, волячеек, членов фабзавкомов, членов профсоюзов.

„РАБОТА" издается, как ответ на естественные запросы сознательных рабочих и крестьян о состоянии нашей промышленности и сельского хозяйства, как ответ на клич этих рабочих и крестьян, обращенный к Советской власти, „даешь хозяйство!".

Первый номер журнала „РАБОТА" вышел 15-го ноября.

НА отдельного номера 15 коп. зол. **ПОДПИСКА** до конца года 80 коп. зол.

ПОДПИСКА НА 1924 ГОД:

На 1 год	7 рубл. зол.	На 3 месяца	1 руб. 80 коп. зол.
На ½ года	3 руб. 50 коп. зол.		

„БАРАБАН".

„БАРАБАН" — двухнедельный журнал юных пионеров.

Журнал „БАРАБАН" составляется самими ребятами из Московского об'единения юных пионеров.

„БАРАБАН" ведет переписку с ребятами всех стран и страницы своего журнала предоставляет для этой переписки.

„БАРАБАН", являясь знаменем рабочих и крестьянских ребят, зовет их всех в свою пионерскую семью, чтобы жить и воспитываться по законам:

1. ПИОНЕР—верен делу рабочего класса.
2. ПИОНЕР—младший брат и помощник комсомольцу и коммунисту.
3. ПИОНЕР—товарищ пионерам и рабочим ребятам всего мира.
4. ПИОНЕР—трудолюбив, настойчив.
5. ПИОНЕР—смел, честен и правдив (его слово, как гранит).
6. ПИОНЕР—здоров, вынослив и никогда не падает духом.
7. ПИОНЕР—стремится к знанию. Знание и умение—сила в борьбе за рабочее дело.
8. ПИОНЕР—свое дело делает быстро и аккуратно.

„БАРАБАН" на деле со своими читателями и подписчиками будет проводить эти законы.

ТОВАРИЩ КОММУНИСТ, КОМСОМОЛЕЦ И СОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ,—выписывайте „БАРАБАН" для ваших ребят.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА „БАРАБАН":

На 1 год	5 руб. — коп. зол.	На 3 месяца	1 руб. 50 „ „
На ½ года	3 руб. — коп. зол.	На 1 месяц	— „ 50 „ „

ПОДПИСКА на все перечисленные издания принимается в издательстве „МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ". Деньги высылать по адресу: Москва, Б. Дмитровка, 26, издательство „Московский Рабочий", точно указывая, какой именно журнал выписывается и на какой срок.

„ВЕСТНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ".

2-й ГОД ИЗДАНИЯ.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ, ВЫХОДЯЩИЙ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

т.т. Н. И. Бухарина, В. П. Милютина, М. Н. Покровского, Е. А. Преображенского, Ф. А. Ротштейна.

Журнал ставит своей задачей разработку вопросов методологии и исследование отдельных проблем в области общественных и точных наук в свете марксизма. Являясь органом Социалистической Академии, журнал отражает на своих страницах ее работу, как научно-исследовательского коллектива.

Помимо статей и исследований в приложениях к журналу даются систематические библиографические указатели по различным вопросам.

ОТДЕЛЫ ЖУРНАЛА:

1. Статьи и исследования.
2. Научная библиография.
3. Стенограммы докладов, читаемых в Соц. Академии.
4. Хроника Соц. Академии.
5. ПРИЛОЖЕНИЯ.

В 1923 году СЛЕДУЮЩИЕ АВТОРЫ ПОМЕСТИЛИ СТАТЬИ:

Л. Аксельрод, В. Базаров, Г. Баммель, Г. Бешкин, А. Богданов, М. Бронский, И. Боричевский, Н. Бухарин, В. Волгин, Б. Горев, Ш. М. Двойлайцкий, А. М. Деборин, К. Дитякин, М. И. Дрей, С. М. Дубровский, О. А. Ерманский, Н. Иванов, Ф. Капелюш, С. И. Каплун, С. С. Кривцов, Л. Д. Крицман, Д. В. Кузовков, Г. Лукач, А. Луначарский, В. Милютин, С. Моносов, Е. Мороховец, В. Мотылев, В. Никольский, И. Орлов, М. Павлович, Е. Пашуканис, В. Переверзев, М. Покровский, П. Попов, Е. Преображенский, И. Разумовский, И. Ревэ, М. Рейснер, Ф. Ротштейн, Д. Рязанов, П. Стучка, А. Тальгеймер, Л. Троцкий, А. Тюменев, А. Удальцов, В. Фирсов, А. Фогарази, В. Фриче, Д. Хлебников, В. Чернышев, О. Шмидт.

Журнал выходит раз в два месяца книгами, размером около 25 печатн. листов.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1924 ГОД.

На 1 год — **15** р. зол., на 6 мес. — **8** р. зол.

Деньги засчитываются по курсу дня получения их конторой журнала.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В КОНТОРЕ ЖУРНАЛА.

Цена объявлений — **110** руб. зол. за 1 страницу.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ—Москва, Социалистическая Академия, Знаменка, 11. Тел. **1-94-66.**

ПЕЧАТАЕТСЯ И В КОНЦЕ НОЯБРЯ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

ШЕСТАЯ КНИГА

ЖУРНАЛА ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

„ПЕЧАТЬ и РЕВОЛЮЦИЯ"

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

А. В. Луначарского, Н. Л. Мещерякова, М. Н. Покровского, В. П. Полонского, и И. И. Степанова-Скворцова.

СОДЕРЖАНИЕ.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ: А. Лозовский.—Коммунистический интернационал и французское рабочее движение. Ц. Фридлянд.— Круговорот профессора истории. М. Покровский. — Из прошлого. С. Ю. Витте.—Воспоминания. М. Петерсон. — Общая лингвистика. А. Сидоров.—Русские граверы. А. И. Кравченко. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. В. Брюсов.—Среди стихов. Н. Асеев.—Организация речи. Г. Шенгели. — Валерий Брюсов между двух стульев. В. Брюсов.—Ответ Георгию Шенгели. И. Евдокимов.—Русские песни. И. Звавич.—Русская книга в Англии. М. Иоэльсон.—Обзор новейшей иностранной литературы о трестах, синдикатах и концернах. А. Пионтковский. — Уголовный кодекс РСФСР в освещении иностранной прессы.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: М. Брагинского, Г. Сандомирского, А. Кона, М. Зеликмана, М. Эльской, Ю. Вильдо, А. Бессера, А. Чекина, М. Рафеса, В. Виленского (Сибирякова), И. Кубикова, В. Пичеты, В. Кржижа, В. Адоратского, М. Лукина, А. Ефимова, А. Неусыхина, Г. Гордона, Б. Горева, А. Слуцкого, А. Сергеева, Н. Щербакова, С. Бугославского, М. Павловича, Б. Павлова, Б. Жеребцова, К. Зличенко, А. Шляпникова, С. Добраницкого, С. Пионтковского, Г. Лелевича, В. Сарабьянова, А. Крубера, Г. Баммеля, Б. Андреева, П. Преображенского, Д. Яхонина, П. Стучки, А. Пионтковского, А. Топоркова, К. Шильбаха, А. Свечина, С. Венцова, С. Моисеевой, И. Голанова, Е. Шалыт, М. Тихомирова, Е. Березанской, Н. Изгарышева, М. Слуховского, Л. Хавкиной, М. Виноградова, В. Бунака, М. Гремяцкого, Б. Невзорова, С. Вавилова, Н. Андреева, А. Терешкович, С. Гуревича, Ю. Филипченко, Л. Прозорова, В. Фриче, Д. Благого, Н. Кашина, Н. Бродского, Н. Фатова, В. Переверзева, Р. Шор, М. Эйхенгольца, С. Боброва, К. Локса, В. Вольценштейна, О. Мандельштама, И. А. Аксенова, Ю. Соболева, А. Гурштейна, А. Елизаровой, Н. Лебедева, Л. Сабанеева, А. Ромма, Л. Розенталя, Н. Тарабукина, А. Некрасова, Г. Жидкова, А. Греча, А. Сидорова, И. Корницкого.

В номере свыше 30 иллюстраций в тексте и на вкладных листах.

Адрес редакции: Никитский бульвар, д. № 8 (Дом Печати). **Телефон: 1-02-85.**

Заказы направлять в отдел подписных изданий ТОРГСЕКТОРА ГОСИЗДАТА, Москва, Никольская, д. № 3.

ВІДКРИТА ПЕРЕДПЛАТА

на газету **НА 1924 РІК** на газету

„ВІСТИ ВУЦВК і ХГВК"

12 місяців	6 місяців	3 місяці	1 місяць
25 карб.	**12 кр. 50 к.**	**7 карб.**	**2 кр. 50 к.**

Для партійних та професійних організацій, військових частин, комезамів, сельбудинків, окремих робітників, червоноармійців, незаможних селян, по надісланню відповідних посвідень:

12 місяців	6 місяців	3 місяці	1 місяць
12 кр. 50 к.	**6 кр. 25 к.**	**3 кр. 50 к.**	**1 кр. 25 к.**

За кордон на 1 міс. 2 долари.

Льготна передплата приймається тільки в конторі редакції.

Передплата й оголошення приймаються: **в конторі редакції вул. К. Лібкнехта, 11, тел. 14-73,** держконторі оголошень „УКРАНОНС", вул. К. Лібкнехта, 11, тел. 18-20 і її уповноваженими, поштових конторах УСРР і в правобережній філії контрі редакції газети „Вісти ВУЦВК" (Київ, вул. Леніна, № 8, Сельбудинок). Оголошення 60 копійок в червінцях (0,060 червінця) за рядок нонпарелі, цифрові 90 коп. (0,090 червін.). Оповістки перед текстом—по повійному тарифу. Публікації розміром на 1 сторінку й більше, здані безпосередньо в контору редакції — по угоді. Платня за вмещення оголошення приймається в червінцях або в грошзнаках по курсу дня оплати; платня має бути виплачена в семиденний строк.

На підставі постанови ВУЦВК од 6 липня 1922 р. всі державні установи, громадські організації, підприємства та їх об'єднання трести, синдикати і т. и.

ПОВИННІ ПЕРЕДПЛАЧУВАТИ

газету „Вісти ВУЦВК і ХГВК".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ЯНВАРЬ месяц
НА
„ПЕТРОГРАДСКУЮ ПРАВДУ“

ЦЕНА по коллективной подписке в Петрограде 1 руб. — коп. зол.
ЦЕНА в Петрограде с доставкой (индивид.) . 2 „ — „ „
ЦЕНА в провинции с доставкой (индивид.) . 1 „ 60 „ „
ЦЕНА в провинции для рабочих и крестьян с доставкой по коллективн. подписке . . 1 „ — „ „

С еженедельным приложением „ТРАНСПОРТНИК“.

ЦЕНА по коллективной подписке в Петрограде 1 руб. 10 к. зол.
ЦЕНА в Петрограде с доставкой . . . . . 2 „ 10 „ „
ЦЕНА в провинции с доставкой . . . . . 1 „ 60 „ „
ЦЕНА в провинции для рабочих и крестьян и по коллективной подписке . . . . . 1 „ 10 „ „

С еженедельным приложением „ЛИСТОК РАБКОРА“.

ЦЕНА по коллективной подписке в Петрограде 1 руб. 10 к. зол.
ЦЕНА в Петрограде с доставкой . . . . . 2 „ 10 „ „
ЦЕНА в провинции с доставкой . . . . . 1 „ 60 „ „
ЦЕНА в провинции для рабочих и крестьян и по коллективной подписке . . . . . 1 „ 10 „ „

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ:

„ИЛЛЮСТРАЦИИ ПЕТРОГРАДСКОЙ ПРАВДЫ“ (4 раза в месяц).

По индивидуальной и коллективной подпискам . . 15 коп. зол.
В провинции для рабочих и крестьян и по коллективной подписке . . . . . 15 „ „

„ПЕТРОГРАД“ (2 раза в месяц).

По индивидуальной подписке . . . . . 60 коп. зол.
По коллективной подписке в Петрограде . . . 50 „ „
В провинции для рабочих и крестьян по колл. подп. 50 „ „

„ВОРОБЕЙ“, ежемесячный детский альманах.

В Петрограде по индивидуальной подписке . . . 40 коп. зол.
По коллективной подписке и в провинции . . . 35 „ „

„ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ РАБОЧЕЙ СЕМЬИ“ (2 раза в месяц).

По индивидуальной подписке . . . . . 40 коп. зол.
По коллективной подписке и в провинции . . . . 30 „ „

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в Главной конторе „Петроградской Правды“, Социалистическая (б. Ивановская), № 14, 2-й этаж, а также в Севпечати, Проспект 25 Октября, № 1, и во всех ее районных отделениях. Коллективная подписка только через Севпечать, а для транспортников — в Отделениях при Управлениях железных дорог и водного транспорта.

РАСЧЕТЫ ПО ПОДПИСКЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО КУРСУ ДНЯ УПЛАТЫ.

ГОД ИЗДАНИЯ ВТОРОЙ.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ФИЛОСОФСКИЙ и ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.

ОРГАН ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛИЗМА (Materialismus militans!).

Основная задача журнала — защита ортодоксального марксизма и материализма от извращений, идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКСИЗМА,
ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛИЗМА,
ИСТОРИЯ СОЦИАЛИЗМА,
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ,
ВОПРОСЫ ИСКУССТВА В МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ,
НОВОЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ,
статьи по ВОПРОСАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
статьи по ВОПРОСАМ ИСТОРИИ и ЛИТЕРАТУРЫ.

В ЖУРНАЛЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

все лучшие силы марксизма и материализма, к участию в журнале привлекаются все ученые силы республики, стоящие на материалистической точке зрения.

В журнале, как и прежде, продолжают печататься материалы из архива Института К. Маркса и Фр. Энгельса под ред. Д. Рязанова.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

№ № 1, 2—3, 4—5, 6—7, 8—9, 10 и 11—12 за 1923 г.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

На 1923 год: без пересылки—12 р. черв., с пересылкой—13 р. 50 к.
На 1924 год: на один год (не менее 8 книг)—20 руб. червонных, на полгода (не менее 4 книг)—11 руб. червонных.

Подписная плата принимается червонцами или совзнаками по курсу дня взноса.

Подписка принимается: в конторе Редакции—Никольская ул., дом 11. в „Москов. к. Рабоч.“—Б. Дмитровка, дом 26.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
МОСКВА, Никольская улица, дом № 11. — Телефон 2-34-53.